

3

КОМСОМЛОН

ВОРОБЬЯВ



КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ**

Константин ВОРОБЬЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

Константин ВОРОБЬЕВ

ТОМ ТРЕТИЙ

РАССКАЗЫ, ИЗ АРХИВА ПИСАТЕЛЯ,
ПИСЬМА, ПРИЛОЖЕНИЕ

Москва
«Современник»
1993

ББК 84Р7
В75

*«Федеральная целевая программа
книгоиздания России»*

Составитель В. В. Воробьева

Воробьев К. Д.

В75 **Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3. Рассказы,
из архива писателя, письма, приложение /Сост.
В. В. Воробьева. — М.: Современник, 1993. — 495 с.**

ISBN 5-270-01213-8 (Т. 3)

ISBN 5-270-01215-4

**В третий том Собрания сочинений Константина Воробьева вошли рассказы,
наброски к повестям и рассказам, письма. В приложении к тому В. Воробьева —
жена писателя — рассказывает о судьбе и творчестве К. Воробьева.**

**В 4702010201-049
М 106(03)-93** **Подписное**

ББК 84Р7

**ISBN 5-270-01213-8 (Т. 3)
ISBN 5-270-01215-4**

**© Составление, приложение,
В. В. Воробьева, 1993
© Оформление, В. С. Комаров, 1993**

Рассказы

НИЧЕЙ СЫН

1

Три года не было вестей от мужа, взятого на германскую, а на четвертом Марина Воронова родила мальчика. В большом степном селе, куда она была привезена издалека, ее не любили, и, когда она впервые шла по улице с сыном на руках, позади нее полз мужской и бабий шепот:

— Ишь, и не стыдится!

— Господи, хоть бы узнать — от кого это она?..

Мишке не было еще шести месяцев, а мать сажала его к себе на плечо и, придерживая рукой, проходила селом «назло всем».

Жила Марина в мужниной хате, в хозяйстве было две десятины земли, обрабатываемые соседями исполу, корова и две овечки. Изредка на Маринин двор приходил с конца села дед Васак — шестидесятилетний, низенький, с бородой и глазами Льва Толстого. Он осматривал тын, скотную закуту, заглядывал под соломенную крышу хаты.

— Живешь? — издали спрашивал он Марину и тут же разрешал ей: — Ну живи. Если что надо будет по хозяйству справиться — покличь. А как малый?

— Растет... — Марина делала вид, что утирается фартуком, и сквозь ситец сообщала застенчиво и счастливо: — Ходит...

Когда Мишке стукнуло два года, дед определил:

— В отца. Все родинки снял с него... Удачливый будет!

Мишка рос торопливо. В четыре года он казался шестилетним и, возвращаясь с улицы, упрямо допытывался у матери:

— Отчего все меня дразнят... — он медлил, затем четко выговаривал тяжелое и темное слово.

Мать издавала глухой надрывный стон и выглядывала в окно как-то странно, не по-своему щурясь. Потом

она подхватывала Мишку и прижимала его к себе. Мишка гладил ее смуглые щеки и говорил с бесконечной убежденностью:

— Хор-рошая... — и, подумав, вздыхал: — Одна ты у меня!

Мать встряхивала косами, роняла голову на плечо Мишки и, отсмеявшись, ругалась протяжно и нежно:

— Дурачо-ок! Да нешто есть у кого по две матери?

— Отцы есть! — серьезно сказал однажды Мишка и обиженно заглянул в золотистые глаза матери.

— И у тебя есть отец! — твердо ответила она.

— А где?

— Отец твой? Далеко-далеко... Воюет с белополяками...

Мать задумывалась, забывая о Мишке и глядя куда-то в угол, мечтательно улыбалась, далекая и загадочная.

Прошло еще полтора года.

Как-то зимней ночью в низенькую раму их хаты кто-то постучал нетерпеливо и настойчиво. Мать смело сошла с постели и приникла к окну. Вдруг она отшатнулась, схватилась руками за голову и в лунной полосе света села на пол, неслышно крича что-то. Мишка заревел и стал зарываться в подушки, но с улицы постучали снова, и он кинулся к матери.

— Кто это, мам?

Мать сдавила его голову руками и выдохнула:

— Отец...

— Че-ей?

— Цыц... не твой. Наш.

Потом мать делала что-то непонятное. Она сорвала со стены какую-то фотографию и спрятала ее за пазуху, затем накрыла Мишку шалью, вынесла в темный чулан и там посадила в кадку.

— Только молчи... Только не дыши! Убьет обоих...

Она ушла, а Мишка затих, но не дышать не мог. Кадка была большая и глубокая, в ней мать всегда ставила тесто для хлеба, и теперь она вкусно пахла квасом. И оттого, что это был свой, давно знакомый запах, Мишке не было страшно.

А за тонкой дощатой перегородкой кто-то деревянно топал по земляному полу хаты и хриплым голосом рассказывал:

— В пятнадцатом попал в плен. Все время работал

у хозяина-немца... Теперь вот только освободили. Ну, а ты как тут?

Мишка долго прислушивался, но в хате молчали; оттуда доносилось к нему по-прежнему размеренное топание чьих-то тяжелых ног. Потом шаги прекратились и чужой голос спросил, смешав хрипоту с угрозой:

— Что ж молчишь? Ты, я вижу, не рада?

— Восемь лет ведь! И ни письма, ни весточки!..

Мать произнесла это негромко, с долгими перерывами между каждым словом, как во сне, но вдруг она почти крикнула:

— Не ждала я тебя! Нет!

Очень долго в хате было совсем тихо, потом прогрохотали шаги и чужой голос:

— Н-ну?

— Пусти, пленный! — спокойно и просто сказала мать, будто разговаривала с Мишкой. — Я скажу... Все равно ведь узнаешь!

Вслед за этим Мишка услышал глухой мягкий удар, треск перегородки и слабый стон матери. Он вскрикнул пронзительно, изо всех сил, и глухое эхо кадки настигло его в хате. Мать сидела на полу и одну руку прижимала к груди, а другой загораживала двери в чулан. У окна стоял высокий чужой человек с бритой головой, в огромных ботинках с длинными голенищами, униженными двумя рядами блестящих пистонов. Наклонив голову, он долго разглядывал Мишку и, бросив неслыханное еще Мишкой ругательство, ушел из хаты.

2

Пленный! Это слово выросло в Мишкином воображении во что-то огромное и серое, с грохочущими ногами в невиданных ботинках, с узкой бритой головой и круглым ртом, выталкивающим брань. В остаток ночи он не разжал своих рук на теплой шее матери и придумывал для нее все новые недлинные и ласковые слова. Мать плакала, и плечи ее вздрагивали, а Мишка был уверен, что она смеется. Поверив, что в их хате снова все пойдет по-прежнему, он уснул, а утром явился пленный и больше не уходил...

С этого дня Мишка ночевал в чулане, на узкой лавке, где стояли горшки. В темноте к нему каждый раз долетали из хаты обрывки непонятных слов плен-

ного — он убеждал мать что-то сделать, а она не хотела.

— Нет. Лучше меня. Он не виноват. Он...

Дальнейшие слова ее заглушали удары — размеренные, мягкие, сильные.

— Эх! Эх! — кричал пленный, будто колот сырые дрова, а мать молчала.

По утрам Мишка разглядывал ее лицо. Оно было обычным, только чуть-чуть желтоватым, и он просил:

— А ты спи со мной. Я подвинусь. Уляжемся. А «он» пускай там один... дур-рак!

— Молчи! Только молчи, — испуганно повторяла мать. Она тяжело двигалась по хате, подолгу сидела на лавке у окна и все просила Мишку принести ей пить. — Вот глотну — и будто легче. Болит у меня вот тут... болит, — жаловалась она.

Смуглыми весенними вечерами на крышу их хаты прилетал сыч. Он садился у трубы и кугыкал, смеялся и плакал, а мать с тоской говорила Мишке:

— Отгони его, сынок. Это вещун. Не к добру он...

Мишка набирал в подол рубахи подтаявших кизяков и швырял их на крышу хаты. Сыч перелетал на сарай и оттуда кликал беду до полуночи.

В такие вечера Мишка был особенно ласков с матерью, но у него не хватало слов выразить ей то, что он испытывал.

— Мам, а мам! — в десятый раз спрашивал он. — А сколько тебе годов?

— Двадцать восемь, сынок.

— Ого, сколько много! — дивился Мишка. — А мне?

— А тебе скоро шесть.

— Мало.

— Потом будет больше...

— Бу-удет! — обещал Мишка, словно грозил кому-то.

К лету мать уже редко вставала на ноги. Пленный сам варил себе суп, но в маленьком чулане ему было тесно, и под его красными руками опрокидывались горшки. Он топал ногами и рычал, а Мишка весело смеялся.

— Молчи! Только молчи! — просила мать и желтой рукой прикрывала рот Мишки.

Однажды к ним в хату пришел дед Васак. Мать при-

встала на локте и умоляюще взглянула в суровые глаза старика. Но он отвернулся и подошел к пленному:

— Ты вот что, Григорий... Ты не очень-то измывайся над Маринкой, слышишь? А то теперь у нас, знаешь, не прежние времена! Теперь...

Пленный не дослушал. Он подступил к деду, обнял его поперек живота и вынес во двор...

Мать тихо умерла душной летней ночью, и на всю жизнь Мишка запомнил ее шелестящие, прерывающиеся слова:

— Как же ты будешь жить теперь, приبلудушка ты моя несчастная! Зря я тебя не придушила вовремя, песенка ты моя полуночная...

3

Дед Васак как взял Мишкину руку на кладбище, так и не выпустил из своей корявой прохладной ладони, пока не пришли в село. Дедова хата стояла на самом краю глубокой балки, разрезавшей село пополам; хата была низенькая, густо заросшая вокруг старыми кустами крыжовника, и в балку, к ключу, сбегала от нее извилистая тропинка.

— Ты зови меня, голубь, дедушкой Васильем, — сказал дед Мишке, вводя его в хату. — Спать мы будем таким манером: весной вот тут, — показал он на постель, — летом на бахче, а зимой на печке. Насобираем с тобой за лето кизяков в степи, лучовок от подсолнухов на своем огороде да солома будет — и протопимся, а?

Мишка кивнул и впервые после смерти матери заревел безутешно и горько...

На третий день улица встретила Мишку новыми кличками — «Васаков объедала» и «Ничей сын». Они не казались обиднее знакомых уже прозвищ, но были понятнее Мишке и будили в нем невеселые думы. Через неделю он нашел в огороде порванную кошелку, зачинил дно ее и тайком от деда ушел на речку. Покойная и чистая, она высыхала в летние месяцы так, что превращалась в ручей, и Мишка не раз видел, как дразнившие его ребята ловили там рыбу.

В тот день он принес домой три пескаря величиной с дедов палец, в следующий раз — пять, а на третий день дед Василий серьезно посоветовал:

— Сделай-ка, голубь, перерыв. А то ты выловишь в речке всю живность, и на развод ничего не останется... Да и штанам надо просохнуть, а? Пойдем-ка лучше на бахчу. Там, кажись, кавун один поспел...

За селом, там, где кончалась балка и начиналась степь, зрела дедова бахча. Под сникшими от жары листьями лаково блестели кавуны, пестрели дыни и тыквы, а посредине бахчи стоял широкий соломенный курень. Мишку поразила беспредельность степи, безлюдье и тишина, а ночью, когда легли спать, степь начала шевелиться, вздыхать, и из ковыля в курень приплывали невнятные звуки и шорохи.

— Кто это там, дедушка Василий? — шепотом спросил Мишка.

— Степь. Это она к дождю готовится, голубь. К грозе... — В темноте дед нащупал Мишкину голову и долго не отнимал свою руку. — Ты вот спросил меня, а я вспомнил одну историю, — сказал он и замолчал, словно раздумывая, продолжать ли? Мишка в это время вздохнул, и дед решил: — Несколько лет тому назад, вот такой же ночью, лежал на твоём месте один человек... И большой был, и смелый, а степи тоже боялся. Только там другое дело было... Мал ты еще, голубь, несмышлен, а то рассказал бы я тебе, как все это было...

— Расскажи, дедушка Василий. Все равно гром подходит, — попросил Мишка.

— Подходит, слава Богу. Пора ему... Ну, ладно, слушай. Семь лет тому назад, вон там, в степи, у Кобыльего лога, конница белых порубала отряд матросов. Красных, значит. Их, видишь, не много было, наших-то моряков, человек восемьдесят, а белых до чертовой матери. Три казачьих сотни, чуешь? Ну ладно. Ночью лежу я в курене, вот как теперь, и слышу: «чак!», «чак!» — кавун кто-то кулаком ломает. Время тогда было такое, что человек меньше любой незрелой дыни значил, а потому я... не захотел поглядеть, что там такое. Только слышу — «охх!» — протяжный такой стон, с мужской болью. Выглянул я из куреня, а ночь — хоть глаз выколи — ничего не видать. Подождал я, да и спросил, кто, мол, там? Молчит моя бахча, и, по правде сказать, жутковато мне стало...

Мишка зашуршал соломой, подтягиваясь с зипуном к деду.

— Тогда я еще разок окликнул, погромче. «А ты сам кто?» — спрашивают меня издали. Я назвался. «Ты один?» — «Один», — говорю. «Ружье есть?» — «Зачем оно мне, — отвечаю, — я человек мирный». — «Ну, тогда пойдя ко мне, — просит, — только не носи ничего в руках...»

— Ты подошел, дедушка Василий, да? — страстно спросил Мишка.

— Подошел, голубь.

— А матрос что? Он был порубанный?

— Порубанный. Плечо и бок у него разворочены были саблей, сам весь в крови, а наган и бескозырку не бросает... Да ты почему знаешь, что это матрос был? Может, мать рассказывала, а? Нет? Ну, слушай дальше... Стал я его в курень тащить, а он как охнет от боли! Ну, я возьми и предупреди его, что в селе, мол, белые, надо поаккуратней. Ух, как он стал браниться! В жизни не слышал я такой длинной ругани! Он, видишь, думал, что на восток ползет, к Большим Дворикам — там, по его расчетам, свои должны были стоять, а попал видишь куда?

— Это еще хорошо, дедушка Василий, что он к нам... Что он на кавуны попал. А то б... знаешь? Если б его белые... правда?

— Во-во!.. В курене он сразу попросил пить и весь кувшин прикончил, а потом и спрашивает: «Не продашь белякам?» — «Да что ты, — говорю, — браток! Я ить сам был в матросах!» Ух, как он обрадовался, аж привстал с места. «Когда, на чем ходил и по какому морю?» Рассказал я ему, что служил в свое время в Севастополе на брандвахте «Николай Угодник» и что опасаться ему меня нечего. Вижу, повеселел человек. «Ну, добре, брандвахта, верю я тебе, — говорит, — но мое дело скверное, пыль набилась в раны, и как бы я не сыграл в ящик, а мне это нельзя сейчас...»

У меня был рушник с собой. Разорвал я его вдоль и хотел перевязать матроса, но подумал, что без промывки нельзя. А воды-то нет! В село он меня не пустил. «Перевяжи так», — говорит. Ладно, перевязал. И вот тут-то и началось! Суслик ли пискнет, шорох ли какой шумнет — матрос так и привскочит с наганом: «Они?» И так всю ночь. А на заре у него бред начался. То он «Смело, товарищи, в ногу» поет, то в бою командует, то ругает меня белым бандитом...

— А потом что? — торопил Мишка.

— Потом? — медлил дед. — Потом была длинная история, голубь. Но сначала, утром-то, на бахчу приехал казак. За кавунами...

— А ты б ему скорей дал их, чтоб он уехал!..

— Этот-то уехал... А вот другие следом явились.

— А матрос что? Они его... убили?

Дед Василий долго не отвечал, и Мишка дважды повторил вопрос сиповатым голосом.

— Глуп ты еще, малый! — вдруг сердито сказал дед. — Насчет того, что это матрос на бахче ночью охал — ты догадался, сумел постичь. А вот то, что он жив остался и... другое прочее — не осилил! Спи, конец доскажу, когда поумнеешь...

4

Уходило лето, и дед с Мишкой много работали. У южной стены хаты, прямо под окнами, они сложили подсолнечные будылья, кучи картофельной ботвы и конопляной падалицы. Мишка, принося в мешке сухие серые лепешки, убеждал себя и деда:

— Протопимся!

В ту осень деда выбрали председателем сельского комитета бедноты, и уже на второй день он пошел к пленному и вернулся домой с узлом. В нем лежала старая кофта Мишкиной матери, онучи, теплый полушалок и Мишкин картуз без козырька.

— Отдал? — коротко спросил Мишка.

— Попробовал бы он затаить теперы! — значительно сказал дед.

Он урезал рукава кофты, а широкие полы убрал в талию, сплел по Мишкиной ноге лапти и хотел пришить к картузу козырек, но раздумал:

— Не нужно. Ты в нем как матрос...

В этом наряде Мишка встретил зиму.

Оттого ли, что кофта сидела нелепо и были велики онучи, или потому, что он был «Васаков объедала» и «Ничей сын», только улица упрямо и тупо преследовала Мишку. С ровесниками он смело вступал в драку и почти всегда выходил победителем, но тогда им на помощь приходили взрослые. Сосед пленного — длинный рябой богатей по прозвищу Зык — ловил на улице Мишку, зажимал его голову в своих коленях и скликал

ребятишек. Мишка не плакал, потому что дед учил его не жаловаться.

— Ты, голубь, держись. Обижают — сдачи давай! Не хватает в руках силенок — головой думай, как помочь себе. Но не плачь. Не обижайся. Не проси. Люди слабых не любят...

С наступлением холодов обладатели санок и лыж укатали по склону балки гладкую дорогу. Мишка приходил на гору, становился поодаль от счастливцев, но скатиться на чьих-нибудь санках не просил — не верил в то, что ему дадут их.

И он стал караулить, когда на реке не бывало баб. Присев на краю проруби, он окунал в воду подошвы лаптей до тех пор, пока они не покрывались льдом. Лапти тогда становились звонкими и на гору приходилось влезать на четвереньках...

Он становился у начала дороги и, пригнувшись, распахнув полы кофты, под крик и хохот устремлялся вниз. Из-под лаптей тогда вырывался тугой свистящий шорох, в ушах звенел и рвался ветер, и все, кто был на горе и внизу, затихали и следили за Мишкой. Он знал, что все ждут его падения, и оттого не падал. Подпрыгнув, он оборачивался к горе и кричал:

— Черта с два я вам треснусь!

После этого, дома, Мишка ел толченую картошку с конопляным маслом, а дед внимательно исследовал его лапти.

— Протер... Опять протер на шестом дне! Хоть бы ты до Рождества доносил, а?

Мишка божился, что обязательно доносит, залезал на печку и зарывался в горячее, сохнувшее там просо. Немного погодя с края пристраивался дед, и, когда Мишка, разомлев, вскрикивал во сне, он нащупывал в темноте его голову и спрашивал:

— Ты чего, матрос?

— А я все лечу и лечу! — сквозь сон объяснял Мишка. — А высоко так — аж страшно!

— Ну, расти, расти, — поощрял дед, — да гляди, дураком не вырасти... вроде Зыка. Длинные — они всегда как бы с придурью, — рассуждал он, но тут же спохватывался: — Хотя на кого как. Вот у нас, к примеру, служил на брандвахте... Да ты, никак, спишь?

— Н-нет, — сонно отвечал Мишка.

— А чего ж ты носом высвистываешь?

— Просо туда попало, — просыпался Мишка и подлезал к деду: — А как его звали?

— Кого?

— Что служил на брандвахте?

— А там их, голубь, много служило. Всех не упомнишь.

— Ну, а который длинный-то?

— Длинный? Это кто ж такой?

— Вот ты какой, дедушка Василий! — обижался Мишка. — Начал рассказывать и забыл про что! Только зазря разбудил меня... Я б, может, знаешь куда залетел уже!

— Ну, спи, спи! — ласково бубнил дед. — Спи, голубь.

На Рождество в селе во всех хатах ели студень, и в полдень на реке начинались игры в бабки. На железную пуговицу с орлом Мишка выменял две бабки и вскоре набил полную пазуху холодными и скользкими костяшками. Под конец в игру вмешались взрослые, и Зык, проигравший Мишке четыре бабки подряд, достал из кармана горсть мелочи.

— Ну-ка, ты... — нечисто обозвал он Мишку. — Бей!

В расщелину льда он укрепил двадцатикопеечную монету, разогнался и огромными мягкими прыжками отмерил двадцать шагов.

Монету Мишка не видел, но всем своим телом запомнил ту точку, где она стояла. Упершись лаптем, он нацелился и метнул кость. И по тому, как охнули, свистнули и улюлюкнули игроки, он понял, что монета сбита! Он рванулся вперед, ликуя за себя и за деда, и, когда протянул озябшие руки за призом, Зык с разгона подбил его лапти правой ногой, наступив на монету левой. Мишка хрястнулся затылком об лед и, как часто с ним бывало во сне, вдруг взвился куда-то высоко-высоко и полетел, невесомый и бескрылый...

5

Ручей в балке бушевал дегтярно-черным потоком, а желтая степь уже дымилась паром, когда дед в первый раз с Рождества вывел Мишку из хаты.

— Весна, голубь. Гляди-ка, благодать какая... Летом нам опять хорошо будет. На бахче хоть и упадешь — не расшибешься...

— А я зимой не падал сам. Это меня Зык, — возразил Мишка и пристально поглядел в степь. — Вот как подсохнет все да поднимется ночью ветер, я тогда... и подпалю! Будут знать!

Дед медленно поднял лохматые брови и не сразу спросил растерянным и тихим голосом:

— Какой ветер, голубь? Что подпалишь?

— Зыкову клуню... И хату! И закуты... А через него пленный загорится — и пусть!

— Какой пленный? — изумленно охнул дед.

— Тот... что маму убил и тебя в лопухи закинул...

— Дитенок!.. Да как же это я не уберег тебя... Голубь! — Дед расслабленно опустился на завалинку. Колени у него дрожали, а рот оставался открытым. Мишка просунул свои руки под воротник кожуха деда и обнял его морщинистую шею.

— Ну чего ты такой стал, дедушка Василий? Не надо...

После этого дня дед и Мишка были всегда неразлучны. Казалось, что между ними вспыхнула еще большая дружба, но Мишка замечал, как дед подолгу сидел теперь задумчивый и строгий, произнося про себя одни и те же слова: «Пропадет... Озlobят они его. Затравят...»

По ночам, а часто и днем, он рассказывал теперь Мишке бесконечные истории про злых и добрых людей. Злых было совсем немного на свете, добрые же были повсюду. И выходило, что везде, особенно в матросском Севастополе, жили хорошие и ласковые люди, — без взаимных обид и злобы, без оскорблений и мести. В это очень хотелось верить, особенно по праздникам, когда звонил колокол и село было добрее к Мишке.

Но однажды он спросил деда:

— А белые — кто?

— Белые? Они... как бы тебе сказать... они больше из богатых. Белые, значит.

— А чьи они были?

— Свои. Расейские.

— За что ж они тогда порубали... того матроса, раз свои?

— А он, видишь, красный был. За бедный народ стоял...

— Вот... теперь я знаю, кто Зык! Он — белый. И пленный тоже. И все белые! Только мы с тобой одни

тут красные. У нас сроду не было мяса, ни молока, ни студня... Одни кавуны да кулеш... Как подпалить бы всех, так знали б!..

После этого разговора дед три дня подряд ходил в сельсовет и возвращался домой угрюмый и недовольный кем-то. С Мишкой он был особенно ласков, — откуда-то принес несколько кусков сала, корзину яиц и три раза в день жарил яичницу.

— Ешь, голубь. Крепни... — Он все хотел что-то еще сказать, но принимался нюхать табак и чихать.

Через неделю такой жизни у Мишки округлились и порозовели щеки, и даже ходить он стал почему-то вразвалку. В это время дед досказал ему конец истории с порубанным матросом. Нет, его не убили белые. Два месяца он пролежал в чулане дедовой хаты, а когда раны зажили, дед Василий с Мишкиной матерью проводили его ночью в степь, на восток...

— Стало быть, знай: отец он твой... Александрович ты.

Мишка удивленно и радостно взглянул на смущенного деда, потом мечтательно отвел глаза в степь, улыбнулся, но вдруг насупился и опустил голову.

— Не мог он тогда мать забрать, голубы!.. Не мог. Мы про то думали, и он хотел этого, да я отсоветовал. Так надо было... А после, видишь ты, может, и погиб он, отец-то, а может, и жив где...

Наступило лето, и дед с Мишкой перебрались на бахчу. Теперь не было дня, чтобы дед Василий не рассказывал разные светлые были о море, моряхах, о Севастополе. И как-то само собой вышло: Мишка понял, что ему надо уходить в этот город. Но когда дед прямо сказал об этом, Мишка с тревожной надеждой поглядел в его светлые глаза и проговорил:

— А я в школу пошел бы осенью...

Дед замотал головой:

— Задержают... Заплюют тебя там, голубь. Бирюком научат жить сызмальства, кулачным бойцом, а то и похуже... Сердце у тебя, на беду, звонкое! Не сумеешь ты пройти тут мимо всякого... Зато там, куда уйдешь, мимо тебя тоже не пройдут люди! Там давно советская власть в силе, голубы! А тут пока... Зыки! Да с ними мы справимся. Справимся! Потом и ты поможешь...

Однажды на рассвете дед осторожно разбудил Мишку. Он долго молча гладил его голову своей шершавой ладонью, потом негромко сказал:

— Пора.

Степная роса была теплой и обильной, и босые ноги Мишки хорошо отмылись от грязи. Он шел как-то боком, скрывая глаза от деда, а дед тоже все время глядел куда-то в сторону и поминутно нюхал табак.

Далеко в степи, когда вышли к шляху, дед остановился и повесил на Мишкино плечо сумку. В ней лежали хлеб, сало и вареные яйца. Потом из-за пазухи достал сверток.

— Вот тут в холстинке документы твои, голубь. Там все про тебя сказано — кто ты и откуда. Все в них правильно, только года... на два больше. Девяти лет, видишь ты, в юнги можно попасть, а семи — едва ли. Лежат там еще два червонца денег. Это на дорогу тебе нужно будет... А как доберешься до своего города, так ищи на улице матроса. Любого. Только чтобы матрос или командир был. Ты тогда подойди к нему и отдай свою холстинку. А уж он тебя не оставит после. Не бросит. Ты ему свой!.. Запомнил? А на них не злись, — кивнул он на невидимое село... — Бедные они, оттого некоторые и...

— Да-а, бедные! — угрюмо сказал Мишка. — У каждого прошлогоднее сало...

Дед грустно улыбнулся и нежно обнял Мишкины плечи:

— Неведомушка ты еще. Не о том я говорю. Не все же там Зыки! Ну, да потом сам все поймешь. Иди! Иди с Богом...

Медленно, толчками, то и дело оглядываясь назад, Мишка уходил в тот большой и добрый мир, который создал в его воображении дед Василий.

6

Проходили годы.

Без Мишки раскулачили в степном селе Зыка и еще многих. Без него дед Василий почти два месяца ходил в председателях наспех организованного колхоза, который пришлось потом создавать сызнова. Всякое было в жизни села за эти годы, разное случалось и с дедом. С поста председателя его перевели в бригадиры, но у него уставали ноги, и он перешел хозяйничать на колхозную бахчу. И все шло хорошо, все было так, как и задумано раньше, но застрял в дедовом сердце больной занозой

зой Мишка; будто отколупнул он от дедовой души и унес тогда, босой, кусочек такого, без чего деду неуютно было в его долгой жизни...

В первые годы часто, а потом все реже и реже приходил дед на почту.

— Нету?

— Нет, Василий Игнатьич. Нет пока, — сочувственно отвечал письмоносец.

— Должно было уже прийти, — говорил дед раздумчиво, потом сидел для приличия несколько минут и шел домой. «Забыл... Что же, не внук же он мне? Не свой... Эх, голубь, голубы! Не думал я такого, не гадал...»

На смену этому тягостному чувству обиды всегда потом приходила тревога. «А может, его и в живых давно нету? Долго ли? Особенно если под вагон угодил на чугунке... А то и к уркаганам мог попасть. Он когда еще говорил «под-палю!». Вот, может, и сжег себя... а через него и я сотлел. Эх, голубь-голубы!..»

И дед все больше становился молчаливым и задумчивым, худел и не следил за своей одеждой.

...В засуху степь озарялась далекими ночными сполохами. Дед выходил из куреня, садился у очажка и думал: «Так и ты. Полыхнул — и сгас. А что пользы-то? Сухота одна да томленья!»

Однажды осенней ночью к его хате быстро вышел из балки высокий стройный человек, одетый в форму курсанта военно-морского училища. Он оглядел подсолнечные будылья, сложенные у южной стены хаты, и зачем-то потрогал их руками. Потом постучал в окно.

— Кто там? — спросили изнутри хаты. Голос был слабый и дрожащий, но человек в морской форме обрадованно засмеялся:

— Это я, дедушка Василий! Михаил...

— Какой Михаил? Чей? Не пойму я...

Дед не скоро открыл дверь и на пороге увидел матроса. Вглядевшись в него из-под руки, он охнул и попятился в сени.

— Господи Иисусе! Никак, ты опять, Александр!

— Дедушка Василий... Это я, Михаил... Забыл?

— Голубь... Матрос... Ты? — Дед тяжело ступил вперед и ткнулся головой в плечо курсанта. — Родной

ты мой... Сукин же ты сын, а? Нешто можно было так делать? С форсом хотел явиться... С шиком! А меня исстрадал всего, измучил... Голубы!

Моряк крепко обнимал деда обеими руками и говорил, как тогда, в детстве:

— Ну чего ты такой стал, дедушка Василий? Не надо...

1953

ШТЫРЬ

...Незадолго до событий в Сараеве в одном из южных городов России вышла тоненькая книга стихов Александра Верхоланцева «Водоросли». Спустя полтора года на фронте прапорщик Верхоланцев неловко схватил за локоть своего батальонного командира Вревича, когда тот занес кулак над головой солдата Половинкина из взвода, которым командовал Верхоланцев. Вревич пнул солдата носком сапога и стал рвать наган, застрявший в кобуре. Но, опомнившись, смолотый гневом и удивлением, Вревич спрятал руки за спину и задушенно заорал на своего младшего офицера:

— Молокосос! Еще раз посмеете позволить себе это, и я вас расстреляю перед строем батальона! Паршивая водоросль-недоросль!..

Через час, встретившись с Верхоланцевым в узком ходе сообщения, командир роты поручик Рябцев остановился и, глядя куда-то в сторону неприятельских окопов, сказал:

— Послушайте, Верхоланцев... Разве вы не знаете, что ваш чин не дает вам права без просьбы старшего офицера приходить к нему на помощь даже в том случае, когда он нуждается в этом? Вы ведь хотели поддержать штабс-капитана, когда он падал... Не так ли?

— Никак нет, господин поручик! — сказал Верхоланцев. — Я удержал его руку, когда он...

— Вы болван, прапорщик! — перебил Рябцев. — Извольте показать на следствии так, как вам советуют... Или ждите больших неприятностей!..

Ночью в землянку Верхоланцева украдкой пришел Половинкин.

— Ваш бродь, а ваш бродь, — позвал он из темноты.

— Чего тебе? — слабо отозвался из-под шинели
Верхоланцев.

— Я тут принес, ваш бродь... Надясь, когда мы ходили с вами за «языком», так я обнаружил у германца... — и, подступив к нарам, Половинкин торкнул прапорщика чем-то лохматым, теплым и мягким.

— Что это? — дернулся Верхоланцев.

— Собачка... Она, ваш бродь, как живая! И гавкает, ежели надавить пузо...

— Не надо... слышите, Половинкин! Не нужно мне, — сдавленным голосом попросил прапорщик, садясь на нары.

— А я, вишь ты, думал... потому она нам тоже ни к чему, — грустно вздохнул в темноте солдат, помолчал минутку и, чавкая мокрыми сапогами, ушел...

Под утро батальон был внезапно поднят и брошен в атаку. Потеряв две трети личного состава, взвод Верхоланцева захватил три вражеских орудия вместе с прислугой. При этом Верхоланцев был тяжело ранен и отправлен в тыл.

В тылу он пробыл долго, и, когда, навестив отца, учителя церковноприходской школы в селе Гливы Льговского уезда, вернулся на фронт, от той неизбывной и беспредметной грусти, которой были подернуты его «Водоросли», не осталось и следа, — теперь подпоручик Верхоланцев писал другие стихи: о социальной революции, которую представлял себе как наивно-трогательное человеческое событие сиреневым русским вечером, как праздничный хоровод выдуманных им див на ромашковом лугу в Гливах...

Он еще много раз бывал в боях, потом на митингах и полковых комитетах, и там, алая раной шелкового банта на неширокой груди, самозабвенно призывал русскую солдатню и офицерство надеть в душе бело-розовые одежды всеобщей любви и единства, а на головы — венки братства, свитые из степного ковыля и васильков... Солдаты слушали подпоручика молча: офицеры вначале любопытствовали, затем морщились и злились, потом какой-то грузинский князек-ротмистр выстрелил в него прямо на митинге и не попал. Солдаты обезоружили и малость побили князька, а Верхоланцеву сказали:

— Нам теперь все одно — можно и про божествен-

ное, но ваши, вишь, против. Так ты, в случае чего, беги к нам. Выручим.

Вьюжным зимним днем 1917 года Верхованцев пристал к группе солдат, бросивших фронт, и кое-как добрался с ними до Петрограда — город, где только что свергли царя, манил его к себе, как невеста, которую он никогда не видел и любил заочно. Всю долгую дорогу в вонючей, промозглой теплушке он легко и радостно мечтал, рисуя Петроград, затопленный солнцем и праздничным народом, поющим стройную песню о встрече со счастьем.

Но город был хмур и неуютен. На мостовых и тротуарах лежал толстый слой жидкого, гнойно-желтого снега. Хмурые люди с молчаливым остервенением куда-то шли разрозненными кучками, и снежная слякоть под ногами у них шипела отвратительно и зловеще. У проходивших мимо него людей были черные, хорошо прокопченные лица, и кутались люди в черные пиджаки, пальто и саки; над темными крышами домов с озлобленным граем металась трепетная стая галок и плыл щемящий душу, то и дело прерывающийся осиплый вой заводских гудков, будто они давились сажей.

А на Невском изысканные шляпы дам цвели сплошным малиновым цветом, и бобровые воротники дородных мужчин, казалось, истекали каплями свежей крови — всюду банты и ленты, ленты и банты, и Верхованцев с облегчением подумал, что революция в стране все-таки совершилась.

Потерянная было на окраине города радость вернулась к Верхованцеву. Он бродил по Невскому, накапливая в сердце музыку новых стихов о неизжитой любви к миру. Стихи выходили стройные и задушевные, но Верхованцев чувствовал, что им не хватало внутренней трагедийности и яркости, — город не дал полного повода к такому движению души Верхованцева, ибо он не застал в нем того, что хотел увидеть.

И вдруг Верхованцев остановился, пронизанный током полного восторга, недостававшего его вдохновению: с перекатным грохотом и звоном мимо промчались несколько колесниц, запряженных величественными, будто сбежавшими со старинных картин воронными конями. Картинно клонясь вперед, на колесницах стояли величественные люди в огненных шлемах и с красными бантами на своих парусиновых одеждах.

— Римские воины! — изумленно воскликнул Верховланцев.

— Пожарная сволота! — с мрачной бесстрастностью сказал стоявший рядом человек в поддевке с оторванной полрой. — Окружной суд на Шпалерке едут тушить. Подожгли, слава Богу!..

— Кто? — машинально спросил Верховланцев.

Человек в поддевке глянул на погоны Верховланцева, но ответил прежним тоном:

— Мы!.. — и неторопливо пошел прочь, деловито засовывая красные ладони в узкие рукава. За спиной Верховланцева кто-то проговорил хорошо поставленным бархатным голосом:

— Небольшие эксцессы сейчас не только неизбежны, но даже необходимы. Иначе мы не ощутим всей остроты революционного момента; а наши потомки — его величия!

По направлению к Шпалерной чистая публика шла гуляючи, туда же торопился рабочий и мастеровой люд. Верховланцев пошел вслед за всеми сначала обычным шагом, потом почти побежал и на углу Литейного столкнулся со странной процессией: два солдата с винтовками наперевес вели куда-то третьего. Тот понуро шагал в шинели без ремня и погон: толстой бечевкой к бокам его были привязаны две длинные жерди, на концах которых, над головой арестованного, выгибался под ветром черный плакат: «Я есть вор!!!» На груди опозоренного солдата, удивительно похожего на памятного Верховланцеву Половинкина, висел на ремне зеленый сундучок с раскрытым замком. Верховланцев остановился, поежился, как в ознобе, и вдруг крикнул:

— Солдаты! Стойте! Что вы делаете? Это же... унижение достоинства отныне свободного человека!

Солдаты остановились. Один из конвойных, помоложе, неторопливо повесил на плечо винтовку и застенчиво спросил своего напарника:

— Может, отпустим его, Митрич?

— Так отпустить можно, — ворчливо отозвался усатый и обернулся к Верховланцеву. — Человек-то этот для нынешней жизни недоделанный, вот какая штука. У своего же брата-солдата махорку стырил, сволоочь. А как его наказать, когда в нашем Волынском полку полная теперь свобода и безвластие? Вот мы и присудили

его к страмоте! Чтобы провести в таком виде по главнеюшим улицам...

— Но... человечно и разумно ли это? — сказал Верховланцев и смолк.

— А вы гляньте на его рылу, уразумел он свою вину или нет? — спросил усатый и тут же скомандовал: — Ну, хватит толковать, пошли. Нам еще на Парадную нужно...

На Шпалерной улице горел большой черный дом. Из его многочисленных продолговатых окон с тугим натужным воем выбивались языки пламени, и Верховланцеву показалось издали, что дом оброс светлыми крыльями и вот-вот взлетит. Горящее здание было окружено плотной толпой народа. Люди стояли спиной к нему, а напротив на мостовой теснились пожарные. В пропитанном гарью воздухе метались тяжкие, как булыжники, слова. Верховланцев понял, что толпа у дома отстаивает его гибель, не подпуская пожарных. Он подошел к этим людям и стал на самом краю тротуара. И сразу же в грудь ему с шумом ударилась и с напряженной живой силой стала валить наземь синяя струя воды. Верховланцев запрокинулся на спину, но там его услужливо поддержали и выпрямили, а водная струя начала быстро перемещаться по всему его телу, с головы до ног и обратно. Заслоняя лицо растопыренными пальцами, Верховланцев увидел далеко против себя деловитую кучку золотоголовых людей; один из пожарных, оставив ногу и наклонясь вперед, тщательно целился в него из короткого блестящего брандспойта.

— Мерзавцы! — слезливо крикнул Верховланцев и стал расстегивать скользкую кобуру нагана. В толпе весело смеялись, но, когда Верховланцев обнажил револьвер, кто-то твердо сжал его руку и спокойно сказал:

— Этого не нужно, гражданин офицер. Мы и так с ним справимся... А вы продвиньтесь сюда, поближе. Тут и спрячетесь за нами и обсохнете...

С этого дня у Верховланцева началась пустая и неприкаянная жизнь в столице. Он поселился в мебели-рашке на Мойке и сообщил отцу свой адрес. Старик понял намек и, поздравив его с демократией, прислал немного денег.

И снова начались митинги. Штатские люди в золотых пенсне и в защитного цвета френчах произносили пламенные речи о продолжении войны во имя спасения

революции, и, если бы Верхоланцев не знал окопов и видел в Петрограде ту революцию, которую он придумал тогда в солдатской теплушке, он пошел бы на фронт. Теперь же, возвращаясь по ночам к себе в номер, он писал стихи о потерянной юности и радостные письма отцу без намека на то, ради чего они писались.

Весной он вступил по совету и рекомендации сына своей хозяйки — юнкера — в «Звездное общество». В большой и пышной квартире на Невском собирались какие-то синеликие, загадочно молчаливые мужчины и женщины. Они сходились ровно к двенадцати часам ночи, падали на колени перед огромным изображением Демона, окорячившим планету Венеру, и пели в честь его гимн, сложенный из слов, вгрызавшихся в Верхоланцева как взбесившиеся крысы. Затем синеликие ложились на ковры, молча пили дорогие коньяки и вина и молча предавались откровенной любви... На третьем посещении «Звездного общества» Верхоланцев прострелил Демона и сбежал от людей, для которых так странно померкли звезды...

Он состоял несколько дней членом анархистского «Союза вольных людей», потом прибил к «Организации русских офицеров», но те оказались обыкновенными монархистами, заподозрившими в нем немецко-коммунистического шпиона.

Забредая на окраины города и встречаясь с группами рабочих, Верхоланцев ловил на себе их подозрительные, откровенно враждебные взгляды. А в одиночку эти же самые люди были с ним добрее. Однажды он столкнулся с тем самым человеком, который помог ему зимой на пожаре.

— А-а, ну как поживаете? Обсохли?

Человек засмеялся весело, довольный чем-то.

У них завязалась какая-то странная дружба. Они относились друг к другу с нескрываемым интересом, как к диковинным находкам.

— Кто вас разберет, — сказал через некоторое время знакомый Верхоланцева, он работал подмастером на патронном заводе, — или вы младенец по душе, или...

Он не договорил; часто навещал Верхоланцева в мебелирашке, но ни разу не пригласил его к себе.

В июне на Невском, когда Верхоланцев из любопытства пристал к многоликой толпе демонстрантов, огром-

ный рыжий казак на огромной рыжей лошади расположил ему лицо нагайкой, сделанной из козьей ноги. Вечером пришел подмастер и подозрительно спросил:

— Чего же вы не побаловали огоньком казачка? Нагашек-то небось при вас находится?

— Подите вы все к черту! — истерично крикнул Верховланцев. — Все вы тут посходили с ума, и никто не знает, что ему делать и как жить! Никто!

На второй день он уехал в Гливы к отцу. А зимой снова был в Петрограде. Исхудавший, в обтрепанной офицерской шинели без погон, он загнанно слонялся по загрязненным улицам города, мерз, читая на фасадах домов и заборах умопомрачительные по смелости декреты и воззвания новой власти... Непрочный и зыбкий, он понимал, что надо беззаветно верить в человека, чтобы находиться рядом с ним и поддерживать себя и его в этой трудной и непонятной жизни!

А мимо, куда-то в стынь и мрак предместий города шли вооруженные рабочие. Они самозабвенно двигались тесными рядами, и провожали их дети и женщины.

У патронного завода — он, оказывается, находился как раз напротив сгоревшего здания окружного суда на Шпалерной — Верховланцев простоял несколько часов кряду. И дождался — подмастер узнал его издали.

— Все приглядываешься? — спросил он с прежней подозрительной ласковостью. — Что ж, дело твое... Но покуда не пропал, пошел бы лучше сам туда.

— Куда? — шевельнул замерзшими губами Верховланцев.

— В чеку. К Феликсу Эдмундовичу. И рассказал бы ему о себе. Все-все!

Это было удивительно, уже несколько дней имя Дзержинского не выходило из головы Верховланцева. Он думал о нем потому, наверное, что оно звучало для него как-то особенно романтично и обещающе-загадочно, — Дзержинский!.. Обо всем этом он торопливо и сбивчиво тут же рассказал подмастеру. Подмастер понимающе кивал головой и посмеивался, потом обнажил маленький браунинг и «сдал гражданина офицера» повернувшись белобрисому веселому матросу. Тот отвел Верховланцева в ЧК...

Лишь на третий день Дзержинский допросил Верховланцева, он сначала рассказал все, что знал о себе, потом то, зачем хотел видеть его, Дзержинского.

— Вы дворянин? — неожиданно, в упор спросил Дзержинский.

— Нет! — поспешно ответил Верховланцев и под колючим, пытливо-нелегким взглядом Дзержинского вдруг подумал, что ему не поверят, что внешне правдивее звучала бы сейчас неправда о том, что он дворянин. Эта странная мысль повергла его в смятение, он густо покраснел и повинно наклонил голову.

— Так. Ваш приход к нам понадобился вам лично? Или... — напряженным, мучительно-искренним шепотом спросил Дзержинский. Верховланцев не сразу понял страшный смысл этих тихих слов, а поняв, вскинул лицо, вытянулся лозинкой, отыскал своими широко округлившимися глазами прищуренный взгляд Дзержинского и закричал ими о своей боли и протесте.

— Хорошо! — облегченно сказал Дзержинский. — Ваш офицерский чин?

— Подпоручик.

— Чем командовали?

— Взводом.

— Какие системы пулеметов знаете?

— «Максима», «льюиса», «гочкиса»...

Спустя сутки Верховланцев лежал на снежных Пулковских высотах за пулеметом в красногвардейской цепи. Вторым номером у него был веселый белобрысый матрос Кишко...

После разгрома Юденича Верховланцев служил рядовым в роте особого назначения — ловил в Петрограде спекулянтов, воров и бандитов, стоял часовым на охране мостов... А когда жить становилось невыносимо трудно, он шел в ЧК: Дзержинский оказался для него единственным на земле человеком, рядом с которым он снова и снова обретал себя и от кого уходил в разрушенный мир, чувствуя в себе разум и волю, готовые творить.

Во время встреч с Верховланцевым Дзержинский не произнес, пожалуй, и двадцати слов, но от Верховланцева не укрылось, что этот холодновато-сдержанный и одновременно стремительно-пылкий человек беспредельно влюблен в жизнь, в человека, и эта безграничная вера и преданность делали его вождем души Верховланцева. Он молчаливо и благодарно постигал эту чужую страсть к жизни и зажигался сам ровным и каким-то тихим вдохновением.

В предпоследнюю их встречу, уловив на себе горячий взгляд Верхованцева, Дзержинский вдруг посуровел и сказал:

— Вступайте в партию. Пора!

Верхованцев приподнялся с кресла, шумно набрал в грудь воздух, но не удержался и заплакал, стоя по команде «смирно».

А через месяц у Дзержинского произошел недлинный разговор с Верхованцевым о хлебе.

— Гибнут рабочие! Гибнут дети! Вы понимаете? Дети! — крикнул тогда Дзержинский.

— Да. Понимаю. Дети, — шелестящим шепотом ответил Верхованцев.

Свой продовольственный отряд он создал боевым летучим подразделением. Отряд был хорошо вооружен и не уклонялся от прямого боя с регулярными вражескими частями. Комиссара Верхованцева звали в отряде «Штырем». Звали так за длинный стальной жезл, на конце которого рядом с острием была пустотелость для захвата «пробы». Этим штырем Верхованцев шупал соломенные скирды, навозные и торфяные кучи, пронизывал земляные полы амбаров и хат кулаков в поисках хлеба — «Гибнут рабочие! Гибнут дети! Вы понимаете? Дети!»

Б. П. Г.

...Ранение было не опасное, но идти я не мог, и партизаны поручили меня присмотру лесника Андрея Петровича Колюкина, одиноко жившего в лесу в нескольких километрах от Молодечно.

— Пригляди за разведчиком, отец, — угрюмо попросил политрук Березин, — через недельку мы вернемся...

— Добре. Но только чтоб оружия с ним не было, — поставил условие Колюкин. — Так он может за сына сойти, если в случае чего...

За две недели я выпил ведра два зверобойного отвара, — никакого другого лекарства Андрей Петрович не признавал, да в то время его у нас и не было. Рана моя быстро заживала, я каждый день ожидал своих товарищей, но они не возвращались, а покидать сто-

рожку лесника я не имел права — мне было приказано ждать.

Почти каждый день по утрам старик отлучался в близлежащие деревни за пропитанием и сведениями. Однажды он вернулся раньше обычного и еще с порога приказал мне:

— Собирайся, живо! Пронюхали про тебя, сволочи! Эх, вверг ты меня в беду-горе...

Я посоветовал леснику остаться в сторожке, полагая, что, не обнаружив меня, жандармы не тронут его. Но Андрей Петрович вдруг глубоко обиделся:

— Партизан, а говоришь черт-те что! Ведь я же в ответе за тебя перед своей властью!

— Но ты же сам говорил, что в случае чего, я сойду за твоего сына, — возразил я. — И оружия мне не оставил...

— Дурак был, вот потому и не оставил! — сокрушенно признался лесник. — Рассчитывал провести «их»... А как же это можно сделать, когда у тебя и рана, и полушубок, и гимнастерка военные? Ты подумал об этом?

И вот мы вторую неделю живем с Колюкиным в лесу, в стоге сена. Как-то ночью, когда по смерзшейся верхушке стога неугомонно шуршала мелкая ледяная крупа, Андрей Петрович неожиданно сказал:

— Пора!

Я выкарабкался из сена и, подогнув ноги, плавно скатился вниз.

— Принимай «бепеге»! — слышалось сверху копыны.

Петрович тыкал в меня большим железным прутом, выломанным нами из церковной ограды. Этот жезл служил нам тогда единственным оружием. Колюкин сокращенно назвал его «бепеге», что при расшифровке означало «бей по голове».

В самом начале я несколько недоверчиво отнесся к «бепеге», мечтая об автомате, что и высказал Петровичу.

— Это оттого, что ты интеллигент! — с сожалением ответил он мне, словно говорил о моей опасной и неуместной болезни. — Жидковат ты для такого оружия... А «бепеге» — вещь совсем неплохая. Затокарил на первый случай отставшего фашиста по башке, вот, глядишь, и автомат будет...

Петрович любовно покачивал на руках этот пятнадцатифунтовый ломик с причудливой закорючкой на одном конце и соображал вслух уже для самого себя:

— А в случае спешки — и по спине можно. Тоже ладно выйдет...

Но с тех пор старик не доверял уже мне свое оружие и носил его сам, перекинув через плечо на манер коромысла.

На этот раз, как и всегда, Петрович шел несколько впереди меня, раздвигая грудью звонистые кусты орешника. Стоило мне замедлить шаги — и темнота скрывала его широченную спину. Тогда я поспешал на треск валежника, нещадно уминаемого колюкинскими сапогами сорок пятого размера.

Миновав густую гряду смешанного леса, мы вышли на темный холст шоссе Молодечно — Минск.

— Двинемся в сторону Минска, — решил Петрович и загрохотал сапогами навстречу косо падающему ледяному дождю.

По этому шоссе мы прогуливались каждую ночь по несколько часов, пока оно не затихало от шума пронесшихся автомашин и мотоциклов. Как только вокруг нас вздрагивала ночь, прожженная фарами далеко показавшегося автомобиля, мы залегали в кювет и ожидали, пока он промчится мимо.

— Хоть бы пару гранат иметь! — вслух страдал я.

— Да, — соглашался Петрович, — потому как с одним «бепеге» нам не совладать с легковиком, а тем паче с трехтонкой...

Уклонялись мы от встреч и с жандармами, если они шли группами в четыре-пять человек. По вычислению Петровича, коэффициента полезного действия «бепеге» хватало лишь на одного, а в крайнем случае — двух вооруженных фашистов.

Ночей пять я ходил бок о бок с Петровичем по шоссе. Как бы то ни было, но втайне я возлагал кое-какие надежды на «бепеге». Но после того как за это время мы раз пятнадцать плюхались в придорожную канаву, пропуская автомобили и небольшие группы врагов, я окончательно потерял веру в «бепеге» и даже возненавидел это слово.

К концу декабря по белорусским лесам и болотам ударили крепкие морозы. Наша резиденция сквозила, была грустна и одинока. Вид лежащего рядом «бепеге»

нагонял на меня безнадежность и уныние. Петрович же держался ровно, молчаливо.

В ночь под Новый год, когда я перестал ощущать присутствие конечностей тела от нестерпимого холода, Колюкин бурно разбросал слежавшееся сено и сел, окорячив ногами верхушку копны.

— А ведь нынче сочельник! — таинственно сообщил он мне. Я смутно представлял себе, что это такое, и потому промолчал. Петрович подождал с минуту и неуверенно объяснил: — Это праздник такой был. Церковный. При царе. Да вот только позабыл я — подо что он приходится: то ли под Рождество, то ли под Новый год... Ну да все равно. Полицаи обязательно должны справлять его. А потом пьяные будут слоняться, жителей грабить... Пошли в Молодечно. Принимай «бепеге»!..

Над заснеженной землей стыла чуткая, сверкающая звездами новогодняя ночь. Я шел позади Петровича и думал о том, какое черное горе принесли в нашу страну враги, и что-то готовит нам, партизанам, новый, срок третий год!

— Какую красоту на земле загубили, сволочи! — как бы отгадав мои мысли, неожиданно проговорил Колюкин и шумно вздохнул. Перекинув «бепеге» на другое плечо, он прибавил шаг, и не то себя, не то меня успокоил с угрозой в голосе: — Ну да мы, расейские, справимся! Выдюжим! Осилим...

Часа через три мы достигли окраинных домиков Молодечно. Маленький подневольный городок спал, и синюю стынь тягостного забвения нарушал лишь отдаленный вой чьей-то бездомной собаки. Этот нездоровый, вымученный покой по сердцу, видать, пришелся Петровичу. Он шел, минуя переулками центр, гулко, по-хозяйски крякал и то и дело перебрасывал с руки на руку «бепеге»...

Молчаливых рукопашных схваток не бывает. Все, что переполняет тогда вашу душу, что заставляет трепетать ваши нервы и мускулы, — рвется наружу иногда в испуганно-призывном, иногда в грозном и победном крике — смотря по обстоятельствам.

Так было и у нас. Они, фельджандармы, шли втроем, вынырнув нам навстречу в шести-семи метрах. Мы замедлили шаги, и я отчетливо услышал перестук своего сердца под полушубком. Может быть, прав был Петро-

вич, укоряя меня в «интеллигентности», которой против моей воли было противно «бепеге», ибо я — снайпер, и те, в кого мне надо было стрелять, падали на большом расстоянии. Это, как мне казалось, было уже искусство. Искусство бить врага! И поэтому после меткого выстрела я всегда испытывал какое-то несказанное чувство облегчения и удовлетворения...

Теперь же... Теперь надо было вступать в смертную схватку, имея только голые руки, только жажду жить, только ненависть к тем, кто захотел отнять у меня мою родину и мою жизнь. Секунды, отделявшие нас от этой неизбежной схватки, казались мне огромными периодами, исполосованными молниями мыслей, и я уже хорошо знал, что сейчас будет и чем все это закончится: я вдруг понял и безраздельно уверовал в то, что «бепеге» в руках у Петровича — непостижимо грозное и могучее оружие, волей судьбы и правды обречшее на неминуемую гибель чужаков-жандармов в этой нашей новогодней ночи!

Мы с Петровичем не сказали ни слова друг другу. Мы даже не тронули друг друга локтями. Но наши слитые души отчетливо знали, что следует делать каждому.

Я остановился в двух шагах от жандармов и спросил их спокойно и четко:

— Битте, заген зи мир, во ист Тильзитштрассе?

Жандармы затормозили коваными сапогами, Петрович отступил на шаг влево, и —

— Жжжив — пухх!

— Жжжив!..

А я закричал что-то короткое, гортанное и злое, перепутавшееся со стоном и хрипом переднего ко мне фашиста...

...Наутро я проснулся первый и, засунув руку в сено, вытащил три поясных ремня. На двух из них болтались черные лакированные кобуры пистолетов. На одном висел длинный вороненый штык. Я начал проверять наличие патронов в обоймах парабеллумов, и щелк вынимаемых магазинов разбудил Петровича.

— Ожил? — хитровато спросил он меня. — Все никак не нарадуюешься?

— По восемнадцати патронов нам! — сказал я, протягивая леснику пистолет.

Петрович как-то презрительно посмотрел на кобуру,

повертел ее в руках и замедлил взгляд на пряжке ремня.

— А что тут у них написано?

— Готт мит унс. Значит: «С нами Бог», — перевел я.

— Гм, бог... Скажи на милость! А того, видно, не понимают, что чужой бог на русской земле — плох! — Петрович коротко засмеялся, потом проговорил с твердой убежденностью: — Эти пугачи, — кивнул он на парабеллумы, — баловство одно. Не наверняка потому что. Да и шум от них... А ты вот подай-ка мне ножичек...

Водя заскорузлым пальцем по острию кинжала, он смешно шевелил усами. Это значило, что Петрович был очень доволен...

...Прошла зима. Шел май тысяча девятьсот сорок третьего года. Наша партизанская группа насчитывала сто пять человек и была вооружена автоматами, винтовками, пистолетами и гранатами. Как-то ночью мы меняли место стоянки, покидая болотистый лес. На опушке командир остановил людей и начал ориентировать путь. В это время к нему протиснулся Петрович с винтовкой за плечами.

— Я обернусь в момент, — проговорил он, — потому «бепеге» забыл...

1951

ГУСИ-ЛЕБЕДИ

...Вынесу войну,
сто ран приму, но выстою.
Себя верну, любовь верну,
и щедрую и чистую.
Такую щедрую, что в ней
не думал об измене я,
такую чистую, что ей
лишь только ты — сравнение!
А. Недогонов

1

Это случилось ранней осенью, на третьем году войны. Возвращаясь с задания, группа партизан-разведчиков наткнулась на вражескую засаду, и из семи человек на

базу пришел только один. Он был смертельно ранен, но у него хватило еще сил рассказать в штабе о происшедшем. Командир отряда был человеком молчаливым, и радистка Таня узнала о гибели Сергея Марьянова лишь на второй день. Она неслышно вошла в штабную землянку и остановилась у дверей ниши, завешанной плащ-палаткой. Глядя на ее белые губы и изумленно расширенные глаза, командир охнул и произнес почему-то шепотом:

— Ну... вот и ты.

Девушка не заламывала рук и не билась в истерике, она не плакала и стояла молча. Командир сказал, что место гибели партизан осмотрено вчера еще, но, кроме стреляных гильз, там ничего не найдено.

— Значит, они живы! — жарко выдохнула девушка. — Что же вы сидите? Они же в плену... Их мучают — вы понимаете?! А потом его... всех их повесят на крючьях! Что же вы сидите!

Командир не сказал Тане, что наступающей ночью отряд покидает этот лес, но он объяснил, что город, где сосредоточено до двух полков немцев, им не взять.

Он утешал Таню, старательно припоминая слова поласковее, потом подал ей изношенную полевую сумку и снова сказал почему-то шепотом:

— Это книги его...

За штабной землянкой, в кустах ольхи и крушины, Таня раскрыла сумку. Там лежали красный томик Маяковского, «Тихий Дон» и нетолстая тетрадь стихов Сергея Марьянова. Стихи его Таня знала наизусть — они ей нравились едва уловимой грустью о непережитой юности.

Как во сне она перелистала тетрадь. На листке, помеченном пятым числом сентября, сбились в тесную колонку строчки начатого стихотворения:

Без тебя не быть бойцу поэтом,
Без тебя я выстужу жильё;
Без тебя разуто и раздето
Сердце терпеливое мое...

Эта строфа была трижды перечеркнута, и сбоку предельным нажимом карандаша синело: «Не мое, чужое. Не то!»

— Сергей... Сергей! — не слыша своего голоса, по-

звала Таня, продолжая бежать глазами по вымаранным строчкам.

Отшумит тревога грозной были.
Будет день — и я его дождусь:
Не смахнув с ресниц дорожной пыли,
У твоих дверей я постучусь.
Я возьму твои худые руки
Так же, как теперь я их беру,
Расскажу, что в эти дни разлуки...

Зачеркнутую строчку Таня прочесть не смогла.
Дальше шло:

Что я помню час рожденья грезы
О далеком счастье новых дней,
И минуты радости, и слезы,
И дымчатый шелк твоих кудрей.
Все, что я любил в тебе без меры,
Торопясь, волнуясь и горя...

Она не смогла читать дальше и, упав на листья ивняка, закричала, глуша голос рукавом телогрейки:

— Сергей! Сергей!

Пятое сентября! Именно тогда Марьянов узнал, что по заданию командования через несколько дней Таня улетает самолетом на Большую землю.

— Серге-е-ей!!

В этот день Таня дважды еще появлялась в штабной землянке. Она просила и наконец требовала от командира принятия экстренных мер по спасению Марьянова и его товарищей, ибо решительность ее доходила до полного убеждения в том, что двести одиннадцать партизан в состоянии разгромить двухтысячный гарнизон немцев.

— Я вполне оценил твои чувства, Таня, — внушительно сказал командир отряда. — Ты — редкая... нет, ты — настоящая русская девушка, и, видно, хорошо быть любимым такой, как ты. Но послушай меня внимательно. Если я прикажу отряду атаковать гарнизон, партизаны выполнят приказ немедленно и, очевидно, все погибнут. И если мы с тобой останемся в живых, нас надо будет расстрелять за безрассудность этой затеи!..

Ночью при построении групп для следования отряда на новое место Тани не оказалось в радиоземлянке. На железном ящике из-под немецких медикаментов, слу-

жившем радистке тумбочкой, командир нашел записку: «Андрей Дмитриевич! Я взяла две французские гранаты, которые подарил мне Сергей. Пистолет и все четырнадцать патронов оставляю. Запасной аккумулятор стоит у дверей, в углу. Вы снимайтесь и уходите, как решили, а я (это слово было зачеркнуто), а мы вас найдем. Вы же сами говорили, что никогда не погибнет тот, кто твердо верит, что будет жив. Я долго думала об этом и не могу представить себя неживой. Ну как это можно, Андрей Дмитриевич! Не ругайте меня, все будет хорошо. Т. Л. »

— Я тебе покажу «хорошо», чертенок! Сумасшедшая девчонка! Дрянь! Я тебя выпорю самолично, обезьяна московская! — кричал командир и уводил глаза в тень, пряча тревогу за судьбу Тани от окруживших его людей.

Он, видно, верил в невероятные случаи, и оттого приказ еще двум партизанам-разведчикам звучал так лаконично и ясно:

— Найти. Будет упираться — нести на руках. Запомните новое место расположения отряда. Все!

С получасовым опозданием отряд угрюмо двинулся вперед. А на рассвете, километров за двадцать от покинутой стоянки, партизаны встретили группу Сергея Марьянова. Полуобнаженные, залепленные с ног до головы грязью, шесть человек бросились к товарищам.

— Ты где же был? — тяжело задышал командир отряда, глядя на Марьянова.

Доклад того был короток и обычен: нарвавшись на взвод полевой жандармерии, группа приняла бой, израсходовала боеприпасы и, потеряв одного человека, стала уходить в сторону базы. Бежали и ползли самыми трясинными местами болот и топей. На вторые сутки жандармы отстали, и только псы, охрипнув от злобы, не прекращали погони. Но двух задушили руками, а остальные... черт их знает, куда они делись, наверное, тоже отстали...

...Размеренной чередой проходили дни. Падали в боях люди, и хоронили партизаны покойников в местах, недоступных солнцу. В одиночку и группами вливались в отряд бойцы, и они, живые, заслоняли образы мертвых. Неслышной, невесомой поступью мял опавшие листья лесов командир отрядной разведки Сергей Марьянов. Приводя на базу схваченных жандармов, он ставил их

у сосен и голосом, сдавленным горем, почти вежливо спрашивал:

— Вам не приходилось в своих гестапах допрашивать русскую девушку Таню? Нет? А двух партизан-разведчиков, что были посланы на ее розыски, — тоже нет?

Поздней осенью отряд ушел далеко на юго-восток и вскоре соединился с наступавшими частями своей армии.

Близился конец войны.

В бою за тот самый город, куда с двумя гранатами ушла полгода тому назад Таня, гвардии лейтенант Марьянов был тяжело ранен в плечо. В освобожденном городе он лежал в госпитале, размещившемся в здании заводоуправления, у окна с видом на тюремную стену. К ней, почерневшей от времени и не задетой ни единым осколком снаряда, подступила река. Она утекала на запад, и в нее постоянно садилось огромное и лохматое солнце. Тогда река пылала нестерпимо жарко и на черной стене тюрьмы плясали дымно-багровые блики.

В эти минуты у Марьянова всегда начинался бред. Выгибаясь на койке, он порывался к окну, силясь освободиться от грубовато-ласковых рук сестры-сиделки.

— Разве ты не видишь, Андрей Дмитриевич? Не видишь? Они бросают ее в пламя!.. Прямо со стены... Ты что же, Андрей! Пусти... сволочь! Пусти! Таня! Танюша! Потерпи, я сейчас...

Сестра звала на помощь и торопилась опустить на окне штору.

По утрам падала температура. Марьянов лежал тихо и припоминал обрывки вечерних видений: горящая река, сизые фигуры жандармов, бросающие Таню в огонь... А Таня упрямо просит их о пощаде. Да-да, просит! «Как же это она могла?» В голову ее впились две стальные блестящие пластинки, и Таня то и дело трогает их руками. «Что это они сделали с нею?!»

И Марьянов стал нетерпеливо ожидать захода солнца. Ему надо было знать, во что закована голова Тани, и надо было услышать, о чем она просит палачей...

Однажды утром он подозвал сестру.

— Послушайте, — сказал он, — это неправда, будто она испугалась. Ничего подобного! Стальные пластинки на голове — это наушники от радики. От нашей парти-

занской рации, понимаете? И она звала: «Тайга! Тайга! Я — Лебедь! Я — Лебедь!» Это позывные, понимаете?

— Опять ему плохо! — вздохнула сестра и прислонила ладонь к нежаркому лбу Марьянова.

Потом его унесли на третий этаж. Там, в операционной палате, еще от дверей, с носилок, он увидел в широкое окно прятавшуюся за стенкой тюрьму. «Вот она, проклятая прислужница немцев!» — прошептал Марьянов и стал считать черные провалы мрачного здания. «Два, четыре, восемь, двенадцать... В это или вон в то окно Таня видела в последний раз солнце? Наверное, вон в то, угловое, что ближе к реке...»

— На стол. Раздеть! — услышал он требовательный голос.

У главного хирурга госпиталя бородака клином, и ее плотные прямые щетинки выбивались из-под марлевой маски, как иглы. «Злой, должно быть, старый филин», — неприязненно подумал о нем Марьянов, и, будто в подтверждение его догадки, хирург стал резко выговаривать что-то своим помощникам. Марьянов уловил несколько незнакомых слов. «По-латыни — значит, обо мне», — подумал он и, повернув голову от окна, сказал:

— Не надо, доктор.

— Что не надо? — раздраженно спросил хирург.

— Общего наркоза не надо.

— Ну, это, батенька, не ваше дело! Потрудитесь лежать спокойно, — наставительно, но уже без прежней резкости сказал хирург, решив, что его пациент — медик, раз ему знакома латынь.

Но хирург ошибался — Марьянов не знал латинского языка. Лежа в госпитале, он незаметно утерять внутреннюю сопротивляемость здорового человека зримо и возможному злу — веру в благополучный конец любых бед. До этого он жил с тревожной, но постоянной мыслью, что Таня, может быть, и жива, мало ли чего хорошего не случается на свете! Теперь же он уверовал в гибель Тани и испытывал сложное чувство вины за ее гибель. Вид тюрьмы рождал в его мозгу мучительные картины истязаний любимого человека, и он всем телом, казалось, слышал повисший над землей предсмертный крик Тани. Да, в мире жил этот крик, и Марьянов воображал, что ощущением собственной боли он примет на себя частицу Таниной прошлой муки.

— Не надо наркоза, доктор! — упрямо проговорил

он. — У меня слабое сердце... наркоз вреден... и очень крепкие нервы. Можете оперировать, я не буду стонать. Ну пожалуйста, доктор!

— Ну-ну, нечего кокетничать! Слышали наш разговор, а выдаете его за просьбу! — проворчал хирург и обратился к ассистентам:

— Ну-с!

Марьянова раздели и положили на стол. Он взглянул на свое исхудавшее тело и, устыдившись врачей, отвернулся к окну. «Ну, вот и я, — сказал он мысленно, найдя угловое окно тюрьмы, — вот и я...»

Ноги и правую руку его схватили жесткие ремни, а перед глазами протянулась невысокая белая ширма, скрыв хирурга и его помощника. Торопливо и грубо кто-то снял с плеча его бинт, чьи-то мягкие и приятно холодные пальцы вдумчиво ощупали края раны и вдруг причинили короткую, как удар, боль. Марьянов прикусил губу, но пальцы сбежали по руке к локтю, где тело не чувствовало прикосновений...

Он только раз приглушенно охнул и с силой рванулся всем телом. Тогда хирург показался из-за ширмы и спросил укоризненно:

— Неужели больно?

— Нет... но если бы скорей, — сквозь стиснутые зубы проговорил Марьянов и взмахом ресниц поблагодарил сестру, отершую пот с его лба... Потом за ширмой кто-то уронил то, что в таких случаях принято класть неслышно и бережно.

— Что это упало? — крикнул Марьянов.

— Где упало? Что упало? — прокричал хирург. — Ножницы упали. На пол!

— Рука упала. В таз, — отдельно и тихо сказал Марьянов, а хирург сморщил нос, пошевелил сединой бровей и низко склонился к лицу Марьянова.

— И совсем не рука, — сказал он ласково, как ребенка, — не рука, а кисть. И к тому же — левая кисть. Ну, будьте же до конца умницей... — и запеленатыми в марлю губами поцеловал Марьянова в лоб.

Домой!

В те далекие дни редки были пассажирские составы, и на станциях в кассах демобилизованным не продава-

лись плацкарты. Солдаты и офицеры ехали в теплушках, на покатых хребтинах цистерн и на подножках платформ, груженных металлоломом.

Лишь на пятые сутки пути, ночью, Марьянов прибыл на родину Тани.

Нетронутый войной городок утопал в темной зелени, и его деревянные домишки дремали в палисадниках, зачарованные тишиной пустынных улиц. Марьянов не скоро отыскал переулок Софьи Перовской и долго сидел у его начала под заборчиком, курил. Потом он размеренным шагом перешел к четной стороне домов и вдруг не выдержал — побежал, гулко ступая сапогами по деревянному настилу тротуара, придерживая рукой прыгающей за спиной мешок...

Домик под цифрой «10» оказался крохотным, хрупким. Смежив ставни, он был как задремавший больной ребенок, и окутавший его лунный сумрак пахнул увядшими цветами, как лекарствами.

Вежливо, просяще Марьянов трижды постучал в ставню. И когда он, сняв фуражку, прижимался ухом к теплой доске ставни, с крыльца окликнул его старческий женский голос:

— Ты што, батюшка?

Марьянов надел фуражку, оправил гимнастерку и только тогда сказал западающим голосом:

— Я с фронта... Я к Лебедевым...

И вот он сидит в маленькой комнатке, увешанной пучками засушенной мяты. О закоптелое стекло лампы потревоженно бьются мухи, и пойманным шмелем гудит усталый голос старушки:

— Сорок ночей ходила я за Петром Григорьевичем, а как помер он, то я и осталась тут... Покараулю, думаю, а вернется Танюшка — передам ей все в целости... А ты, батюшка, кто же доводишься Лебедевым? Знакомый Петру Григорьевичу али как?

На этажерке, где сиротели учебники для десятого класса, Марьянов нашел свои нераспечатанные письма, что посылал из госпиталя отцу Тани. Он дал старушке банку тушенки и снял со стены Танины фотографии. А на рассвете он покинул город, и умиротворенность справных домишек показалась ему подозрительно невозмутимой, почти нелепой в сравнении с тем городом, откуда он приехал и куда возвращался теперь снова...

...И вот опять знакомое здание госпиталя, тюрьма.

Город лежал в руинах, и по неубранным улицам плавали сложные запахи праха. В горьком партии Марьянова встретили так, как встречали тогда всюду демобилизованных. «Хотите на работу? Хорошо». Он сдал свои документы и на третий день был утвержден директором кирпичного завода.

3

Занимались и гасли мирные теплые зори. Казалось, что пряжа будничных дней однотонна, но из них ткались годы коврами с неповторимыми рисунками событий. И может быть, зря не написали прозаики повесть о вставшем из пепла силикатном заводе, а поэты — балладу о кирпичках, сделанных в городе, куда несколько лет тому назад ушла партизанка Лебедева с двумя французскими гранатами...

...Жилье Марьянова казалось большим и пустынным — в комнате не было кровати и буфета с посудой, а кресло, тахта, письменный стол и шкаф с книгами стояли по углам. Окна комнаты выходили в городской парк. Там давным-давно были скрыты и разбиты цветники, а на месте погибших в войну осин высажены липы, и в летние месяцы за письменным столом Марьянова пахло медом.

Марьянов поздно возвращался с завода. Подходя к дому, он всегда ускорял шаги и торопливо поднимался по лестнице. Он бесшумно поворачивал в замке ключ и рывком распахивал дверь в свою комнату. Так повторялось каждый день в продолжение двух лет, и каждый раз, никого не увидев в кресле, он называл свое сердце глупым... Ведь это было невероятным, почти абсурдным! Кто мог в его отсутствие прийти и остаться в комнате? Кто?

Он снимал пиджак, бережно вешал его на спинку стула и надевал пижаму. Затем садился за стол и протезом левой руки нажимал на кнопку настольной лампы.

Тяжело, мучительно писал свою повесть Марьянов. Командир отряда Андрей Дмитриевич, комиссар Грачев, Таня, партизаны и даже сам он, Марьянов, выступали на страницах рукописи унылыми героями и скучными резонерами, умеющими будто бы ходить особенной ото всех походкой по неровной, изрытой траншеями земле... Марьянов злился и сжигал готовые главы, затем писал новые и снова уничтожал, недовольный.

«Я, наверно, бездарен», — подумал он однажды и наутро смущенно попросил своего главбуха прочесть неоконченную рукопись.

Анне Львовне было за пятьдесят. Она ходила степенной поступью человека, поглядевшего в жизни какую-то хорошую правду, разговаривала спокойно и тихо, и, когда подбивала баланс, костяшки счетов под ее пальцами звучали заглушенно и мягко, как сыпаемые в авоську баранки. Марьянов просил ее не торопиться — он может ждать неделю и даже две, но уже на следующий день старался не попадаться на глаза старой женщине, испытывая к ней почтительную робость, почти страх. «Будто я подсунул ей подложный документ и боюсь разоблачения», — удивился он.

На третий день Анна Львовна вернула Марьянову рукопись.

— Я думаю, Сергей Михайлович, что книгу вашу напечатают, — сказала она. — Вы, наверное, уже давно решили, куда послать ее?

Да, Марьянов решил. Он сказал название журнала, а главбух подтвердила:

— Напечатают, голубчик, напечатают! У вас все там соблюдено, все по традиции...

— А читать это не скучно? — осторожно спросил Марьянов.

Анна Львовна смешно повозилась в кресле:

— Да нет, что же... — и, потрогав концы пояса своей вязаной кофты, вдруг предложила: — А вы забудьте, Сергей Михайлович, будто книгу свою пишете для журнала.

— А для кого же писать? — удивился Марьянов.

— А для нас, голубчик, для людей. А лучше — для любимой девушки своей. Наверное, она у вас ласковая разумница, а таким пишут задушевно и искренне...

Журнал, куда Марьянов намеревался послать свою рукопись, опубликовал накануне войны два его стихотворения. Марьянов был удивлен тогда своей удачей и поражен злой добродетельностью редактора, уничтожившего в стихах все то, что давало им право называться стихами. Он возмутился и послал журналу еще два стихотворения, но ему внушительно разъяснили тогда, что

если он стремится со временем стать поэтом, то должен раз и навсегда понять, что початки камышей не похожи на факелы, что сизая дымка горизонта — просто туман и пыль великих будней, а романтика вообще — это засаленный салоп, вконец изношенный писателями еще в прихожей редакции журнала «Нива»... Марьянов показал эту рецензию товарищам, и кто-то из студентов назвал его поэзию «салопницей». Он мужественно перенес обиду, и с тех пор, кроме Тани, никто не читал его стихотворений...

Припоминая все это, Марьянов дивился пронизательности старой женщины, деликатно указавшей ему на причину серости его книги. Он не колебался и в тот же вечер уничтожил рукопись.

...И вот в заснеженных полях постоянно дует северный ветер. Оледенелые былинки бессмертника тускло лучатся под звездами и звенят хрустально-нежно и печально. В болотах тревожно аукает выпь, и черные султаны камышей колышутся, как погасшие факелы. Леса в новом варианте повести Марьянова всегда наполнены дремлющей тайной и зеленым сумраком.

Он писал легко и вдохновенно, впервые ощутив несказанную радость творчества, и ночи, проводимые за столом, были полны для него изумительно живых общений с минувшей былью. Силой любви и памяти он воскрешал прошлое почти до его физической яви, и временами ему казалось, что он слышит голоса своих героев и шум боя, и не хватало чего-то малого, чтобы перед ним встали живые участники описываемых событий.

Так прошел год, и ни на единый миг Марьянов не разлучался с Таней. Шаг за шагом они вновь проходили исхоженные вместе дороги. Он наделял ее всем, что было самого хорошего в мире, и оттого образ ее в повести был нечеток — тоненькая и высокая, с чуть капризными припухлыми губами, с упрямым чистым лбом и голубыми звездами глаз. Да, были еще косы, но в повести Таня не заплетала их, потому что Марьянову нравилось называть ее волосы метелью...

Повесть близилась к окончанию — Таня ушла из отряда на поиски его, Марьянова. Он проследил ее путь до комендатуры в подневольном городе, и там, у дверей с рослым часовым, Таня остановилась в замешательстве. Она стояла, спрятав руки в карманы летной тужурки, а немец угрюмо глядел на прохожих и вдруг тяжело шаг-

нул к ней... Но это было начало нелепого, отвратительного конца. Таня не должна была подходить к часовому — это опасно, и Марьянов зачеркнул немца. Он вспомнил о французских гранатах, похожих на маленькие глиняные кувшинчики из-под ликера, и без участия Тани яростно запустил их в окно комендатуры, а ее сорвал с места, подхватил и унес из города живой...

Было еще много вариантов свершения Таней своего подвига, и каждый раз Марьянов спасал ее от гибели. Он не мог отдать ее в руки палачей, его воображение отказывалось создавать для нее пытки. Непреложность факта ее гибели он опровергал любовью, мечтой и надеждой, которые делают бессмертным род человеческий.

Таня жила, и повесть оставалась незаконченной.

5

Стояла осень, и в городском парке пламенели липы. Приходя с работы, Марьянов собирал на столе залетевшие в форточку листья и золотой стопкой складывал их у бюста Маяковского. Однажды Марьянов сказал поэту, как живому:

— Что ж, Владимир Владимирович! Видно, мало быть на вас похожим ростом, голосом и взглядом... Да-да, о том, что я похож на вас, мне давно говорили влюбленные в вас студентки, и, между нами говоря, я немного горжусь этим... Но вот не могли бы вы сказать, как спастись от тоски человеку, когда он совсем-совсем одинок?.. И правда ли, что прошлому верны бывают в жизни только слабые, никчемные люди, которые не имеют настоящего?.. А как понять ваше «вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова»? Может, и вы, Владимир Владимирович, тоже в жизни знали потерю... А? Но разве могут мертвые держать в плену души живых?

Острова... В К-й области, где родился Марьянов, этих островов нет. Там бескрайние поля, и в них редкими оазисами темнеют рощи. Теперь дубы роняют желуди и в полях плавают белые мотки паутины. Да, теперь там золотая осень и в лугах, куда он мальчишкой гонял пасти чужих лошадей, в болоте гуртятся утки, собираясь в отлет...

И Марьянов ощутил вдруг неодолимое желание увидеть снова родимые места. Это желание росло в нем с

каждой минутой, и далекие были вставали в его памяти чудесной сказкой, наполнявшей сердце какой-то смутной радостью и ожиданием. Он написал в свой трест заявление об отпуске и стал готовиться к отъезду.

Разрешение на отпуск застало его готовым — чемодан и рюкзак лежали упакованными на столе. Накануне отъезда Марьянов пошел в горком.

— Ну что ж, отдохните, — сказал секретарь. — Вы на Кавказ?

— Нет, в свое село.

— А, к родным?

— Д-да, — неопределенно ответил Марьянов и вдруг заторопился: — Я хотел поговорить с вами о своей судьбе, товарищ секретарь...

Он рассказал, что матери и отца не помнит — ему было полтора года, когда их расстреляли белые. А двенадцати лет он ушел в город, унеся обиду на сельчан за неласковость к озорному и упрямому сироте. Да, он был недолгое время беспризорником. Потом... потом все шло как положено. На третьем курсе педагогического института его застала война, и надо было защищать все то, что с таким трудом он накопил в жизни...

Он припомнил, как инструктор обкома партии Андрей Дмитриевич, он и радистка Лебедева тонули с парашютами в болотистой речке Ухлясь, а через два года с частями Советской Армии соединился боевой отряд из трехсот партизан... Он рассказал о Тане и о своей незаконченной повести.

— Я не хочу дальше оставаться в этом городе, ставшем могилой моей мечты, — сказал Марьянов, — и прошу вас не препятствовать моему переезду. За время отпуска я подыщу себе работу.

— Вот что, товарищ директор, — ответил секретарь. — Мы сейчас заедем ко мне домой. Вы возьмете мое ружье и поохотитесь там, куда едете.

Марьянов с горечью подумал, что этот человек ничего не понял из того, что он рассказал.

— У меня ведь одна рука, — сухо напомнил он.

— А вы кладите стволы на левый локоть и палите! Ружье замечательное, бьет кучно и без малейшей отдачи. Без малейшей! И вот еще что: захватите, пожалуйста, с собой на обратном пути литрочку меда. Я слышал, будто в ваших краях чудесный мед целебного свойства. Ну и... очень прошу вас, а?

Несколько секунд Марьянов удивленно глядел на секретаря и, отвернувшись к окну, произнес негромко:

— Не надо ружья, Виктор Иванович... Ведь его можно вернуть вам и по почте.

— Да, конечно, — виновато улыбнулся секретарь. — Но я прошу вас возвратиться в город. Прошу. Я хочу расстаться с вами другом. Согласны?

6

Шелковка...

Две сотни белых хат двумя посадами рассыпались над речкой, кишашей пескарями и пиявками. Берега речки заросли ивовой дремучью, хаты тонут в садах, а вокруг — безбрежный океан созревающего хлеба, дрожащая синь знойного марева и никогда не потухающее солнце...

Он ушел из села летом, и мир детских впечатлений не представлялся ему в ином времени года. Он вспоминал летние дни, полные удивительных свершений и восторгов, бесконечные дни, населенные одними радостями, доступ к которым ему никто не запрещал. И он верил, что эти радости живы там и он испытает их снова, как только ступит ногой на полевою тропинку родимого края. Он еще издали низко поклонится селу за то, что родился в нем, и за то, что сохранил к нему бессловесную любовь и преданность...

В районный центр Марьянов приехал вечером. До родного села оставалось восемнадцать верст проселочной дороги, и он пошел пешком, легко неся на плече рюкзак и в руке чемодан. Далеко впереди, вправо от дороги, горел костер. В насыщенной звездами ночи жила чуткая тишина, и теплой пряностью недавно прошедшего лета еще дышали облегченные поля.

— Как хорошо! Как хорошо! — шептал Марьянов, шагая по уезженной дороге. Он вспомнил о древнем сторожевом кургане на подходе к селу и решил на нем дожидаться утра...

Через полчаса пути костер почти не приблизился. Он тлел ровным неярким светом, и Марьянову почудилось, что он уловил в воздухе ароматный дух испеченной в золе картошки, и в сердце не было боли за себя, воровавшего на чужих огородах картошку и уходившего по вечерам в поле разжигать костер.

Огонек мерцал все ближе и призывней. Через каждые сто шагов Марьянов опускал чемодан на дорогу и взмахивал затекшей рукой, не спуская глаз с красной манящей точки. «Пойду, предложу колбасы за картошку», — подумал он и свернул с дороги.

У костра, разложенного между двух буртов сахарной свеклы, сидели двое — старик в дубленом полушубке внакидку и молодой в промасленной телогрейке и модной кепке с миниатюрным козырьком. «Сторож и тракторист», — определил Марьянов и вежливо поздоровался, остановившись у костра. Ему ответил старик — медлительно, с достоинством хозяина.

— Можно мне отдохнуть у вас? — попросил Марьянов.

— Пожалуйста, — прежним тоном отозвался старик.

Люди были незнакомы Марьянову. Они не проявили внешнего любопытства к нему и, выждав, пока он уселся чуть в стороне от костра, продолжали свою беседу. Говорил молодой — негромко, раздумчиво, с большими паузами:

— Прилетали они по зорям. Сядут на середину озера, обнимутся шеями и плавают, а белые — как снег. Ну, полюбуются, помилуются, а как солнце взойдет повыше — снимутся и улетят. Бабушка, бывало, говорит: «Храни тебя Бог, Данилыч, от причинения обиды птицам. Не тронь их». А дедушка... не стерпел. Подкараулил он их в одно прекрасное утро и полыхнул с берега. И убил самого. А лебедка осталась. Подплыл он на лодке, хочет взять убитого, а она прикрыла его крыльями, сипит на убийцу и норовит клюнуть... Насилу отнял, а ее пожалел, улетела... Дома дед распротал лебедя на полу, крылья — от стенки и до стенки, а глаза — как желтые монисты, и смотрит!.. Бабушка увела тогда меня в лес и сама тоже плакала, жалела старушка загубленную красоту...

Ну, прошел день, другой — всякое ведь дело забывается. Но вот на четвертую зорю на озеро прилетела лебедка — растрепанная, исхудавшая... И начала она метаться; то на воду сядет, то вынырнет, то взовьется. И стонет... Понимаешь, Матвеич, в жизни не слышал я такого крика — одна живая боль! И так каждое утро. Сторожка наша у самого берега стояла — слышно все, и бабушка захворала, не вынесла лебединой тоски. А дед... он тоже переживал, как от зубной боли... Одним

словом, не стало жизни нам. Мы с бабушкой начали уговаривать деда перевестись в другое лесничество — это можно было, деда ценили, но он, старый хрыч, нашел другой выход из положения... Как-то с ночи еще собрался в обход будто, а сам залез в кусты на берегу озера и дождался лебедку... Выпалил он по ней, да не попал — руки, верно, тряслись... И вот что получилось, Матвейч. Взвилась лебедка над озером и стала чуть заметной, а потом сложила крылья и камнем прямо на деда, на ружье...

7

Костер дотлевал. Насупясь, старик глядел на золотистую золу, скрестив на коленях руки. Подложив под голову рюкзак, Марьянов лежал, ожидая конца лебединой повести. Но рассказчик молчал, и тогда старик спросил сурово:

— Убил?

— Дед хорошо делал чучела, — не сразу отозвался рассказчик. — Все равно лебеди не живут друг без друга, а тут... Ты приезжай когда-нибудь к нам, Матвейч, и увидишь — как живые стоят они рядом и шеями обнялись. Как живые! И потом... дед рассказал, будто кричала лебедка, когда пикировала на ружье, радостно, как при живом лебеде...

— Врал твой дед, — сердито перебил старик, — совесть свою оправдывал. Ишь, придумал: «Не живут друг без друга!» Люди и те живут после гибели любимого человека, а то — вольная птица! Люди-то, по-твоему, меньше птичек в любви смыслят, как?

— Может, и не меньше, — глухо ответил парень, — но только у людей чуть что — и готово: нашелся другой или другая...

— А ты сам-то любил?

— А то нет?

— И терял?

— Расходились с согласия...

— Дурак ты, Федор, извини за грубость! Да нечто это любовь у вас была? От такой вашей любви-согласия потом глазам, поди, больно было, как от кизячьего дыма! А настоящая любовь... она — будто все время в весне ты живешь, в саду... А сад тот цветет и цветет, и ни ему нет конца, ни твоей радости края, Федор.

Да!.. Ты вот лебедей в пример человеку по верности поставил. А я тебе расскажу другую любовь. Человеческую, нашу русскую...

Очень нескоро старик скрутил сигарку и долго раскуривал ее, захватив двумя пальцами жаркий кизяк.

— Вот слушай, — заговорил он мягко, с выходом дыма. — Во время войны был на Смоленщине партизанский отряд, может, в тыщу человек, а может, и в две. Контрразведкой в отряде командовал совсем молодой офицер. Отваги он был непостижимой. Наденет, бывалыча, германский мундир с чином генерала или полковника — и к ним: «Гут морген!» Те говорят: «Гут морген». — «Ну, как у вас тут дела идут?» — спрашивает. «Так и так, — отвечают, — плохо». — «Ага. Ну через денек вам полегчает, подмогу пришлю». А через денек — разгром! Так и работал... А вот беды все же не миновал! Шел он как-то со своими друзьями-товарищами по лесу — осенью в сорок втором дело было — и напоролся на горе. Стерegli его... Ну человек десять, а то и двадцать, их уложил он сразу — красавец был малый, а сам... Что же ты сделаешь, когда их тьма-тьмущая надела! Не бессмертный же? Ну и все! А я забыл сказать, что была у него любимая в отряде. Что она за человек — говорить не буду тебе, но знаю, Федор, что с такими не расстаются ни с согласия, ни иным путем... Узнала она о беде-несчастье и пришла к командиру отряда...

Марьянов тихо приподнялся с потеплевшей под ним земли, сел и, круто поставив колени, прижался к ним грудью.

— ...не имею прав, — отвечает генерал, — губить отряд из-за пяти человек. За такое дело меня расстреляют... И тогда пошла она одна на десять тысяч врагов, понял? Это тебе не на дедово ружье пикировать, как?

— Ты читал это, Матвейч, да? — спросил парень.

— Слушай! — приказал старик. — Такое не выдумает! Слушай, говорю! Пошла она и целую неделю жила в городе — искала. Да что найдешь, когда кругом сплошные немцы!.. Конечно, может, и надо было ей отомстить там как-то... из пистолета или из гранаты, но это она не сделала. Смысла не было, домой обещала вернуться, в отряд, а главное, как я понимаю, не верила она, что попался он немцам... Ушла она из города,

исколесила все леса — нет отряда, а дело к зиме, есть нечего, одна. И вот, отчаянная головушка, решила она идти на прорыв фронта. И думаешь, не прошла бы? Прощла... да все-таки женщина так бабой и останется! На самом подходе к позициям вздумалось ей простирнуть в ручье кой-какие тряпки свои. Присела в кустиках и плескается, а сзади — «Хальт!». Оглянулась — двое! Выхватила она из-за пазухи гранату и по ногам им, а сама... от испуга, конечно, забыла прилечь, а тут и грохнуло. Немцев наповал, а ее в грудь осколком...

— Ну? — шепотом крикнул Марьянов. — Погибла?

Старик осекся и обиженно спросил:

— Это зачем же нужно? Спаслась! — утвердил он. — Уползла, и в одном хуторе три месяца выхаживали ее добрые люди, пока армия не пришла.

В голове Марьянова рождались и мгновенно гасли необычайные предположения о невероятном. Какое-то время он следил за рассказом и огромным усилием воли заставил себя слушать былинку.

— ...приехала, а багажик — один баульчик да на голове две косы в руку толщиной. Ну ладно. Начали мы работать, я школу топлю, она перваков учит — живем припеваючи...

«Нет, это не Таня! Разве ей не сказала бы старушка о моем приезде тогда в их город? А отряд? Ведь могла же она разыскать...»

«...Тихон Матвейч, — спрашивает она, — а с империалистической долго возвращались люди?» — «Да некоторые, — говорю, — аж лет через пять показывались, а других и до сих пор нет». — «Вот видите! И он может еще вернуться. Ведь прошло только четыре года!» — «Это конечно, — говорю, — а вы писали куда надо? Телеграммы отбивали?» — «Писала, — говорит, — ответили, что в списках убитых и без вести пропавших нет». — «Значит, он жив, — говорю, — а в отряде о нем ничего не слышали?» — «Да видите ли, Тихон Матвейч, я, — говорит, — не хотела разыскивать своего командира». — «Это почему же?» — спрашиваю. «Боюсь, — говорит, — я же тяжелое нарушение совершила, самовольную отлучку. Меня и так разыскивал кто-то из отрядных, домой приезжал, фотографии забрал...»

Марьянов лежал не шевелясь. Он смотрел на пуши-

стые, с детства знакомые звезды, и тихие слезы застилали его глаза, и в душе рождалась новая и большая вера в красоту бытия под этим небом.

1952

ПОДСНЕЖНИК

I

Наша отдельная партизанская рота численностью в сто десять человек располагалась в небольшой полесской деревне У-е, что стоит на пятнадцатой версте от железной дороги справа и на шестой от автострады — слева. По этим дорогам к востоку тянулись гитлеровцы, и нам было приказано уничтожать их.

Ничего героического в нашей работе тогда не было. Деревня пряталась в лесу, в низине, а декабрь сорок второго года был вьюжным, и ее совсем занесло снегом. По ночам наши подрывные отделения становились на лыжи и исчезали во мгле. А под утро в деревню доносились грохоты далеких взрывов.

— Дают наши дрозда! — не без гордости говорили жители.

Партизаны приводили иногда в деревню пленных немцев — обходчиков путей. Они носили поверх сапог соломенные лапти, лицо и шею закутывали разным тряпьем, но предпочитали дамские лисьи воротники, а для рук — муфты. Их называли «женихами», и на смотрины сходилась вся деревня.

— А ты ж пройдишь, пройдишь! — приказывала «жениху» какая-нибудь разбитная бабенка. — Не хромой ли ты?..

В нашу задачу не входило численное пополнение роты, к тому же в ней не было потерь, и на просьбы жителей деревень о приеме в партизаны приходилось отвечать отказом. Но однажды утром в штабную хату тяжело вошел коренастый человек в черном полушубке до колен, с белой окладистой бородой. Не выпуская из рук винтовку, он хрипло спросил, я ли командир, затем ударом ноги открыл дверь в сени и крикнул:

— Заходи, Наталья Петровна!..

Они оттаивали долго. Борода у мужчины оказалась черной с медной окалиной, глаза светлыми, а голос по-стариковски мягким, приглушенным. Женщину я не мог разглядеть: опустившись на лавку, она вздрагивала в плаче, закрыв лицо красными опухшими руками.

— Поплачь, Петровна, поплачь. Это помогает, — советовал ей старик, а мне объяснил: — Это она от радости. Своих, вишь, с ружьями увидела... Пройдет сейчас.

В самом деле, это скоро прошло. Взглянув на меня, женщина сказала негромко и доверчиво, как старому знакомому:

— Знаете, мы теперь все не имеем права на слезы, но если они прорвутся, то это не признак малодушия...

Я видел, что она очень устала и иззябла и что ей не больше двадцати трех лет. Оба они нуждались в тепле и отдыхе, но мне необходимо было знать, кто они и куда направляются.

Старик достал несколько полуистертых бумажек и, чем-то немного обиженный, подал мне. Еще с 1939 года советской властью удостоверялось в них, что Андрей Потапович Мичуда, 1883 года рождения, действительно является лесничим Р-ского урочища и ему предоставляется право...

Дальше читать я не стал. Это урочище находилось за тридцать верст от нашей стоянки, но я многое знал об этом человеке и давно искал с ним встречи. В окрестных деревнях о нем ходили легенды как о дерзком партизане-одиночке.

— Так это вы и есть Репей? — вырвалось у меня.

— Слыхали, значит? — не без тайной гордости спросил лесничий.

Мы обнялись.

Перекусив, женщина сразу же уснула, а Мичуда попросил меня:

— Ты ее, командир, пока ни о чем не расспрашивай... Мужа ее недавно немцы повесили за связь со мной... Останавливался я у них в доме, ну и... донесли, сволочи. Сама она учительница, зовут Натальей Петровной. Бабы-то есть в твоей роте?

— Нет.

— Ну, значит, будет одна.

За неделю Мичуда совершил несколько смелых диверсий. Партизаны почтительно величали его по отчест-

ву при встречах и с хорошим чувством, Репьем — за глаза. Что касается Натальи Петровны, то я решительно не знал, что ей поручить. Скажу откровенно: она стесняла нас своей грамматически правильной речью, интеллигентской почтительностью и очевидной неприспособленностью к той нелепой жизни, которой жили мы, сто десять мужчин.

2

Прошло дней десять.

Немцы напали на нас совершенно неожиданно, глубокой ночью, в бурю. Наши посты были смяты, но вместо стремительного захвата деревни враг начал окружать ее и обстреливать. Мы не несли потерь, защищенные густым лесом и сугробами, но я упустил момент для команды — партизаны метались по деревне, паля во все стороны, действуя каждый самостоятельно. Чувствуя свое бессилие, я остановился посреди улицы и стал расстреливать диск из своего автомата вверх, в воздух.

Остановил меня Потапыч. Он вел учительницу — согбенную, зажавшую руками живот. Старик что-то кричал, громко потрясая винтовкой, — он приказывал мне поджечь сарай на краю деревни.

Я испытал тогда сразу два жгучих чувства — радость поручению и стыд за себя, не созревшего для самостоятельных решений в бою...

Тремя выстрелами из ракетницы мне удалось поджечь сарай. Действовал я механически, не думая, зачем это нужно. Когда буйное пламя взметнулось к небу, я еще стоял у сарая и видел, как с трех сторон из-за деревни ко мне потянулись линии трассирующих пуль. Они расплавленно шипели, визжали над моей головой и гасли в пламени. «Ориентир! Ночная мишень для вражеских солдат! Они теперь все будут бить в это место, а мы...» Я чуть не закричал от радости, разгадав план лесничего. И тогда же, в неуловимый миг этого прозрения, я высвободился от страха и растерянности, словно кто-то большой и неведомый смахнул с меня чистой рукой пыльную паутину.

За деревней я догнал Потапыча и учительницу: где-то впереди, чуть справа слышались голоса партизан, раздавались выстрелы. Не знаю, как бы я поступил сейчас в такой обстановке, но тогда я лег за сосну и

стал прикрывать отход этих двух человек, потому что немцы поняли свою оплошность и устремились за нами. Я выпускал длинную автоматную очередь, отбегал метров пятьдесят назад и стрелял снова. Мне казалось, что это длилось невероятно долго, а Потапыч и учительница двигались чрезвычайно медленно. Потом у меня не стало патронов, и я повел учительницу, а Потапыч припал в снег на одно колено и стал стрелять — четко, размеренно и гулко. Я не мог уловить мгновений, когда он заряжал свою СВТ, и казалось, что винтовка его не десяти-, а двухсотзарядная.

Нас спасло то, что у Потапыча кончились патроны, и, не выдавая себя, мы легко оторвались от врага и ушли вперед. О демаскировке выстрелами мы не сказали друг другу ни слова, потому что поняли свою ошибку одновременно. Учительница шла тяжелой, но ровной походкой, впервые за время пути не держалась за живот.

— Вы разве не ранены? — спросил я, не сумев скрыть удивления.

— Нет... Но я ведь...

— Перепугалась, бедняжка, — выдохнул Потапыч, и разговор прекратился.

Вскоре мы догнали своих. Все партизаны были налицо, и мы двинулись в Р-ское урочище.

3

До выяснения обстановки в близлежащих деревнях мы остановились в лесу на поляне у крутой снежной горы.

— Тут прошлогоднее сено, — объяснил Потапыч, — надо строить курени.

Мы разделились на две группы: одна готовила в лесу каркасы шалашей, а вторая утепляла их сеном.

Буря не утихала. Вековые сосны гудели могуче и гневно, а кусты орешника, ольхи и крушины метались у их подножия и шумели тревожно и жалобно. Первым пал дуб — он был стар и стоял одиноко на заснеженной поляне, широко раскинув черные сухие ветки. Когда вершина его грохнулась оземь, из дуплистого кряжа буря вырвала протяжный вой незнакомое зверя. Взя страх и трепет, промчалась тогда серна, и теплым пушистым комком прокатился заяц.

— Черт косой! — выругался лесничий и зло плюнул. — Не мог помедленнее лететь! Будто за ним гнались...

— Это ты про зайца, Потапыч?

— А то про кого же? Винтовку даже не пришлось снять... Шмыг — и нет его. Тварь трусливая!

— А я думал, ты в дружбе с зайцами!

— Это почему же? — настороженно заинтересовался старик.

— Да когда драпал ты вчера от немцев, а я сзади был...

— Не болтай чего не надо, дубина осиновая! Я все время отходил... — Потапыч замялся, подыскивая слово: — В прикрытии. Вон спроси у командира, он рядом со мной... распорядился!

Под вечер, выслав несколько групп в разведку, я вызвал Потапыча из лагеря. Шли мы долго и молча по лесу, утопая в снегу, и я все не мог начать разговор.

— Вам надо принять командование ротой, — сказал я наконец, а Потапыч спокойно осведомился:

— Надолго?

— Навсегда.

— Ага! А ты что ж, начальством отзываешься? На повышение?

Я торопливо перебирал в памяти те моменты вчерашнего происшествия, когда мое поведение заслуживало нареканий.

Я знал, что такой метод самооценки граничит с фальсификацией фактов, но в тот день мне исполнилось двадцать три года, и я почувствовал себя далеко не безупречным командиром, каким втайне считал.

— Завтра в восемь утра построим людей, и я передам вам командование.

— В нашей роте нет трусов! — сердито перебил Потапыч. — И зря вы, товарищ лейтенант, — перешел он на официальный тон, — затеяли разговор этот! Нешто вы струсил? То ж была паника, а ею любой человек на минуту может заразиться... Как чумой! Да только вот что: если нутро у того человека хорошее, свое, русское, то после такой панической холеры он красавцем в бою становится! Злым и героическим!

— От стыда, что ли? — не вытерпел я.

— Нет, от обиды. Да и от стыда тоже. А что ж тут плохого, раз человеку на пользу это вышло?

Потапыч говорил медленно, спокойно, взглядывая на меня светлыми глазами, и я читал в них затаенную лукавинку и ласковость.

— Нешто их, неудач-то, не было у нас до вчерашнего? Или к новым пути заказаны? Ну не-ет!..

В лесу темнело. Молча мы шли по сугробам до тех пор, пока Потапыч не остановился первым. Став по команде «смирно», он поднес к голове руку и проговорил:

— Товарищ командир! Надо возвращаться в роту!

4

Рано утром Потапыч влез ко мне в шалаш и сообщил:

— Наталья Петровна родила.

Я не спал, но вскрикнул как спросонок:

— Где родила? Что родила?

Лесничий крикнул, желая, видимо, ответить мне что-то колкое, но сдержался и сказал сердито:

— В курене. Мальчика.

— Но... Андрей Потапыч, — начал я, и в голосе зазвучали ненавистные мне нотки растерянности и жалобы, — послушайте, ведь это же... черт знает что! Не хватало нам еще этого счастья! Ну куда мы денем...

— Ты... мальчишка! — шепотом заорал Потапыч. — Ты что это такое говоришь, а? На матерю? На святого человека?! Она кровью изошла молча... В сено головой зарылась, чтобы нас не тревожить, а ты... счастья захотел? Какого? Нешто есть у людей иное счастье на земле, кроме младенцев, а?

Он ушел, а я долго сидел в шалаше и думал над тем, как быть с учительницей, с собой и с Потапычем.

...Лагерь еще спал. Мимо часовых я пошел вчерашней дорогой в глубь леса, почти физически ощущая в себе рождение какого-то нового чувства. Я не знал причины этой душевной легкости и боялся ее потерять. То ускоряя, то замедляя шаги, я глядел на мир, затканый живой и прозрачной шторой из густо падающих невесомых снежинок. Я сжимал их в пальцах, потом остановился и закрыл глаза, изумленный четкостью всплывшего видения.

Тихое весеннее утро. Огромный белый сад, опадающий снегом лепестков. В свою панамку я ловлю их и роем мотыльков подбрасываю вверх. Большое, чистое

встает над садом солнце и затопляет его сверкающим светом. И тогда неизвестно откуда в сад наплывает задумчивая и нежная музыка. Я охватываю руками теплый ствол яблони, и мое сердце не переносит восторга. Сквозь слезы я вижу облетающие лепестки, слышу шорох их падения, и мне кажется, что мелодия эта сплетена солнцем из шелеста лепестков и ласкового дыхания весеннего ветра.

— Это надо вернуть! — вслух проговорил я, сжимая мокрые кулаки. — Вернуть это все и всем! И ему... родившемуся нынче в шалаше, — тоже!

Почти бегом я вернулся в лагерь. У шалашей горели костры, и в морозном воздухе вкусно пахло едой и дымом. Партизаны были оживлены, многие старательно и с какой-то веселой яростью чистили оружие. Политрук роты Саша Березин быстро подошел ко мне и спросил застенчиво:

— Ты слышал? У нас пополнение! Только... как же она без врача будет? Наш-то Синдюков ни черта в таком деле не смыслит.

— Распорядись кончать завтрак, — попросил я, — через полчаса — в путь. Зайдем ту деревню, где нашей разведкой захвачены полицейские.

— Правильно! А то он замерзнет до ночи.

...К двум длинным ольховым жердинам партизаны привязали несколько одеял, а на них толстым слоем настлали сена. Кто-то принес слежавшуюся в вещмешке белоснежную простыню и, застилая носилки, у которых стоял я, оправдался:

— Трофей... У немца отобрал.

— Молодец, — сказал я, — но в нее надо бы парнишку...

— Найдется и для него!

Закутанную вместе с ребенком во множество одеял учительницу вынесли из шалаша и бережно уложили на носилки.

Недалеко от деревни я сменил у носилок одного из партизан и оказался в первой паре с Потапычем. Он шагал сосредоточенно, почти угрюмо, глядя куда-то в сторону. «Зря сердисься, старина, — мысленно заговорил я с ним, — ведь все обошлось хорошо... Ну что нам теперь мешает дружить и...»

Размышления мои прервал чистый и тоненький голос новорожденного. Я оглянулся и увидел напряженно

вслушивающихся партизан. Обветренные небритые лица их светились улыбками, каких я никогда у них не замечал.

— Ишь, комар! — улыбнулся Потапыч, но на меня не взглянул.

Я ощущал плечом осторожные движения учительницы, скованные, как мне казалось, болью.

— Да не стесняйтесь вы, Наталья Петровна. И не бойтесь! Мы же вас держим! — сказал кто-то сзади.

Я шел и боролся с подступившим к горлу солоновато-горьким комком. А когда украдкой поднес руку к глазам, то сбился с шага и этим, очевидно, обратил на себя внимание Потапыча. Взглянув на меня, он шумно засопел и произнес негромко, для одного меня:

— Когда идешь против ветра, то выдувает... глаза-то!

5

Партизаны окрестили новорожденного Подснежником, а мать назвала Мишей в честь погибшего отца его. Мы поселили их в лучшей избе, но деревня была дочиста обобрана гитлеровцами, и населению питаться было нечем.

Погода в те дни стояла морозная — благоприятная для нас. На пятый день одно из наших отделений не вернулось в срок с боевого задания. Выждав резервное время, мы выслали поиск, а сами приготовились к обороне. Прошла ночь, и на заре следующего дня командир поисковой группы доложил мне:

— Нашли.

— Целы?

— На улице ждут.

Под окнами штабной избы тесным кругом стояли партизаны.

— Что случилось? — спросил я командира.

— Задание выполнено, — твердо глядя в глаза мне, сказал он и вдруг часто заморгал опаленными у костра ресницами: — Немножко вот задержались... Небольшой круг пришлось сделать.

— Пятьдесят верст, — простодушно уточнил кто-то.

— Сорок четыре, — поправил отделенный.

— Нарвались на засаду?

— Нет... Ее вот надо было... — он отступил в сторону, и все увидели прятавшуюся за его шинелью лохматую и приземистую козу.

Словно пригнувшись под тяжестью, она стояла, покорно опустив голову. Облезлую шею ее свободно обнимал ремень, конец которого крепко держал один из партизан.

— Это... что же такое? — не сразу спросил я, и оттого, видно, что вопрос был задан не по-военному, мне ответили коротко:

— Коза.

— Я вижу, черт возьми, что это не тигр!

— Она не своя, товарищ командир, — мрачно объяснил кто-то. — Она вражеская...

— Полицейская!..

— Не у своих же людей мы ее...

— А у матери Подснежника третий день грудница от застуды. Помрет же пацан без молока!..

— Пускай теперь коза кормит. Вот и искупит вину свою перед Родиной!..

Это было сказано совершенно серьезно, потому что голос был угрюм и угрожающ. Я понимал свою роль во всем этом деле, но расследовать факт экспроприации животного не стал.

— Она что же... дойная? — спросил я.

— А как же! — отозвались партизаны. — Иначе зачем бы мы ее несли! Она же, тварь, не двигалась самостоятельно. Станет в снегу, раскорячится и кричит каким-то диким басом. Мы пробовали слегка бить ее, так она совсем легла... А умна, как городская старуха! Ишь, слушает, язва!

Я разрешил людям отдохнуть, и, когда поднимался на крыльцо, меня настиг чей-то голос:

— Я же говорил вам, что все обойдется правильно. Что он, не русский, что ли!

...Мы были летучей группой и не имели возможности подолгу оставаться на одном месте. По-разному приходилось нам передвигаться — то колонной, то по-взводно, то гуськом, и всегда наше шествие замыкалось подводой с учительницей, Подснежником и козой, что все вместе партизаны называли своим тыловым хозяйством.

6

Приближалась партизанская страда — лето. Гражданская одежонка учительницы поистрепалась, и ходила

она теперь в гимнастерке и синей авиаторской пилотке, чуть кокетливо сдвинутой на левый висок.

При стрельбе из карабина Наталья Петровна зажмуривала правый глаз, а нажимая гашетку автомата, закрывала оба.

— Так нельзя, — учили ее партизаны, — надо же смотреть, в кого стреляете!

— О, это я и во сне вижу! — отвечала она, и в глазах ее вспыхивал холодный огонек.

— Так то во сне-е, — загадочно тянули обучающие и почему-то вздыхали.

Нам не хватало «рабочих рук», и учительница пришла в штаб с просьбой послать ее на выполнение боевого задания. Она обратилась ко мне по всем правилам уставного искусства, и я впервые увидел ее такой высокой, стройной, затянутой лакированным ремнем с ярко начищенной пряжкой. Я немного опоздал с разрешением опустить ей руку, она коротко улыбнулась чему-то своему, и мне стало стыдно за свои стоптанные грязные сапоги, засаленную гимнастерку и некрасиво оттянутый книзу тяжелым маузером кирзовый ремень.

И все-таки я отказал в ее просьбе.

— В таком случае вы должны дать мне какое-то поручение, назначить должность!

У нее по-детски обидчиво дрожали уголки губ, как будто она поняла, что я никогда не думал увидеть в ней партизанку.

— У вас есть должность, — неосторожно сказал я, — вы мать Подснежника.

Тогда я узнал, что значит лишать женщину права быть солдатом! Я был поражен страстной силой ее желания и стоял смущенный и чем-то обрадованный.

На второй день я повел пять человек к шоссе. Часа через два автоматной очередью из-за сосны мы подбили крытый грузовик. В нем оказались ящики с патронами и два холодеющих гитлеровца.

— Но это же совсем просто! — с укором глядя на меня, изумленно прошептала учительница.

— Что? — не понял я.

— Уничтожать их! — крикнула она.

Я не совсем был согласен с этим, но возражать не стал.

Потом мы трижды ходили с матерью Подснежника на боевые операции, с каждым разом все более слож-

ные, и вдруг я понял, что боюсь за нее и не могу отпустить одну, без себя, даже с Потапычем. Я мог кому угодно объяснить это тем, что обязан беречь ее для сына, потому что других причин не искал.

Тогда буйно цвела черемуха, и, наверное, от ее душного аромата я ходил опьяненный, легко нося в сердце большое и незримое счастье... Нечитанными страницами волнующей повести раскрывались передо мной лесные дороги, но мне хотелось, чтобы повесть эта начиналась словами о нашем совместном подвиге с учительницей.

7

Шли дни.

Почти одновременным взрывом двух составов с живой силой мы привлекли внимание врага, и против нас было брошено до двух рот пехоты — рослых жандармов, одетых в светло-голубые мундиры.

Мы не успели оторваться от них и приняли бой, заняв в леске круговую оборону. С самого начала я попросил Потапыча увести учительницу и Подснежника. Но старик подполз ко мне и спокойно лег рядом. Я повысил голос.

— Не кричи! — оборвал он меня. — Двоих ведь мне не донести.

— Почему двоих?

— Не идет она... Да и поздно теперь... Давай лучше начинать! Видишь, лезут!

Мы не впервые видели гитлеровцев, но это были особенные, потому что бежали к нам совершенно молча.

— В психоманку играют, — сказал Потапыч и выстрелил.

Автоматным огнем мы прижали жандармов к земле, и до нас долетели их вопли.

— Это им не баран чихнул! — проговорил Потапыч. Я оглянулся, а он успокоил меня: — За нее не бойся. Она с пацаном в надежном месте — вон за той вывороченной сосной, в ямке... И коза там привязана.

Минут через пятнадцать жандармы повторили атаку. Теперь они бежали с криком, свистом и улюлюканьем с четырех сторон.

Может быть, на открытой местности нам этих жан-

дармов с их «психоманкой» не хватило бы и на десять минут, но в лесу вести огонь было трудно.

Каратели понимали, что их численного превосходства хватит ненадолго, если они в броске не достигнут линии нашей защиты, и потому стремились к нам, не считаясь с огромными потерями. Когда несколько человек их оказались в центре нашего пяточка, Потапыч встал на четвереньки и вопросительно-строго взглянул мне в глаза. Я вскочил на ноги и крикнул:

— Бей их, гадов!

В разгар рукопашной схватки, в момент, когда дрогнули наши, над лесом взметнулся и повис высокий и протяжный крик. Я узнал этот голос и кинулся на зов. Подскочив к вывороченной сосне, я увидел падающую учительницу. Она сжимала в руках автомат, и он стрелял еще, а перед ней перекосялся немец и тоже стрелял, раскрыв черный рот в крике. Не помня себя, я кинулся на жандарма. Я слышал, как он выстрелил, но не почувствовал боли и не упал. Наоборот, упал он, враг мой, и я трижды вскинул и опустил на его голову рукоятку своего маузера.

Не помню, кто крикнул истошным голосом — я или кто другой из наших: «Учительницу убили!» — и на какую-то долю секунды в лесу смолкли голоса партизан, и эту страшную пустоту пронзил одинокий голос Подснежника.

С этой минуты началась гибель карателей, потому что страх смерти улетучился из сердца каждого партизана, изгнанный яростью, потому что никто из нас не хотел уходить с пяточка родимой земли. Мы дрались исступленно: били жандармов ложами автоматов, рукоятками финок и гранатами, лягались ногами и впивались в горло руками. Нельзя ждать пощады от тех, кто не щадит тебя сам, и жандармы стали искать спасения в бегстве.

...Оставшиеся в живых ушли с политруком Сашей Березиным преследовать отступающих, и даже тяжело раненные потянулись за ними, а мы с Потапычем остались с мертвыми. Учительница лежала, неловко подвернув под себя руку с автоматом, и лицо ее было прикрыто пилоткой. У ног погибшей мы опустились на колени, и Потапыч усталым движением обеих рук не скоро снял с себя шапку. Я поглядел в глубоко запавшие глаза его и сказал совсем не то, что хотел:

— Что же это мы... а?

— Тридцать шесть наших... — шевельнул он пересохшими губами, потом отвернулся, вскинув голову к верхушкам сосен, и вдруг крикнул, как при удушье: — А их, думаешь, мало? Девяносто три пока, понял?! У-у, подлюки, будьте вы трижды прокляты во веки веков!!

Он встал и пошел к вывороченной сосне, и я впервые увидел его таким старым и немощным.

8

Мы продолжали жить и исполнять свои обязанности. Роте разрешено было довести свою численность до двухсот человек, и зиму сорок третьего года мы встречали в этом составе. Мы по-прежнему имели свое тыловое хозяйство — Подснежника и козу, порученное присмотру Потапыча. Он смастерил большие салазки с кузовом из ивовых прутьев, названные им «кошевкой». Подснежника закутывали в две шубы и укладывали в кошевку, а сзади на привязи покорно шла коза, раздобревшая на партизанских харчах.

Однажды на марше кто-то из молодых партизан вздумал пошутить над Потапычем:

— Ты ее впряги, а сам за кучера!

Старик внимательно выслушал совет, потом рывком снял с плеч винтовку и пнул «шутника» прикладом.

— Знай над чем смеяться, щенок!

Подснежник почти никогда не плакал, и это беспокоило партизан:

— Как бы он... не того!

— Чего? — мрачно вопрошал Потапыч.

— Ну, не это самое... не умер.

Потапыч округлял глаза и до хрипоты понижал голос:

— Что он, не с людьми живет? Заболеть он может — это да. А чтобы это самое — да никогда в жизни! Жить должен!

На остановках партизаны любовно возились с Подснежником.

— Ну, как ты тут, а? У-у, разбойник лесной! Бродяга ты эдакий... Чего смеешься, душонка ты светлая? А одеялу кто запрудил, а? Эх ты, горе на салазках, сосулька ты наша звонкая!..

Изредка Потапыч ходил на задания. Однажды он возвратился с винтовкой невероятной длины. Когда-то вороненный ствол ее обтерся и побелел, грузное ложе пестрело вырезанными словами на чужом языке. К ней было три десятка патронов — крупных, с тупыми, как желуди, пулями. Это была бельгийская винтовка выпуска 1909 года. Потапыч отобрал ее у полицейского, попавшегося ему на перепутье.

— Дожили фрицы! — усмехнулся политрук. — Допотопными медвежатниками стали вооружать своих сподручных.

— Выбрось ее к черту, Потапыч! — оскорбился кто-то из партизан за свое достоинство. — Что у тебя, своей нет?

Но он молча ладил в расщелину пня осколок толстой дубовой доски и, отойдя метров пятьдесят, вскинул к плечу «бельгийку». Из казенной части ствола через раздробленный затвор после выстрела долго выползал дым. Потапыч чихал и потирал плечо: винтовка сильно отдавала при выстреле. Партизаны хохотали, но смолкли, увидев результат попадания: выходное отверстие пули было огромным, и каждый понимал, что это значит.

Для какого-то, так и не подвернувшегося ему случая берег эту винтовку Потапыч, возя ее в «кошевке».

...Лесным топольком рос Подснежник. В годовщину гибели матери мы научили его ходить. На лужайке, густо заросшей одуванчиками, в огромный круг сели тогда партизаны, и Потапыч торжественно поставил на ноги малыша.

— Ну, благослови тебя Бог! — серьезно сказал он.

Подснежник качнулся, протянул вперед ручонки и ступил.

— Пошел!! — гаркнули двести человек, а Подснежник зашатался и утонул в одуванчиках.

— Мишка, ходи ко мне!

— Дуй сюда, чертенок розовый!

— К на-ам!!

У малыша были губные гармошки, гитлеровские кресты и медали, бинокль, фотоаппарат и куча разноцветных коробок из-под сигарет. Но Подснежник жил среди воинов и был настоящим мужчиной: он любил оружие и при выстреле вздрагивал, крепко зажмуривал глаза и всегда кричал победно и радостно:

— Па!

...Знойным летним днем мы соединились с наступающими частями Советской Армии и вольной колонной вошли в город. Впереди, рядом со мной и политруком, шел Потапыч. Он нес на плече Подснежника — бритоголового, загорелого крепыша в ослепительно белой рубашке, сшитой из парашюта. Мишка цеплялся одной рукой за шею Потапыча, а другую держал у виска, приветствуя улыбающихся танкистов. Это был самый счастливый день в нашей жизни, и непонятым казалось, почему женщины, вышедшие из убежищ встретить своих, вдруг начали плакать, глядя на Подснежника.

1952

ХИ ВОН

Пусть тонок ручеек, как шелковая нить,
Но если путь ему внезапно преградить,
Преграду обойдет и вырвется опять:
Источник невозможно затоптать.

Се Ман Ир

1

Восьмилетний Хи Вон коренаст и мал ростом, у него карие и круглые глаза и вразмет поставленные черные брови. Вчера вечером со стороны Желтого моря в Сеул пришел ливень и на целую ночь загнал Хи Вона в подземелье. И там под утро ему приснился все тот же сон: будто бы отец — высокий, смуглый и сильный — подхватывает его на руки, сажает на свое плечо и говорит негромко и ласково:

— Пойдем, встретим солнце.

Хи Вон проснулся, быстро протянул руки и больно ударился ими о корявые кирпичи.

— Папа!

Голос безответно утонул в темноте, и Хи Вону захотелось плакать. Он подождал, когда на глазах выступят теплые слезы, потрогал веки рукой, но ресницы были сухие. И Хи Вон попробовал заснуть снова. Подогнув колени к подбородку и крепко зажмурившись, он лежал долго и тихо, но сновидение не повторилось.

И тогда Хи Вон осторожно пополз вперед. В этой

щели под разрушенным домом на окраине Сеула ему давно знакома на ощупь каждая неровность и выступ, и он знает, куда поставить локоть и голое колено, чтоб не ушибиться. Он должен сейчас круто завернуть влево, потом проползти прямо, затем немного направо, и там его встретит солнце, если наступил день.

Хи Вон ползет с закрытыми глазами. В темной каменной дыре ему всегда бывает немножко жутко, и, чтобы прогнать глупый страх из сердца, ему надо крепко зажмуриваться и петь.

Вот уже три месяца Хи Вон поет одну и ту же песенку, сложенную им самим:

Мне нечего бояться: мой отец — герой Пак Иль Тон.
Он очень сильный, большой и смелый, —
Так говорила мне бабушка — и это знаю я сам.
Там далеко в Алмазных горах
Он бьет проклятых «мигукномов»¹,
Что казнили мою маму и бабушку
И разорили наш дом...
Мне нечего бояться: мой отец — герой Пак Иль Тон!

Песенки как раз хватает на то, чтобы доползти с нею до выхода на волю. Хи Вон всегда начинает петь громко, а заканчивает песенку шепотом: кто знает, и среди развалин может оказаться полицейский или американский солдат...

Под ярким утренним солнцем руины квартала дымятся душными испарениями. Хи Вон несколько минут подставляет солнцу то спину, то грудь, размахивает руками и прыгает на одной ноге. Потом он подходит к амбразуре окна в уцелевшей стене, спугивает пригревшихся там ящериц и на их место садится сам. Отсюда на далекое расстояние видна пустынная улица, заваленная щебнем и усыпанная мелкими осколками стекла. Под косыми лучами встающего солнца стеклянное крошево горит разноцветными огнями, а днем осколки гаснут, становятся невидимыми и причиняют Хи Вону много бед, жая его ноги.

Несколько минут Хи Вон сидит неподвижно. Он думает о том, что если бы его отец пришел к нему сегодня не во сне, а вправду, то, наверно, он принес бы с собой что-нибудь очень интересное... половину булки, например... Нет, целую булку. И еще — рис... Он мог

¹ Звероподобных. Так корейцы называют американцев.

принести его и в кармане, а Хи Вон нашел бы, в чем сварить его... Но прежде Хи Вон обязательно съел бы несколько рисовых зернышек прямо так, сухих — все равно это было бы вкусно...

Затем мысли Хи Вона уносят его далеко-далеко, к тому времени, когда он был еще маленьким. Это было давно — наверное, лета два назад. Тогда в городе еще не было проклятых «мигукномов» и его отцу незачем было уходить на войну... Тогда были живы мама и бабушка, и Хи Вон никому бы не поверил, что их может не быть... А если бы он знал это, то не заставлял бы бабушку подолгу уговаривать его съесть рис, молоко и булку...

В амбразуре окна Хи Вон сидит скорчившись, положив голову на круто подогнутые колени, и его худенькая спина под остатками рубашки вздрагивает мелко и часто — с тех пор как Хи Вон остался один, он научился плакать тихо.

2

Знакомым путем Хи Вон идет к месту свалки мусора. Вчера ему посчастливилось отыскать там селедочную голову, а позавчера — три апельсиновые корки; Хи Вон надеется, что и сегодня счастье не отвернется от него и он обязательно найдет там что-нибудь поесть.

Каждый день по утрам на место свалки приезжает грузовик, и американские солдаты выбрасывают из него порожние бутылки, банки из-под консервов, картонные коробки и обрывки бумаг. Грузовик жадно стерегут столпившиеся поодаль дети и старики, но, пока он разгружается, к нему никто не смеет подойти близко — солдаты бросают бутылками в «искателей сокровищ» и хохочут...

Хи Вон запоздал к моменту разгрузки и отъезда автомобиля. Он обошел стайку ребятишек, рывшихся в мусоре, и в противоположном конце свалки пристроился около старенькой бабушки, одетой в темные лохмотья. Долго ему ничего не попадалось, потом он нашел красноватую корочку сыра и, прикрыв веки, долго жевал ее, жалея проглотить. Когда Хи Вон открыл глаза, то увидел, что бабушка перестала исследовать картонные коробки и изумленно наблюдает за ним, Хи Воном. Он заметил, что у нее темные тяжелые кисти рук и корот-

кие распухшие пальцы, показавшиеся ему стеклянными. «Это оттого, что бабушка давно ничего не ела, — предположил Хи Вон и вздохнул. — Вот если бы она нашла себе большой кусочек сыра... Или половину рыбки... А лучше, если бы бабушка взяла и нашла большущий продолговатый хлеб!.. Наверно, она не съела бы его весь сама, а... а немножечко дала и Хи Вону. Ведь немножечко всегда нужно дать, если ты нашел целый хлеб, а другой совсем-совсем ничего... Но ведь «мигункомы» выбрасывают сюда только разный хлам, а хлеб и консервы съедают сами. Как же может бабушка найти тут что-нибудь?..»

Хи Вон вторично вздохнул, наклонил голову и торопливо стал разрывать мусор. Он схватывал обеими руками попавшуюся консервную банку, привычно засовывал в нее пальцы и соскребал засохшие там крошки мяса. Острые края жести ранили руки Хи Вона, но он мало обращал внимания на боль, так как очень торопился. В одной пестро разрисованной банке его пальцы вдруг ощутили влажную мякоть. Хи Вон быстро заглянул в банку и притих от изумления — тесным рядком на дне ее лежали маленькие золотистые рыбки. Он выхватил одну рыбку и проглотил ее, почти не разжевывая, потом сунулся за второй, но отдернул руку и стал считать рыбок. Одна, две, три, четыре, пять... Нет, надо сначала: одна, две, три, четыре, пять. Да, целых пять, а если прибавить к ним ту, что съел, — будет шесть...

Зажав в коленях банку, Хи Вон наклонился над ней и стал есть рыбок. Он ел и считал — осталось четыре, а если съесть вон ту крайнюю — останется только три... Ну что ж, все-таки еще три, а не одна. Три — это больше, чем одна, а одна — больше, чем совсем ничего... Вот если бы и бабушка нашла себе что-нибудь поесть, тогда у нее, наверное, перестали бы светиться пальцы... Этих рыбок бабушка тоже могла покушать, если бы я... если бы я дал ей хоть одну штучку...

Оставшиеся в банке три рыбки лоснились вкусной золотистой кожицей, издавали сладкий аромат еды, и оторвать глаза от них Хи Вону не под силу. Пальцы его правой руки неудержимо тянулись к рыбкам, и он отводил руку за спину и сердился на себя за то, что не может почему-то взглянуть в сторону бабушки. Тогда он прижал банку к щеке и минуты две сидел непод-

вижно. Потом тряхнул головой, быстро выхватил из банки сразу две рыбки, поднес их ко рту и тут же взглянул на бабушку. Она утопала коленями в мусоре и, подняв лицо к солнцу, шептала что-то темными потрескавшимися губами. Хи Вон поднялся на ноги и сделал неуверенный шаг в ее сторону, но вдруг задержался, прощально поглядел на рыбок и с хвоста одной из них незаметно смахнул языком янтарную каплю масла.

— Бабушка! — шепотом позвал Хи Вон. — Вот я нашел рыбок... Нате вам, бабушка... все три. А я найду себе когда-нибудь еще... Берите же скорей, бабушка, а то я... а то они... Видите они какие?

Бабушка долго разглядывала рыбок, близко поднеся к глазам банку, потом вложила ее в руки Хи Вона и произнесла тихо:

— Отнеси домой и отдай своей маме или своей бабушке... добрый мальчик!

Хи Вон сказал, что у него нет дома и нет своей мамы и своей бабушки, а есть только папа — очень сильный, большой и смелый герой Пак Иль Тон. Но он далеко, в Алмазных горах, бьет проклятых «мигукномов» за то, что они казнили его маму и бабушку...

Бабушка молча выслушала Хи Вона, сурово сжав губы, и долго гладила его голову своей тяжелой и темной ладонью.

— Хэбандон¹, — сказала она наконец, — в Алмазных горах твой отец добывает твоё счастье. Вместе с ним сражается много честных воинов нашей Кореи. Все они очень сильные и смелые люди, и они обязательно придут сюда и принесут нам жизнь и свободу. Они придут скоро, но до осенних ливней осталось тридцать ночей, хэбандон, а до Алмазных гор твои ноги дойдут за пятнадцать. С ливнями в Сеул придет стужа и гибель, а за Алмазными горами ты найдешь тепло и ласку... Уходи, хэбандон, из Сеула. Иди ночами — ты ребенок, и звери детей не трогают. Иди ночами — ты сын свободной Кореи, а «мигукномы» люты. Они отняли у тебя солнце, но ты рожден в светлый час, и ночами в пути тебе темно не будет. В Алмазных горах твой отец стоит лицом к Сеулу, и он издалека-издалека тебя заметит...

¹ Сын свободы. Так в Корее называют детей, родившихся 15 августа 1945 г., в день освобождения Кореи.

Бабушка говорила долго и страстно, подняв лицо к солнцу. Хи Вон слушал, и в его маленьком сердце зарождалась отвага...

3

На третий день после этого Хи Вон был свидетелем необычайного события. В полдень над городом совсем неожиданно появились девять маленьких серебряных самолетов. Такие самолеты Хи Вон видел и раньше. Он знал, чьи они, и радовался им не меньше, чем солнцу по утрам.

Самолеты летели высоко и быстро, но вдруг разом нырнули вниз над городской площадью, где жили «мигукномы» и стояли их грузовики. К тугому и протяжному звону, какой издавали самолеты, примешался теперь бодрящий и немного тревожный звук — будто кто-то невидимый сердитыми и короткими рывками рвал в небе плотную парусину. Хи Вон воинственно вскрикнул и во весь дух побежал к площади. Маленький и черный, он несся по пустынной улице, перепрыгивая через кирпичи. Он падал, вставал и вновь бежал, грозя кулачками площади и выкрикивая что-то призывное атакующим самолетам.

А навстречу ему, подскакивая на рытвинах, ошалело тычась по сторонам и налезая друг на друга, мчались грузовики. Хи Вон прыгнул за грудку камней и прижался телом к тротуару. Первой бешено промчалась легковая машина, и Хи Вон успел заметить, как сидевшие в ней «мигукномы» в страхе закрывали головы растопыренными пальцами рук. Это было очень смешно, и Хи Вон смеялся, выкрикивая обидные слова «мигукномам» и жалея, что раздвинутыми в смехе губами никак нельзя издать свист. Тогда он схватил круглый булыжник, привстал на колени и бросил его вслед машине.

Но полет камня Хи Вон проследить до конца не смог. В этот момент улицу наполнил железный грохот и треск. Хи Вон оглянулся. Посредине улицы, совсем недалеко от того места, где он лежал, на всем ходу в стену врезался огромный грузовик. Из его железного кузова, как пустые консервные банки, когда их выбрасывали на свалку, посыпались «мигукномы». Они визжали, расползались в разные стороны и попадали под колеса проносящихся грузовиков.

Потом случилось то, чего Хи Вон никогда не забудет. Над ним совсем-совсем невысоко, с ураганным воем и шумом пронесся самолет. Это был свой, из числа, наверно, тех девяти, которые только что закончили штурмовку и ушли на север, а может быть, и десятый, чуть запоздавший прилететь им на помощь. Он пронесся из конца в конец улицы, расстреливая грузовики и «мигукномов», взмыл вдали над площадью, блеснув серебром крыльев, и снова устремился по руслу улицы навстречу Хи Вону. Не отрывая глаз от самолета, Хи Вон в то же время видел, как плотно бурое пламя цепко охватывало то один, то другой грузовик. Он видел, как один низкий и длинный автобус ткнулся под своды неразрушенных ворот и там притих. «Он спрятался, самолет его не заметит», — догадался Хи Вон и, вскочив на груды камней, закричал самолету, показывая на автобус:

— Он спрятался! Вот где он! Вон он!

Но, видно, истребитель не слышал Хи Вона. Прямо над ним он круто взмыл в небо, и тогда-то Хи Вон увидел там не свои самолеты. Их было двенадцать, темноватых и длинных, летевших плотным строем на большой высоте. Хи Вон тревожно глянул в сторону площади, но своих самолетов над ней уже не было. «Что же теперь делать? Он один, а «мигукномов» двенадцать», — пронеслось у него в мозгу.

Одинокий белый самолет все выше поднимался в небо и был совсем недалеко от вражеских истребителей. Хи Вон вытянулся в струнку, следя за ним широко раскрытыми глазами. «Он их не видит! Они его сейчас убьют!» — шептал он, сжимая у подбородка свои темные костлявые кулачки.

Все, что произошло затем, длилось очень недолго, но Хи Вон мог рассказывать об этом бесконечно. Белый самолет выровнялся и стал настигать самый крайний вражеский истребитель. Вот он поравнялся с ним, потом оказался выше, потом почти уперся носом в хвост его, — и до Хи Вона донесся знакомый звук — короткий и сердитый разрыв парусины. Вражеский истребитель смешно подпрыгнул, пыхнул клубком черной копоти и не спеша стал косо падать на землю. И только тогда черные самолеты нарушили строй и брызнули в разные стороны. Хи Вон ждал, что белый самолет сейчас же повернет от них назад и никто-никто его не до-

гонит. Но этого не случилось. Он падучей звездочкой ринулся вперед к головному истребителю, и Хи Вону показалось, что сидевший в нем «мигунком» закрыл голову руками.

Этот истребитель изо всех сил хотел удрать от белого самолета. Сначала он шел по прямой, потом нырнул вниз, затем полез вверх, к солнцу, но у его хвоста, будто на привязи, все время шел серебряный самолет Хи Вона. «Стреляй! Стреляй!» — мысленно кричал ему Хи Вон, видя, как несколько темных истребителей бросились к нему со всех сторон.

Но желанного звука не было слышно, и тогда Хи Вон закричал что было мочи:

— Наза-ад! Наза-ад! Дяденька, дорогой... не надо нам больше — наза-ад!

И в этот миг белый самолет рывком настиг черный истребитель, навзничь опрокинул его, и оба они, совсем рядом друг с другом, рухнули вниз...

4

Он трижды уходил из Сеула, но, побродив по полю, набирал там блеклых цветов и возвращался с ними в город. Хи Вон знал, что до Алмазных гор ему надо идти много ночей, и это не страшило его, но в какой стороне были эти горы — он не знал.

Уходило лето. По ночам руины излучали мало тепла, накопленного за день, и Хи Вон мерз. В такие ночи он не смыкал глаз, и ему казалось, что никогда уже больше не взойдет солнце, навсегда уворованное «мигункомами». Эти непонятные и злые люди могут сделать и это! Ведь казнили же они его маму и бабушку!..

От таких мыслей Хи Вон леденел и начинал придумывать всевозможные способы освобождения солнца. Он подкрадется ночью к «мигункомам» и зубами развяжет кожаный мешок, куда они, наверное, спрятали солнце... Нет, пусть это сделает лучше папа! Он не станет подкрадываться, а прямо подойдет к ворам и крикнет им: «Вы нехорошие, гадкие люди! Отдайте нам наше солнце и уходите вон! Пусть моему Хи Вону и всем другим детям... и бабушкам тоже... будет тепло и нестрашно!» Воры обязательно испугаются и разбегутся. Но папа не должен отпустить их так. Он должен их строго наказать за маму и за бабушку, за самолет и за все, все!

За этими мыслями проходила ночь и вставало неизменно яркое солнце. Хи Вон встречал его восторженно, бил в ладони и беззвучно смеялся, радуясь теплу и свету. Как это он мог подумать, что «мигукномы» могут уворовать солнце! Нет, они не в силах сделать это. Они не могут, не достанут, обожгутся! О, если бы они только могли, то давно украли бы его и увезли в свою страшную «мигукномию».

Приближалась осень. В Сеул все чаще приходили ночные дожди, грозя превратиться в ливни, и Хи Вон укрывался от них в своей щели. Теперь, возвращаясь с поисков еды, он приносил с собой обрывки газет и куски картона и утеплял ими свою постель в подземелье. Там, зарывшись в бумажный ворох, он уносился в мечтах в Алмазные горы, но его еще издали замечал отец — очень сильный, большой и смелый герой Пак Иль Тон, — и с ним Хи Вон не расставался до самого утра...

Но по утрам исчезало очарование сна, и Хи Вону отчетливо припоминалось: «За ливнями в Сеул придет стужа и гибель, а за Алмазными горами ты найдешь тепло и ласку... Уходи, хэбандон, из Сеула. Иди ночами — ты ребенок, а звери детей не трогают. Иди ночами — ты сын свободной Кореи, а «мигукномы» люты...»

С тех пор Хи Вон ни разу не встречал бабушку. Где же она? Попалась ли ей хоть один раз и хоть одна маленькая рыбка? И перестали ли у бабушки светиться пальцы? И почему она забыла сказать тогда, где же эти Алмазные горы!..

Однажды в пасмурный и душный вечер Хи Вон по-нуро шел пустынным переулком к своей щели. Сегодня он дважды спрашивал взрослых об Алмазных горах. Старый рабочий в ветхой шляпе и соломенных башмаках долго и тихо смеялся, услышав вопрос Хи Вона, назвал его за что-то молодцом и ответил:

— Тебе не дойти туда, потому что ты мал. Терпи, скоро они сами придут к нам оттуда. Да, придут!..

Было странно, что этот человек знал мысли Хи Вона. Разве он говорил ему, что собирается идти в Алмазные горы? Нет. Он только спросил, где они стоят: там, или там, или вон в той стороне. И почему он знает, что туда не пройти? Видно, он сам уходил туда и... не дошел. Еще бы! В соломенных башмаках туда

дойдешь не скоро, а эта белая рваная шляпа издалека, конечно, была видна «мигукномам»... О, нет. В Алмазные горы надо идти ночью, без шляпы и без башмаков...

Второй человек, к которому обратился Хи Вон с вопросом, был древний старик, продавец фруктов в Сеуле. Он молча показал рукой на север и молча дал Хи Вону два крупных яблока из своей корзины.

Хи Вон шел и думал, что, наверное, дедушка не ошибся. Именно в ту сторону, куда он показал, улетели тогда самолеты, что штурмовали площадь. Да, там должны быть эти чудесные горы. Там его отец стоит лицом к Сеулу, и он издалека заметит своего маленького Хи Вона!..

В эту ночь Хи Вон ушел из Сеула на север.

5

Пятнацаты!

Такое количество яблок Хи Вон не смог бы съесть сразу. Столько рыбок никому и никогда не попадалось на свалке. А пятнадцать «мигукномов» могут казнить много чужих мам и бабушек. О, пятнадцать яблок, пятнадцать рыбок и пятнадцать «мигукномов» — очень много...

Но пятнадцать ночей — это совсем мало. Это число получается сразу, если на руках и на одной ноге сосчитать пальцы... Это ничего, что ноги сплошь исцарапаны и исколоты до крови, а штаны изорвались. Это ничего, что вот уже несколько дней кровоточат десны, а передние зубы шатаются. И что под левой рукой, прямо под тонкими косточками ребер давно не проходит ноющая боль — тоже ничего. И многое, многое ничего. Но вот колени! Они все время подламываются и не хотят идти. Стоит только их послушаться и присесть, как они начинают дрожать и болеть, и тогда с ними нельзя ничего поделать. Они хотят отдыхать долго, а Хи Вон не может позволить им этого. Разве ему самому не хочется есть? И разве ему не бывает по ночам страшно и не мерзнут под дождем его голая спина и плечи? А разве в первые ночи пути его глаза не хотели спать и не закрывались ресницами? Но Хи Вон приучил их спать только днем, и теперь по ночам они всегда широко открыты и далеко-далеко видят...

Нет. Он не может позволить коленям отдыхать и отдыхать все время. Отдыхать должны все вместе — и глаза, и руки, и плечи, и ступни ног, и они, колени. А если они совсем не захотят слушаться, то... то Хи Вон будет вынужден наказывать их. Он надаёт им шлепков ладонями, чтобы знали.

Но он их не наказывал. По утрам, уходя от дорог и располагаясь на отдых, он нежно обнимал их ладонями и шептал им ласковые слова. Как хорошим и верным друзьям, он сообщал им с радостным возбуждением, что до Алмазных гор путь на одну ночь стал короче, а чтобы всегда помнить об этом, он выдергивал из обрывков штанов нитку и перевязывал ею очередной палец на руке...

Далеко позади, на юге, остался Сеул. Хи Вон не знает, сколько шагов от города прошли его ноги и сколько ударов в такт шагов выбило его сердце, но все это время ему хотелось есть. У подножья сопки он разыскивал ползучие кустики какого-то растения с красноватым корнем, а на стволах сосен — блестящие и горькие сосульки смолы. И когда он ел это, то ощущение голода становилось почти болью, и ему хотелось кричать. Только один раз за все это время Хи Вон вдоволь наелся и спокойно выспался. Но это было несколько дней назад, когда на рассвете он зашел в одинокую хижину, стоявшую на его пути.

Он сильно ослаб, и в последние ночи не одни только колени просились у него отдыхать. Отдыхать хотели и глаза, и руки, и плечи, и ступни ног. И сам Хи Вон хотел отдыхать, и через сто, двести шагов он присаживался у края дороги и сразу проваливался в тревожный полусон.

Как-то пасмурным утром он перевязал ниткой десятый — последний — палец на руках. Это означало, что больше половины пути им было пройдено, неперевязанными оставались лишь пальцы одной ноги.

Однажды за целую ночь Хи Вон не прошел и трех километров, а утром он не ушел в сторону от дороги, не испугался ни первого, ни второго и ни третьего грузовика с «мигункномами», мчавшихся мимо него. Впервые за долгое время ему почему-то не хотелось есть. Ему ничего не хотелось, кроме отдыха на краю дороги у гранитного валуна. И он лежал почти незаметным серым комочком и вслушивался в глухие стоны земли.

Они то затихали, то учащались, и Хи Вон знал, что это — война в Алмазных горах.

6

Его подобрал крестьянин и отнес в свою хижину, лепившуюся у края дороги за выступом скалы. Там Хи Вон прожил четыре дня и четыре ночи. Он много спал, жадно ел и неторопливо рассказывал о себе все, что знал.

Старая женщина, одетая во все белое, и ее двенадцатилетняя внучка Кван Силь были полны решимости навсегда оставить у себя Хи Вона.

— В горах он погибнет, и за это мы будем сурово наказаны Богом, — сказала крестьянка мужу.

— Он будет жить с нами, а я буду сестрой ему, — произнесла Кван Силь.

Крестьянин молча выкурил трубку и выслал женщин из хижины. Наедине он долго беседовал о чем-то с Хи Воном, затем позвал женщин.

— Приготовьте хэбандона в дорогу, — приказал он спокойно, — он хочет уйти от нас завтра ночью.

Старые штаны крестьянина были укорочены и ушиты в поясе, но они были широки, и в них Хи Вон стал еще меньше ростом. Он отказался от башмаков и шапки, но взял длинную палку и маленький мешочек с рисом...

Испещренные глубокими морщинами трещин, величаво и неприступно поднимаются к небу вершины Алмазных гор, и у самых стремнин и падей сухая и длинная, как тоска корейца по отнятой воле, пролегла горная извилистая дорога. Днем по ней опасно проползают американские грузовики и танки, а по ночам пробирается на север Хи Вон, прячась на день в расщелинах скал и канавах. Холодно в горах по ночам, но Хи Вон увязывает мешочек с остатками риса на спину и бежит, волоча ноги, пока на лбу не выступят росинки пота.

Чтобы услышать выстрелы, Хи Вону не надо принимать ухом к дороге. Выстрелы слышны теперь и днем и ночью, временами от них вздрагивают горы, и Хи Вон пугается и радуется одновременно.

Наступила ночь, когда не перевязанным ниткой у Хи Вона остался последний палец счета — мизинец левой ноги. Он был так мал, что и считать-то его не

стоило, и Хи Вон нарочно оставил его напоследок. Он очень хотел, чтобы эта последняя ночь пути была маленькой и нетрудной, он ведь хорошо помнил, что на пятнадцатую ночь его встретит в горах тепло и ласка, а разве может кто-нибудь не хотеть этого скорее?

В эту ночь Хи Вон долго бежал, не чувствуя уже за спиной радостной тяжести от мешочка с рисом — последние рисовые зерна он съел днем. Он отчетливо слышал впереди себя выстрелы и изо всех сил старался бежать быстрее.

Под утро горы окутались густым белым туманом. Хи Вону было холодно и было странно, что его колени в первый раз не хотели отдыхать. Они сами легко поднимались и опускались и не задевали палку. Отдыхать хотели глаза, и Хи Вон не противился этому. Он бежал, лишь изредка взглядывая на дорогу, потом закрывал веки, и тогда минутами ему казалось, что он лежит и спит, что ему тепло и не хочется есть.

Так он взбежал на мост. Оклик на непонятном языке заглушил звуки выстрелов и сковал страхом колени Хи Вона. Он упал, но быстро вскочил на ноги и прямо перед собой увидел человека. Это был чужой солдат, это был «мигукном», и ноги Хи Вона отказались сдвинуться с места. Солдат стоял перед ним, широко расставив ноги в больших ботинках, и молчал. Его голову прикрывала железная шапка, а в руках он держал автомат. Он стоял совершенно неподвижно, и Хи Вон тоже не двигался, не моргал и дышал коротко и часто. Потом солдат начал медленно раскачиваться взад и вперед. Он раскачивался, не спуская глаз с Хи Вона, и лениво что-то жевал. Хи Вон глотал слюну и ждал, что вот сейчас солдат съест свой завтрак и тогда уже сделает с ним что-то страшное. Но солдат не переставал есть. Он жевал и жевал, и Хи Вон решил, что во рту этого человека очень твердая и, должно быть, вкусная пища, которую едят только «мигукномы».

И вдруг солдат шагнул вперед. Хи Вон отступил, не выпуская из рук палку и не сводя широко раскрытых глаз с жующих челюстей солдата. «Сейчас он меня... он меня...» — думал он и не знал, что же такое невиданное совершит над ним этот человек? Солдат шагнул снова, и Хи Вон отступил, потом еще и еще, пока они не сошли с моста. И тогда солдат резко выбросил ногу,

а Хи Вон присел, но страшный удар оторвал его от дороги и кинул в обрыв, к реке...

7

...Желтотелое и продолговатое чудовище, легко перелезая поваленные плоские деревья, тащило на себе что-то белое и круглое. А навстречу ему из дальних зарослей тяжело выполз еще более страшный и невиданный хищник. Он был многоногим, блестящим и красным, как кровь... Хи Вон в ужасе закрывал и открывал глаза. Чудовища исчезали и вновь появлялись. Потом он услышал свое дыхание и ощутил боль. А через несколько мгновений он явственно различил звуки выстрелов и приподнял голову. Муравей и жук возились в траве перед глазами, но Хи Вону уже некогда было удивляться, почему он принял их за сказочных чудовищ — он вспомнил жующие челюсти «мигукнома»...

Он перевернулся на бок и высоко над собой увидел мост. За дальними сопками садилось солнце и багровыми лучами окрашивало в реке воду.

— Пи-ить, — попросил Хи Вон и пожевал распухшими губами. Во рту хрустел песок и не было слюны, чтобы выплюнуть его наружу. Тогда он пополз к реке, хоронясь от моста за кустами и камнями. Острая галька ранила колени, но Хи Вон стонал тихо. У самой воды он нашел свою палку и взял ее с собою.

До вечера он просидел у большого зеленого камня, торчащего из воды у самого берега. Мост не был виден из-за камня, а у его подножья, в воде резвились стайками маленькие рыбки. Хи Вон вдоволь напился воды и промыл ссадины и раны на своем теле. А потом он долго охотился за рыбками. Сначала он пробовал хоть одну, самую маленькую, прижать к песку палкой, потом бросал в них камнем и, когда оседала муть, шарил по дну руками. Так он нашел несколько раковин. Те из них, что не хотели открываться, он разбивал о камень и жадно поедал их прохладное содержимое.

Когда задымилась река, а мост стал чуть различим в сумерках, Хи Вон пошел от него краем берега, тяжело опираясь на палку. Там, где река сужалась, она клочкотала и пенилась, и он не слышал выстрелов. Тогда Хи Вон ускорял шаги и поминутно спотыкался о камни...

Он выбрал самое тихое место, где река текла без рева и всплесков. Но отсюда во мраке не был виден противоположный берег, и это пугало Хи Вона. Он долго сидел на камне, ловя звуки выстрелов, затем осторожно ступил в воду. Дно реки было усеяно круглой и скользкой галькой. Течение увлекало за собой Хи Вона, но он упирался палкой, широко расставлял ноги и все дальше и дальше уходил от берега. Темная вода достигла его колен, потом обожгла живот, и тогда Хи Вону захотелось оглянуться. Остановившись и упершись палкой, он медленно повернул голову назад, но берег не был виден. А впереди раздавались выстрелы, и на склоне сопки различались сосны. Хи Вон набрал полную грудь воздуха и шагнул вперед...

Он достиг берега. Тело его сводили судороги, и нескончаемую дробь выбивали зубы. Нужно было двигаться, прыгать, бежать, чтобы согреться, но колени не гнулись, и Хи Вон с яростью принялся колотить их ладонями. А когда они почувствовали боль и покорились, он побежал вперед, беззвучно крича, чтобы согреть внутренности.

На вершине сопки он обхватил руками сосну и стал глядеть в ночь. Далеко впереди изредка вспыхивали красные огни, потом на сопку прикатывался гром и встряхивал сосну и Хи Вона. «Это пока не война, — думал он, — это только так... Война — это... это когда бьют «мигукномов», а они убегают и кричат. А тут никто не кричит. Нет, это еще не война!..» Он молча приласкал колени, зачем-то ощупал впалый живот, вздохнул и побежал с сопки. У ее подножья, рядом с разбитой пушкой, он нашел целую кучу блестящих медных сосудов, но они были пусты, без ручек и очень большие. Затем он наткнулся на исковерканный танк, потом ему стали попадаться всевозможные обломки железа и дерева...

8

То место, где раздавались выстрелы, Хи Вон обошел справа, и теперь они звучали уже левее и чуть сзади. Третью от реки сопку он переходил не бегом и не шагом, а ползком — здесь в ямах жили «мигукномы». Хи Вон слышал заглушенную речь их, изредка видел огоньки, а у одной большой и глубокой ямы, откуда неслись

выкрики и музыка, увидел солдата. Он стоял у входа в подземелье, а рядом за сломанным деревом лежал Хи Вон и видел: солдат лениво раскачивался на ногах и жевал челюстями. «Это он, тот, что был на мосту», — похолодел Хи Вон и, неслышно для самого себя, пополз в сторону.

Противоположный склон сопки сплошь изрыт глубокими канавами и ямами, а рядом, задрвав вывороченные корни, валялись сосны и пахли смолой и затухшими углями. Тут не было «мигункомов», и Хи Вон побежал, но вдруг всем телом наскочил на что-то звонкое и колющее. Падая назад, он вскрикнул от боли и тогда только разглядел невысокий забор из колючей проволоки, преградивший ему дорогу. Он вскочил и бросился вдоль забора, но тогда произошло необыкновенное. Ночь вдруг озарилась ярким светом, а голубая земля, колючий забор и вывороченные сосны стремительно понеслись куда-то в сторону. Остановившись и расставив руки, Хи Вон увидел недалеко широкий проход в заборе; земля там была изрыта ямами и беспорядочной кучей громоздились кольца, обмотанные проволокой. Туда!

Он бежал, падал, вставал и снова бежал. Ночь то превращалась в день, то становилась черной, как подземелье. То, что тревожно гремело сзади, — были выстрелы, а эти свистящие вокруг невидимые жуки — были пули. Это ими «мигункомы» казнили маму и бабушку, а теперь хотят казнить и его, Хи Вона. Но он не хочет! Не хочет и убежит от этого!..

Вот и конец колючего забора. Хи Вон прыгнул в яму и, царапая тело о куски проволоки, рванулся из ямы наверх. Зеленые, красные и голубые нити чертили над ним пули и уносились вдаль. «Еще, еще немножко! Милые, хорошие мои колени — еще! Одну только капельку!..»

Тогда-то впереди, на вершине соседней сопки, вспыхнуло огромное солнце. Белым и длинным лучом оно быстро обежало забор, ослепило Хи Вона, вздрогнуло и на нем погасло: Хи Вон упал на край ямы и слышал, как что-то с воем пронеслось над ним к «мигункомам» и взорвалось у них с тяжелым обвальным грохотом. Вой учащался с каждой секундой, становился непрерывным, а взрывы слились в сплошной гул, от которого дрожала земля. Солнце не переставало вспыхивать впереди, и его луч то проносился над Хи Воном, то на

мгновение освещал его и на нем гас. Хи Вон не шевелился. Он лежал, крепко закрыв веки, и, не слыша своего голоса, пел:

Мне нечего бояться... мой отец... мой отец — герой Пак Иль Тон.

Чья-то сильная и горячая рука легла на его плечи: Хи Вон пронзительно вскрикнул, быстро перевернулся на спину, готовый кусаться, и в свете вспыхнувшего солнца увидел над собой человека. Человек этот был высокий и смуглый, он что-то говорил и улыбался, а на его фуражке мерцала в белом ободке маленькая красная звездочка...

И тогда впервые за время пути Хи Вон заплакал. Он вдруг почувствовал себя маленьким, бесконечно усталым и заплакал не тихо, а навзрыд, в голос. Высокий и смуглый человек говорил ему что-то ласковое и крепко прижимал его к своему сильному телу.

1952

БЕЛАЯ ВЕТКА

1

Горинов ненавидел свою должность начальника отдела метизов, но всегда являлся в контору за десять минут до начала работы. Весной он ходил на работу дальней дорогой — по тихим окраинным улицам, заросшим зеленью, и у дверей конторы нехотя выпускал из рук желтые головки одуванчиков. Тускло освещенный коридор конторы пропитался сложными запахами снабженческой организации — бензином от дремлющих на скамейках шоферов, прогорклостью давно остывших печей, окурками, и Горинову никогда не удавалось донести до своей комнаты ощущение весны и солнца.

Рабочий день его всегда начинался одним и тем же — смутным раздражением, которое вызывали у него сатиновые нарукавники товароведа Зорькина: костюмы он менял часто, а зарплату получал почти вдвое меньше Горинова; резкими телефонными звонками и заученными ответами клиентам.

Под окном отдела метизов, прямо на тротуаре, росла

яблоня. Ее ствол был искривлен, изранен именами тоскующих влюбленных и забрызган грязью. Каждый год в майские дни яблоня буйно цвела, и ее розовые ветки обламывали прохожие. «Черт с ними, — думал Горинов, — все равно ведь верхушка останется!»

Но однажды, когда яблоня курилась белым дымом отцвети, на ее ветви, наигранно пугаясь и вскрикивая, влезла машинистка конторы Кокарева, а товаровед Зорькин стоял на тротуаре и, разбросав руки, упрашивал:

— Не пугайся, Нимфочка. Не волнуйся... Я же здесь! И ломай вон ту, что повыше!

Горинов стоял у окна. И когда влажно хряснула яблонева ветка, он угрожающе крикнул:

— Что вы делаете!

Зорькин нерешительно опустил руки и растерянно захихикал, — он всегда побаивался своего начальника, а машинистка продолжала яростно обламывать новые ветки.

— Что вы делаете? Слезьте! — почти просяще приказал Горинов.

— А вам что, жалко? Это что, ваше?

Короткие и круглые, как галочий грай, слова эти Кокарева роняла с яблони, не переставая работать руками, и Горинов видел, как за краской губ хищно блестели ее мелкие острые зубы, видел темные бусинки глаз ее, и испугался своего тихого бешенства.

Все произошло мгновенно. Горинов выпрыгнул в окно и за холодные волосатые ноги молча сдернул с яблони Кокареву. Падая, она села ему на плечо и крепко обвила его шею руками с цветущими ветками.

— Идите... на свое место! — в два приема выговорил Горинов. Он поставил машинистку на тротуар, и она, растерявшаяся, пошла покорно и торопливо, а минут через пятнадцать Горинова вызвал управляющий конторой.

— Что у вас там вышло с Кокаревой? — досадливо спросил он, глядя в какую-то бумагу.

— Я помог ей слезть... — смущенно начал Горинов, но, увидав на телефонном столике стеклянную банку из-под маринованных огурцов с торчащими из нее яблоневыми ветками, поправился: — Я снял ее с яблони!

— То есть как снял?

— За ноги.

— Ну, слушайте... — вскинул голову управляющий. — А если бы вас сняли за ноги? Она такой же советский человек, как и вы! Давайте уладьте это дело. Идите и извинитесь...

Горинов не спеша сел в кресло для посетителей и длинным тоскливым взглядом оглядел управляющего. «Что мне сказать ему? — подумал он. — Что поймет этот человек, умеющий по целым часам с видом серьезнейшей государственной озабоченности разговаривать о ничтожнейших пустяках! Но ему обязательно покажется пустяком то, что Кокарева не Нимфа, а Ефимья, что ей не двадцать три, а двадцать девять лет, что она не знает родного языка и мои и его письма постоянно превращает на машинке в месиво безграмотных строк... Вот за все за это и еще за то, что она носит нелепые лакированные туфли и кричащие крепдешиновые платья, а по воскресеньям напивается красным бессарабским с Зорькиным и потом целую неделю хвастается этим, за то, что она лжива и ничтожна — я ненавижу ее!..»

— Ну что же вы молчите? — не выдержал управляющий.

— Извиняться не буду! — отдельно сказал Горинов.

— Почему?

— Не могу... Нельзя.

— Ну, как знаете. Тогда мне придется сделать... некоторые административные выводы, — завозился на стуле управляющий, а Горинов хрустнул суставами в пальцах туго сжатых ладоней и встал.

— Делайте.

Придя в свой отдел, Горинов пододвинул к себе распухшую папку с накладными, просроченными нарядами, неисполненными требованиями организаций и неожиданно быстро выполнил работу, казавшуюся ему до этого неодолимой и в три дня. Он был совершенно освобожден от привычного чувства равнодушного безучастия к делу, от расслабленности и бесстрастия, что с легкой руки управляющего именовалось у них в конторе «солидностью» в работнике. Подписывая бумаги, он ставил только две буквы — МГ, сообщая последней из них энергичный росчерк вниз. И тут он вспомнил, что управляющий не примет на утверждение эти документы, потому что совсем недавно он провел неделю борьбы с бюрократизмом в конторе, запретив сотрудникам расписываться «не полностью».

— Холодный болван! — вслух сказал Горинов и отодвинул папку на прежнее место.

Домой он шел зелеными переулками окраины, и зовуще-раскрытые клювики цветов акации вдруг вызвали в нем приступ острой грусти о чем-то большом и светлом, а ссора с машинисткой показалась ему смешным и жалким происшествием.

2

Трехлетняя Татьяна всегда встречала Горинова неизменным:

— Папа, подбрось меня!

Он брал ее на руки, целовал в пахнувший антоновским яблоком крепкий лоб и подкидывал вверх. Татьяна ахала западающим голосом, просилась на пол и, смиренная восторгом, долго стояла у ног отца, закрыв глаза.

— Хорошо? — спрашивал Горинов.

— Аха, — шептала Татьяна и почему-то вздыхала.

Маленькой, двадцатипятилетней девочкой передвигалась по комнате Ольга — мать Татьянки. Она была студенткой педагогического института, все еще числилась в комсомоле и на затылке под косами носила наивно-трогательные завитки светлого детского пуха. Все ее движения и жесты были мелки и застенчивы, и даже редкие поцелуи она дарила дочери как-то по-голубиному, рывками. Ольга не умела хохотать и громко разговаривать и только однажды смеялась искренне и долго, когда Горинов окликнул ее на улице «мамой». Она не могла согнать грустноватую складку раздумья со лба, и за три года совместной жизни Горинов убедил себя в том, что жена его рождена выслушивать наставления, а не приказывать и что она больше всего на свете нуждается в его покровительстве. И оттого в самые лучшие минуты их духовной близости он не переставал утешать ее и обнадеживать. Давно поверившая в возможность грядущего счастья — диплом, любимая работа, отсутствие долгов и многое другое по мелочи, — Ольга спокойно выслушивала мужа, а Горинову иногда казалось, что молчит она потому, что не во всем понимает его, и подозревал ее в равнодушии к своим мечтам и планам.

Вспышки этих подозрений пришли вместе с неясным сомнением в правильности однажды принятого решения

бросить пединститут, остаться без диплома. Тогда родилась дочь, и нужен был собственный угол, а не студенческое общежитие, понадобились пеленки Татьянке и литр молока Ольге в день. «Это не шутка, черт вас возьми, быть одновременно студентом и отцом», — мрачновато объяснил он друзьям свое решение и ушел. А пока ходил в товароведрах, один за другим забыли его друзья-студенты, и только Леонтьев — угрюмоватый темноволосый увалень — остался верным дружбе.

— Все правильно, Матвей. У тебя крепкая голова, — поощрил он как-то Горинова и зачем-то ощупал свою.

— Ну и что же? — спросил Горинов.

— А то, что будешь ты в жизни мечтать, дерзать и мучиться, — почти с завистью пообещал Леонтьев.

Со времени этого разговора прошло полтора года, Горинов давно забыл о нем, но в день ссоры с машинисткой, уже подходя к дому, вспомнил слово «дерзать» и невесело усмехнулся. «Дерзаю, видите ли. Кокареву за ноги стащил с заблудившейся яблони...»

И он вдруг ощутил неодолимую потребность в ободрении и поддержке и с тайной надеждой на это открыл дверь. Ольга встретила его терпеливым и кротким взглядом.

— Есть хочешь? — спросила она.

Горинов ответил не сразу. Он долго стаскивал пиджак, глядя в пол и выжидая, не спросит ли она, что с ним. Но Ольга сосредоточенно резала хлеб, нежно прижав к своей детской груди буханку и по-детски склонив голову набок. Ее безропотная фигурка в этой непринужденно-беспомощной позе впервые вызвала у Горинова какое-то сложное чувство безмолвной обиды на то, что жена его неспособна на сильные и уверенные слова и жесты, в которых он так нуждался сейчас.

— А где Татьяна? — глухо спросил он.

— Гуляет.

Обедали вдвоем. Засиненными в чернилах пальцами Ольга отламывала маленькие кусочки хлеба, мягко захватывала их губами и осторожно глотала суп. «Не ест, а клюет, как цыпленок», — подумал Горинов, но сказал другое:

— Ты бы отмыла чернила.

Ольга осмотрела пальцы и виновато согласилась:

— Отмою... Ручка течет на лекциях.

— Так выбрось ее! — вырвалось у Горинова, а Ольга удивленно взглянула на него и попросила:

— Не злись, Мотя... Ручка как ручка. Все они такие, негодны.

— И все их надо к черту! — крикнул Горинов и поднялся из-за стола. — Все!

— Как... все? — недоуменно и тихо спросила Ольга.

— Так! Всё к черту, что на земле ничтожно и не нужно, что мешает нам жить и... пачкает душу!

Ольга впервые видела таким мужа. Он стоял, крепко сжав зубы и ненавидяще глядя куда-то в угол, и два белых желвака туго ходили на его щеках под бледной сухой кожей.

3

Покорный своему правилу, управляющий не выполнил обещание насчет оргвыводов, и Горинов потерял к нему остаток уважения. Впрочем, он и не добивался этих «выводов», по-прежнему аккуратно приходя на работу и установив в своем отделе строгий распорядок дня. Он трудился сам, заставлял с предельной нагрузкой работать товароведов, и по конторе пополз торопливый, как запечный паук, шепот: «Старается перед начальством, изгона боится...»

Горинову хотелось крикнуть в ответ что-нибудь обидное, но он молчал.

Он молчал не потому, что боялся оргвыводов и изгона, потому, что в эти дни вдруг ощутил в себе затаенное предчувствие большой и волнующей перемены в своей жизни. Он пока не мог представить себе содержание этого события и только верил, что будет оно радостным, красивым и трудным и, конечно, вне всякой связи с конторой.

В ожидании этого хорошо жилось и легко работалось. Горинов ходил возбужденный и немного таинственный, не делаясь ни с кем своей нечаянной радостью, и Зорькин решил, что он выиграл по лотерейному билету...

Но такого настроения у Горинова хватило не надолго — проходили дни, и ничего не случалось. Радость ожидания так же внезапно погасла в нем, как и вспыхнула, и Горинов не сразу решился рассказать обо всем

этом Леонтьеву в расчете на дружеское участие. Тот долго и почему-то весело смеялся, а затем уже спросил:

— Да ты чего хочешь-то?

— Жить хочу!

— Ну знаешь ли, Матвей, некоторые под такой лозунг водку в пивных дуют!.. Как жить-то хочешь?

Они шли по певучему дощатому тротуару неширокой улицы. Уступая дорогу женщине с детской коляской, Горинев сошел с тротуара и не ответил на вопрос Леонтьева. По мостовой, внушительно шурша гравием, величаво и медленно плыл черный ЗИЛ. Из опущенных окон в улицу текла задумчиво-нежная музыка и сухими булыжниками падал на тротуар злобный лай огромной овчарки, наполовину высунувшейся в окно машины. Горинев побледнел и стал торопливо искать что-то вокруг себя.

— Ты чего? — удивленным шепотом спросил Леонтьев, крепко сжав локоть Горинова.

— Камень... Пусти-ка!

— Брось дурить, Матвей! Слышишь? Идем скорей... Ее тут каждое воскресенье на дачу возят — и черт с ней! Пошли!

Молча они прошли всю улицу, и уже на спуске к реке Леонтьев проговорил тоном, каким когда-то пророчил дерзание Горинову:

— Непонятный ты человек!..

Горинев дрогнул уголками губ и спросил, не поднимая головы:

— А тебе все понятно в жизни?

— Она не так уж сложна...

— Если мыслить артикулами, — в тон ему досказал Горинев, а Леонтьев с хрипотцой обиды отозвался:

— Конечно... Ты же в мировом масштабе мыслишь, а я...

— Брось, Павел, — махнул рукой Горинев, — ну какие у меня мировые масштабы?

— А какие у меня артикулы?

— Учебники. Ты же студент... И на твой вопрос, как я хочу жить, мне не хотелось бы отвечать словами из этих учебников: дескать, очень честно, полезно для общества и так далее.

— Почему же? — удивился Леонтьев.

— Потому что эти парадные слова особенно любят те, кто живет все-таки не совсем честно: растратчики государственного времени, пустозвоны, разные ханжи и

чинуши... Вот вроде того типа, что позволил собаке ездить в ЗИЛе и лаять на пешеходов!

— Это не он. Это она, — мрачно уточнил Леонтьев, — теща председателя облплана...

— Но он-то сидел в машине рядом с шофером!

— А что он может сделать? — безнадежно проговорил Леонтьев.

До пароходной пристани дошли молча. Леонтьева явно угнетала какая-то мысль, высказать которую он хотел и почему-то не решался. Горинов шел закинув руки за спину, глядя в землю.

— Давай выпьем немного, а? — неожиданно предложил Леонтьев.

Они зашли в буфет и выбрали угловой столик. И когда выпили по стакану мутного кахетинского, Леонтьев проверил по этикетке на пустой бутылке крепость вина и вздохнул:

— Теперь выслушай меня. Только давай без обиды, по-дружески, хорошо?

— Давай.

— Мне, Матвей, очень хотелось бы верить в искренность твоих слов о ЗИЛе... в непримиримость твою, потому что это в советском человеке хорошо и очень нужно. Но знаешь, что я подумал?

— Что? — насторожился Горинов.

— Я подумал: а что, если все это в тебе оттого, что ты сам ходишь в низах? От сравнения себя со своим управляющим? Ты ведь честолюбив и самонадеян, Матвей. И ты любишь власть.

— Какую власть? — быстро спросил Горинов.

— В своих руках... Что, если все идет от этого? Что тогда?

Из-за города река несла отцветь вольных садов. Розовые лепестки трепыхались в гребешках ряби чешуйками сказочных рыб и, казалось, звенели тонко, стеклянно. Горинов с трудом повернул голову от раскрытого окна и растерянно взглянул на Леонтьева.

— Ты проверь это в себе сам, Матвей, — участливо сказал Леонтьев и оттолкнул от себя стакан.

4

Несколько дней после этого Горинов жил раздумчиво-притихшей жизнью, внимательно присматриваясь к

окружающему и вслушиваясь в себя. Слова Леонтьева изумили, слегка обидели и немного испугали его, и нужно было немедленно найти на них прямой и честный ответ.

«Сравниваешь себя...» Да, Горинов был убежден, что на месте управляющего он несравненно лучше сумел бы руководить конторой. Но разве видеть неспособность своего начальника и верить в собственные силы — значит быть честолюбивым и самонадеянным?

«Ходишь в низах...» Да, Матвей давно подсчитал, что, оставаясь в отделе метизов и ежедневно выписывая пятьдесят товарных накладных в четырех экземплярах, он через пять лет израсходует один вагон бумаги, а через десять — два. Зажмурившись, он встречался с собой через десять лет — тридцатисемилетним лысеющим человеком в лоснящихся сзади штанах, в нарукавниках, осторожно болтающим о разных житейских пустячках. От этой встречи он цепенел и впадал в тоску... Но разве не любить накладные — значит стремиться «вверх», к личной власти?

А о ЗИЛе что ж, он высадил бы из него облплановское семейство, но, конечно, не для того, чтобы самому усесться в ЗИЛ, а только за то, что глава этого семейства давным-давно утратил чувство разницы между своим и государственным.

Это все, что нашел в себе Горинов после разговора с Леонтьевым. И оттого что это было именно так, а не иначе, он испытывал состояние человека, который доказал следователю свою непричастность к преступлению.

В эти дни открылось и другое — четкое желание большой и трудной жизни, при которой возможны жертвы и подвиги и неизбежны поиски и ошибки. Теперь Горинов знал, что тоскует по настоящему делу, по радости от зримых достижений собственных рук, но ему казалось, что на свете есть только два места, где люди могут жить и работать с постоянным волнением от воплощенных в явь планов, — целинные земли и великие стройки!

Длинно и путано Горинов рассказал об этом Ольге.

— Давай уедем, — предложил он.

— А институт? Ведь мне остался один год...

— И три после окончания, по разверстке, без права выезда из области, — жестко напомнил Горинов.

— Ну да! — быстро согласилась Ольга, и в голосе

ее проступили обрадованно-горделивые нотки. — Как я хочу скорее работать, Мотя, — призналась она и улыбнулась доверчиво и кротко.

Разговор этот происходил утром, а вечером, придя с работы, Горинов увидел на вешалке новую телогрейку.

— Едем? — крикнул он от дверей.

— Куда, Мотя? — спокойно удивилась Ольга.

— Да вот это... — Зачем же ты купила ее? — показал он на телогрейку.

— А в ней зимой уютно дома, — смущенно отозвалась Ольга, а Горинов подумал: «Вот... лишь бы было уютно, только бы грелось тело, а в чем — это ее не тревожит».

С этого началось накопление в душе Горинова глухого и смутного чувства неприязни к Ольге, к квартире и даже к тем немногочисленным вещам и предметам, которые ее населяли.

Ольга ни в чем не переносила беспорядка. Она сердилась потихоньку, когда дочь с отцом не ставили на свое место стулья или не прибирали свою одежду, могла подолгу и любовно возиться в шкафу с бельем и в буфете с посудой, умела до глянца натереть пол и дважды в день сметала невидимую пыль с радиоприемника. Когда-то Горинову нравилось это в жене, теперь же он решил, что Ольга — невольница своего крошечного уюта и не с нею он мог бы поехать на целину или на стройку. И его раздражала безысходная обреченность раз навсегда поставленного на определенное место обеденного стола, забившаяся в угол всегда одинаково чистая и убранная кровать, трещащий под ногами пол, однотонный и размеренный тон стареньких стенных часов.

И Горинов стал рано уходить на работу и поздно возвращаться домой. Бесцельно бродя по улицам, он иногда встречал отлично одетых и накормленных, чистых и розовых, как универмаговские манекены, мужчин и женщин, вышедших на променады. Было любопытно наблюдать, как они деревянно переставляли ноги в новых ботинках и лишней раз не сгибали локтей, чтобы не помять рукава костюмов, как они неловко сторонились спецовки грузчика или маляра, пугливо оберегая свои наряды. Это раздражало, будило беспокойные мысли и звало к отпору, — хотелось крикнуть этим людям что-нибудь обидное и злое...

В один из таких вечеров Матвей зашел в ресторан. По обкуренным стенкам питейного зала лихая и незадачливая кисть любителя-живописца разметала каких-то диковинных птиц, а под жухлыми лапами огромной искусственной пальмы предприимчивый администратор рассыпал крохотные столики. За ними сидели с уныло-безнадежным видом те, кто успел уже пропитаться, с победительно-независимым — кто дошел до середины, и с отчаянно-бесшабашным — только что начавшие кутеж.

«Напьюсь», — решил Горинов и прошел в угол.

А через час он обнимался с каким-то рыхлым слезливым человеком, читал ему Маяковского и звал на целину. Тот тихо плакал и просил:

— Пусть меня не трогают, и тогда я мимо любой эпидемии пройду спокойно! Пройду — и все! Понял ты, как я хочу жить?

Горинов ударил его несильно, не успев сжать кулак, а потом в сопровождении двух милиционеров шел по сонному городу, покорный и трезвый...

Так проходило время.

— Почему ты молчишь, Мотя? У тебя неприятности по работе? — осторожно спрашивала по утрам Ольга.

— Нет, отсутствие их, — резко отвечал Горинов и уходил.

Как-то поздно вечером он встретил на улице Леонтьева. Тот протянул руку, пригладил растрепанную голову друга, одернул полы его пиджака.

— Доходишь, Матвей?

— Да! — вызывающе ответил Горинов. — Оторвался, видишь ли, от конторской общестственности... Не участвую в стенгазете «Снабженец» и не самокритикуюсь на общих собраниях! Живу, как умею сам!

— Плохо живешь!

— Да, не по учебникам, Павел!.. Но ты все-таки прочти мне лекцию о вреде алкоголя, о семье и еще о чем-нибудь... Например, о месте в строю, в котором ни тебе отставшего, ни вырвавшегося вперед. Здорово!

— Но ты отстал, Мотя.

— А может, вперед вырвался?

— Нет. Вперед вырывается в жизни только тот, кто знает зачем. Цель и направление видит раньше других, а ты... в пивную вырвался. Пойдем лучше домой, к семье.

— Так сказать, в ячейку государства?

— Да, если хочешь.

— Еще бы! Но... Знаешь, Павел, я не люблю добродетельных студентов и молодых попугаев. Понял?

5

Он не потерял еще юношеской способности измерять время событиями, оттого конторские дни казались ему бесконечно длинными и унылыми. Обеденные перерывы он тратил на поиски работы, но в городе не было великих строек, не было также крупных заводов и фабрик, а в учреждения он не заходил. Просматривая областную газету, он часто встречал объявления: требуются счетные работники — и думал, что мог бы, пожалуй, временно, года так на четыре, стать неплохим бухгалтером, так как считал эту работу настоящим и необходимым делом даже в своей конторе. Но он представлял себя многомесячным слушателем вечерних курсов ЦСУ в одном помещении почему-то с группой товароведов — и отбрасывал газету.

«Надо уехать, — решил он однажды. — Уехать одному, уехать немедленно. А Ольга... что ж, потом видно будет...»

И он стал готовиться к отъезду, каждый день принося и пряча в свой конторский стол свертки: то бритвенный прибор, то шерстяные носки, то смену белья. Телогрейку он решил попросить у Ольги, но были нужны еще кирзовые сапоги.

Это было хлопотливое дело — поиски сапог в магазинах, и наконец Горинов купил их в обеденный перерыв на окраине города, запоздав из-за этого в контору. Он вошел в отдел, неся покупку под мышкой, и, увидав у своего стола молодую, слишком нарядную женщину, почему-то вдруг покраснел и торопливо кинул сапоги в угол.

— Это к вам, Матвей Григорьевич, — объяснил Зорькин. — Двадцать шесть минут ждут!

— Да-да, Матвей Григорьевич, — дружелюбно подтвердила посетительница, растянув слово «Матвей» так, что Горинову впервые показалось некрасивым свое имя.

— Прошу извинить, — хмуро проговорил он, садясь за стол. — Что вы хотели?

— Продайте, пожалуйста, нам вот эти пустяки, — все тем же дружелюбно-наигранным тоном сказала

женщина и положила на стол листок из ученической тетради. Горинов подтянул его к себе. Прямым кругленьким почерком директор вечерней средней школы «убедительно» просил отпустить через учительницу Быстрову Анну Григорьевну строительные материалы — шпингалеты, дверные и оконные завески, шурупы и гвозди.

— Мы не торгуем в розницу, товарищ Быстрова, — вежливо сказал Горинов. — Это все вы можете купить в любом хозяйственном магазине.

— Но там не продают перечислением денег через банк, а школа не может за наличные...

— А мы не можем без наряда, — заученно объяснил Горинов и встал.

— Без чего? — удивленно протянула Быстрова, продолжая сидеть.

— Без выделенного вам фонда. Мы снабжаем свою, прикрепленную к нам сеть. Понимаете?

— Нет, не понимаю. А мы чья же сеть? Вы в школе, надеюсь, учились? — вдруг спросила она.

— И даже в институте, с вашего позволения, — сказал Горинов и твердо поглядел в глаза просительницы. Они были слишком сини, глубоки и в то же время прозрачны, и Горинову почему-то вдруг припомнилось детство, когда он любил смотреть на мир сквозь осколки цветных бутылок. Чудесный то был детский стеклянный мир, далекий и манящий...

Учительница, видно, ждала, не скажет ли Горинов еще что-нибудь, но он молчал, и тогда глаза ее прыснули откровенным смехом под длинными крашеными ресницами. «Пустышка!» — мысленно ответил ей Горинов, прошел в угол и бережно поднял свои сапоги.

— Скажите, а что с вами сделают, если вы отпустите нам это? — неожиданно и серьезно спросила Быстрова. — Судить будут?

— Нет, конечно.

— А что же? Уволят с работы?

— Могут, — деланно улыбнулся Горинов, пряча в стол сапоги.

— И вы боитесь этого?

— Нет.

— Но что же тогда?

— Я не имею права нарушать порядок, правила...

— А вы живете исключительно по правилам? И кто

их составляет для вас? Начальник? Жена? Ведь не совесть же! Это, по-моему, ужасно скучно!

— Что? — растерялся Горинов, а Зорькин обрадованно захихикал.

— Жить по каким-то правилам и бояться нарушить их, зная, что они мешают жить! Вам это не кажется?

В тени прищуренных ресниц глаза учительницы утратили синеву и прозрачность, а углы губ опустились вниз и дрожали, как у несправедливо обиженного ребенка. Это придало ее лицу капризное выражение, и Горинову почему-то хотелось, чтобы Быстрова не догадалась о том, что гнев не красит ее.

— Давайте заявку, — негромко, но решительно сказал он, и, пока выписывал накладные, в комнате было тихо.

6

В тот же день Горинов написал заявление об увольнении и на следующее утро сдал Зорькину должность. Все это оказалось простым и легким делом, и, выйдя на улицу, он не знал, чего в нем больше — облегчения или обиды на управляющего за торопливость, с которой тот освободил его от работы. Он не раз читал, как люди, порвавшие с нелюбимым занятием, испытывали бодрое чувство личной свободы, но сам не ощутил этого. Он вдруг почувствовал себя маленьким и одиноким, а окружающий его мир слишком большим и сложным. Все, что ему виделось в городе, наполнилось теперь новым смыслом. Он не встретил ни одного праздного человека: люди упрямо куда-то спешили со своими делами, и каждый, казалось, был твердо уверен в том, что его работа очень нужна жизни!

«Неужели у каждого из них есть большой и любимый труд? — подумал Горинов и незаметно для самого себя зачем-то ускорил шаги, вынул руки из карманов. — А может, они знают дружбу? Любовь?»

Неожиданно близким человеком вспомнился ему Леонтьев, а недавняя ночная размолвка с ним предстала обычным недоразумением между друзьями. «Вечером схожу к нему, завтра куплю билет, а послезавтра...»

Как моток перепутавшейся разноцветной пряжи, он попытался разобрать свои чувства к жене. Отец Татьянки, он не мог представить себе Ольгу-мать без ее чис-

тоты, кротости и вдумчивости и одновременно считал, что эти качества ее характера — обыкновенная приниженность и непротивление... «Сейчас я ей отдам деньги, скажу о целине, и она испугается, но не заплачет! Она только коротко вздохнет, и это будет похоже у ней на глоток воды при жажде...»

— Товарищ Горинов! — услышал он сзади, и, пока оборачивался, вспомнил, чей это голос, и втайне чему-то обрадовался.

Рука у Быстровой была влажноватой и пухлой, и, здороваясь, она чересчур торопливо и доверчиво вложила свои острые пальцы в чужую руку.

— Я вас ищу. Понимаете, мне не выдают ту ерунду, что вы вчера выписали. Надеюсь, вы мне поможете до конца?

В вопросе было много настойчивости и уверенности в том, что будет именно так, как она просит, и поэтому Горинов сказал убежденно и тихо:

— Вот сволочи!.. — и с чувством сожаления добавил: — А помочь я вам не смогу.

— Почему?

— Я уже не работаю там, — почти извиняюще вышло у него, — уволился.

— Как жалы! — суховато и четко сказала Быстрова, но вдруг пристально поглядела на Горинова. — Послушайте, а это у вас не из-за меня вышло?

— Нет-нет, я сам подал заявление, — заторопился Горинов и машинально, с той непреднамеренностью, которая бывает только между знакомыми людьми, дотронулся до локтя учительницы.

— Вы говорите неправду. Вас уволили из-за меня, — настаивала Быстрова, и в ее зеленоватых глазах было и участие и пытливость. Горинов видел, что она верит ему и только говорит зачем-то другое, и ему самому почему-то захотелось, чтобы это так и было, то есть чтобы уволили его именно за это. Но он все же повторил:

— Нет-нет. Я уволился сам. И очень сожалею, что ваша заявка осталась невыполненной.

В уголках ярких губ Быстровой снова, как тогда в конторе, обозначилось что-то детски-капризное, обиженное, но она тут же утратила это, произнеся по слогам:

— За-яв-ка! Какое хорошее слово, не правда ли?

— Не думаю, — возразил Горинов, — оно всегда приклеивается к накладным в четырех экземплярах...

— Да? — не поняла учительница. — Может быть, но я подумала... зря, наверное, подумала... вот если бы существовали такие конторы, куда человек мог дать заявку на свое счастье в жизни...

— На радость. На дружбу. На большую интересную работу, — серьезно перечислил Горинов и снова, но уже твердо и вместе с тем просительно дотронулся до локтя учительницы. — Анна Григорьевна! Послезавтра я уезжаю на целину. Вот.

— Что вы говорите? — удивилась Быстрова. — Разве вы еще не вышли из комсомольского возраста?

— Годами — да, вышел. Мне двадцать семь лет.

— Вы старше меня, а я уже три года назад механически выбыла... И что вы будете делать на целине?

В улице плавал синий зной и пахло асфальтом, привялостью лип, нагретым камнем. Высоко над городом в прохладном небе трепыхались два вертолета.

— Хорошо им там... воздушным головастикам! — не ответил на вопрос Горинов, а пройдя несколько шагов, вдруг опалился холодком решимости: — Скажите, Анна Григорьевна, вы смелая девушка?

— Я — женщина. И полагаю, что смелая, — не сразу ответила Быстрова и внимательно оглядела профиль Горинова. В ее голосе он уловил нотки настороженности, любопытства и ожидания, и это укрепило его смелость.

— Я вас очень прошу: пойдите на пристань. Там широко и недурно... Мы выпьем с вами одну бутылку самого лучшего вина... за мой отъезд. Только одну! Не надо мне отказывать!..

...Город засыпал. В кафе и ресторанах гасли огни, пустели улицы и скверы, и в зеленовато-темном городском небе приметно шевелились звезды. Освобожденный от стройных дум и желаний возвращался Горинов домой, унося какие-то неясные впечатления от встречи с Анной, — сердце не отрывалось от мысли уехать и в то же время копило теперь что-то новое, смутное, намекающее на иные радости в жизни...

Дверь он открыл своим ключом и с обычной независимостью вошел в комнату. В углу на письменном столике горела черная лампа с низко опущенным прожектором, и, уложив голову на книгу, в неловкой позе

епала на стуле Ольга. Пучок желтого света падал на ее руки, закрывающие лицо, и Горинов долго стоял и глядел, как на тонком запястье жены ритмично и слабо билась тонкая голубая жилка. В комнате было тихо до звона в ушах, и под равномерный ток часов «как жить», «как жить» Гориновым властно овладело цепкое чувство вины и жалости. Ему представилось злым и невероятным собственное решение объявить когда-либо Ольге о своем отъезде и даже об уходе с работы; он совершенно не знал сейчас, потерял ли или еще не находил того, чего искал в жизни...

Он отодвинулся в тень и отвел прожектор лампы с лица Ольги. Свет выхватил в уголке стола два крошечных бюста — над каким-то трепетно-неуловимым поэтическим образом затих фаянсовый Пушкин, и рядом, с суровой верой в свое бессмертие глядел на Горинова мраморный Маяковский...

7

В предпоследний загородный рейс пароход уходил в семь часов вечера, и каждый раз теперь в это время Горинов приходил на пристань. Анна еще издали махала ему рукой, а приблизясь, лукаво спрашивала:

— Когда ты отправляешься на целину? — и голосом Горинова, убежденно-решительно отвечала: — Послезавтра!

Она смеялась весело и бездушно, не скрывая победительного торжества в голосе, а Горинов не имел сил ни сердиться, ни равноправно участвовать с нею в этой шутке. И все же ему казалось, что в Анне он встретил пытливого, смелого и понимающего друга и искал в ней сочувствия и поддержки.

В вечернем поле, где-нибудь недалеко от леса, они разжигали костер, и Анна радовалась приволью и свободе, живо и беззаботно откликалась на красоту затихавшего мира.

Домой Горинов возвращался поздно. Ольга встречала его взглядом, в котором не было ни осуждения, ни ненависти, а только укор и молчаливое недоумение. С лица ее теперь не сходило постоянное выражение внутренней работы мысли, почти осязаемое присутствие духовной напряженности. Это будило у Горинова острую грусть и сознание своей вины перед нею, но он тут же

начинал мысленно обвинять жену за отсутствие у нее того, что видел в Анне. Он торопливо ложился в кровать, отворачивался к стенке и притворялся спящим. Так они лежали до рассвета — оба не сомкнув глаз.

По утрам Горинов поднимался с тоской и смутой в душе, подходил к зеркалу и долго разглядывал себя — высокого, худого, с крепким Татьянкиным лбом и настороженными серыми глазами. На щеках, обозначив упрямые губы, залегали две короткие косые складки, а в глазах пряталась не то растерянность, не то решимость потеряться в жизни...

Проходили дни.

Однажды, истратив последние деньги, Ольга подала на обед пшеничную кашу из концентрата. Татьянка сидела между отцом и матерью, крепко зажав в руке потертую с носика ложку. Попробовав свою порцию, она поморщилась и деловито потянулась к отцовской тарелке.

— Не смей! — неожиданно приказала Ольга и хлопнула рукой по столу. Татьянка выронила ложку и заплакала. — Замолчи! Завтра у тебя не будет и этого! Слышишь? Ешь, говорю!

Горинов молча встал из-за стола и прошел к окну. Татьянка не затихала, потому что, успокаивая ее, мать говорила непонятно. Стоя у окна, Горинов ощущал за плечом взгляды жены и напряженно-внимательно ловил каждое ее слово. Но это не были те обидные и резкие слова, которые он хотел почему-то услышать от нее сегодня, — нет, слова были скупосторожны, отобранные, видно, заранее, но он чувствовал, как за ними жила, билась и надеялась ее встревоженная за него совесть. «Не так! Не то! Надо смелей и оскорбительней! Я ведь хуже, чем ты обо мне думаешь!» — мысленно просил Горинов, стоя у окна.

Дождавшись, когда Ольга увела Татьянку на улицу, Горинов достал из-под кровати успевшие запылиться сапоги. Он долго и тщательно завертывал их в газетные листы, стараясь придать пакету квадратную форму. «Что же тут особенного? Подойду к любому пожилому человеку и предложу... Не понадобятся, скажу. Зря только валяются дома, черт бы их взял!..»

Через весь город он пронес пакет к толкучке с видом человека, который может позволить себе покупки.

— Что у вас? — остановил его контролер у ворот рынка.

— Сапоги... Зря только валяются, — обрадовался случаю Горинов, но контролер рывком подал ему серый листок квитанции и потребовал два рубля за место.

Сдачу с трехрублевки Горинов получил мелочью и, ссыпав ее в карман, произнес потерянно:

— Благодарю.

— Ладно, иди уж! — обиделся почему-то работник рынка.

В самом дальнем углу толкучки Горинов прислонился к забору и развязал свой товар. «В рабочий день торгую сапогами! Каждый подумает, что я... на водку!» Он почувствовал себя так, будто его застали за недостойным занятием, и была минута, когда ему хотелось сейчас же уйти. «Но как же дома? Ольга, Татьяна...» Он поднял голову и резко выпрямился, как от толчка: прямо против него, на расстоянии каких-либо десяти метров, стояла Быстрова с букетом рьяно-красных роз и изумленно-пристально, почти зачарованно разглядывала его сапоги. Он впервые видел такой Анну: застывший блеск ее глаз, недоуменно взломанные полоски бровей и капризные припухлые губы, в изгибах которых совсем ничего теперь не было детского...

Они стояли так не более минуты, но за это время Горинов успел принять и отклонить не одно решение — отбросить от себя сапоги и отвернуться... Оставить их у забора и подойти к Анне... И в тот момент, когда он нашел, как ему казалось, нужное решение и позвал ее, Анна, услышав его голос, круто повернулась и торопливо пошла к выходу. Горинов проводил ее каким-то парализованным взглядом и, сгорбившись, отвернулся к забору. Что-то в его душе умерло навсегда, но торопливая мысль еще цеплялась за прошлое, выискивая оправдание поступку Анны.

Живо и ярко перед ним встала почему-то вчерашняя поездка за город. У звонко дотлевающих угольков костра он близко наклонился над лицом Анны и спросил, приготовив большой разговор с нею:

— Скажи, почему ты разошлась с мужем? Он кто был?

— Он был тяжелый человек и неудачник в жизни! Любитель копать... — торопливо и рассерженно ответила Анна.

— В чем копать? — недоуменно спросил он.

— В своей и чужих душах!.. В общем, разошлись, и

все. Это никому не интересно, и ты, пожалуйста, не вздумай посвящать меня и в свои семейные неурядицы...

«Неурядицы? Нет, врешь! У нас их никогда не было с Ольгой. Да, не было!.. И очень хорошо, что я не рассказал тебе вчера о своей жизни, не попросил у тебя помощи. Какой? В чем? Ты бы стала смеяться над Ольгой... потому что не любишь тех, кто умеет осторожно копаться в своей и чужой душах...»

8

Он долго стоял у забора, переполненный горькой обидой. Запоздавшее сознание пустоты и никчемности отношений с Анной будило в нем сожаление и злость на самого себя. «Ничтожество! У первой встречной женщины хотел спрятаться от жизни...» Было много еще и других неясных движений сердца, но над всем этим в его душе поднималось одно большое и облегчающее чувство — горячая благодарность к Ольге за то, название чему он не мог пока определить словами. Ему хотелось как можно скорее видеть Ольгу с Татьянкой и сделать для них что-то бесконечно хорошее и радостное, и он уже знал, что в мире не существует того, чего бы он не совершил для них...

Свободный от недавнего чувства скованности и неловкости, он перевернул сапоги через плечо и не спеша обошел толкучку.

— Сбываешь, друг?

Низенький старый человек в испачканном известью фартуке деловито ощупал сапоги короткими шершавыми пальцами.

— И сколько ломишь? — опасливо спросил он, склонив голову набок.

Горинов назвал цену, а старик, туго зажав в руках голенища, протяжно и тихо свистнул:

— Так то ж магазинная цена! А ты скости рабочему человеку!

Горинов сразу «скостил» двадцатку, старик переложил сапоги на свое плечо и сообщил:

— Не хватит у меня тридцатки, друг милый, чувствуешь? Так ты сделай для меня вот что: возьми и подойди со мной во-он к тому дому, что строится на площади, видишь? Там и сквитаемся.

Они пошли рядом, но на улице Горинов то и дело оказывался позади своего спутника, — тот удивительно споро ступал короткими, чуть искривленными в коленях ногами, смешно и упрямо работал локтями и плавно обходил встречных. Все его движения были расчетливы и скупы, разговаривая, он не жестикулировал и не суетился, и чувствовалось, что человек этот ни от кого не зависит, живет и работает по собственному усмотрению. Заглядывая в его светлые с лукавинкой глаза, Горинов проникся каким-то новым, возбужденно-уверенным настроением; ему хотелось возможно дольше идти с этим человеком и слушать его неторопливо-плавную речь:

— ...а когда уберешь леса, очистишь и омоешь его, то стоит твой дом будто жених-красавец, а в сердце твоём радость да песня!..

— Да-да! Я знаю! Именно это! — с жаром произнес Горинов. — Точно то же, наверное, испытывают художники, когда заканчивают свои картины, правда?

— А как же! — подтвердил старик и засмеялся, довольный.

Они пересекли площадь и подошли к забору. Его свежие доски сочились смолой и душисто пахли хвоей.

— Ну, вот мы и дома, — сказал старик и по-хозяйски пропустил Горинова в калитку. — Сейчас я только перехвачу у своих ребят тридцатку, и ты пойдешь своим путем-дорогой...

Горинов прислонился к подножию крана и оглядел стройку. Это был обыкновенный жилой дом, возведенный до пятого этажа. Амбразуры окон скрывались в лесах, но в подъезды были видны уложенные марши лестниц, и по ним, и там наверху, по настилам, ходили люди — неторопливые, занятые, малословные, но удивительно дружные и грубовато-ласковые друг с другом.

— Я немного останусь, посмотрю. Можно? — спросил он старика, принесшего деньги.

— А чего же! Полюбуйся...

Горинов остался, но за работой людей наблюдал издали, так было удобнее, — яснее их движения и зримее свои собственные чувства...

Да, это было то, о чем он смутно тосковал в своей конторе снабжения и за чем хотел ехать на целину. Да, он знал теперь, как ему быть и что делать дальше, но теперь его занимало другое: ему хотелось прийти домой не так, как он появлялся в последние дни, а как-

то иначе, «сызнова», как определил он про себя в душе.

Он ушел со стройки никем не замеченный и до заката солнца искал в магазинах какой-нибудь подарок Ольге. Но потому, что он хотел этим подарком молчаливо сказать ей то, чего сам не умел выразить словами, ничего подходящего не нашел.

— Что ж, пойду так...

Замок он открыл совершенно тихо и долго стоял в коридоре, прижав кепку к своей горячей щеке, — мягкие влажноватые ворсинки были нежны и податливы и чем-то напоминали завитки детского пуха на затылке Ольги.

Разулся Горинов в коридоре и в комнату вошел, неся в руках ботинки, а встретив взгляд сухих укоряющих глаз Ольги — зажмурился и молча ступил к ней...

1954

ЕРМАК

1

Так все его звали при встрече и за глаза, потому что фамилия у него была Ермаков. Был он коренаст, румян, постоянно весел, и ни одна гулянка в селе не обходилась без него, первого гармониста и плясуна. Он жил на отшибе за речкой в крошечной избенке, и каждую весну ее затопляло половодьем. Тогда Ермак перебирался к нам. Он приходил всегда одинаково — на одном плече гармонь и ружье, а на другом — сын, ровесник мой Колька. Матери своей Колька не помнил — померла, когда рожала его. Я тоже никогда не видел отца своего, потому что его у меня не было совсем.

Вместе с Ермаком и Колькой в нашу хату вселялся праздник. Мать вывешивала над окном расшитый петухами рушник и покрывала стол чистым наблюдником. Со дна сундука, на котором я спал, она доставала новый полушалок и сарафан, и я переставал узнавать ее — все тогда в ней менялось: глаза, походка, голос...

Я тоже наряжался в голубую сатиновую рубаху и сразу же просил:

— Сыграй, дядь Ермак!

Он закатывался дробным, воркующим смехом, а мать издали потревоженно заглядывала в его глаза и учила меня непривычными для нас с нею словами:

— Не надо так говорить, сыночек... Ты зови дяденьку дядей Гарасей...

Вечерами, когда за речкой догорал закат, Ермак сидел у окна на лавку и брал гармонь. Не касаясь белых пуговиц клавишей, он сначала осторожно разжимал гармонь, и она вздыхала приглушенно и протяжно — точь-в-точь моя мать по ночам, когда я притворялся спящим. Потом сумрак хаты начинал звучать живыми переливами непонятной мне мелодии, оседавшей в моей душе щемящим восторгом, отчего было сладко и немного страшно, как при полете во сне.

Играл Ермак тихо и неторопливо, склонив голову на «ливенку», а мать тесно сидела с ним рядом и на длинные, худые пальцы наматывала пряди Ермакова чуба — темного, как грачиное крыло. Я тогда про себя называл эту мелодию песней, потом, не скоро, узнал, что это было «Страдание».

Однажды мать сказала Ермаку с затаенной болью в голосе:

— Непутевый мой... Приставал бы ты уж насовсем...

Ермак быстро взглянул в нашу с Колькой сторону и попросил негромко и коротко:

— Не надо... Погоди.

— Да сколько же мне годить! — почти выкрикнула мать.

Тогда впервые во мне шевельнулась непонятная обида на Ермака, — мне почудилось, что он выпросил у матери что-то хорошее и нужное нам с нею, а назад не хочет отдать. Это было утром в последний день Пасхи. А в полдень Ермак с гармоньей, ружьем и Колькой ушел к себе. Мы с матерью шли почему-то сзади, — она вздумала вытряхнуть в притихшую речку крошки кулича из наблюдника. «Рыбам», — сказала, а сама долго стояла на берегу и глядела в сторону Ермаковой хаты.

2

Жаворонков сроду не было видно в нашем невероятно синем и высоком небе, но с утра и до ночи они

звенели и трепыхались там, крохотные и радостно живые. В эти весенние дни на Ермака нападала тоска. Он оставлял Кольку одного, а сам уходил с ружьем в леса и болота.

— Пошел? — спрашивали его мужики. — А хлеб сеять не думаешь?

— Хватит мне вашего, — отвечал Ермак.

— Ты бы в казаки подавался, — серьезно советовали ему некоторые, — там, говорят, все такие...

В то время закончилась гражданская война, и домой возвращались уцелевшие солдаты. Из Красной гвардии пришел вскоре и наш сосед — бобыль Никифор Хомутов. Он явился в страшной одежине — в бесполом пиджаке с длинным хвостом и в сапогах с разрезами в голенищах, зашнурованными желтой тесемкой. Невиданный пиджак Ермак с ходу назвал «храком», Хомутов обиделся, вступил с гармонистом в драку и был крепко избит им.

А через неделю Ермак смиренно попросил бывшего красногвардейца продать ему сапоги и «храк».

— Я этим делом не торгую, проваливай, — подозрительно ответил Хомутов и вдруг сказал в шутку, когда Ермак потерянно пошел прочь: — Двухрядку и ружье... чтобы в обмен, значит, хочешь?

Ермак упрямо тряхнул чубом и вместо ружья и гармоньи предложил Моториху — кургузую буланую кобылу, единственную живность в своем хозяйстве.

Обмен состоялся торопливо, — каждый считал, что он здорово тут выгадал, а через час по селу пополз слух: «Ермак хочет жениться на Дашке гузенной», — престарелой дочери сельского богача.

В тот вечер мать рано уложила меня спать, а сама долго металась в полутемной хате, натываясь на углы стола и скамейки.

— Ты захворала, мам? — спросил я.

Она порывисто остановилась спиной к моему сундуку и, раскинув руки, бесшумная, ни своя и ни моя, приколыхалась ко мне и стала целовать солеными, распухшими губами. Затем на моей шее торопливо и туго сжались ее руки, и я сперва задохнулся, а потом увидел большой и жаркий малиновый круг и в нем Ермака, себя и еще Кольку...

Не знаю, как это Ермак очутился в ту ночь на реке, — возвращался, видно, домой с гулянки, — но он

не дал матери утонуть. Он принес ее на руках к нам в хату — мокрую, облепленную тиной. Над моим сундуком мать вспомнила что-то и закричала тягуче и страшно. От ее крика я ожил, подскочил к Ермаку и укусил его за короткий, горьковатый палец.

— Дур-рак! — удивленно сказал Ермак, но не оттолкнул меня, не ударил.

— Уйди! Уходи, погубитель ты моей жизни! — стонала на скамейке мать и судорожно прижимала меня к себе.

Ермак ушел, а мы с матерью так на скамейке и дождались утра.

На второй день Ермак с Колькой скрылись из села. Одни говорили, будто ударились они в казаки, а другие — на шахты. В нашей хате наступили покой и грусть, только на улице мать стали называть с тех пор «утощицей».

3

К Никифору Хомутову накрепко прилипло прозвище «храк», потому что не любил он его и злился. Жил он одиноко сразу же за тыном, и хаты наши здорово были похожи — серенькие, притихшие, как две испуганные куропатки.

Меня что-то сильно влекло к этому большому белобрысому человеку, — наверное, доброта его: он научил меня ездить верхом на Моторихе, свил пеньковый кнут и подарил косенку — самодельный ножик из порванной косы.

По утрам, завидя меня издали, Хомутов совершенно серьезно спрашивал:

— Ну как, Петух, дела? Жив?

— Ага! — отвечал я и в свою очередь осведомлялся: — А ты тоже жив, дядь Никифор?

— Тоже, — удостоверять он, но однажды раздумчиво сказал, облокотившись на тын: — Пожалуй, зря я сюда ехал, Петух... Плохо тут у нас! Хотя, с другой стороны — родина!..

Я не много уразумел из его слов, но все же сказал:

— Скоро у нас помидоры спеют, так я тебе принесу вот сколько, дядь Никифор!

Он поглядел на меня внимательно и спросил:

— Да тебе сколько годов-то?

— Сёмый пошел...

— Седьмой, стало быть... Эх ты, Петух-Петух! Заклюют тут тебя разные коршуны...

Иногда Хомутов заходил к нам в хату, но сидел как маленький: плутался в словах, глядел в земляной пол, отказывался от помидоров. После его ухода мать чему-то тихо смеялась, а потом задумывалась.

Как-то он пришел к нам испуганно-решительный и даже со мной поздоровался за руку. На непокрытый стол поставил большую, темную бутылку и проговорил одним духом:

— Вот, Наталья Сергеевна. Живем мы рядом, одни... И я давно уже хотел... Думал... Одним словом — идите за меня замуж! Я вот и его полюбил как... как своего, — показал он на меня и хотел сказать еще что-то, но мать подошла к нему почти вплотную — высокая, стройная и красивая.

— Никифор Гаврилович! — сказала она спокойно и четко. — Нешто я не знаю, что вы хороший человек? Но с сердцем своим, Никифор Гаврилович, не совладеешь... Нет. Спасибо вам за ласку, а... а ходить к нам больше не надо. Не надо, Никифор Гаврилович. Люди — злы, да я и сама не хочу этого...

После того Хомутов не появлялся у нас, зато я не переставал ходить к нему. Иногда я заставлял его у печки — красного, смущенного неумелым обращением с горшками.

— Вот, Петух, кулеш варганю себе, — сообщал он и улыбался широко и добродушно.

— Женился бы ты, дядь Никифор, — подсказывал я ему и добавлял: — На том конце небось тоже есть хорошие бабы... Не одна же моя мать только, правда?

Хомутов наклонялся к устью печки и оттуда спрашивал:

— Думаешь, не одна?

— Не одна, дядь Никифор. Да и ты уже вон какой вырос...

— Это верно, вырос, — соглашался он. — Да только, видишь ты, какое дело... Человек я бедный. И некрасивый. Вот оттого и... Давай-ка лучше кулеш есть, а?

Я по-взрослому скрывал в душе тайную радость от того, что мать не пошла за Хомутова замуж, — тогда нашей дружбе с ним пришел бы конец.

Из Ермаковой хаты кто-то унес сперва двери, потом рамы. А в один ненастный день, к непонятной для меня радости матери, хату разнесли миром легко и скоро, — бревна были трухлявые. Хомутов пробовал уговорить разорителей — хозяин же может возвратиться, но его не послушали.

А через три года Ермак вернулся взаправду. Он въехал в село в расписной повозке на железном ходу, которую мужики называли «тавричанкой». Везли ее два вороных поджарых мерина. В повозке был подросший Колька, новая четырехрядная гармонь и будто бы много денег, потому что ни в каких казаках Ермак не был, а работал в шахте, возил на себе сани с углем, за что ему здорово платили.

Остановился Ермак на другом конце села и даже не спросил никого о своей хате — где она? Целую неделю он гулял, угощал мужиков водкой, но к нам не заглядывал. А мать в эти дни раскраснелась, помолодела и то и дело принималась петь «Страдание». Я знал, почему она такая стала, и за обедом, когда она, задумавшись, позабыла погасить на лице улыбку — тихую и мягкую, как колокольчик повилики в последний день цветения, — я с мужской убежденностью сказал ей:

— Дурочка ты какая-то у меня. Большая, а ума нажила вот столько! — показал я ей на свой мизинец.

Наверно, я не перестал бы с тех пор учить мать жизни, если бы она прикрикнула тогда на меня, заругалась. Но она виновато поглядела в мои глаза и призналась как взрослому или как своей подруге:

— Ну что же я поделаю? Нешто это от меня? Как же ты не поймешь?

Непостижимо быстро построил себе Ермак новую хату и покрыл ее красной жестью. Он поселился километрах в двух от села, на опушке Кашары — стройной березовой рощи, густо поросшей орешником и крушиной. В самой середине рощи, на круглой лужайке, Ермак рассадил несколько рамчатых ульев, которые купил в соседней деревне. Вместе с пасекой он привез для присмотра за Колькой старую, некрасивую женщину и в тот же день зачем-то прислал ее к нам. Мать спокойно и пристально оглядела ее и на прощание дала свой красный платок в белую горошину.

Веселости же у матери хватило ненадолго. Снова, и теперь уже чаще, чем это было когда-то, она грустила, плакала и часто жаловалась мне на резь в сердце. За ночные вздохи ее, за то, что в летние дни она подолгу вглядывалась из-под руки в сторону Кашары, где в знойном мареве полыхала, дрожа, красная крыша Ермаковой хаты, а ей все чудился там пожар; за то, что нас с Колькой звали в селе ермачатами и мы были до капли похожи друг на друга, и еще за что-то, смутное и непонятное мне самому, я жгуче невзлюбил Ермака.

5

Когда Хомутова выбрали членом сельсовета, я обрадовался — думал, что он разбогатеет теперь, но в жизни его все осталось по-прежнему. Возвращаясь из школы, я сразу шел к нему в хату. Мы читали вдвоем Майн Рида, пекли картошку, толковали о жизни. Потом, вечером, поили Моториху, задавали ей корм на ночь и прощались до завтра.

Мне очень хотелось сделать для этого человека что-нибудь большое и хорошее — подарить, например, новый пиджак, потому что ходил Хомутов в рыжем и некрасивом зипуне, но где же мне было взять этот пиджак? Я и сам ходил в материнной кофте.

Как только стаивал снег, я порывался бросить ходить в школу, — можно было наняться к кому-нибудь побогаче стеречь овец и заработать метров пять домотканой материи. Но Хомутов не разрешал мне это.

— Не дури, Петух! Пошли они к чертям со своей материей. Проживем и так. Учись до конца!..

Летом Хомутов постоянно брал меня с собой в ночное. До пастбища было версты четыре, и я всегда ехал верхом на Моторихе, а он шагал рядом. Кобыла разжирела у нас, стала круглой и резвой, но я замечал, что Хомутов недолюбливает ее. Однажды он сказал мне:

— Все-таки досталась она мне неправильно, Петух. Почти что за так. Были б деньги — отнес бы я ему...

Это он говорил о Ермаке, и я возразил:

— Как же за так! А «храк»?

— А ну его к черту! — недовольно отмахнулся Хомутов.

Желая исправить свою оплошность с «храком», я сказал:

— Зря только ты не одолел Ермака, дядь Никифор. Помнишь? Ты бы взял тогда и подставил ему ножку, да руками ка-ак двинул от себя, он бы ка-ак резанулся!..

Хомутов насупился, поглядев куда-то в сторону, и произнес строго:

— Ты не говори о нем так, слышишь?

— Отчего? — удивился я.

— Так. Нельзя тебе... А я свое взыщу с него. Придет время — и взыщу.

Почему-то я не поверил тогда угрозе Хомутова, а случай «взыскать» с Ермака представился нам скоро, буквально через несколько дней.

На опушке Кашары паровал клок хомутовской земли, и мы собрались взметать его, — с вечера приготовили плуг, налили в бочонок воды, завернули в капустные листья хлеб, огурцы и соль.

— Ну, гляди, не опоздай, Петух. Как только забрезжит — вставай, — предостерег меня Хомутов.

Но я проспал, потому что ничего не сказал матери, а Хомутов не решился зайти к нам на заре в хату. Выехали мы, когда солнце взошло от земли на целый дуб. Над Моторихой вились оводы, она крутила хвостом, отфыркивалась и то и дело порывалась на рысь.

— Вся в хозяина, стерва! — сказал Хомутов, сдерживая кобылу. — Тот тоже такой: аршин роста, а прыти на троих...

6

Земля была сухая, звонкая, заросшая сурепкой и пыреем. Уже на третьем круге Моториха потемнела от пота. В знойном, неподвижном воздухе отчетливо слышался натужный гуд Ермаковых пчел, пахло душистым цветом гречихи, привялым орешником и мятой.

Все, что произошло вскоре, было для меня как вспышка молнии — ярко, коротко и жутко. Моториха как-то не по-лошадиному взвизгнула, поднялась на дыбы и в диком галопе рванулась по полю в сторону Кашары, в кусты. Сзади нее волочился плуг и запутавшийся в вожжах и постромках Хомутов. Я опомнился и бросился вслед лишь тогда, когда этот грохотный и пыльный смерч скрылся на опушке рощи...

У берез не было теней, — наверное, их белые ство-

лы насквозь просвечивались солнцем. Только под бугром, у самой Ермаковой пасеки, в кустах орешника, копился зеленый сумрак и прохладная тишина. Там я и увидел Моториху. Она лежала на спине, высторчив кверху ноги и странно шевеля ими — каждой отдельно. В ее мелко подрагивающем розовато-синем животе тяжело увяз отвал плуга. На меня — немного, искромсанного испугом и жалостью — Моториха глядела огромными, живыми глазами, моргала и плакала... Хомутов стоял рядом — бледный, большой, оборванный. Из обнаженного правого плеча его текла кровь.

Он меня не видел, когда шагнул к пасеке. С дыма-рем в руках и с сеткой на голове там стоял Ермак и глядел в нашу сторону. Я притаился в кустах, а Хомутов перепрыгнул изгородь и пошел к Ермаку. Тот снял сетку и спокойно ступил ему навстречу.

— Распустил своих насекомых тварей, гад! — сквозь зубы сказал Хомутов и левой рукой неловко ударил Ермака в грудь.

— погоди... ты что это? — спросил Ермак, но Хомутов тем временем ударил его снова.

И тогда я враз все понял: Моториху ужалили пчелы, оттого она взбесилась и понеслась. Вот, оказывается, почему Хомутов говорил мне, что пахать тут надо только рано утром или вечером, вот зачем он несколько раз предупредил меня, чтобы я не проспал!

Моя вина показалась мне такой большой и неизбывной, что я не имел даже сил заплакать, — душу мою придавило предчувствие новой беды — конца нашей дружбы с Хомутовым. Теперь уже ничто не могло спасти ее, и рядом не было человека, который бы наказал меня за сделанное себе несчастье. Мне было слишком тяжело и плохо с собой, и, схватив куст крапивы, я принялся больно опалять ею свои щеки, нос, губы...

Это заняло каких-нибудь две минуты времени, и когда я снова взглянул в сторону пасеки, то глаза мои схватили прямой и быстрый выпад руки Ермака и падение Хомутова. Он не спеша и мягко осел на колени и закачался, пытаясь встать, и если бы Ермак ударил его еще раз, я, наверно, не вылез бы из кустов и продолжал наблюдать за поединком дальше. Но Ермак не ударил. Наклонившись к Хомутову, он сказал тоном укора:

— У тебя же плечо разбито, рюха!

Я понял, что он пожалел Хомутова, и первое, что

во мне ворохнулось, было чувство чего-то почти нежного к Ермаку, но затем оно сменилось чем-то обидным и гневным. Я выбежал из кустов и крикнул:

— Ты чего дерешься, Ермак, черт! Вот я тебе как врежу палкой, так будешь помнить!..

Он меня узнал сразу, рывком угнул голову и зачем-то спрятал руки в карманы. Хомутов поднялся и пошел прочь.

— Ты зачем тут? — негромко спросил меня Ермак, сам не двигаясь с места.

— А твоя, что ли, Кашара? — ответил я.

— Ну, иди в курень, раз пришел..

— Я не к тебе пришел! Мы приехали пахать парину, а твои пчелы взяли и зажрали нашу...

Передо мной всплыли розовые глаза Моторихи, я заревел и побежал вслед за Хомутовым.

— погоди! — позвал Ермак. — Мне надо сказать тебе что-то...

За Кашарой я догнал Хомутова и долго шел сзади, потом пристроился сбоку и взял его за руку.

Домой мы дошли молча.

7

Прошел еще год. Я был пионером, носил буденовку и сильно гордился своей близостью к председателю сельсовета Никифору Гавриловичу Хомутову. Мне было хорошо и радостно от того, что он посиленел в словах и жестах, одевался в кожанку, ездил на казенных дрожках, а меня называл Петром, как большого. Но встречались мы теперь редко: Хомутов часто и надолго отлучался из дома.

Колька Ермаков сидел со мной в одном классе, и не проходило дня, чтобы мы не подрались с ним, потому что между нами не было победителя.

Незаметно, небыстро и тихо угасала мать. Без ее и моих просьб Хомутов несколько раз привозил из города доктора. Тот находил ее здоровой, но оставлял какие-то сладко пахучие лекарства, от которых нельзя было отогнать Катьку — нашу старую ленивую кошку.

А Ермак по-прежнему будоражил по ночам село протяжным плачем гармонии, изредка заходил к нам, когда меня не было в хате. Жил он вольно, никого не таясь и ни перед кем не заискивая, отдавал в работу

своих вороных меринов безлошадным мужикам, и те за это пахали его землю.

За красивую крышу хаты, за «тавричанку» и пасеку проникались сельские богачи уважением к Ермаку, забывали старые и не замечали новые его причуды.

Как-то перед самой жнитвой лавочник Кузьма Веревкин, у которого Ермак когда-то пас овец, заманил его в гости и целую ночь угощал брагой и дружбой. А через неделю Веревкин с сыновьями пятериком возил с поля снопы. Дорога шла в гору мимо нескошенной десятины Ермаковой ржи. На потеху всем голый — в одних штанах только — Ермак налаживал косу в дальнем конце своего клина и, завидя возы лавочника, крикнул:

— Кузьма Иванович! Дорогой человек! Погоди!..

Без сердечной боли хороший хозяин не остановит свою лошадь под тяжестью на крутом месте, а тут пять лошадей, но что было делать? Веревкин натянул вожжи — он ехал передом — и выжидаючи свесил голову с воза:

— Ай стряслось что, Герасим Андреич?

— Погоди! — просил Ермак, не торопясь подбегая к дороге. — Понимаешь, горе какое! Взял из дома яйцо, а разбить не обо что. Так я вот об твою повозку. В знак нашей дружбы и уважения...

— Сукин ты сын! — не сразу сказал лавочник. — Был ты раскурдюем — им ты и остался!..

— Спасибо, Кузьма Иванович! — притворно низко кланялся Ермак. — Дай Бог тебе здоровья, а жене твоей овдоветь!

— За что, лахудра? — потерянно спросил Веревкин.

— А все за то же, уважаемый мой! За прежнее...

А еще через неделю Ермак навсегда потерял себя в глазах тех, кто понимал толк в червонцах: он раздал бедноте мед и будто бы сделал это кому-то назло, а себе на кураж.

Произошло это так.

На Спасов день, когда каждой семье полагалось есть мед, от Кашары к селу понеслась «тавричанка». Она была убрана ветками берез и кленов, в хвостах и гривах меринов плескались красные и голубые ленты. Бричкой правил Колька, а Ермак, хмельной и веселый, сидел на большой бочке, рвал меха гармони в удалом «камаринском». Под окнами хат без ворот и заборов Колька лихо осаживал коней, а Ермак кричал:

— Налетай на мед с горшками и кувшинами!

К нашей хате Колька подъехал медленно. Ермак сошел с брички, подхватил на руки ведерный бочонок и, нелегко повернувшись, взглянул на наши окна как-то виновато и крадучись.

Я с ним не встретился. Я спрятался в огороде и долго там плакал под огневыми головками подсолнухов... Тогда я и понял, что рядом с крутой и темной обидой к Ермаку во мне живет ревнивое желание походить на него, подражать его непокойной и непричесанной душе, его приметному самочинному облику. И была такая минута, что стоило ему обойтись со мной ласково, поманить-покликать нас с матерью, — принес бы я ему в ладонях свое сердце, переполненное пестрой смесью горячих чувств, название которым, пожалуй, и не придумать!..

Но этого не случилось.

8

Приближался тысяча девятьсот тридцатый год.

Все то новое и большое, что несло время в наше село, заключалось для меня в одном человеке — в Хомутове. Теперь он казался мне слишком значительным, сильным и смелым — почти загадочным, и я искренне дивился тому, что не замечал всего этого в нем прежде. По примеру старших я начал испытывать к нему тихое почтение, смешанное с непонятной скованностью и застенчивостью. Это губило давнее и мне нужное — нашу свободную и равную дружбу. При встречах с Хомутовым я уже не делился с ним всеми своими радостями и горестями, а больше помалкивал. Он, видно, заметил во мне эту перемену и однажды, когда я впервые назвал его по имени и отчеству, рассердился:

— Ты что-то стал дурить, брат! Какой я тебе, к чертям, Гаврилович! Мне это от кулаков надоело слушать!..

— А ты больше не будь сам таким! — облегченно попросил я Хомутова.

— Каким? — изумился он.

— Ну... чужим и умным. Будто городской уполномоченный...

Я видел, что мои слова понравились ему, — много ли человеку надо! — но все же он сказал:

— Делов у меня много, Петр. Тут поневоле поумне-

ешь... Нынешней ночью опять пленум, — он как-то не по-своему нахмурился, отчего снова отдалился от меня, и вдруг решил: — Вот что. Давай-ка ввязывайся в работу по линии сельсовета. Не хватает у нас членов ударных бригад... Ты хотя и несовершеннолетний, но зато... Одним словом, нужен будешь. Приходи завтра!

И три дня я почти не ночевал дома, свозя добро раскулаченных в сельский кооператив. С этим делом я справлялся легко и радостно, — в моей жизни мало было развлечений, захватывающих дух, — разве только качели? А на четвертый день наша бригада во главе с Хомутовым собралась в Кашару.

По какому-то молчаливому уговору с Хомутовым у нас никогда не заходила речь о Ермаке. Не назвали мы его имя и в этот день, только перед самым отъездом Хомутов спросил меня:

— Может, останешься дома?

— Зачем?

— Ну... матери, может, понадобится. Мало ли?

Но я поехал.

Ермака мы встретили на дороге между селом и Кашарой. Он мчался куда-то верхом, а поравнявшись с нашими подводами, задержал мерина, в упор взглянул на Хомутова.

— Ко мне?

— Да! — твердо сказал тот.

— Та-ак... — раздумчиво произнес Ермак. — Значит, причислил меня к чужим?

— Ты сам себя причислил, — глядя куда-то в сторону, ответил Хомутов. — Наемную силу держишь? Бедноту эксплуатируешь? Чего тебе еще?..

Не спеша и пристально Ермак оглядел каждого члена бригады, а натолкнувшись взглядом на меня, шевельнул бровями, тронул мерина к Хомутову.

— Мальчишку зачем везешь? Эх, Никифор, ошибку делаешь! Не думал я, что ты... ходишь для меня в душе с этим!..

— Ладно, хватит! Поехали! — сказал Хомутов и вдруг туго прижал меня рукой к себе...

9

Во дворе Ермак спрыгнул с мерина и бросил поводья на колени Хомутову.

— Бери. Второй в лесу. Бричка вон, хата — вот!

— Возьмем, не беспокойся, — пообещал Хомутов и первым ступил в хату. А я побежал на опушку рощи, потому что снова, как тогда на пасеке, во мне вспыхнул и не хотел гаснуть трепетный огонек чего-то хорошего к Ермаку. Наверно, я не справился бы сам с этим своим ненужным мне тогда ощущением, если бы не Колька. Он подошел ко мне не всегдашней ермаковской походкой с откинутой головой и руками, готовыми «дать», а так, будто я был трудный пример по арифметике. «Ага, попались!» — подумал я, и все во мне сразу встало на прежнее место.

— Знаешь чего? — шепотом сказал Колька, глядя мне в ноги. — Возьми медведя и вынеси мне... Он в чулане на полке. А то «храк» себе заберет. Ладно?

Медведя этого — ростом с живую собаку — я видел раньше, когда Колька привез его с шахт, но у него давно лопнула спина и передние лапы, поэтому я сказал:

— Черт с вами, забирайте. Не жалко. А на Хомутова ты не брешь. Мы себе ничего не берем! Все идет в кооперацию бедному народу, понял?

У крыльца в согласном, деловом молчании курили члены нашей бригады, стояла запряженная «тавричанка», и на ней, поверх подушек, пылала перламутром клавишей гармонь. Дверь в хату была открыта настежь. Я остановился на пороге в тот самый момент, когда Хомутов потянулся за ружьем, висевшим на стене в углу, где у других были иконы.

— Повесь на место! — сразу же раздался тихий и внятный голос Ермака. Он стоял у дверей чулана — невысокий, кряжистый, навсегда в чем-то уверенный. Хомутов качнул на руках ружье, медленно обернулся к Ермаку и оглядел его не то с удивлением, не то с вызовом в прищуренных глазах. Пальцы его левой руки, сжимавшие ствол ружья, все больше и больше белели от натуги, а покрывавшие их рыжие волоски встали торчмя. Ермак, как во сне, отделился от дверей, коротко зажмурился и как стопудовую тяжесть отнес руки за спину.

— Повесь... будет кровь, Никифор! — просто и страшно сказал он Хомутову, и мне показалось, что он сейчас упадет, — так мертвенно бледны были его щеки, нос, губы и даже глаза.

А Хомутов почему-то молчал, не двигался с места и не отпускал ружье. Он продолжал с прежней напряженностью глядеть на Ермака, подходившего толчками к нему сбоку.

Может быть, только я один услышал слово, в шепоте упавшее с белых губ Ермака, — он сказал: «Ну?» — и, может быть, только я один понял, что оно значило. Я подскочил к Хомутову, опалась горячим ужасом, и, схватившись за ствол ружья, крикнул:

— Отдай, дядь Никифор! Скорей!

Хомутов не сразу отпустил ружье, — я раза два изо всех сил рванул его к себе, и, когда оно было у меня, Ермак стоял с нами рядом и тяжело клонился левым плечом вперед, готовясь к чему-то.

— Не надо! — закричал я, протягивая ему ружье. — Не надо!

Он мотнул головой, выпрямился и осторожно принял ружье из моих рук. Потом закинул его за спину и тоном, которому я не мог не подчиниться, приказал:

— Иди сюда!

В сенях, куда мы вышли, он сунул руку в карман и, не оборачиваясь, протянул мне красную пачку тридцаток.

— Отдай матери!

Вернувшись в хату, я показал деньги Хомутову.

— Где ты их взял? — строго спросил он меня.

— Он дал... сказал — матери...

— Ну и спрячь, — впервые разозлился на меня Хомутов. — И отдай! Дур-рак!

Я отнес Кольке медведя и почему-то полем, а не по дороге медленно побрел домой.

10

За Кашарой дотлевало небо. Говорили, что там, верст за сорок от нас, начинались дремучие леса, название которых всегда почему-то будило во мне неосознанное желание уйти куда-то вдвоем с матерью...

В хате уже давно плавали звонкие потемки, верещал за печкой сверчок, и по-живому всхлипывала квашня под лавкой.

Я сидел на подоконнике и ждал мать.

А подо мной, на улице, кто-то тоже давно и призывно свистел в половинку ореховой скорлупы. Я выпрыгнул в окно и узнал Кольку.

— Чего ты? — спросил я его издали.

— Так, — сказал он и присел на завалинку. — Хочешь орехов? Молозивые, а хорошие. На!..

Был тот задумчиво чуткий час, когда в селе додаивали коров и собирались вечерять. Над речкой всходил пар и растекался по садам и огородам, — наступало самое время отрясти чью-нибудь яблоню. Я только что собрался предложить это Кольке, но он проговорил вдруг:

— Ну... я пойду. Утром мы с папашкой уходим...

— Далёко? — по возможности бесстрастно спросил я.

— Опять на шахты... Что ж нам теперь тут... Ну, пока, Петък!

— Пока, — сказал я.

— Может, когда-нибудь встретимся, правда, Петък?

— Может, — сказал я и долго слышал, как грустно шлепали по пыли босые Колькины ноги...

...А матери все не было.

Не пришла она и утром, и днем, и вечером.

Только на четвертый день сельсоветчики нашли ее в речке аж в конце села — водой, видно, отнесло.

Похоронили мы ее с духовым оркестром — Хомутов так решил...

Мне тогда шел двенадцатый год, но желание встречи с Ермаком у меня было взрослое...

11

...За десять лет, проведенных мною после не в одном и не в двух городах, я получил не десять и не двадцать писем от Хомутова. На мои торопливые сообщения о том, что я жив-здоров, он писал длинно и обстоятельно обо всем на свете и под конец опять стал называть меня «Петухом» — старел, видно. Жил Никифор Гаврилович по-прежнему на старом месте, только работал не в сельсовете, а в МТС — возглавлял партийную организацию. Оттого ли, что он чувствовал себя не совсем вправе или берег меня от ненужных воспоминаний, а может, самолюбие ему мешало, но только он ни разу не намекнул мне о приезде в село, о встрече. А я ждал этого и потихоньку копил ему любовь, а себе деньги на дорогу.

Но война помешала мечте.

Прямо как в солдатской песне, — был я на Волхове, дрался на Ладоге, отступал, правда, но не один, а со всеми, потом долго лежал в госпитале.

Когда рана моя подсохла, враг уже пятился назад, и далеко от Москвы я догнал свою часть. Но оттуда меня направили в штаб фронта.

— Лейтенант Выходов! — сказал мне там полковник, хотя был я сержантом роты связи, — завтра в два ноль десять вы отбудете в партизанский отряд, дислоцированный... — полковник назвал леса, что были за Кашарой и которые манили меня когда-то и куда-то... — Указания, погоны, документы и снаряжение получите сейчас же у майора Младенцова. Все!

Было совсем не заманчиво впервые лететь на самолете, когда впереди, с боков и сзади него бесшумно и медленно распускались в темноте желто-малиновые тюльпаны снарядных разрывов. Не испытал я особого восторга и в тот момент, когда сопровождающий уверенно помог моему мужеству у люка...

В госпитале я читал в газетах, что в таких случаях парашютистов обнимают и бурно тискают, но встретившие меня недалеко от сигнальных костров четверо партизан сказали всего лишь два слова:

— Пошли, браток!

Шли мы долго. Лес иногда расступался, то становился еще темнее и гуще, и я порядком устал. Шедший все время впереди низенький партизан наконец остановился у двух исполинских сосен и проговорил:

— Вот тут. Лезь.

— Куда? — не понял я.

— Вниз. По порошкам.

Я полез, насчитал восемь ступенек и догадался, что это командирская землянка. Вошел я в нее без стука, — дверь заменяла плащ-палатка, — и остановился, ослепленный яркой карбидовой лампой. По левой стене землянки тянулись березовые нары, по правой висело оружие и карта мира, а посередине стоял стол, и за ним, на белом круглом чурбаке спиной ко мне сидел человек в брезентовом пиджаке и прямо из котелка ел картошку.

В спину ему я и доложил о своем прибытии.

Он обернулся всем корпусом, по-бирючьи, а я невольно шагнул в сторону — то был Ермак! Он глядел на меня и, сидя, дожевывал, должно быть, горячую

картошку — черная борода ходуном двигалась на его худых скулах. На столе, рядом с лампой, козырьком ко мне лежала кожаная фуражка, и на ее порыжелом околыше прижилась маленькая солдатская звездочка. Я стал на прежнее место и зачем-то сильно прижал руки к бокам.

Ермак постарел, изменился.

Он показался мне значительно ниже ростом, чем был когда-то, а в глазах уже не было прежних озорных искр, — глаза выцвели, выветрились и сидели глубоко, покойные и внимательные. Без прежней упругой легкости, а как-то тяжело и неспоро он подступил ко мне и спросил хрипловато, обрадованно:

— Ты?

Я понял, какое ответное слово хотелось ему услышать от меня, но слову этому мне надо было учиться с детства, а не в двадцать два года, и потому я повторил свой рапорт:

— Товарищ командир! Лейтенант Выходов прибыл в распоряжение отряда. Вот мои документы!

— Не надо, — угасше сказал Ермак.

В остаток ночи я понял, что не смогу до конца и точно выполнить задание Большой земли: мне было не под силу осмыслить увиденное, — в сердце приютились недоумение и тревога.

Наша радиосвязь с майором Младенцовым должна была начаться лишь через три дня, но я решил во что бы то ни стало вызвать его сегодня же. Текст шифровки в уме получался длинным и путаным, после каждого моего слова о Ермаке у майора непременно возник бы нелегкий, должно быть, вопрос ко мне, и я вспомнил, что не представился еще комиссару отряда, если он только есть у Ермака, не переговорил обо всем с ним.

Утром я снова по всем правилам устава обратился к Ермаку с вопросом — как мне повидать комиссара отряда.

— А, да, — произнес он отдельно, — комиссаром у нас Хомутов... — и, выждав столько, чтобы мы встретились и разминулись глазами, dokonчил: — Никифор Гаврилович.

Это хорошо, что мы поглядели в глаза друг другу, — иначе я оскорбил бы Ермака за неуместную шутку.

Но он говорил правду.

— Ага! — выдохнул я. — Ну, теперь все верно! Теперь... — и, поздно поняв, что говорю не то, что нужно, и могу сказать еще и не такое, я приложил руку к пилотке и попросил разрешения уйти из землянки.

... Хомутова я нашел скоро.

Он тоже постарел, но, как мне показалось, раздался в плечах и вырос. Звонко и радостно, как на параде, я доложил ему о себе. Неумело — ладонь лодочкой — Хомутов держал у виска руку, смешно двигал лохматыми, выгоревшими бровями, а глазами торопил — кончай!

— Петух!.. Чертяка ты мой родной! Ну здравствуй же!.. — Обнимались мы долго и крепко. Хомутов лупил меня ладонями по спине и прятал глаза. Растрогался и я — близок и дорог был мне этот человек, большой и нужной ношей лежала в моем сердце мужская бессловесная любовь к нему...

— А ты уже видел... командира? — вдруг спросил Хомутов.

— Да, — ответил я, и оттого, видно, что рядом с Хомутовым незримо стояло мое детство, во мне с прежней болью шевельнулось давнее и нелегкое чувство к Ермаку. — Надеюсь, что мою работу в отряде будешь контролировать ты, — сказал я.

Хомутов промолчал, глядя себе под ноги, и тогда я спросил почему-то шепотом:

— Скажи, дядь Никифор... о нем знают там?

— Где это? — насторожился Хомутов.

— Ну... командование.

— Конечно. А что знать-то особое надо о нем?

— Все.

— А именно?

— Что знаем мы с тобой...

...Мы шли по топкому, седому мху, и под мягкий шелест шагов Хомутов кидал круглые, до краев наполненные какой-то суровой и непонятной мне силой слова:

— Знают, что он рабочий. Правильный человек. Русский. Привел сюда группу шахтеров. Да у меня тут было полсотни своих. Встретились. Соединились. Зародился отряд. Сейчас нас шестьсот. Воюем. А о тебе... о матери — не знают.

— Это и знать никому не надо! — перебил я. — Но вот о том, когда он не отдал ружье и чуть-чуть было тебя... помнишь?

— То был не он! — мрачно, почти угрожающе сказал Хомутов и взглянул на меня как на чужого.

— Неправда! Я же был тогда и все видел...

— А я говорю тебе, что это были не мы! Не я и не он, понял?

— Если тебе так хочется, то понял, — ответил я, а через несколько шагов не выдержал: — Приспичило ему, видно, вот он теперь и...

— Что приспичило? Кому приспичило? — остановился Хомутов. — Сейчас всем честным людям приспичило, всему нашему народу... Дур-рак!

Мы долго молчали — я растерянно, а Хомутов выжидаючи.

— Дружите, что ли? — спросил под конец я.

— Видишь же сам — воюем!.. Ну, хватит об этом. Хватит!

12

Взаимные симпатии у них были большие; они даже называли друг друга уменьшительными именами, — как маленькие.

— Дорвались? — спросил я как-то Хомутова.

Он понял, что я имел в виду, грустно взглянул на меня и сказал:

— Злой ты, Петр... хотя и неповинен в этом! А жизнь все равно заставит тебя понять и принять...

— Кого?

— Отца.

— У меня его нет.

— Не было, рюха! А теперь есть. Есть же он!..

И постепенно я начал отдаляться от Хомутова, потому что его посредничество между мной и Ермаком странным образом губило нашу прежнюю с ним дружбу и мешало теперешней. Он замечал это и сам, но, видно, новым нельзя человеку жертвовать ради старого...

Моя боевая работа требовала частых встреч с Ермаком. Я нехотя приходил к нему в землянку, коротко докладывал суть дела и замолкал.

— Все? — спрашивал он.

— Все, — отвечал я.

— Мало. Ну, садись.

Я повиновался, но тут же доставал перочинный ножик и принимался ковырять доску стола. Со временем в нем образовалась глубокая дырка, но не делать этого я не мог. Сидя, мы изредка взглядывали друг на друга, встречались глазами, и в его я видел усталость и жалобу, а он в моих не знаю что.

В первое время, когда сидеть так становилось невмочь, я говорил:

— Разрешите идти.

Он молча кивал головой и еще больше ссутуливался на своем пне. Потом я ронял уже другие слова:

— Ну, я пойду.

— Ну, иди. Гляди, чтобы все было... в порядке, — наказывал Ермак и, когда я подходил к выходу, просил: — Да, вот что: принеси мне завтра в восемь ноль-ноль вчерашнюю радиограмму...

И все-таки мы оставались с ним чужими. Что же я мог поделаться с собой, когда сердце было с детства ранено человеком, которого оно хотело любить и считать своим! Значит, права была мать, когда говорила мне, что «это не от нее». О том, что «это не от меня», понял и Ермак.

Однажды после долгого молчания в его землянке он вдруг подошел ко мне вплотную и спросил глухо:

— Не можешь?

Я прямо поглядел в глаза его — темные, в густой тоске — и сказал:

— Нет.

— За что? — еще глуше спросил он.

Разом, как будто душу мою опалило чем-то горько-горючим и спасение ее было в одном — в плаче, я зарыдал некрасиво, по-мужски противно и выбежал из землянки...

Три дня мы не встречались с Ермаком, — готовился большой рейд на выручку соседнего отряда, попавшего в окружение. Еще через три дня мы достигли вражеского кольца, в течение двух суток шел жаркий бой, и, значит, надо было Ермаку трижды самому кидаться в атаку и погибнуть...

Похоронили мы его в лесу — навсегда успокоившегося, но не умиротворенного: брови над переносьем были сердито сдвинуты, а пальцы рук сжаты в кулаки...

Пирамидки над могилой не ставили, — в изголовьях рос молодой, но уже окрепший дуб.

С братом своим Колькой я встретился в сорок шестом году. У него был ножной протез и погоны капитана пехоты.

1955

СИНЕЛЬ

I

Мы жили с матерью на краю деревни. Наша хата стояла, накренившись в овраг, и ее соломенную крышу растрепали ветры и галки. У нас была бурая, лохматая корова с присохшим выменем и петух — косой, с общипанной в драках шеей. Нам нечем было платить обществу пастуху, и корову стерег я. Вечерами к нам в хату приходили бабы ругаться с матерью, но ни одна из них не говорила ей правды: я никогда не рвал огурцы с плетями; и пусть бы они попробовали заставить нашу корову бежать по дороге, а не огородами, когда она вздумает держать хвост трубой!

Мать мочила в ведре полотенце, задирала на моей спине рубаху и била в такт словам:

— Будешь знать! Будешь знать!

А потом, когда бабы уходили, смиренные моим криком, мать виновато гладила мою голову и шепотом признавалась, что стегала меня нарочно, «для них». Так случалось почти каждый вечер, и я, крепко любя мать, изо всех сил ненавидел ее рот и руки. Мне даже казалось, что они у нее чужие, не свои, и делают со мной все это против ее воли и желания.

Я стал уводить корову далеко за деревню. Там, оказывается, протекал небольшой ручей и зеленел неширокий луг, заросший одуванчиками. Цветы эти я не любил: нагруженные желтым нектаром, на их головках постоянно ютились невидимые пчелы, и мои босые ноги были сплошь искусаны ими.

На этом лугу девочка в красном платке и с длинной хворостиной в руках стерегла гусей. В обед она сидела на берегу ручья и принималась плести венки.

Однажды, когда я мочил в ручье сухарь, она подперла щеку рукой и спросила:

— А пирога хочешь?

Я отказался.

— Дур-рак, он же ж на меде!

Из-под сбившегося на лоб платка на меня удивленно-пытливо глядели два синих глаза. Я отвернулся и с непонятным чувством обиды на кого-то съел свой сухарь...

2

В те годы я не знал, что васильки — сорная трава. В нашем краю васильки были цветами, и назывались они синелью. Каждый раз я приносил домой синюю охапку, и в нашей хате все время стоял грустновато-пряный запах.

Дарья — девочка в красном платке — к концу дня набирала целый огненный сноп одуванчиков, и рядом с ним ее глаза цвели синелью. У нее были прозрачно-розовые мочки ушей, и мне очень хотелось прикоснуться к ним мизинцем. Однажды, когда я поздно вел корову на луг, Дарья встретила меня на полевой дороге и, отогнув платок, сказала:

— Погляди-кась!

В ушах, пронзив их, алели стеклянные капли сережек. Я не удержался и потрогал их пальцем.

— Больно было?

— Ага.

— А зачем же ты давалась колотьяся?

— Зато я теперь хор-рошая! — убежденно сказала она, и это была правда.

В тот же день из богородицыной травы пополам с одуванчиками Дарья сплела венок и осторожно надела его на мою голову.

— Вот. Теперь ты тоже хор-роший-хор-роший, — шепотом сообщила она и оглядела меня по-хозяйски заботливо, как свою куклу. Я не перенес ласки этих Дарьиных слов, ткнулся увенченной головой в траву и заплакал, припомнив вдруг все обиды, нанесенные мне жизнью, за все мои восемь лет. Дарья долго сидела молчаливая и испуганная, потом сообразила:

— Тебя пчела укусила, да? У-у, злока какая! Она и меня послевчера кусала. Только я не плакала. Послюнила — и прошло. Давай тебе тоже послюню...

Вечером, уводя корову домой, я крикнул девочке издали, что не хочу называть ее Дарьей.

— Отчего? — поразилась она.

— Так кличут у нас бабуку... что повитуха.

— А как же ты будешь звать меня?

— Синелью, — тихо сказал я.

Дарья задумалась на минуту, потом негромко ответила:

— Ну ладно. Зови.

3

Каждое утро я просыпался с какой-то пламенной радостью. Сверкал ли мир светом, было ли пасмурно, — я знал, что на лугу, у ручья, полыхает красный платок Синели, она плетет венок и ждет меня...

Есть в детстве видения, которые сохраняешь в памяти на всю жизнь. Незначительное, какое-нибудь обыденное событие, но ты носишь в сердце этот крохотный кусочек своего босоногого начала, и бережешь, и никому не рассказываешь о нем из боязни, что над тобой посмеются. Из той поры я навсегда унес с собой в жизнь один летний день. Ночью прошел ливень, и наш ручей превратился в маленькую речку. Под ярким утренним солнцем луг источал пресновато-свежий дух, а прямо надо мной и Синелью в стремительном лете со звоном рвал шелковистую голубень воздуха бекас.

— Как балалайка. А высоко — аж под самым громом! — сказала Синель о бекасе, и, когда я задрал голову, она шлепнула меня по руке и под крик: «Догоняй!» побежала по лугу. Мокрая трава по-живому пищала у нас под ногами, а выпуклые пятки Синели были чисты и ярки, как головки полевой ромашки. На берегу ручья, там, где он приласкал-пригладил траву и отступил, мелея, луг был мягок и упруг, как резиновая подушка. Там я настиг Синель и готовился схватить ее за косу, но от острой боли в ступне поскользнулся и свалился в ручей, забив илом глаза. Синель от смеха присела в траву, но, когда я вылез, хромя, на берег, она смолкла, подбежала ко мне и острым уголком платка стала очищать мои глаза.

— Гляди влево! Во! А теперь вниз. Во! А зараз погляди вверх»..

Я глядел, не видя ее, и, ощущая боязливые движения ее теплых пальцев, чему-то радовался. Потом она

потерла слюной мою ногу в том месте, где болело, и сообщила:

— Колюка. Большу-щая!

Кончиком булавки она небожно и очень долго ковырялась в моей ноге, а я сидел, почему-то тихо дыша, и мог сидеть так до вечера.

— Вишь, какая зараза! — сказала потом Синель и поднесла к моим глазам небольшую занозу.

Вот и все события моего ясного дня. Но я помню цвет и ощущаю запах его, помню и ощущаю бесконечное движение всех его секунд...

4

Прошла осень. Мать сшила мне холщовую сумку, положила в нее кусок хлеба, и я пошел в школу «записываться». В школьном саду опадали яблоневые листья, и на желтом крыльце стояла Синель. Мы запоздали к началу первого урока: сквозь широкие школьные окна в сад лился стоголосый размеренный речитатив:

*Вот ля-гу-шка по до-рож-ке
Ска-чет, вы-тя-нув-ши нож-ки!
Ква-ква-ква! Ква-ква-ква!
Ска-чет, вы-тя-нув-ши нож-ки!*

Я впервые видел Синель такой нарядной. В новых ботинках и голубой вязаной шапке, она стояла с пестрым баульчиком в руках и казалась мне незнакомой, чужой. Она не замечала меня, даже не взглянула в мою сторону, и я снова, как в тот раз, когда ел при ней свой сухарь, испытал непонятную тоску и обиду. Я сдвинул свою сумку за спину и боком, глубоко погружая лапти в опавшие листья, вышел из сада...

На третий день я снова пришел в школу. Узнав, чей я, старая учительница посмотрела на меня ласково и посадила на первую парту, рядом с Синелью. Красные ленты в ее косах все время горели у меня перед глазами, потому что сидела она полуотвернувшись. Я не заговаривал с ней, подавленный ее нарядностью и отчужденностью, но вскоре со мной случилось горе, восстановившее нашу дружбу.

В ту зиму исполнилось три года со дня кончины

Ленина. Однажды мы рисовали Мавзолей, и у меня сломался карандаш. Рядом у моего локтя лежали карандаши Синели, но разве я мог попросить у нее? Я обернулся назад. Мой сосед Иван Веревкин пыхтел над рисунком, подперев языком щеку, и я незаметно взял его свободный карандаш, лежавший на краю парты. Я раскрасил Мавзолей, густо послюнив карандаш, и уже хотел положить его на место, но в это время учительница объявила перемену, а Иван — пропажу. Я хотел сказать ему, что карандаш цел, вот он, но Иван пригрозил школе отцом и заплакал. Утешая его, учительница сказала, что воришка будет найден после перемены. Карандаш был не длиннее спички и обжигал мою ладонь, как раскаленный гвоздь. Мир стремительно рушился на моих глазах, и я изо всех сил хотел избежать гибели. Выйдя из школы, я побежал в дальний угол сада и там под кустом закопал свой позор в землю.

После перемены начался обыск, и, когда вывернули мою сумку, темные крошки хлеба, высыпавшиеся на парту, начали расти в моих глазах в громадные глыбы. Я не мог утереть слез, не мог поднять головы, и в это время Иван обрадованно крикнул:

— Это он спер! Гляньте-кась, у него на губе метинка от моего карандаша!

Дальнейшее я помню смутно.

Домой я шел не улицей деревни, как всегда, а огородами. На полдороге меня догнала Синель и долго шла рядом, молча трогая меня за край сумки. Я резко отпихивал ее руку и ускорял шаги, тогда она зашла наперед и проговорила одним дыханием:

— Ну чего ты плачешь? Ты же не крал его, правда? Ты же хотел порисовать только, а потом хотел отдать, а он, дур-рак, подумал... А на перемене ты закинул карандаш под школу, правда?

Я заревел во весь голос.

5

На второй день учительница выдала нам с Иваном новые, еще не очиненные карандаши и посоветовала забыть прошлое. Я был согласен, но Иван думал иначе. На переменах он сживал меня со света, дразня вором и требуя «свой» карандаш. По совету Синели я легко отдал ему подарок учительницы, он сунул карандаш в

карман, и знакомая уже мне радость расцвела на его роже:

— Ага! А говорил, что не крал!

— Вот и нет! — крикнула Синель, и кончик ее носа отчего-то стал белым, как перламутровая пуговица. Поджав правую ногу, Иван запрыгал от нас на левой, выкрикивая слова совсем не из букваря. Синель опустила голову, и голубой махор ее шапки затрясся мелко и часто. Я двумя прыжками настиг Ивана и с ходу укусил его за ухо, потом вцепился пальцами ему в губы, и в мои ладони горячо потек пронзительный и длинный, похожий на пороссячий, визг.

После этого Иван накрепко забыл наше «прошлое».

В тот же день, возвращаясь из школы, я спросил Синель, за что она все время на меня злилась.

— А я и не злилась. А только ты отчего тогда не подошел ко мне и не поглядел на мои ботинки... И на шапку, и на баульчик!

Мне очень хотелось отлупить ее, потому что я смутно обвинял ее в случившейся со мной истории с карандашом. Ведь у нее их было много, и я мог бы не обращаться к Ивану.

6

Жила Синель на хуторе, километрах в двух от школы, и дорога к ее дому пролегла мимо нашей хаты. В зимние дни смеркалось рано, и я провожал Синель далеко за деревню. Я шел впереди, протаптывая снег широкими подошвами лаптей, а она хрумкала валенками по моим следам сзади.

— Теперь ты уже дойдешь одна, — говорил я Синели, завидя ее хутор.

— Теперь дойду, — соглашалась она. Мы расходились, поминутно оглядываясь, и от этого Синель часто падала. Тогда я останавливался и провожал ее глазами до самого дома.

В один метельный день я привел ее прямо в хутор. Меня поразила дубовая крепость приземистых амбаров, густо рассаженных во дворе, и малиновая роспись резных петухов на оконных наличниках дома. На крыльце Синель как-то сразу притихла и съежилась и долго обметала мои лапти соломенным веником.

— Ну, теперь заходи, — шепотом сказала она и

боязливо взялась за дверную ручку. Я переступил порог и остановился у притолоки, охваченный густым, устоявшимся запахом настоящего ржаного хлеба.

— А шапку надо сымать, малый. Ты не в школе.

В раме чуланных дверей стоял высокий одноглазый мужик с длинной, худой шеей. Сцепив одной рукой рыжую узкую бороду, он разглядывал меня, как наш петух зерно перед тем, как его клюнуть. «Кочет» — прозвал я его в душе и снял шапку.

— Дашка, на печку! — приказал он, не меняя позы. Синель взяла валенки, отерла их рукавом и бережно, будто две темные иконки, поставила в угол. Высторчив острые локти, она юркнула на печку и скрылась там в теплых потемках.

— А ты, малый, иди к себе, — посоветовал мне Кочет.

Я попятился в сени, не решаясь в доме надеть шапку, и в это время из чулана вышла женщина. Оглядев меня синими глазами, она негромко сказала:

— Куда ж он в такую погоду... Подвез бы ты его, Проша!

— Дойдет сам!

Я, конечно, дошел, но с тех пор провожал Синель только до полдороги.

7

Каждое утро, идя в школу, Синель останавливалась у нас под окнами, но больше одной минуты я не заставлял ждать себя — я очень боялся, что она зайдет к нам в хату и увидит наше с матерью неуютное житье-бытье. Мать, наверно, догадывалась об этих моих страхах, потому что однажды сказала мне:

— Что же ты, сынок, не по плечу подругу себе нашел? Ведь она богатая.

— Зато отец ее злой, как черт! — уравнил я наше положение.

— А он ей не отец, — сказала мать. — Он ей отчим.

Я плохо знал, что это такое, но в душе крепко чему-то обрадовался и на второй день спросил Синель, правда ли, что ее отец не отец ей. Она молча кивнула головой и только на обратном пути из школы объяснила:

— Мой папашка помер аж в позапрошлом году, а мы с мамой вышли замуж за этого... А жили мы, знаешь, где? Вон-он там, куда летом закатывается солнце. В Липовке.

— Он, наверное, бьет тебя, — предположил я.

— Так что ж? Маму ж тоже...

Я сказал ей, что он, этот неотец ее, похож на нашего кочета. Синель долго смеялась этому сравнению, и на широком снегу нестерпимо синие сияли ее глаза.

У меня исчезло то нелегкое чувство, которое мешало позвать Синель в нашу хату. Теперь, возвращаясь из школы, мы каждый раз заходили к нам, и я с радостным изумлением видел, что Синели очень нравится наша жизнь с матерью, — борщ без мяса, картошка с кислым молоком и хлеб с мякиной. Когда я, выдув кружку простокваши, по-хозяйски громко просил у матери еще, Синель почти испуганно глядела на меня и тихо чему-то дивилась. Мать подбавляла и ей, знакомым мне движением руки гладила ее голову и коротко вздыхала:

— Господи, вот же бедный ребенок!

8

Так продолжалось не один и не два года. Я не замечал, чтобы Синель росла: уже будучи в четвертом классе, она так же, как и в первом, читала сказку Пушкина совсем по-детски, нараспев и самозабвенно: «А сама-то велика-ава, выступает будто па-ава...»

— Величава! — поправляла ее учительница.

— Великава, — шептала Синель.

Но в одно весеннее утро я увидел ее взрослой. Она прибежала к нам немного взволнованная, но смеющаяся:

— Пойдем на луг, я тебе что расскажу-у!

Я решил, что она хочет похвастаться там какой-нибудь обновкой, — это с ней иногда бывало и раньше, — но во дворе она остановилась, не в силах нести тайну:

— Ой, Сережка, что у нас творится, что творится!

— Где? — не понял я.

— Ну там, — кивнула она на хутор — Приехали на подводах из сельсовета и давай грузить! И сало, и хомуты, и все-все! А Кочет как заверезжит, как схватит ружье... А Яков Петрович — председатель — как

крикнет на него: «Брось оружие, волчья шкура! Хватит, попил нашей крови!»

— Это ж раскулачивают вас! — вырвалось у меня, но я тут же поправился: — Кочета раскулачивают!

— Ну да! — твердо сказала Синель. — Будет теперь знать! Всю кровь выпил у нас с мамой!..

Наверно, оттого, что лучи встающего солнца падали на наш двор косо, глаза у Синели были темные, а щеки — как кумач.

9

Хутор перестал существовать. Кочет куда-то скрылся, а Синель с матерью перебрались в деревню и поселились у бабки Дарьи. Каждый второй день я носил им кувшин простокваши, и каждый раз, завидя меня с этой ношей, Синель пряталась. Однажды, когда я входил к ним во двор, она убежала за угол хаты и там притаилась в бурьяне.

— Ну чего ты хоронишься! — сказал я, пряча кувшин за спину. — А как же я все время ел на лугу твои пироги? И яблоки, и мед! Ел и не стыдился, а ты... будто чужая!

— Не буду есть! — крикнула Синель. — И уходи ты со своим кувшином, чтоб он провалился! Ходишь к нам, как к побирешкам...

— Дура! — обиделся я за нас обоих, унес простоквашу домой и рассказал матери. Она задумалась.

— По четырнадцати годов уже вам, сиротам. Какая уж тут между вами простокваша! Давай-ка я сама буду носить...

К тому времени мы уже не сидели на одной парте с Синелью, но я пристально следил за ее учебой, радовался ее успехам, огорчался неудачами и под скрытым предлогом ввязывался в драку с тем, кто обзывал ее кулачкой. Это слово было для нее горькой обидой, и она частенько втихомолку плакала. Как-то получалось, что в эту минуту я всегда оказывался возле нее. Мне были решительно непонятны ее слезы, и я злился.

— Ну чего ты плачешь? — спрашивал я. — Разве ты на самом деле кулачка? Ты ж пионерка, и совсем такая, как я!

— А вот и не такая! На тебя же не говорят?

— А на тебя кто говорит?

— Иван...

Я отыскивал этого мучителя, и через минуту он был во всю ивановскую...

10

Мы быстро выросли, и наши отношения становились сдержаннее. Вечерами, уходя в луг, я не смел уже, как раньше, бездумно и просто брать руку Синели, а она чинно ходила со мною рядом на расстоянии в полметра.

Однажды, сидя на берегу ручья, мы долго и напряженно молчали. Я был томительно и радостно взволнован, сочиняя сердцем очередной тайный стишок, где были рифмы: «Синель-Лель» и целые куски из лермонтовского «Демона». Синель тихо грустила о чем-то своем.

— О чем ты думаешь? — тронул я ее издали за пугливый локоть.

— Так... все о том же. Скоро вот закончим среднюю школу... Ты уедешь в институт, в большой город, а я...

— Вместе же поедем!

— А кто меня там примет? Кулачку...

Я не любил капризных и упрямых людей, особенно своих ровесников, и откуда-то знал, что они быстро становятся хорошими после того, как надаешь им тумаков, но ведь Дарья была девочка, Синель...

— Вот что, — сказал я, — пойдем с тобой в сельсовет к председателю, и пусть он тебе скажет сам — кулачка ты или нет!

Оказывается, она и сама думала уже об этом, но решила, что идти незачем: все равно там скажут, что она кулачка.

— Да тебе что, хочется быть ею? — крикнул я.

— Побыл бы ты кулаком, тогда бы знал! — ответила она и заплакала.

В сельсовет мы пошли на второй день с утра.

— А-а, пионерия явилась? — встретил нас председатель. — Ну, что скажете? Вам и в комсомол, я вижу, пора!

Мне бы тут же и удовлетвориться слышанным. Ведь председатель сразу и ясно ответил на наш вопрос, но я решил порисоваться перед Синелью своей обстоятельностью.

— Яков Петрович, — начал я, — вот Синель... то бишь Дарья, думает, что она... да и не думает она, а просто так... взбрело ей в голову — и все! — бесповоротно запутался я в мыслях.

— Что ж ей взбрело? — заинтересовался председатель.

— А то. Вот вы скажите: кулачка она или нет?

— Ну вот еще что выдумал! Она только... как бы тебе сказать, те-ре-тически кулачка.

На улице мы разом сказали друг другу:

— Вот видишь?

11

Мы крепко поссорились. В три дня я исписал общую тетрадь чужими стихами о тоске, а на четвертый нарвал в своем палисаднике слив и понес их бабке Дарье. «Скажу, что мать прислала».

Синель я увидел во дворе. Она была чересчур веселой и еще издали крикнула мне:

— Ой, Сережка! Как хорошо, что ты пришел! А то я хотела бежать к вам, а мне некогда...

«Поверила, наверно, что не кулачка, вот и радуется... Эх ты, синь-пересины!» — подумал я и молча высыпал ей в подол сливы.

Мы сели в густом калачнике, прямо под окнами хаты, и Синель торопливо сказала:

— Понимаешь, мы уже собрались и завтра уезжаем, а у меня твои книги, и адреса ты не знаешь...

У меня вдруг высох рот, и мой вопрос «куда» выскочил из горла обрывком свиста.

— В Донбасс, к моему дяде, а мамину брату. Он шахтер и прислал нам письмо...

Я сидел тихий, придавленный к земле слышанным, а Синель тоже молчала, опустив голову.

— Знаешь, Сережа, — шепотом начала она, — ты же будешь писать мне... А я тебе — так каждый день! Вот увидишь! Увидишь! А через два года ты закончишь девятилетку и приедешь в Донбасс... Хорошо?

В моем сердце не хватало места для молчаливой обиды — обиды горькой, большой и неизбывной, — и я закричал шепотом:

— Нет... не поеду! Не хочу! Это все ты выдумала, чтоб уехать... Разве ты не можешь тут жить? Можешь,

да только не хочешь, потому что ты... ты ничего тут не любишь!

12

Конец этого лета прошел мимо меня в померкших красках. Зима не тронула холодком мой первый горячий порез на сердце, а весной я получил письмо от Синели и чуть не захворал от счастья. Я ответил ей стишком такого размера, что на почте предложили заменить конверт бандеролью...

С этого началась наша почти ежедневная переписка. Наверно, Синель 'подолгу сочиняла свои письма — они были чистые, ровные и грамотные, как уроки по языку, и я не находил в них ее радости. Я засушил самый яркий василек и послал ей без намека на сравнение, но она ответила: «Синель с нашего с тобой луга никогда на завянет!»

За эти два года я написал ворох стихов и отослал их Синели, а перед самыми выпускными экзаменами получил и от нее недлинное стихотворение. Я запомнил только конец его, взятый в кавычки:

*И мучит все меня один вопрос тревожный:
Что в будущем сулит роскошный твой
расцвет, —
Сокровища ль живые силы плодотворной,
Иль только пышный пустоцвет?*

Я прочел этот стих десять, пятнадцать раз и представил себе большой, зеленый город, залитый солнцем. Сплошные сады в нем расцвечены голубыми фонтанами, а под ними — огневые головки одуванчиков. Синель рвет их и плетет венок, а рядом тот, кто «не пустоцвет»! Он одет по-городскому — в шляпе, с тросточкой и гораздо выше меня ростом...

Ничего другого я не мог тогда вообразить себе о городе, потому что никогда его не видел.

13

Экзамены я сдал успешно. Несколько недель мы с матерью не ели молоко: нужны были деньги, потому что я уезжал в Донбасс, в педагогический институт на

литературное отделение. Синели я ничего не написал об этом, — пусть узнает потом, какой я пустоцвет! Встретимся же мы когда-нибудь там, у голубых фонтанов?.. Но в свой дорожный сундучок я бережно уложил новый цикл стихов, написанных уже не под Лермонтова, а под Надсона.

Город был действительно большой, но не зеленый, а серый и душный. Я долго бродил по улицам, разыскивая институт, и не встретил ни одного фонтана, а об одуванчиках и помина не было. То был город шахтеров, а отсутствие шляп и тросточек ободрило меня и успокоило.

Вступительные экзамены в институте начинались через три дня. Я запомнил свою койку в общежитии для иногородних, проверил на всякий случай замок на своем сундучке и, взяв узелок с коржиками, пошел искать улицу Артема.

Да, я волновался и чуточку трусил. У нужного мне дома рос большой тополь, и под ним я долго приглаживал-приучал рукой свои волосы, — на макушке они почему-то были особенно жесткие и торчали во все стороны.

14

Дверь мне открыла Синель, и первое, что я сделал, — это молча протянул ей узелок с коржиками. Она машинально взяла его обеими руками и осторожно положила у ног прямо на пол, потом только я услышал ее голос:

— Сергей! Ой, Сергей, какой же ты длинный! Ужас один!

— И ты... И ты! Я бы тебя сроду не узнал на улице!..

В коридор вышла мать Синели. Взглянув на меня, она почему-то заплакала, подняла коржики и повела нас в комнату. Дядя Синели встретил меня так, будто я только вчера уехал от них, а сегодня вернулся.

— Прибыл? Ну то добре... Садись, будем полудновать.

За столом мы сидели рядом с Синелью, но мне плохо верилось в это.

— Почему же ты не написал, что приедешь? — удивленно говорила она. — А институт выбрал?

— Ваш, педагогический, — ответил я.

— Что ты говоришь? Так и я ж тоже!

— Не хитрите, дети, Бог с вами! — растроганно сказала мать. Синель при этих словах покраснела, а за ней и я.

Потом мы ушли в город, но серые камни никогда не нравились пастухам, и я спросил Синель: неужели тут нет травы и речки?

— Есть, но только за городом. Хочешь, съездим?

Вскоре мы были на берегу реки. Ее могучая ширь, затопленная закатным солнцем, наполнила мою душу тихим оцепенением: я никогда не видел такого текучего чуда!

Мы остановились на крутом обрыве. Оттуда хорошо проглядывалась заречная, луговая даль, и белые посадки деревень показались мне стайками гусей, лишенных присмотра. Я обернулся к Синели, чтобы сказать ей об этом, и за все годы дружбы вдруг увидел ее всю сразу: глаза, косы, раскрытые губы, смуглый, выпуклый лоб и золотистые ворсинки пуха около мочек ушей... Я протянул руки, обхватил ее голову и впервые в своей жизни поцеловал девушку, свою Синель. Она не сопротивлялась, и мое счастье было таким необъятным, таким стремительно-неожиданным и смелым, что я испугался его и опустил на траву у ног Синели. Она глубоко вздохнула, будто нечаянно вынырнула из воды, и не сразу сказала:

— Бессовестный ты, Сергей... А если бы нас увидели? Ну что бы тогда о нас подумали, скажи?

Я вскочил на ноги и закричал всему миру что-то бессловесное, призывное и радостное.

— С ума сошел! — весело крикнула Синель. — И совсем ты не вырос! Каким был на лугу, таким и остался... Догоняй!

15

Мы учились в одном институте, на одном факультете. Стихи о пустоцвете, оказывается, написал Вересаев, а не Синель; мы были всегда неразлучны, кроме комсомольских собраний, где Синель постоянно избиралась в президиум. Мне это не особенно нравилось, потому что кандидатуру ее выдвигал один и тот же человек — комсорг Павка Коренев. Собrania проходили бурно и

затягивались запоздно, а после Павка увязывался провожать Синель на улицу Артема. Я тогда прятался за выступ коридора и оттуда следил за ними. Но Павкины предприятия оканчивались всегда одним и тем же: Синель торопливо искала меня в толпе студентов, а он ходил сзади нее, как на веревочке. Я покидал укрытие и подходил к ним.

— А я тебя ищу-ищу! Где же ты был? — удивлялась Синель.

— Заговорился с ребятами... До свиданья, Павк!

Так промелькнул год. Однажды в конце сентября мы долго засиделись на собрании — исключали из комсомола студента, скрывшего свое соцпроисхождение. Домой я провожал Синель по пустынным улицам. Она впервые тогда сама взяла меня под руку и так тесно прижалась, что я ощутил тепло и дрожь ее локтя.

— Боишься?

— Нет, — ответила она глухо.

— У тебя, наверно, ангина, — сказал я. — Приди домой и напейся липового чая.

— Нет, Сережа... Нет. Знаешь что? Пойдем за город, к реке... на то самое место, где... помнишь?

— Помню!.. Но ведь ночь. И тебе будет холодно.

— Пойдем!.. Я тебе там что-то расскажу...

В ее голосе жила тревога, но я не верил, чтобы это «что-то» было для нас плохим. Мы шли, а прямо перед нами большим васильком цвела Венера; я во весь голос читал стихи, а Синель молчала, слушала.

На обрывистом берегу реки она обхватила мою голову руками и заговорила быстро, как в бреду:

— Сережа! Дорогой... Ты один у меня на всем свете.. Скажи, мы с тобой никогда не расстанемся? Никогда?

Я исступленно поклялся, что ни в чем перед ней не повинен, что с Надей Плетневой разговаривал всего лишь раз, и зря она черт знает что думает об этом...

Синель заплакала, и я почти насильно увел ее домой.

16

На второй день было воскресенье, и мы с утра отправились в кино. Шла «Бухта смерти» — повесть о расправе белогвардейцев над заключенными матросами.

— Вот, — сказал я Синели по выходе из кинотеатра, — и отец Штычно, которого мы вчера исключали из комсомола, делал то же самое, когда служил у Врангеля! Завтра соберемся всем курсом и потребуем исключения его из института!

Синель посмотрела на меня внимательно.

— Не будь злым, Сергей... Может, он такой же сын ему, как... как я дочь Кочету. Я ведь тоже скрыла...

— Ты? Что ты скрыла? — остановился я.

— То, что была раскулачена... Вот что!

Мы долго стояли, потом долго шли куда-то совершенно молча.

— Дура! — придумал я наконец определение ее поступку. — Дура! Ты выдумала себе боязнь — груз виноватых! Тебе нечего скрывать. На тебя не должно падать никакой тени, никакого подозрения! Завтра же напиши заявление в комитет комсомола... Ты не должна жить с этим! Ты чистая!..

— А ты как жил? — вдруг перебила меня Синель.

— С чем жил? Когда? — удивился я.

— А помнишь карандаш? Ведь из всей школы только я одна знала и верила, что ты не... вор! А ты жил и никуда не писал заявлений... Почему же я не могу так? Ведь ты же знаешь, кто я?

Я был здорово обескуражен этим невероятным общением наших поступков. Я чувствовал связь их, но совсем не там, где видела это Синель. Да, я испугался и скрыл тогда, что взял на минутку чужой карандаш. Я скрыл правду, и все ребята решили, что я вор! Этой своей ошибкой я утвердил ложь. Это же самое сделала Синель, но мой провал служил ей почему-то опорой...

— Пойдем к обрыву! — решительно сказал я.

17

Река была тусклой и казалась тяжелой, как пласт антрацита. Зябко-красные прутья лозы звенели на холоде то тревожно, то жалобно. Я загородил собой Синель от ветра и стал горячо объяснять ей разницу наших поступков.

— Не надо, Сережа! Я все это знаю сама, — как тайну сообщила мне Синель, а я обрадовался:

— Ну вот! Мы вместе теперь напишем заявление и отдадим его не Павке Кореневу, потому что он... он, наверное, не поймет тебя, а прямо в райком комсомола. Я пойду туда вместе с тобой, сяду рядом — и пусть кто-либо посмеет усомниться в твоей искренности!

— Усомнятся все, и ничего ты не сделаешь! — сказала Синель.

— Но почему? — не понимал я.

— Потому что я боюсь сама... И они там тоже испугаются! Ведь теоретически я все-таки кулачка?

Мне снова захотелось обругать ее, и я сделал это в душе, но сказал другое:

— Тогда... тогда знаешь что? Я сам напишу! Или лучше пойду к секретарю райкома и все ему расскажу. Я скажу, что ты... хорошая, своя, но что ты немного трусиха... Словом, все-все!

Синель удивленно, почти испуганно взглянула на меня в упор и, увидев в моих глазах решимость, вдруг схватила меня за руки:

— Не делай этого! Меня исключат из комсомола... и все тогда отвернутся, и ты тоже! Не надо! Ведь ты все знаешь и так, мы же вместе выросли!

Эта мелкая дрожь ее пальцев, зажатых моими руками, взметнувшийся в глазах темный испуг ее живой души и сдавленный униженной просьбой голос вызвали во мне чувство, которое я не мог определить одним словом. В нем была обида и протест, преданность и гнев, сожаление и любовь — все вместе к нам обоим, на нас двоих!

— Ты не смеешь так! — крикнул я, желая прогнать все это от Синели, чтобы видеть ее такой, какой она была для меня всегда и должна была оставаться. — Не смеешь!.. Я не хочу видеть тебя такой — это не ты! Завтра же я уничтожу к черту все это! Завтра!..

Синель тихо освободила свои пальцы из моих рук и расширенными глазами посмотрела на меня так, словно впервые видела.

— Теперь я тебя поняла, — прошептала она. — Ты хочешь... предать меня!

Мне тогда шел девятнадцатый год, и я во второй раз в своей жизни не перенес слов Синели, я заплакал и, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, ударил ее по лицу...

Всю ночь я просидел в лозняке на обрыве. У меня были набрякшие веки, головная боль и хриплый голос, но к утру я знал, что может уничтожить случившееся между мной и Синелью — наш приход с ней к секретарю райкома. Он от дверей еще скажет: «Ага, вот она, кулачская дочь!» — улыбнется, протянет Синели руку... Мы пошутим, посмеемся над ней, трусихой, потом секретарь вспомнит: «Ну вот что, друзья, я вас оставляю. А завтра или послезавтра ты, Даша, притащи в райком заявление, он — это я! — тебе скажет, как написать».

«Но зачем же заявление?» — смущенная, но уже успокоенная спросит Синель.

«Для порядка. И для порядка же мы вклеим тебе выговор».

«Чтобы смелей была со своими друзьями!» — добавлю я, и мы поглядим друг на друга, как прежде...

В город я входил вместе с ранними гудками шахт и заводов. На улицах кое-где горели еще электрические фонари. Они казались мне огромными одуванчиками, качались из стороны в сторону и заговорщицки подмигивали... В общежитии я долго пил воду, но жажда и одуванчики не исчезали. Павка Коренев подошел ко мне с полотенцем в руках и определил весело:

— Ты же болен, чудак!

Три недели я пролежал в больнице с крупозным воспалением легких. Я исхудал, почему-то сильно вырос и нес в своем теле на улицу Артема какой-то звонкий гуд, а в сердце тоску по встрече и примирению.

Дверь открыл мне дядя Синели. Он посмотрел на меня рассеянно, как сквозь окно, и сказал такое, что я понял, лишь очутившись на улице:

— Выкорчевываешь? Ну давай, давай... Она уехала. В Липовку. С матерью.

Через несколько дней я был в Липовке — большом селе, верстах в сорока от нашей деревни. Синель туда не приезжала. В адресные столы десяти крупных городов, выбранных мною по карте, я написал двадцать писем-запросов. Шесть городов мне ответили...

Так оборвалась пестрая сказка моего детства и юности. Я бросил институт, уехал на Дальний Восток и поступил там в военно-морское училище...

Потому ли, что я вырос на суше, где всегда остаются следы от ушедших, или по другим причинам, но за пятнадцать лет службы на корабле я не привык к океану. Все эти годы я мечтал о зримых дорогах, которые в конце концов приводят ищущего путника к цели...

Я вышел в отставку и сперва поехал на юг, чтобы полечить простуженные ноги. Доктор, к которому я там обратился, ходил на протезах, и моя коленная хворь не привлекла его внимания.

— А вот сердце у вас тронуто, — сказал он.

— Надеюсь, не холодком, — невесело вспомнил я стихотворение Есенина.

— Нет, гландами, полковник. Советую удалить их. Дело трехминутное и безболезненное.

В хирургическом отделении больницы сестра молча надела на меня толстый клеенчатый фартук, а на шею, у подбородка, повесила большую латунную кружку. Я сел в низкое, покойное кресло и стал разглядывать блестящие инструменты, разложенные на столе. Они были всевозможных форм и размеров, некоторые пугающе искривлены и отточены, и до начала операции я не сбег веру в последнюю фразу доктора.

— Готово? — вдруг спросили позади моего кресла. Я так стремительно встал и обернулся, что зацепил стоявший рядом стул, и он опрокинулся с грохотом.

— Чего вы? — удивленно спросила сестра. — Здоровый мужчина, а дергается, как не знаю кто!..

Всего лишь несколько секунд я глядел на хирургаженину в ослепительно белом халате... мою Синель! Она что-то сказала, качнулась ко мне, не сходя с места, но вдруг резким движением руки опустила со лба на глаза рефлектор и молча указала мне на кресло.

Я покорно сел, мгновенно потеряв в памяти все слова, которые накопил за восемнадцать лет для нашей встречи...

Операция продолжалась долго. Сестра крепко держала мою запрокинутую голову, а я смотрел на Синель. Мне был виден ее крепко сжатый, увядший рот и в его уголках колючие стрелки морщинок... И еще я ви-

дел ее волосы — по-прежнему пышные и вьющиеся, но какого-то стеклянного свечения.

Круглое зеркало рефлектора по-прежнему скрывало от меня глаза Синели. «Месяц под косою блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то велика-ава», — вдруг нелепо вспомнил я и засмеялся. Руки Синели в тот же миг стали жестче, а движения их резче, и я ощутил остроколющую боль в горле. Я не удержал свои руки под фартуком, высвободил их и обхватил пальцами тонкие запястья Синели. Ее щеки мгновенно покрылись краской, и я не знал, был ли то гнев или испуг за то, что я помешаю благополучному исходу операции. Я еще крепче сжал пальцы, и тогда услышал негодующий шепот:

— Пустите мои руки!..

Я спрятал свои руки под фартук и до конца операции просидел окаменевший, закрыв глаза...

Вечером в палате мне стало плохо. Сестра-сиделка пощупала мой пульс и сообщила кому-то:

— Сто двадцать.

Через несколько минут санитар вкатил в палату тележку, я перебрался в нее, и когда сел, то потолок и стены палаты понеслись вбок, окрасившись багровым светом...

Проснулся я ночью в перевязочной комнате. Широкое окно было открыто настежь. В углу, на столе, мягко горела крохотная синяя лампочка, и у моей койки в неудобной, усталой позе спала на стуле женщина в белом. Пронзительно тонкий, синий-синий луч бил мне прямо в глаза. Это лампочка отражалась в рефлекторе, — Синель забыла снять его со своей седой головы.

1955

ПЕРВОЕ ПИСЬМО

Прошлым летом я жил в Лосевке — дачной деревне из полутора десятков домов, притаившихся на опушке знаменитой в нашем краю пуши. Хозяин, у которого я снимал жилье, числился в артели надомным сапожником, зачем-то притворялся хворым и душевным человеком. У него были разноцветные глаза — один голубой

а другой карий. Голубой обливал лаской, карий — злобой. Просыпался хозяин чуть свет, шел в одном белье в палисадник, просовывал голову в окно моей комнаты и, опасливо трогая клавиатуру пишущей машинки, сиповатым со сна голосом спрашивал:

— Уже маракуете?

— Тружусь, Адам Егорович, — коротко отвечал я, но это не сообщало ему уважения к моему занятию. Он тихонько хихикал и подмигивал темноватым глазом, будто намекал на что-то скверное, что я только что украдкой сделал, а он подглядел. Потом вытирал глаза, хотя оставались они сухими и хитровато настороженными, и в десятый раз допытывался:

— И, говорите, платят за это? Уд-дивительно! На чем только городские не поддедюливают!..

Я сразу припоминал косячки на своих ботинках — Адам Егорович взял с меня за них шесть рублей вместо одного, и мне хотелось сказать ему нечто определенно твердое, но сознание, что Адам Егорович — хозяин, удерживало меня от этого.

Так нас заставляло солнце. Хозяин уходил одеваться, но в палисадник вбегал восьмилетний дачник — мой сосед. Он зарывался в анютины глазки и толстым голосом вопил: «Не хочу-у!» Простоволосая мамаша протягивала к нему сквозь изгородь яйцо и моляще грозила:

— Выпей третье, говорю! Выпей и не вынимай из меня последнее сердце!

На крик являлся Адам Егорович. Он начинал подсчитывать смятые головки цветов, и мне приходилось отправляться в лес...

Верстах в четырех от Лосевки я знал одно дремучее место. Там постоянно таился сумрак и прядали одряхлевшие вороны. Между седыми соснами большие пауки ткали липкие тугие сети. Длинные пегие ящерицы непугано шныряли по земле, и временами что-то непутево ухало на дне низины, у протекавшего там ручья. Я приходил сюда с ружьем — для бодрости — и с корзинкой для боровиков: росли они тут сильные, коричневые, плотные. Чтобы не озираться то и дело по сторонам и слышать хоть что-нибудь живое, приходилось петь. В памяти тогда почему-то всплывали одни боевые мелодии, вроде того, что «Нас не трогай, мы не тронем». Но даже вдвоем с песней трудно было оставаться

в этой глухомани более получаса: хотелось поскорее выйти к солнцу, к птичьим голосам, к жизни.

В этом месте, у подножия исполинского дуба, я нашел однажды великолепный белый гриб, а рядом с ним — сухую ветку с красным лоскутком ветоши. Ни того, ни другого я не коснулся и прошел мимо, но чуть поодаль обнаружил еще два гриба под такими же флажками.

Тогда мною овладело не совсем приятное чувство: я никогда никого не встречал здесь, и заметки над грибами казались странными. Словом, я не захотел взять эти грибы, потолковав сам с собой так: «Мало ли кому и для чего понадобилось примечать их тут!»

Отойдя метров тридцать от дуба, я сел под лохматую ель завтракать. В лесу стояла гнетущая тишина, пахло тленом, смолой и сыростью, и от всего этого охотно верилось в сказочную бабу-ягу и разную иную чертовщину. Дуб и зафлаженные грибы оказались у меня за спиной, и это было почему-то неприятно. Я стал оборачиваться к ним лицом, и в это мгновение в лесу метнулся и повис высокий, почти пронзительный детский голос:

Дор-рогая подруж-женька,
Дор-рогая моя подруж-жка!..

Это было так неожиданно и так тесно связывалось с моим лесным настроением, что я выронил хлеб и схватил ружье. У дуба что-то мелькнуло и пропало, и на той же ноте, с той же напряженной страстностью снова прозвенел голос:

Дор-рогая подруж-женька,
Дор-рогая моя подруж-жка!

Я отставил ружье, — пел обыкновенный мальчик, которого я еще не видел, но уже знал, зачем он кличет эту свою «подружку»: в голосе бились неприкрытый испуг, удивление, задор и еще что-то такое, больше похожее на крик о помощи, чем на радость.

И тут я увидел певца — коренастого мальчугана в длинном, не своем, видать, пиджаке, с большой плетеной корзинкой в левой руке и с палкой в правой. Он быстро собрал зафлаженные грибы, сунул красные лос-

кутки в карман, повел бледным лицом по сторонам и снова прокричал свою песню, — опять эти полкуплета, — больше, наверно, не знал.

Он не замечал меня, а я хорошо видел его из своего укрытия. В песне у него участвовали только губы и голос, а глаза не моргали, стерегли пространство, и оттопыренные лопушки ушей ловили малейший шорох и звук.

Я выждал, пока он отошел подальше, и под его «подружку», чтобы скрыть треск валежника и не испугать человека, отделился от дерева и негромко запел колыбельную Моцарта. В песенке этой много ласковых слов и мирных созвучий.

Расчет был верный. Услыхав мой голос, юный грибник неторопливо оглянулся, спокойно подтянул штаны и как-то бочком-бочком пошел ко мне на сближение.

И вот мы идем рядом. Белая голова незнакомца достаёт мне до пояса. Из-под длинноватых штанин у него размеренно выныривают короткие квадратные ступни и уютно тонут во мху и в сосновых иглах. Парень явно обрадовался встрече и моему ружью, но он из молчаливых, из тех, чьи мысли не разгадаешь сразу.

— Давай-ка, брат, познакомимся, — предложил я и назвал свое имя. — Наверное, тебя тоже как-нибудь зовут?

— Василием зовут, Трофимычем, — баском сообщил спутник и тут же заметил маленький боровик, взбугривший упругой шляпкой пяточок песчаной земли у нас под ногами.

— Тебе везет, Трофимыч! — шутливо сказал я, а он длинно поглядел на меня круглыми, серыми глазами, длинно и застенчиво улыбнулся чему-то и нехотя достал из кармана красный лоскутик.

— Замечу. Пускай подрастет немножко...

Я заглянул в его корзинку и не увидел там мелких грибов. Раскрывалась, пожалуй, загадка с флажками, — Трофимыч был, видать, мужик хозяйственный и с мелочью возиться не хотел.

— Так это твои грибы росли вон под тем дубом? — спросил я.

— Мои, — почему-то невесело признался Трофимыч и поинтересовался: — А что ж ты не взял их, раз нашел? Тут беляков много. Хватит на двоих.

— Да разве, кроме нас, сюда никто не ходит? — притворился я удивленным.

— Нет, — коротко сказал Трофимыч и через несколько шагов пояснил: — Далеко очень. И буклы боются.

— Какой буклы? — не понял я.

— Серой. Я ее видел. Мырнет головой в воду и как букнет! А сама аж больше меня и на двух лапах. Может, стрельнем, чтоб знали?

— Кто?

— А все, — ответил Трофимыч и кивнул на низину.

Я поглядел туда и понял: попугать надо все, чего он тут боялся, — голубой сумрак, тишину, мшистые коряги, красную плесень и таинственную буклу. Откровенно говоря, мне и самому захотелось постращать все это, и выстрелил сразу из обоих стволов.

— Будут теперь знать! — убежденно сказал Трофимыч.

Домой мы возвращались вместе: Трофимыч, оказывается, был жителем Лосевки. Глядя себе под ноги, он сообщил, что отца его прибила в позапрошлом году гроза, мать работает под городом на лесозаводе и что осенью он в первый раз пойдет в школу.

— А ты... нешто дачник? — вдруг спросил Трофимыч и поднял на меня глаза. В их ожидании скрывалась какая-то откровенно ревнивая надежда, но я не разгадал ее и ответил утвердительно. — А-а... — отозвался Трофимыч, и мне показалось, что он ускорил шаги.

Чем дальше уходили мы от сумрачной пади, тем отчужденней становился Трофимыч: у него пропал ко мне всякий интерес. Я ломал голову над причиной такой резкой перемены и в конце концов решил, что дело тут в близости деревни: в лесу Трофимыч приласкался ко мне от страха. Это было немного обидно, но все же я сказал:

— А буклы ты зря боишься. Это выпь, птица такая, из породы цапель.

— Птички по-бычиному не кричат, — резонно ответил Трофимыч и свернул к лосевским огородам.

А вечером я увидел его снова. Он шел куда-то вдоль улицы, то и дело поглядывая на красный закат, и что-то соображал. Над дорогой плавала розовая пыль, взбитая велосипедами дачных ребяташек, в небе копнились прожаренные за день облака, и во дворах оглуши-

тельно кричали дачные петухи, привязанные ситцевыми лентами за ноги: откармливались.

Мой юный сосед, не желавший по утрам пить третье яйцо, вечерами катался на «Орленке», что-то пел под Утесова и никому не уступал дороги. Не дал он ее и Трофимычу, и когда тот шагнул вправо, туда же, еще издали, повернул и дачник, неистово работая звонком и педалями. Трофимыч кинулся тогда влево, цепко следя за передним колесом велосипеда; оно вместе с песней стремительно накатывалось прямо на него. Все остальное уместилось в одну секунду: Трофимыч прирос к дороге, сжался, напряжился, а когда велосипед оказался от него в двух пядях, отпрыгнул в сторону и каким-то судорожным толчком рта гневно и коротко крикнул что-то дачнику.

Дальнейшие события разыгрались так: мой дачный сосед лежал в пыли рядом с велосипедом и не хотел вставать. Из отверстого рта его тек густой рев, а из носа — то, что в Лосевке зовут юшкой. Адам Егорович крепко держал за руку Трофимыча, хотя тот не пытался бежать и только временами поглядывал на закат: видно, торопился куда-то. Мамаша дачника шелестела над ним китайским халатом и умоляла меня позвать милицию.

— Скажите, она имеется тут или нет? Он же толкнул ребенка! Слышите? Толкнул...

— Я его не толкал, — без надежды на то, что ему поверят, сказал Трофимыч. — Он сам все время давил меня... И нынче тоже. А я только гавкнул на него. Всего-навсего раз...

— Вы слышали? Он на него гавкнул! Как вам это нравится? Он же мог убить ребенка до смерти! Идите и позовите сельсовет, если в этой дыре нет милиции.

— Не надо сельсовета, — вежливо сказал я женщине.

— А что же, по-вашему, надо? — изумилась она.

— Выпороть. Вашего сына...

Больше мне не удалось сказать ей ни одного слова: дама в китайском халате умела говорить такое, чего не умел я. Когда она ушла, волоча за собой упирающегося сына, я предложил Адаму Егоровичу освободить руку Трофимыча.

— А мне думается, — возразил он, — что его лучше поучить пять минут хворостиной сейчас, чем в совершеннолетие пятью годами по указу, а?

— А вы бы поучили дачника, — в тон ему предложил я, — он ведь у вас каждое утро цветы мнет.

— То дело не по мне, — каким-то скучным голосом отозвался Адам Егорович. — У него папаша на «Победе» ездит, пускай и учит...

Уходя, Трофимыч пытливо взглянул на меня и чему-то улыбнулся длинно и загадочно.

В сумерках наступившей ночи я сидел в палисаднике и вдруг услышал на дороге чьи-то шаги и голос Трофимыча:

— ...а грибы не жарил. Масло взяло и разлилось. Да ты не горюй! Завтра ж у нас с тобой получка...

Я выглянул из-за плетня. Трофимыч шел с маленькой женщиной, в одной руке держал ее руку, а в другой — небольшую вязанку ослепительно белых в ночном мраке щепок. После в улице долго плавал терпкий запах скипидара и еще чего-то такого чистого и свежего, чему я не знал названия...

Несколько дней после этого я не встречал Трофимыча, и вдруг однажды утром он явился ко мне сам. Остановившись у дверей, он сперва стащил с головы выдавший виды картузик, потом уже сказал:

— А я картошку окучивал. Только вчерась управился... Может, сходим опять туда за беляками? Там теперь страстьросло их!..

Говорил он отдельно и четко, напирая на «р», отчего речь его приобретала какой-то особенно вдумчивый смысл.

Я заторопился в сборах, а Трофимыч осторожно присел на диван, незаметно качнулся на пружинах, незаметно изобразил на лице «ишь ты», затем стал разглядывать пишущую машинку.

У меня давно хранились охотничьи сосиски и так подсохли, что издавали костяной звук, когда я завертывал их в газету.

— Чтой-то? — удивился Трофимыч.

— Сосиски, — сказал я. — Вкусные. Никогда не пробовал?

— Мамка приносила раз, да только они не такие были, те мягкие, — сказал он и сглотнул.

Тогда я решил сперва позавтракать, а потом уже идти, но Трофимыч отодвинулся от стола, спрятал руки между коленами и заявил:

— Не буду... Это нехорошо.

— Что? — не понял я...

— Есть у чужих.

— Ну, — смешался я, — мы же с тобой не чужие. Мы ведь друзья.

— Все одно нехорошо, — стоял он на своем, а я подумал: «Ну, подожди до леса. Там я с тобой слажу!»

Перед самым отходом я показал Трофимычу снимок выпя. Он взглянул на картинку и сразу признал:

— Букла! Вот же гадость, зря только пужала! Ну теперь все! Теперь там остался один что ни на есть волк. Я его тоже видал, изблизи прямо.

— Напугался небось?

— А у него у самого из одного глаза слезы капали. И клочья на боках висели. Болел, должно, чем...

Грибов и в самом делеросло страсть. Мы быстро наполнили свои корзинки, постреляли из ружья, потом сели завтракать. И тут мне впервые привелось увидеть, как можно красиво и умно есть! Неторопливо и плавно Трофимыч взял правой рукой хлеб, бережно оглядел его и бережно откусил — немного. С первого и до последнего глотка он не положил рук на колени, держал хлеб и сосиски на весу, молчал, не спешил, не чавкал. Он ел, словно тихо беседовал с незримым и большим своим другом, к которому у него много уважения и хорошей любви.

Я сразу же подчинился его манере и тоже держал на весу хлеб и сосиски, молчал и в то же время гадал: откуда и отчего это в Трофимыче? От недостатка в доме еды? Но Трофимыч был крепкий и сильный, и на щеках у него лежал здоровый деревенский румянец. Не найдя причины, почему Трофимыч такой, а не этакий, я схватил его за голову и без слов прижал к себе. Он удивленно притаился, и вдруг на мои руки упали теплые и легкие слезинки: не осилил человек внезапной чужой ласки...

С каждым днем я все больше и крепче привязывался к Трофимычу, и дело дошло до того, что без него мне не думалось, не писалось, не жилось. Он, конечно, знал об этом, но держался по-прежнему ровно, значительно и серьезно. Мне доставляло большую радость то, с каким уважительным чувством наблюдал он процесс моей работы. Он мог часами сидеть и следить за мной издали, а однажды, когда я смял и выбросил под стол исчерканную кипу бумаг, внимательно спросил:

— Трудно?

— Трудно, Трофимыч, — благодарно признался я.

Он поощрительно кивнул головой, подъехал ко мне на стуле и сказал:

— Зато знаешь, что? Зато, когда пройдет трудно, то... знаешь, как будет? Во как! — он развел вширь руками. — Аж смеяться ни про что захочешь!.. Вот нам с мамкой бывает все трудно и трудно, а как получим получку, да как поедем в кино, и как наемся я там мороженого, аж щекотно!.. А потом опять трудно, а там сызнава приходит нетрудное. Так всегда и живем с нею...

Мои встречи с Трофимычем почему-то не нравились Адаму Егоровичу. Несколько дней он подозрительно поглядывал на нас через окно, потом как-то спросил меня:

— Учите, что ли, его чему? Вы не ахти приручайте сироту к чужому дому. А то он разнюхает тут ходы-выходы, а потом...

— Что же он сделает потом? — приподнялся я со стула.

— Сворует. Колодки, например.

Я назвал тогда Адама Егоровича не по имени и отчеству, а несколько иначе. Он прижмурил голубой глаз и вдруг прорвался площадной руганью.

...Вечером я уезжал из Лосевки. Трофимыч помогал мне грузить в машину книги, был грустен и задумчив, и я не мог объяснить ему причину своего преждевременного отъезда. Когда я, хорошо простясь с ним, сел в кабинку, он влез на подножку машины и приплюснул нос к стеклу дверцы.

— Я вот что придумал, — сказал он угрюмым баском, — я тебе пришлю письмо. Как только выучусь осенью в школе, так и напишу. Ладно?

Дома я сколотил из фанеры ящик, вложил в него ученическую форму, букварь, пенал и карандаши и дней за десять до начала учебного года отнес посылку на почту. А первого января посылка пришла назад. Я сорвал с ящика крышку и поверх ученической формы увидел косо наливанный лист из тетрадки.

Прямыми, широкими и ясными буквами — чувствовался его характер — Трофимыч писал:

«Посылаю сушеные грибы и мороженую рябину — целый пучок. Когда будешь есть, то выбирай рябинки,

что наклеваны, они самые что ни на есть сладкие. Это их синицы не доели в лесу. А костюма не надо, мама говорит, что вся Лосевка станет плохое думать об нас да об тебе, а мы не хотим. Ты лучше приезжай сюда опятошным летом и живи у нас за так, а мы себе загородку сделаем, доски уже есть. Приезжай».

Я долго и трудно искал редкие слова, чтобы достойно ответить Трофимычу на его первое в жизни письмо.

1956

НАСТЯ

Автобус взревел, расцвел малиновыми огнями и ушел. И сразу весь его облик показался мне нелепым и враждебным, — он мог быть куда красивей и обтекаемей, и кондуктор в нем была вздорной и бездушной мегерой, и шофер не протрезвел со вчерашнего выходного дня, и среди всех этих загородных пассажиров, оттеснивших меня, не было ни одной симпатичной физиономии!..

Я сошел в кювет и присел там под топольком-подростком. Шел девятый час, а солнце уже прогрело асфальт, и дорога знойно струилась вдали черным, густым ручьем.

— Не залез?

Это спрашивали меня. Сзади. Из-за куста ивняка. Удовольствия мало — вступать в разговор о своей собственной оплошности, но голос был радостный, звонкий, ребячий. Сквозь зелень веток на меня смотрели маленькие черные глаза. Больше ничего не было видно — только глаза, будто созревшие зерна смородины, повисшие на кусте.

— А ты сам залез? — спросил я.

— Я-то залезла! Прямо в кабину! Да только папашка прогнал...

— Чего ж это он?

— Контролей боится. А ты их не боишься?

— Ну... когда как.

— А он каждый день! Так пугается, так пугается... Их страсть тут на его линии!

Было ясно: со мной разговаривала дочка шофера

ушедшего автобуса. На секунду я представил себе этого человека. Он был кареглазый, словоохотливый... Рубаха на нем с открытым воротом... Ходит вперевалку, как все добродушные люди... Я всем телом повернулся к кусту и сказал:

— Ну чего ж ты там сидишь? Иди сюда.

— А я не сижу. Я стою тут! — отозвалась девочка и засмеялась моей ошибке.

— Все равно иди, — сказал я.

— Так я вся мокрющая, хоть возьми и выжми.

— Где же ты так намокла?

— А в лесу, когда бегла за папашкой.

— Да разве там нет у вас дороги?

— Больше не было. Одна только. А по ей он сам и шел...

Я встал и направился к кусту. Смородинки выросли, заблестели, но с места не тронулись. Лицо у девочки было круглое и смуглое, как ржаная коврижка; нос удивительно крохотный, с прозрачными крыльями; толстая вороная косища смешно оттопыривалась как-то вбок; мокрый подол ситцевого платья прилип к прямым и тонким, как свечки, ногам.

Мы глядели друг на друга и смеялись — я тихо, а девочка в голос. Ей было не то пять с половиной, не то шесть лет.

— Так и не залез? — удивленно-радостно спросила она, а глаза пытали: «А ты меня не испугаешь тут чем-нибудь?»

— Не залез, — сказал я.

— Вот горе, правда?

— Уеду после.

— Уе-едешь. А как тебя кличут? Меня Настей. А папашку Вороновым Антоном, а маму Ольгой. Мы живем на двенадцатом километре...

Я тоже жил тогда там и спросил:

— На даче, что ли?

— Нет, наовсе... Собака у нас есть. Белая, как молоко!..

Так мы познакомились с Настей Вороновой. Я жил рядом с ее деревней, на берегу речки, в маленьком деревянном срубе. Это когда-то была баня, но я оклеил потолок и стены газетами, и комната вдруг стала людной и веселой — с газет глядело множество улыбающихся лиц. Каждый день на заре через открытую фор-

точку в комнату залетал большой обросевший шмель. Он наполнял мое жилье тугим гулом, а меня ощущением счастья, что на свете опять лето, и солнце, и река в белом пару и рыбьих всплесках. Я выпускал на волю рассерженного шмеля, забирал снасти и шел на берег.

На заре трудно уберечь себя от того покойно-блаженного оцепенения, которое вселяет в душу чуть уловимый, призывно-нежный и нестойкий звон крошечных колокольчиков, развешанных на привялых прутьях вместе с белыми нитями лесок. Звук этот очень легко тогда принять за перезвон солнечных лучей, и вы можете прозевать поклев, если перед глазами не сгибается лозинка и каплей росы на отрыве не дрожит на ней колокольчик. Я все это знал и расставлял прутья густым полукругом у самой воды и своих ног. Текли минуты. От пристального взгляда останавливалась, замирала река, а берега неслись назад, навстречу ее течению. Надо было на минуту закрывать глаза, а потом смотреть на воду, чтобы вернуть реальность этому текучему миру, затем снова зажмуриваться, и так без конца.

Спустя час приходила Настя. Она являлась всегда неслышно, садилась прямо на мокрую траву и, тщательно укрыв острые коленки подолом платица, приветствовала меня изысканно и пышно:

— Почет!

Я понимал, что это она не сама выдумала — слышала, должно быть, от отца, но нельзя было удержаться от тайного смеха, и казалось невозможным не ответить ей тем же. При этом я всегда думал об Антоне Воронове — человек этот обязательно должен быть интересным, раз при встречах говорит людям: «Почет!»

Настя подолгу могла сидеть без единого слова и движения, а когда ей предстояло чихнуть, то она непременно успевала ткнуться лицом себе под мышку и потом взглядывала на меня виновато и умоляюще — дескать, нечаянно, не поимей обиду! Я пытался объяснить ей, что рыба не слышит звуков, но Настя сказала:

— Страсть как слышит. Папашка знает про то лучше нас!..

Она не осиливала восторга, не справлялась с неистойвой и трепетной радостью, настигавшей ее сердце сразу же, как только я вытаскивал на берег рыбу. Настя подхватывала ее на руки, подкидывала вверх, роняла в траву, и я подозревал, что ей хочется пустить мою до-

бычу в речку. Однажды, преодолев кое-как в себе чувство рыбацкой утраты, я предложил:

— Отпустим?

— Давай! — пламенным шепотом отозвалась Настя и, прижав сырть к шее, как живое серебряное ожерелье, метнулась к речке. Там, над светлым песчаным омутком, она присела на корточки и понесла к воде руки томительно медленно и осторожно, боясь, видно, что рыба не уйдет. Сырть и вправду не уходила, возможно, потому, что Настя держала под ней коричневый ковшик своих ладоней.

— Отними руки, — посоветовал я, но Настя только мотнула головой и, склонясь к самой воде, вдруг заревела во весь голос:

— У ей гу... губа разорвана... Дурной какой... Проколол!..

Сырть в это время встрепенулась, светящейся стрелой понеслась в глубину и там погасла. Настя удивленно ахнула, засмеялась и попросила меня дружески и доверчиво строго:

— Теперь давай опять ловить. Слухай быстрее!..

После этого раза мне уже не требовался кукан, потому что Настя находилась рядом.

В час, когда солнце поднималось над прибрежным лесом, река переставала куриться и покрывалась мириадами светлых пузырьков, похожих на мои рыболовные колокольчики. Из-за песчаного мыса тогда показывалась длинная и узкая лодка Романа Королева — забулдыги и пьяницы из соседнего села. Жирный, волосатый и сонный, Роман лениво отпихивался шестом, и я знал, что за кормой его лодки невидимо волочится густая сеть, откуда не выбраться и пескарю. До нашей дружбы с Настей Роман побаивался меня, пришлого, — как-никак, но то, что он делал, называлось браконьерством, теперь же его лодка напрямик устремлялась к моим лескам: я покупал у Романа язей.

Этот неряшливый человек был постоянно с похмелья и зол на слово. Вместо «здравствуй», он окликал меня «фитилем», вкладывая в это слово какой-то тайный и темный смысл, потом спрашивал, сколько я возьму рыбы, называл за нее бешеную цену и начинал лапать на дне лодки язей. Он ни разу не дал их мне живыми — он их душил перед этим, близко поднося к лицу, и его серые ладони с растопыренными пальцами были похожи

на крабов. Это случалось трижды, и каждый раз при этом я замечал, что у Насти странно косили глаза и вся она превращалась в пронзительный, безгласный крик.

Но в следующий раз Королев не смог причалить к берегу: Настя загодя — я думал, для забавы, — набрала в подол голышков, похожих на птичьи яички, и, когда Роман повернул к нам нос лодки, первым же броском угодила ему в скулу.

— Ну-ну, ты, свиристелка! — крикнул Роман и поднял шест. Я взглянул на Настю и сказал браконьеру, чтобы он двигался мимо.

— Не будешь, что ли, брат? — озлел он.

— Нет.

— Ну и черт с тобой! Воспитал дитю, заразюку... Понаедет тут с разных концов рвань всякая...

Когда лодка скрылась, я ждал, что Настя как-нибудь объяснит мне свой порыв, но она, возвратя глазам прежнее сходство с ягодкой смородиной, вдруг ни с того ни с сего сказала:

— А знаешь, откудава муравьи берут себе крылья? Вот и не знаешь! У мух!..

В середине лета в речке прекратился жор червя, и наши встречи с Настей пошли на убыль. Однажды, когда мы не виделись больше недели, она пришла ко мне в баню и сообщила:

— Папашка сказал, чтоб мы попробовали на кузнецов. Давай. Они живут на мятном лугу...

В коробке из-под конфет мы прорезали узкую щель и пошли за кузнечиками. На том лугу действительно росла мята, и жили кузнечики, и паслась белая лошадь с жеребенком. Он еще издали пошел нам навстречу, торкнулся головой в Настины руки, обнюхал коробку и, сладко почмокав губами, вдруг помчался назад. С ходу он боднул в живот белую лошадь и просяще заржал. Она оглянулась на него, вздохнула и переступила задними ногами, а жеребенок подлез под нее, и его куцая метелка хвоста заработала, как пропеллер.

— Чегой-то он делает? — удивилась Настя.

— Сосет молоко.

— У лошадки? Нешто она корова?

— Это его мама, — объяснил я.

— А хвостом отчего он крутит?

— Ну... хорошо потому что ему. Вкусно.

И тогда Настя повалилась в траву и начала смеять-

ся тем счастливым и бездумно-ликующим смехом детей, от которого взрослым бывает очень хорошо и почему-то немножко грустно. Она смеялась и называла жеребенка «мошенником», и я опять мысленно увидел Антона Воронова — в рубахе нараспашку, неторопливо-внимательного, с хитровой смешинкой в глазах...

У кузнечиков легко отпадали задние лапки, — с этим веселым народом было много беспокойной возни, — оттого я и не заметил, когда Настя подкралась к белой лошади. Та лягнула ее несильно, просто отпихнула копытом, но удар пришелся в грудь, и я плохо помню, как принес Настю к реке. Там все у нас и прошло, потому что я плескал одну пригоршню воды на Настю, вторую на себя. Потом мы долго сидели молча, опустив ноги в речку, и тогда Настя сказала:

— А знаешь, в чем она носит жеребенкино молочко? В черной резиновой сумочке! Я ее потрогала...

Вот и все. Я потому решил рассказать о Насте, что она в моей памяти странным образом связалась с колокольчиком, вернее — с его звоном на утренней заре. Это оттого, видно, что светлее и чудеснее Насти я ничего другого в то лето не встретил...

1956

ВОЛЧЬИ ЗУБЫ

Рожновка — небольшая деревня. Она стоит на берегу речки Любач, усеянной порогами и камнями-валунами. Их тут называют «волчьи зубы». Вода в Любаче кипенно-белая и до того холодная, что даже в жаркие дни тело «заходится с пару», как говорит тетка Паша.

Тетка Паша — двоюродная сестра моей матери. Я приехал к ней из маленького города. Там на электроустановочном заводе я два года работал в гальваническом цехе — никелировал шурупы для выключателей. А теперь у тетки Паши я готовлюсь к поступлению в институт.

Сплю я в сеннике на огороде. До самой повети сарай зарос лебедой. Ее, говорят, не выведешь, да, по мнению тетки, и не надо, потому что из лебеды в войну пекли хлеб.

Сразу же за сараем — старый ореховый тын, увитый лианами теткиных тыкв. Плети их унижены оранжевыми шляпками зацвели, но раз в три дня тетка заставляет меня обрывать самые пышные бутоны — из них будто бы никогда не выходит толку. Они пустоцвет.

А я не верю тетке. Цветы эти так много чего-то сулят, и я прячу под листья их тугие разлатые чашки, наполненные медвяным духом и шмелиным гуденьем.

Это я делаю по утрам. А за тыном меня стережет соседская девочка Клавка. Ей, наверно, лет десять. Она ходит в юбке до пяток, в кофточке со сборками и в платке. Все это на ней ярко-желтое, как тыквенный цвет. Увидав меня, Клавка начинает кричать песню:

А у Нюрки платок алый!
Чем же Хведька плохой малый?!

Нюрка — это Аня, дочь тетки Паши. А Хведька — я, Федор. Уже вторую неделю рожновские подростки дразнят нас женихом и невестой — мы с Аней ровесники, и мне хочется, чтобы нас дразнили так все.

Аню я вижу только вечерами — она звеньевая в колхозе. На закате солнца я встречаю ее на выгоне, у трех тополей.

— Нюрка, вон родня твоя! — каждый раз сообщают девчата ее звена, а потом шепчут ей на ухо какое-то слово, от которого Аня наклоняет голову. Я думаю, что это слово — «ухажер», и тоже наклоняю голову и жарко хочу, чтобы это крепконогое Анино звено стало моей родней...

Аня маленькая, тоненькая и черная как галка — загорела. Глаза у нее тоже темные, но с мягким золотистым отливом и длинные — я сроду не видал таких глаз. Руки ее узкие и худые, пальцы острые, с черной каймой под ногтями и с белыми крапинками на них.

— Устала? — спрашиваю я и забираю из рук Ани пустую бутылку.

— Уморилась, Федь. А есть хочу — как из пушки!

Говорит она громко и сердито, — мы ведь родня, и только, и ей незачем подбирать со мной другие, понежнее слова, вот как мне с нею.

Аня не знает, почему я не уйду от тополей, — я

жду сумерек. Тогда я не хромаю, потому что ступаю на пальцы левой ноги — она у меня немного короче правой: в детстве, в войну, я попал под бомбежку, и вот теперь... мне стыдно ходить днем с поднятой пяткой. А вечером ничего...

От тополей нам виден золотой нимб пыли над Рожновкой — с поля возвращается стадо. Я жду, когда он померкнет, и не спеша рассказываю Ане то, о чем читал. Аня тоже закончила десятилетку, но знает она все-таки меньше меня. Вот хотя бы о Байроне. Ей не известно, что он был хромым. А директор нашего завода совсем без ног — как Мересьев...

Мне очень хотелось сказать Ане, что самое главное у человека — сердце. И еще голова, конечно. Но об этом я не говорю.

Дома нас ждет тетка Паша. Еще в сенцах я вдыхаю какой-то особенно чистый и здоровый запах, от которого сразу же хочется есть. Это пахнет полынь. Ее серебряные былинки тетка Паша разбрасывает на земляном полу хаты, чтоб не заводились блохи.

В хате все справно и по-вечернему покойно. С матицы невысокого потолка свисает старенькая семилинейная лампа, и в желтом круге света на суровом настольнике плотно сидит коврига хлеба и стоит поливной кувшин с молоком.

Мы садимся с Аней ужинать.

— И полкухлика не съели! — сердится на нас тетка Паша, заглядывая в кувшин. Это его она называет «кухликом».

Я поднимаюсь из-за стола и говорю «спасибо».

— А ну тебя в болото! — всерьез обижается тетка Паша. — Что мы тебе, чужие аль кто?

Что-то в ее словах не совсем приходится мне по сердцу. Я не хочу, чтобы тетка Паша считала меня совсем близким родственником... И все-таки я люблю тетку Пашу — она здорово похожа на свою дочь.

Аня уходит к себе за перегородку и чем-то душистым натирает обветренные руки. За окном на будовых бревнах, сложенных в штабель, тренькает балалайка и сильными голосами страдают девочки:

А в Шелковке каждый раз
Девки сердятся на нас.
Хоть серчайте — не серчайте, —
Отобьем ребят от вас!

Шелковка — соседняя деревня. По субботам оттуда приходят в Рожновку парни с баяном. В первый же день моей встречи с ними, баянист Костик Фомин хотел за что-то со мной поссориться. А в следующую субботу, отозвав меня от бревен и радостно блестя зубами, извинился:

— Чего ж не сказал, что ты Нюркин брат?

Теперь мы сидим на бревнах рядом — я, Аня и Костик. Когда он играет, то клонит голову к басам баяна, в сторону Ани, а не к подголосникам, как это делают все гармонисты. Аня тогда отодвигается от его чуба, а я чувствую ее локоть и свою радость.

В полутьме нам всем видно пятно на берегу речки. Это палатка. Там еще с весны живет заезжий студент-художник и рисует с натуры картину «Волчьи зубы». По воскресеньям у палатки останавливается седой от пыли ЗИМ. Им правит худенькая женщина, подстриженная под городского мальчика. Она сразу же принимается ловить рыбу спиннингом и петь Клавкиным голосом. Оттого, может, в Рожновке и не верят, что это она родила художника.

Каждый вечер художник прохаживается по деревенской улице. У наших бревен он заворачивает в сторону, а мы затихаем и смотрим на его сизую кофту и желтые штаны в тугую обтяжку худых щиколоток. Дольше всех молчит и смотрит вслед художнику Аня. Костик прозвал его коростелем, и мне это понравилось.

Я думаю, что к тетке Паше коростель зашел тогда вечером за молоком или яичками, когда увидел нас с Аней. Ему, наверно, лет восемнадцать. А может, двадцать шесть — с виду не определишь.

— Ким, — назвал он себя.

Аня сказала свое имя, а я только фамилию — Платонов.

Рука у художника вялая, расслабленная и сырая — как тыквенная плеть в полдень. Он зачем-то щурит левый глаз — будто целится, и говорит устало и нехотя, обнажая редкие тусклые зубы.

На второй день он пришел снова. Потом еще и еще. Я узнал его фамилию и с радостью сообщил Ане — Плешивцев.

— Ну и что же? — спросила она и точно так же, как он, прицелилась в меня левым глазом.

— Ничего, — сказал я, разглядев все сразу: я

ведь тоже с некоторых пор размахиваю руками, как Аня...

Теперь, придя с работы, Аня шуршит за перегородкой шелковым платьем, а в проколы ушных мочек вдевает стеклянные серьги. Тетка Паша наливает молоко в стаканы. Я ем остервенело, а художник медлит.

— Кушайте на здоровье, Акимушка, — говорит ему тетка.

— Меня зовут Ким. Понимаете? Ким!.. Однако — мух же здесь!

Смеяться мне нельзя, но тетку Пашу я люблю еще сильнее.

В субботние вечера мы сидим на бревнах рядом с Костиком Фоминым — Аня с художником ходит на берег речки.

— Слушай, будь другом... передай ей записку, а? Ежели она не покончит с этим узкозадым, то...

От Костика крепко пахнет бензином — он шофер МТС. Я не хочу чтобы он подрался с художником, но в темноте ощупываю свои руки. Они у меня плотные, шершавые и горячие...

— Записку передавай сам, — говорю я и трогаю клавиш немного Костикова баяна. — Брату в такие дела вмешиваться не стоит...

Так проходит июнь. Я по-прежнему выхожу встречать Аню у трех тополей на выгоне. Она сама отдает мне пустую бутылку, снимает с ног сандалии и говорит:

— Побежим? До сарая.

Теперь она не жалуется на усталость и голод. Теперь она какая-то тихая, светящаяся и ласковая на словах.

Я бегу, широко выбрасывая ноги, чтобы не хромать, и крепко сжав зубы, — боюсь, что закричу: в сердце есть о чем. Я ведь по себе знаю, почему Аня такая, а не прежняя. Я знаю, почему мы бегаем от тополей: спешит, а сказать об этом прямо не хочет и вот выдумала перегонки...

А он не изменился ни в чем. У него по-прежнему сырые и вялые руки и прилипшая к небольшому лбу косая прядь волос цвета золы. Так же нехотя и долго пьет он стакан молока и брезгливо отмахивается от мух — их, правда, многовато. Тетка Паша не зовет его никак. Ей, наверно, как и мне, трудно выговорить это нелюдское имя...

Целые дни я провожу за речкой — ворошу сено. Трудодни бригадир записывает на тетку Пашу. В лугах плавают знойный дух вянущих трав, в Любаче плещется рыба — стоит жара.

Костик Фомин давно не приходит в Рожновку — говорят, уехал на целину.

Не сказал. Могли бы вместе.

...Несколько дней художник не появляется в хате тетки Паши — захворал, видно. У Ани тревожные и большие глаза. Я совсем забросил учебники и собираюсь в город — тут можно забыть, сколько будет дважды два.

— Не выдумывай! — говорит тетка. — Впереди целое лето. А мы послезавтра начнем подрывать молодую картошку...

Вечером я выхожу к бревнам — нынче суббота. О чем-то веселом и давнем рассказывает балалайка, бездумно и легко страдают девчата, мягко и призрачно бежит палатка в полутьме...

Мимо бревен художник проходит прежней походкой. Руки он держит опущенными, как палки, а ладони на отлете и шевелит пальцами. Я долго вижу его желтые штаны с двумя карманами сзади и не могу отделаться от противной мысли, что пальцы художника холодные и потные...

Аня иступленно что-то шепчет подруге. Затем они встают и пропадают в темноте.

Дорогой состав составлю!
Нехотя любить заставлю!..

Это поет Аня. «Зачем ты это, дурочка?» — мысленно кричу я ей и ухожу в свой сенник.

В воскресенье утром к берегу Любача подъезжает женщина-мальчик. Палатку в багажник автомобиля запикивают они вдвоем — одному художнику эта работа оказалась не под силу.

В неподвижном зное улицы я долго слышу жаркий рокот давно скрывшейся машины...

Три дня Аня не выходит на работу. Глаза ее стали еще темнее и беспокойнее, а губы распухли. На окне за перегородкой я увидел какой-то пузырек с зеленой мутью, незаметно взял его и спрятал.

На четвертый день Аня собралась на работу, но

идет к реке. Я крадусь следом за нею и прячусь в кустах, — мне немного страшно, и я слежу за Аней.

Она очень долго раздевается. Я зажмуриваюсь, а потом гляжу на речку. Недалеко от берега плывет растрепанный веночек из васильков и кукушкина льна.

— Недоношенная радость! — говорит Аня и смеется зло, не по-своему. Я быстро раздеваюсь и готовлюсь к прыжку в воду.

Веночек плывет мимо, уносясь к «волчьим зубам», где вода белая и шумная. Он плывет, а в его круге скопилась водяная плесень и сор, что Аня называет «гадью». Эта «гадь» в цветочном круге иссиня-зеленая, под масть василькам и кукушкину льну.

Аня настигает веночек недалеко от камней и с маху продевает в него руку, запачкав плесенью свое плечо. Белый поток тут же втягивает его вглубь, но сразу же упруго выталкивает, переворачивает навзничь и несет на камень. И когда до него остается не больше метра, Аня белым лебедем рвется в стороны, на стрежень...

Мы почти разом вылезаем на берег — я ведь был в воде от нее не дальше трех взмахов рук.

Чистый веночек подрагивает на плече Ани мелко и непрерывно — замерзла.

— От-ткуда ты... взялся? — знобяще кричит Аня, приседая в куст. — Уходи скорей! Я же... видишь, какая!

Я иду в огород. За плетнем сине цветут Клавкины глаза и звенит ее радостный голос:

А у Нюрки платок алый!
Чем же Хведька плохой малый?!

Я обрываю тыквенные пустоцветы и яростно топчу их ногами.

Клавка, Клавка! Ничего ты не понимаешь!..

1957

ЖИВАЯ ДУША

Всяк по-своему возвращался после войны в отчий дом, у каждого по-разному застревали в сердце встречи:

один забывал о них через неделю, другой — через год. Свой приезд домой я запомнил на всю жизнь. В те памятные послевоенные дни загородных автобусов не было, и по шоссейным и проселочным дорогам народ передвигался как умел. Я подглядел на станции притаившийся «виллис», судя по окраске, не нюхавший войны, и с ходу предложил усатому шоферу-сержанту триста рублей за перегон в сорок километров.

— Чего-о? — изумился он. — А еще офицер!..

— Есть литр спирту. Разделим пополам, отвези только, браток. С фронта ведь еду, — попросил я.

— Это дело другое, — уже иным тоном отозвался сержант, и мы поехали.

Казалось, все ведь обошлось хорошо и я должен был испытывать благодарность к шоферу. Но, отъехав с десятков километров, у меня в душе созрело для него иное: «Не попал ты в мою роту. На фронте вышибли бы из тебя торгашеский дух!..»

И я решил не давать ему спирта.

Ехали мы молча.

— Насовсем или в отпуск? — неожиданно спросил шофер, и в голосе его мне послышались нотки не то панибратства, не то покровительства. Я вжался в сиденье и промолчал.

Минут через двадцать мы вынырнули из балки на пригорок, где с детства знакомые мне стояли Дворики — крохотная по нашим степным местам деревенька, хат в тридцать. Когда-то и в самом деле это были дворики, кокетливо подступившие своими палисадниками к дороге. Я знал тут любой огород, помнил высоту всех садовых плетней, не забыл облик и выражение каждой хаты. У дяди Тимофея — соседа нашего — она была похожа на его жену, тетку Меланью, — такая же лупоглазая, приземистая и смешливая. А новая изба председателя сельпо Степана Боровкова, крытая черепицей, здорово смахивала на него самого — красноликого выпивоху. Это о нем в сумерках степных вечеров опасно говаривал дядя Тимофей — человек высоченного роста и с диковатой смоляной бородой:

— Оперился под пьяную хоругву!..

Что это значило, я тогда не знал, а теперь догадываться было поздно и незачем. Теперь я просто не узнал деревни. Это была не она, согласная и сытая, как куропатый выводок, присевший на заре у края дороги.

Теперь хаты стояли на далеком отсеке друг от друга — поредели, и из каждого окна выпячивались на утихомирный свет полинялые наволочки подушек. И не было садов, плетней. И от дворов не тянуло душноватым запахом хлеба. В Двориках стояла странная, вымученная тишина, пропитанная знакомым мне лихом войны — остывшей под дождями гарью.

— Останови здесь, — сказал я шоферу.

Он затормозил, и оба мы минуты три сидели не двигаясь.

— Она ж тут как беспризорный горох... кто ни прошел — тот и дернул! — оглядев деревню, заключил шофер и, не надеясь, видно, что я понял его, пояснил: — На дороге потому что. Да плюс полтора года под оккупацией... — Он круто и не торопясь выругался, помолчал и вдруг толкнул меня локтем: — Ты погляди-ка туда, старшой!

За околицей деревни, куда-то в даль поля, двигалась толпа баб. Низко наклонясь, они шли путаным шагом, поддерживая на руках белое длинное бревно. Далеко позади них тяжело ступал высокий старик, одетый во все белое. Рьяный ветер гнул его бороду вбок, заносил на плечо, а он изредка возвращал ее обеими руками на грудь и все ступал и ступал...

— Куда это они ползут? — смятенно спросил шофер.

Я не знал, и тогда он сообразил сам:

— Пашут! Мать честная!..

По топкой, не просохшей еще земле я сначала шел шагом, а потом побежал навстречу этой бабьей процессии. Да, они пахали: к бревну рушниками и обрывками веревок был прицеплен плуг, у поручня которого шел мальчишка лет тринадцати. Метров за двадцать от меня бабы остановились, выпрямились, и я услышал:

— Иваниха! Да это ж твой!..

Бабы кинулись ко мне все разом, и все до одной запричитали тягуче, смертно, одинаково. Трудно было разобрать, кто из них моя мать, и я обнимал их тоже всех разом.

Потом подошел тот — белый старик. Это был дядя Тимофей. На лямке из настольника он влачил борону. Дядя Тимофей почему-то отстранился от моих объятий, но сильно сжал руку и спросил сурово и непонятно:

— Ну?

— Приехал, — сдавленно сказал я.

— Это я вижу. А к нам тут, черти б их взяли, со всех концов приходили... и тюха, и матюха, и колупай с братом. И все разнесли. В обрез! Теперь вот придется начинать все сызнова.

Я потом узнал, что значили эти слова дяди Тимофея: за время войны в Двориках побывали солдаты четырех вражеских стран.

В начале моего разговора с пахарями шофер стоял на дороге, глядя в нашу сторону из-под руки. Потом он завел мотор, круто развернулся и понесся к нам прямо по пашне. «Торопитесь рассчитаться, — подумал я, — нашел место и обстановку...»

Подрулив к нам, шофер молча, не взглянув ни на кого, отвязал от плуга бревно, ожесточенно швырнул его в сторону и, завязав на веревке петлю, накинул ее на крюк в задке своего «виллиса». И бабы, и дядя Тимофей, и я стояли и гадали: что он задумал?

— Цепляй, отец, борону к плугу! — глухо, с обидой на кого-то сказал он дяде Тимофею.

Старик удивленно взглянул на меня, но я уже все понял.

— Цепляй, дядя Тимофей! Цепляй скорей...

Когда, взыв мотором, машина двинулась, кренясь в проложенную ранее борозду, а дядя Тимофей, встав за плугом, ни с того ни с сего истово перекрестился, многие из баб отчего-то заплакали, а я нагнулся к земле — в наших краях она особенная: черная, как сажа, и такая мягкая, пахучая, родимая.

На первом круге шофер то и дело высовывался из машины, кричал дяде Тимофею:

— Ну как?

— Влево чуток подай! Влево прижали, дьявол бестолковый! — ругался тот, страшась огрехов, но уже на четвертом круге у них все наладилось — приноровились: шофер к дяде Тимофею, «виллис» к борозде.

А борозды были удивительно прямы и чисты: плуг «галил», и земляной пласт сверкал на солнце сине-черным глянецом, будто вороново крыло.

— Вот дает! Не то что они! — восхищенно, в десятый уже, видно, раз повторял отставленный от дела малолетний плугарь, а бабы качали головами, незлобно ругались:

— И-и, дурак ты, Санька, дурак! Да нешто мы тебе лошади али трактор!

— Могли б и пошибче ходить. А то наедитесь картох да квасу и...

Бабы гнали прочь Саньку, но он не уходил: радовался человек.

Нельзя было уйти и мне, не рассчитавшись с шофером. Теперь мне уже хотелось оплатить его поездку как-нибудь иначе, чем мы условились на станции, но я не знал как.

Наконец на пятьдесят седьмом круге «виллис» остановился. Шофер махнул рукой дяде Тимофею: дескать, шабаш, закурил, потом устало стал отвинчивать пробку бензинового бака. Зажав ее в кулаке, он прицелился одним глазом в бак, понюхал его и раздумчиво поглядел на баб.

— Та-ак, — осуждающе протянул он. — Километра на четыре осталось. А до большака — десять. Там бы я подстрелил...

— Может, на руках дотащим тебя всем обществом? — неуверенно предложил я.

— Общество, старшой, досыта натаскалось тут без нас с тобой... Ай не видишь? — жестко спросил шофер.

Я виновато промолчал.

— Давай твой спирт! — приказал он.

Я торопливо достал из чемодана заветный литр и честно порадовался тому, что под рукой не оказалось порожней бутылки: пусть возьмет весь.

— Лей! — твердо сказал шофер и ткнул пальцем в воронку бака. — Ну, лей, говорю!..

Опять я с опозданием понял его и стал выливать спирт в бак. Где-то в пустой глубине белая легкая струйка выводила уютную булькающую мелодию, шофер напряженно слушал, наклонив голову, затем натужно пошел было в сторону, но тут же вернулся и принял прежнюю позу.

Когда в бутылке оставалось граммов двести спирта, я приподнял горлышко посудыны кверху и взглянул на шофера.

— Лей все! — понимающе сказал он. — Доехать-то нужно. Я ж генерала Иващенко вожу, а ему не объяснишь такое, — кивнул он на бревно.

— Можно объяснить! — твердо сказал я.

— Чудак ты! — обиделся шофер. — Это ж своими глазами видеть надо! Одним слухом, с чужих слов тут не обойдешься, понимаешь ты это?

Я кивнул головой.

— Понимаешь, а что советуешь?

Он уже взялся за руль, когда я достал деньги и неуклюже, будто приготовил ему незаслуженную обиду, попросил:

— Тогда вот... возьми, пожалуйста...

— Чего-о? — знакомым мне тоном спросил шофер.

Я молчал. И, наверное, был я в ту минуту до нелепости жалок, потому что шофер произнес уже совсем по-другому:

— Тебе, брат, найдется тут для них дырка. Спрячь и бывай здоров!..

Машина снялась с места какими-то смешными рывками. Я побежал было за нею следом, но шагов через десять остановился. Утопая в свежей пахоте, ко мне подошел дядя Тимофей и, взглянув на зажатые в моем кулаке деньги, с удивлением и восхищением одновременно шепотом спросил:

— Не взял? Вот же живая душа!..

1957

УРОК

Зимой позапрошлого года я вез из Москвы дыню — единственную радость из той моей поездки в центр. В купе вагона нас было двое — я и коренастый человек средних лет, одетый в плохо сшитый костюм из дорогой шерсти. Некоторое время мы ехали молча, — мой попутчик с сердитым, почти обиженным видом читал «Кавалера Золотой Звезды». Дыня висела в авоське на крючке у окна, и минут через сорок купе наполнилось сладковатым ароматом чебреца, мяты и солнца: запахом родины — юга.

Я сидел грустный и смирный, припомнив детство, а мой сосед заметно страдал. Несколько раз он глубоко и резко втянул в себя воздух, потом закурил, но тут же погасил папиросу. Наконец он отложил книгу, исподтишка взглянул на дыню и откровенно вздохнул.

— Хотите попробовать? — спросил я ради приличия, кивнув на авоську. Попутчик смущенно улыбнулся, но сказал твердо:

— А знаете, хочу. Немного, конечно.

Я вынул нож и подступил к дыне с таким чувством, словно была она существом живым и мне близким. Первый ломоть, похожий на луну в ущербе, попутчик съел с торжественным наслаждением и несколько мгновений сидел удивленный, вслушиваясь в себя. Потом вдруг предложил:

— Знаете что? Давайте еще по одной скибочке. Вот под это.

Он открыл чемодан и добыл из него пол-литра коньяка. Через час от дыни остался один аромат, а от напитка пустая бутылка. На подъезде к моей станции мы были на «ты» и настойчиво приглашали друг друга в гости, но, выйдя из вагона, я, как водится, забыл об этом своем дорожном знакомстве.

Весной в местном издательстве вышла моя повесть о колхозной деревне. Я считал ее своей большой удачей и, полный новых замыслов, уехал на лето за город к знакомому леснику. Поселился я у него в сеннике. Лето было жаркое, в лесу кукушек полно, а в моем сарае — сплошной воздушный чай! Одним словом, жилось мне там легко и писалось весело.

И все-таки новой повести я не написал. Однажды в полдень к моему духовитому жилью подкатила «Победа» — приехал тот самый мой знакомый по дыне. Как он разыскал меня — уму непостижимо! Ни имени его, ни фамилии я не помнил. Знал только, что он секретарь одного из райкомов партии этой области. Откровенно говоря, я не был в восторге от его визита, — придется выпить, оторваться от работы. Да и фамилию его забыл — не представляться же нам друг другу снова?

Но он, видно, понял мое состояние и первым делом отрекомендовался:

— Найденов Петр Григорьевич... Я к тебе на минутку, мимоездом. Глубоко ж ты забрался! Приблизился, так сказать, к истокам, а?

Впечатление производил он, что называется, благоприятное. Глаза с лукавинкой и густо-черные, как наши южные черешни, голос мягкий, грудной, жесты неторопливые, законченные... И чувствовалась в нем этакая

твердая обязательность и смелая прямота, чего, по правде сказать, не хватает большинству из моих знакомых, да и мне самому...

Встретил я его, конечно, сдержанно, но уже минут через двадцать искренне был рад его приезду. Это, кстати сказать, удел всех неуравновешенных натур — кидаться в крайности.

Ну вот. Пока то да се — наступил вечер, и я предложил гостю остаться на ночь, половить при факеле раков, — озеро было близко, прямо за сараем. Найденов охотно согласился и тут же, будто между прочим, сообщил:

— Читал твою повесть...

Я, грешным делом, подумал тогда, что он торопится высказать мне признательность, хочет отблагодарить комплиментом за радушие, и поэтому спросил по возможности небрежно:

— Ну и как?

Найденов долго молчал, я не торопил его, и вдруг он взял меня под руку.

— Ответь мне: что тебе больше нравится — говорить или думать?

— Думать, — сказал я, не подозревая, к чему он клонит.

— А по повести твоей выходит ~~оборот~~оборот!

— Ты что же, подозреваешь **меня** в неискренности? — плохо скрыл я удивление.

— Не знаю, что это, — просто ответил Найденов. — Тут одно из двух. Или ты растущий лакировщик, или совершенно не знаешь того, о чем пишешь!..

И он стал объяснять мне, что романы и повести о селе надо писать, находясь в колхозе, а не в городе. По его мнению, я не проник в психологию своего бригадира — героя повести — и создал не образ, а какую-то неживую ерунду, схему!

— По-твоему, этого хватает для изображения жизни? — спросил он меня и привел отрывок из повести. Было там у меня такое о бригадире: «Радовало его и то, что в беготне, в повседневных заботах, вроде как бы сами собой установились большие отношения с народом. Он видел — ему прощают вспльчивость, ненавистную ему самому, суховатость, потому что его поняли». — А до этого у него, значит, были «маленькие» отношения с народом? — спрашивал Найденов. — И за

это народ не прощал ему вспыльчивость и сухость? Черт знает что!..

Я слушал его молча, и мое авторское самолюбие кипело, как говорят в романах, возмущением. Я был уверен в том, что секретарь безнадежно лишен понимания искусства, ощущения той задушевной лирики, которой, как мне казалось, была насыщена повесть. Поскольку долг платежом красен, я и высказал это Найденову прямо.

— Во-он, оказывается, что! — протянул он. — Для кого же писал повесть, если думаешь, что ее нюансы, — он произнес это слово отдельно, по слогам, — недоступны даже секретарю райкома, человеку во всяком случае достаточно образованному?

Я ничего не мог придумать в ответ, и Найденов заявил, что ему теперь понятна и другая отвратная сторона моей повести — ее грубая назойливость и напостовский тон. Это идет уже не от недостатка писательского мастерства, — сказал он, — а от отсутствия у меня веры в читателя, от боязни, что он меня не поймет. А понимать-то, по мнению Найденова, в моей повести и нечего. В ней он не нашел ни чувства меры автора, ни трогательной души лирики и не испытал ни радости, ни обиды за героя... Словом, он не нашел в повести правды жизни.

Такое, как сказал поэт, не всякий рожден перенести: я наговорил Найденову кучу дерзостей. И удивительное дело! Чем основательнее я понимал его правоту, тем больше злился... Никакой ловли раков у нас тогда не получилось, — у меня разболелась голова, а Найденов... тот захворал приступом смеха. До слез хохотал, радовался чему-то...

За ночь я возненавидел и свою повесть со всеми ее «нюансами», и лесников сарай с его духом. Найденов спал на сеновале поодаль от меня и так самозабвенно храпел, что под утро мне захотелось взглянуть на его физиономию. Люди, неряшливо спящие, производят на меня отталкивающее впечатление. Знаете, когда рот открыт, на носу муха, а на лбу бездумная гладь. Именно таким мне хотелось тогда застать Найденова. И знаете для чего? Чтобы освободиться от его влияния и от овладевшей мною мысли бросить все к черту и уехать с ним!

Но этот психологический этюд мне не удался, — Найденов к тому времени проснулся.

— Пора? Ты готов? — встретил он меня вопросом.

— Куда? — оторопел я.

Не буду говорить, что он мне ответил. Хорошо ответил. Энергично и убедительно.

В район ему надо было поспеть к восьми часам. Всю дорогу мы промолчали: Найденов был занят рулем, а я — своими мыслями.

— Ты небось думаешь, что дома у меня идейная жена, хозяйственная теща и банки с вареньем? — спросил он меня у райкома. — Черта с два! Жена с дочерью давно в Сочи. И пробудут там до осени...

Но жить у него я отказался и устроился в гостинице. Первым делом я ознакомился с райцентром — прошел его из конца в конец. В прошлом разговоре Найденов называл его то городом, то местечком, но на самом деле это было уютное большое село: полсотни домов в одном посаде и столько же во втором. Все было там сельское — и постройки, и запахи, и звуки. И только одно напоминало город — учрежденческие вывески. Понимаете, на большинстве домов солнечной стороны райцентра сверкали золотые буквы на черном стекле. Двадцать две вывески насчитал я, кроме больницы, райкома и райисполкома!

Заметил я там и другое: ни городское, ни сельское — какое-то расслабленно-праздничное настроение у людей, хотя день был будничным. Загорелые, одетые по-городскому, ходят небольшими группами как зачарованные.

В одной такой группе я встретил своего давнего знакомого, юриста. Оказывается, он около года работает в этом районе следователем прокуратуры. Разговорились мы с ним, и я, между прочим, поинтересовался количеством населения райцентра и чем оно занято.

— Этого я не знаю, — ответил следователь. — О количестве уголовных дел могу сообщить.

— А кто же знает? — спросил я.

— Как кто? Райотдел ЦСУ. Вон их вывеска.

Я пошел туда во второй половине дня, — вопрос этот заинтересовал меня по-настоящему, так как в местной столовой во время обеда пришлось минут сорок ожидать свободного места: все столы были заняты знакомым уже мне народом.

Заведовал районной статистикой молодой тучный парень с невероятно рыжей шевелюрой. На улице — жа-

ра, стояла пора жнитвы и молотьбы, а он сидел в суконной гимнастерке, в галифе и сапогах. Знаете, такой традиционный костюм руководящих товарищей...

Сразу он встрепенулся. Стул мне подставил и даже пыль смахнул с него ладонью, но, когда я представился и он понял, что тут не начальство, нахмурился и мгновенно принял вид человека, сильно озабоченного делами.

Слушал он меня рассеянно, просматривая попутно какие-то бумаги с пожелтевшими краями. Эта желтая кромка на листах образуется в том случае, когда стол стоит у солнечного окна, а бумаги лежат на нем месяцами без движения. Ну и выгорают.

Короче говоря, на мою просьбу он ответил так:

— Данные о населении райцентра выдаются только с разрешения первого секретаря райкома или председателя райисполкома.

Хотя на его физиономии было написано «ходят тут всякие», я все-таки объективно воспринял его сообщение. В самом деле, мало ли кому и для чего понадобятся такие сведения?

— Хорошо, я получу это разрешение, — согласился я. — Но не смогли бы вы сказать, сколько в райцентре служащих и рабочих?

— Таких данных нет, — коротко ответил мне зав.

— Как нет? — удивился я.

— Так. Эти категории проходят у нас по одной графе.

Надо было видеть выражение лица этого деятеля статистики. Он смотрел на меня как на марсианина, которому незнакомы простые земные вещи!

— Но а вам лично известно это? — настаивал я, чувствуя, как шевелится во мне какое-то смутное желание.

— Лично не известно, потому как одна графа...

Это его «потому» взорвало меня. Понимаете, классический костюм, несмотря на жару, озабоченность на челе, просторный кабинет — и вдруг «потому» из лексикона дореволюционных чиновников!

— В таком случае, для чего же вы сидите тут? — вырвалось у меня.

— Ну, это не ваше дело, для чего я сижу! — злобно ответил мне собеседник. — Все у вас? Ну вот и все! Ходят тут всякие...

Первым моим душевным движением была обида. Я направился прямо в райком, представляя, как через десять минут туда, по невероятной жаре, в своих суконных галифе, прибежит на звонок Найденова эта рыжая шевелюра из отдела ЦСУ.

Но по дороге я раздумал заходить к Найденову. Мне представилось неудобным почему-то говорить с ним об этих сведениях. Почему? Да черт его знает, но я чувствовал, что ему обязательно покажется это странным, неприятным...

Мое опасение подтвердилось потом полностью, но об этом после. Вышел я из положения очень просто: двадцать две учрежденческие вывески помножил на минимальную цифру количества служащих в каждом учреждении — на восемь и получил сумму сто семьдесят шесть!

К вечеру я точно знал количество рабочих в больнице, пекарне, типографии, сепараторном пункте и прочих производственных точках — всего сорок три человека! Зачем все это мне было нужно — я еще толком не представлял себе, но внушительная цифра служивого люда по отношению к рабочим в таком маленьком райцентре выросла ночью в моем воображении во что-то лохматое, мягкое и тяжелое, как кошмар!

Утром разбудил меня Найденов:

— Пора на урок, брат писатель!

Он все-таки не без основания считал меня слишком оторванным от действительности, во всяком случае — от той, которую изобразил я в своей повести, и теперь приглашал на урок жизни в отдаленный и, по его словам, самый отстающий колхоз района. Я, конечно, поехал с большой охотой, но по дороге меня продолжали занимать цифры — сто семьдесят шесть на сорок три!

Найденов не без чувства удовольствия рассказывал мне, что во всех шестнадцати колхозах района он знает в лицо почти каждого рядового колхозника, каждого звеньевоего, не говоря уже о бригадире. Когда же он сказал, что ему знакомы даже председатели колхозов двух соседних районов, у меня родилась мысль, которая странным образом, но тесно связалась с моими цифрами.

— А сколько колхозов в соседних с вами районах? — спросил я.

— Тридцать один, — точно ответил Найденов.

- А расстояние какое до ваших границ с ними?
- До одного шестнадцать, а до второго побольше.
- И в каждом райцентре двадцать две вывески?
- Какие вывески?
- Учрежденческие. Где люди служат, — объяснил я.

Найденов помолчал, отвернувшись, затем наставительно заметил мне:

— Ненужных учреждений вовсе не существует. И в учреждениях люди не служат, а работают. Странно, что ты не понимаешь этого!

Его безапелляционный тон и учительские жесты, которыми он сопровождал свои слова, вынудили меня сказать ему следующее:

— Это, Петр Григорьевич, в лучшем случае пустые слова. В твоём районном центре сто семьдесят шесть человек служат и только сорок три работают. Между прочим, заведующему райотделом ЦСУ эти цифры неизвестны. У него, видишь ли, графа...

— Ага. А ты, значит, пришел, увидел, решил! И все это в промежуток между завтраком и обедом! Завидная резвость. Вот так ты и повести свои пишешь! Без знания и изучения дела...

Говорил он это с плохо скрытым удивлением и разочарованием, но от меня не скрылась одна тайная мелодия в его голосе: раздражение, и я был уверен, что он впервые слышал об этих цифрах.

В колхозе я действительно получил урок, но настолько резкий и стремительный, что можно было предположить, будто он был устроен мне преднамеренно. Сразу же, как только мы вылезли из машины, от крыльца правления к Найденову кинулся низкорослый пухлый человек.

— Товарищ секретарь! Будьте свидетелем! Бригадир избил меня и левую полу оторвал... Вот, смотрите!

На нем была длинная, пожелтевшая от времени кавалерийская шинель. Одна пола у нее была только что оторвана и лежала на крыльце под небольшим ворохом хорошо провеянной пшеницы. У ступенек крыльца стоял молодой высокий колхозник и молча, играя желваками обветренных скул, глядел себе под ноги.

— Что у вас тут случилось, Струк? — спросил его Найденов. — Ты, я вижу, все партизанишь...

— Попался бы он мне тогда, так я бы ему не одну

полу оторвал... Он же писарем служил у старосты! А сейчас... Ты погляди, Петр Григорьевич, что творит этот злостный Тягунец!

Струк — бригадир колхоза — подошел к пухлому человеку и откинул уцелевшую полу его шинели. От самой талии донизу к ней был пришит суровыми нитками огромный парусиновый лоскут.

— Видите? Это у него называется карман! И на бывшей другой поле такой же. По полпуда влезает в каждый...

Найденов быстро разобрался в этой истории. Оказывается, Тягунец на протяжении многих лет не признает в колхозе никакой другой работы, кроме молотьбы. В это время он всегда чувствует себя здоровым, сам является на ток и без ведома бригадира становится к веялкам, не снимая шинели. Три дня подряд Струк высыпал у него из карманов пшеницу, запрещал являться на ток, но Тягунец делал свое. На четвертый день бригадир, по его собственному признанию, потерял терпение и оторвал полу шинели у Тягунца вместе с карманом, наполненным уворованным зерном.

Во время разбирательства этого происшествия Тягунец выкрикивал одно и то же:

— А почему ты не выгребашь пшеницу из подола Малашки Стрепетовой? Скажи-ка секретарю партии, а?

Я видел, что симпатии Найденова были всецело на стороне Струка, и журил он его за резкость действий каким-то бархатным голосом. Тягунца же он не стал долго слушать, пообещав переговорить о нем с членами правления колхоза.

Конечно, такой эпизод за письменным столом в городе не выдумаешь. Это, как говорят, жизненный сгусток, и Найденов отлично понимал это. Вечером, на обратном пути, он спросил меня:

— Ну как, написал бы ты подобное о своем бригадире раньше?

— Нет, — признался я, — да и теперь не напишу.

— Почему? — удивился он. — Боишься, не пропустят?

— Не поэтому. Твой бригадир не герой, а... нарушитель законности. Дерется...

— Чудак! — перебил меня Найденов. — Ну и напиши, что он дерется! Но ты напиши и то — почему он дерется, понял? А чтобы узнать это, тебе надо по-

жить рядом с ним и с тем Тягунцом месяц, два, три! И тогда Струка оправдаешь и ты, и читатель, и...

— И может быть, секретарь райкома, но не прокурор, — досказал я.

— Оправдает и прокурор, если не будет мыслить параграфами!

У Найденова было много самоуверенности. Возможно, что происходила она от трезвого сознания им своих сил и жизненного опыта — хозяин он был, как видно, неплохой. Но его тон злил меня.

— Вот что, Петр Григорьевич, — сказал я. — За жизненный урок большое тебе спасибо, возможно, что я им когда-нибудь воспользуюсь, но сейчас меня больше всего интересуют цифры.

— Это какие? — непонимающе спросил Найденов и нахмурился.

— Ну те самые. Сто семьдесят шесть на сорок три.

— Вот же далось человеку! — коротко засмеялся он и отвернулся.

— Пока еще не далось. Но ты представь: на шестидесятикилометровом пространстве сельской местности стоит шестьдесят шесть учреждений и в них служит более полутысячи человек!

— Ну и что же? — резко спросил Найденов, и я впервые заметил, что губы у него капризные и одновременно властные.

— А то, что на этом пространстве достаточно двадцати двух учреждений...

— Во-он ты о чем! — протянул он. — Урок за урок, так сказать! Ну, знаешь ли, батенька мой, вопросы районирования входят в компетенцию правительства республики, а не в мою. И тем более не в твою. А посему позволь порекомендовать тебе по-дружески: не суй нос не в свое дело!

Мы крепко поговорили. Раза два Найденов не сдержался и назвал меня бумажным фантазером. Я обвинил его в местничестве и в трусости. Он вспылил и потребовал доказательств.

— Ты боишься нарушения своего районного уюта — раз, — сказал я. — Ты не уверен в том, что останешься секретарем в трех объединенных районах — два. Ты...

— Ты безответственный мальчишка — три! — вырвалось у него.

Я вылез из машины и до райцентра дошел пешком. Дальнейшие события разворачивались так: в двух соседних с найденовским районах я пробыл дней двадцать, затем поехал в область. Там я пробыл долго. Вначале газета отказывалась напечатать мой проблемный очерк, пока... пока я не увлек своей идеей секретаря обкома. Потом было много других препятствий.

Короче говоря, сейчас эти три района объединены. Найденов учится в областной партшколе. Наша дружба с ним наладилась после того, как был опубликован мой рассказ о бригадире Струке и Тягунце. Действия Струка в рассказе я не оправдал, хотя и жил в этом колхозе пять месяцев...

1958

КОСТЯНИКА

Это я, любя, придумал ей такое прозвище, потому что ничего лучшего в нашем лесном краю не росло. Оно накрепко пристало к ней, и я до сих пор не пойму, почему весь колхоз хохотал над ним, а сама Наташка, гневно и трогательно скосив глаза, сказала, что такую липучую заразу, как я, она сроду не встречала.

Заведовать нашим сельским клубом кто-то прислал тогда Сашку Рогова — маленького и худенького заочника какого-то Лесного института. Уже через неделю после его приезда мы стали врагами, и, услышав, как он назвал нашу черную землю почвой, я крепко и весело прилепил ему эту кличку. Наверное, это звучало смешно и обидно — вон Костяника с Почвой пошла! — потому что Наташка, встретив меня как-то на речке, крикнула издали:

— Чтоб ты залился тут, завистник несчастный! Чтоб тебя Кучум заколол! Всю жизнь мне испортил!..

Из этого страстного заклятия ничего не сбылось: лишённые помехи взрослых, сироты всегда плавали, как рыба. Со свирепым же колхозным быком мне не привелось тогда встретиться — через несколько дней началась война, и я ушел добровольцем на фронт.

На свете нету человека, если он одинок, чтобы однажды ночью грядущий день не показался ему неогляд-

ной пустыней. Тогда такой бобыль увязывает рюкзак и почему-то на попутных машинах, а порой и пешком отправляется на поклонение родным местам.

Свою лесную глухомань я навестил в августе прошлого года. Теперь принято говорить в таких случаях, что вот явился, мол, и ничего прежнего не узнал. Неужели в мире совсем не остается того давнего и дорогого, что ты сберег в своей памяти за все годы разлуки?

Нет, за новым и молодым от меня не скрылась моя изумрудная песенная сторона. На встречу с ней я несколько дней шел пешком. Я весь был бархатный от пыли, и когда ложился отдохнуть, то долго ощущал, как звонко и отрадно гудят мои ноги.

В середине августа наш лес становился пустым и сторожим, как старинный собор после ремонта. Это оттого, видно, что к тому времени в нем перестают петь птицы и кончаются цветы. Я и вошел в него как в собор — без фуражки, торжественно и боязливо, но разве ж так положено встречаться настоящим друзьям? И я закричал:

— Ого-го-го! Здорово, стари-ик!

Лес отозвался мне тем же приветствием, и трудно было поверить, что это лишь эхо, обыкновенное перекатное эхо.

Полдня я пролежал в лесу на круглой полянке, поросшей вереском и отцветшим зверобоем. Пахло крепким настоем деревенского чая, грибами и ладаном, и мне непременно хотелось вспомнить, когда и где я испытал уже этот благостный покой и тишину. Может, во сне? Нет, это было наяву во время войны, в госпитале, после контузии меня целые сутки «отмачивали» в хвойной ванне...

Потом я разыскал заросли костяники. Она была в той поре зрелости, когда ее ягоды похожи на светящиеся капли гречишного меда. Костяника... Русская ягода... Брызги летнего солнца...

Я нарвал ее со стеблями и сам не попробовал ни единой грозди из этого своего важкого золотого букета.

Перед вечером, когда сизые иглы сосен засверкали льдистым светом, я убедился, что потерял направление к селу. В тот миг над лесом прокатился и как бы повис ровно пульсирующий раскат грома. В прогалину крон мне было видно чистое небо, реактивный самолет, величиной с лебедя, и проложенная им по небу пуши-

стая волнующаяся дорога. Вдоль нее я и пошел, потому что вольному путнику любая тропа годится.

К селу я подступил в сумерках. По скотному проулку туда входило большое стадо коров, и я невольно вспомнил о Кучуме и прижался к изгороди чьего-то палисадника, выставив перед собой костянику. Поравнявшийся со мной пастушонок удивленно поглядел на меня сглотнул слюну, но поинтересовался озорно и насмешливо:

— Продаешь или так даешь, дяденька?

Я дал ему две грозди и спросил, куда делся Кучум? Пастушонок не знал, кто это такой. Да и откуда он мог знать про то, что было восемнадцать лет назад? Уже вдогон я решился задать ему последний вопрос — все ли проживает здесь Наталья Григорьевна Серебрякова?

— Это Костяника-то? Проживает. Только не тут, а в лесхозе, — ответил пастушонок и показал мне к нему дорогу.

Лесхоз выглядел небольшим санаторием, — я видел однажды такой на Рижском взморье. Похожий чем-то на врача-практиканта, человек показал мне жилье Натальи Григорьевны — деревянный домик, стоявший особняком от поселка. Низенькие окна домика обливали вечер притушенным зеленоватым светом. То окно, что выходило прямо в лес, было открыто. Я подошел к нему и осторожно, как горящий факел, установил на подоконник свой букет.

Я узнал бы Костянику спустя сто восемьдесят лет, а не каких-то там восемнадцать. Она стояла на середине комнаты и со своей удивительной косинкой вглядывалась в меня, клоня голову набок, как застигнутая лучом фары ночная птица.

В комнате звучно цокали невидимые часы. На столе горела уютная керосиновая лампа в зеленом абажуре и стояла ваза с левкоями. Все здесь — задумчивый свет, гордая белая ваза, здоровый ток часов и то общее согласное настроение, в котором жили все предметы, населявшие комнату, говорило о какой-то чистой и праздничной торжественности.

Я дважды повторил свое имя, прежде чем Костяника узнала меня. Какую-то долгую секунду она глядела мне за спину — рассматривала, видно, рюкзак — потом спросила совершенно неожиданно:

— Куда это ты?

— Да вот пришел сюда, понимаешь... Просто пришел, — сказал я. В таких случаях люди против воли улыбаются почему-то жалко и просительно. Прodelал это и я, и тогда Костяника торопливо сказала:

— Ну и хорошо, что пришел. Заходи к нам.

Букет свой я захватил с подоконника с собой, — ведь там его Костяника могла и не заметить.

Пол сеней и комнаты до такой степени был вымыт, что некрашенные доски казались восковыми и, между прочим, от них и пахло почему-то сотами. Я ступал по ним на носках своих пыльных ботинок, испытывая острое и странное желание пройтись по этой медвяной прохладе босиком.

Я сел у стола против белой вазы и внезапно разглядел густо-воронные ободки своих ногтей, заношенные обшлага куртки и далеко не новую, захоженную кепку. Я был уверен, что все это Костяника видит и осуждает, и оттого невпопад, с какой-то грустной и безотчетной обидой отвечал на ее вопросы, сам не спрашивая ни о чем. Наконец я взял со стола свой букет, загорodив им пальцы, и сказал о ягодах:

— Посмотри. Они как запечатанные хрустальные бокальчики с вином. Правда?

— А ты все такой же, — усмехнулась Костяника.

— Какой?

— Радостный на слово.

Мне никогда и никто не говорил этого. Видно, я снова как-то неладно улыбнулся, потому что Костяника спросила тревожно и участливо:

— Неужели ты до сих пор одинок? Седеешь же!

— А ты?

Я спрашивал не о седине, но Костяника бережно провела ладонями по гладко зачесанным вискам и сказала мечтательно:

— Это я с войны еще...

Никто не знает, за что он любит или любим. Тот, кто долго живет с этой нелегкой радостью, на этот бедный вопрос отвечает бездумно, щедро и точно — за все!

Так мог бы сказать и я. Но я обязательно упомянул бы о ее взгляде — продолговатом, мило косящем, будто подстерегающем что-то хорошее и тайное. Этот взгляд у нее был «свой», с детства, но теперь я заметил в нем

новое выражение — не то испуг и недоумение, не то призывное ожидание. Она все время словно прислушивалась, и не к нашей немногословной беседе, а к миру за окном, к его ночным звукам и шорохам. Я поглядел в окно. В пахучей тишине там текли пронизанные лунным светом сумерки, и вдруг явственно донесся свист иволги — сочный и манящий. Эта насмешливая, непотребно раскрашенная птица не поет по ночам, но я не ошибался, потому что Костяника тоже слышала этот свист.

Тогда и произошло то, что не следовало, возможно, мне видеть и знать. Костяника звонко засмеялась и порывисто кинулась из комнаты, прижав к подбородку ладони, как не осиливший радости ребенок. Иволга непутево просвистела уже под самым окном, а я ощутил разбег мурашек по телу, — все это показалось мне загадочным и жутковатым.

И все же я не пошел вслед за Костяникой. Я остался сидеть за столом, прислушиваясь к мужскому баритону за окном и ненавидя те внезапно возникающие паузы, когда он затихал, обрывая ее смех и голос. Там целовались.

А минут через десять я увидел Рогова. Он не вырос, но зато сильно раздался в плечах. И он был совершенно седой. В левой руке он держал небольшой лакированный чемодан, а правой обнимал Костянику, заглядывая ей в глаза. Я стоял за столом, сторожа его взгляд, чтобы поздороваться, но он меня не видел. Тогда я кашлянул. Рогов молча и как-то болезненно посмотрел на меня, затем на Костянику.

— Ой, я совсем забыла! Это Павел... Только что зашел к нам, — сказала она извиняюще и засмеялась чему-то.

— Павел? — спросил ее Рогов, будто меня и не было в комнате.

— Да. Ну тот... наш... помнишь?

— А-а! — вспомнил Рогов и тоже улыбнулся.

Я незаметно отодвинул за вазу свой костяничный букет. Его листья успели привясть и сникнуть, но гроздь ягод по-прежнему мерцали свежо и жарко. Я понимал, что мне надо уйти, но как это достойно сделать — не знал, потому что они, эти двое, снова обо мне забыли. Они теснились возле чемодана, толкались и перемигивались, как дети, и Рогов в третий раз негромко объяснил, почему он задержался на десять дней, а

не на семь, как предполагал: после совещания подводились итоги соревнования, и его лесхозу присуждена вторая областная премия.

«Обрадовались! — подумал я, закидывая рюкзак за спину. — Подбросили, видишь ли, на мещанское счастьешко. Комод, поди, завтра купите!.. Подумаешь, невидаль какая — директор! Тоже мне важная птица... Иволгой свистит, седой дурак!..»

Я снова напомнил о себе и стал прощаться, но Рогов ласково отнял у меня рюкзак и смущенно сказал:

— Извините. Ну, что это вы? Сейчас поужинаем вместе, потолкуем. Ну, извините ж!

За ужином появилась бутылка розового муската. Мы пили его крошечными рюмками за приезд Рогова, и я поздравил его с премией, хвалил мускат и зачем-то улыбался. Потом Рогов рассказывал о войне, — оказывается, они с Костяникой партизанили тут в одном отряде. Рассказчиком он был плохим, но Костяника слушала зачарованно и упоенно, забыв свою узенькую ладонь на его мохнатой руке.

После мы долго играли в подкидного. «Дураком», конечно, все время оставался я. Костяника смеялась до слез, а Рогов советовал мне не обижаться, трепал ее за косы и вдруг принимался хохотать сам.

Постель мне устроили тут же, около белой вазы, на диване. Как только хозяйева скрылись за перегородкой, я ощупью отыскал свой букет и опустил его за окно. В наступившей тишине четко цокали часы, потрескивали стены дома и слышался стыдливо сдержанный шепот Костяники:

— Саш, а Саш!

— А? — устало отзывался Рогов.

— Шу-шу-шу, — доносилось до меня горячее и смутное. Я полежал еще немного и вдруг решил, что им непременно нужно остаться в эту ночь совсем одним, наедине со своей неизжитой радостью встречи. Зажав под мышкой ботинки, я неслышно вылез в окно. Лес спал. В зыбучем лунном свете таинственно перемещались тени. Никогда мир не был таким невероятно торжественным и спокойным, и я знал — это он оттого такой, что в нем живут мои ровесники — несказанной красоты седые юноши...

СОЛНЕЧНЫЙ БЛИК

1

Варя ушла, как уходят все жены от мужей в плохих пьесах, — разбросав по комнате чулки и фотографии и оставив на самом видном месте стола — на черствой горбушке халы — письмо, законченное почти стихами: «А меня ты не ищи, не надо. К прежнему возврата нет!» Лобов медленно изорвал письмо, исступленно выругался и тихо заплакал. Письмо он рвал в злобе. Ругался в обиде. А плакал в горе — записку Варя писала долго и старательно: буквы были округлые, какие-то по-детски кроткие и невинные. Через полчаса Лобов яростно запикивал в портфель смену белья, краски и все свои незаконченные этюды. Он не знал еще, куда поедет, но торопился, потому что мстил. Он не хотел верить, что Варя ушла навсегда.

По городу растекались сырые сумерки апрельского вечера. Лобов окликнул такси. Шофер плавно затормозил и неувлимым движением руки открыл дверцу «Волги».

— Куда? В кафе «Литерату» или «Неринга»? — спросил он и хитро подмигнул обоими глазами. «Знает, что ли, он меня? — удивился Лобов. — Но я ведь никогда не бывал в этом «Литерату».

В шофере все было каким-то зыбким, непрочным и словно неувлимым — бегающий взгляд, спутанно-порывистые движения пальцев, непрочно обхвативших белый круг руля, какая-то хитрая, неверующая усмешка. «Ну разве можно с таким отправиться, например, в море?» — неожиданно подумал Лобов и тут же решил ехать в Клайпеду.

— Держи на вокзал! — раздраженно приказал он шоферу, и тот поощрительно подмигнул ему обоими глазами.

До утра Лобов просидел у окна, глядя в текучую муть весенней ночи, и до самой Клайпеды в конце его вагона по обочине дороги неотступно скользил золотой квадратик света.

2

Это было до их женитьбы, два года тому назад, когда Варя только что окончила театральное училище, а

Лобов художественный институт. Однажды он назвал ее «пенкой».

— А что это такое? — растерянно спросила она. — Разве хорошо называть меня... пенкой?

— Это из детства, — застенчиво сказал Лобов. — Игра была такая... в писанные фарфоровые осколки.

— Ты ее очень любил? Игру?

— Пенки любил. Роспись...

Варя немного подумала и попросила:

— Ты зови меня лучше «солнечным бликом». Ну, зови, пожалуйста!

Игриво-яркий пучок теплых лучей — солнечный блик — Лобов называл еще про себя «несказанным светом». Он не давался ему в этюдах. Он никогда не умел полностью поймать его и задержать в своей картине. Варя это знала, потому что Лобов жаловался ей. Уже тогда он жаловался с тайным сознанием своей талантливости, для того, чтобы завести речь об этом, — утешая, Варя восторженно-наивно восхищалась его этюдами.

И незаметно, как неперемное условие его работы, как холст и краски, Лобову стала необходима эта своя неискренняя жалоба. Он просто капризничал, а Варе казалось, что он страдает, и вся их совместная жизнь превратилась в сплошное «творческое терзание» для одного и в боль и муку — для другого.

— Это бездарно, как резиновая калоша! — говорил о своем очередном этюде Лобов и отшвыривал его прочь, ожидая похвал и утешений. — В этой обстановке я не могу писать! — почти кричал он, если Варя робко советовала ему «вот тут чуточку подправить». Иногда он ходил на спектакли, в которых играла Варя, и в театре сидел с болезненно-снисходительным видом; будто ему причинили хоть и небольшую, но все же незаслуженную обиду.

— Ну как я, Женя? Ничего? — страстным шепотом, с надеждой на давно желанное и ей нужное, спрашивала после спектакля Варя, краснела и вытягивалась в струну. Лобов загадочно смотрел куда-то в века и как-то трудно и жалобно, в два приема, вздыхал:

— Понимаешь, ничего не выходит... У меня расплавляется мозг. Я постоянно вижу перед собой эту свою ненаписанную картину. Вижу! Значит, могу, но...

— Что, Женя?

— Так.

— Может, тебе следует уехать куда-нибудь? Одному... На месяц.

— Боже, как ты бываешь порой... трудна! От своего хвоста никуда ведь не уедешь! — трагично и томно говорил Лобов, и Варя замолкала, и взгляд ее невидяще останавливался на чем-то далеком и неразгаданном.

А дома за ужином Лобов расслабленно-печальным голосом спрашивал Варю:

— После килек молоко можно есть?

— Я думаю, можно, — подумав, разрешала Варя.

— А ничего не будет?

— Я думаю, нет.

Как-то, вернувшись из леса, Лобов увидел на своем столе осколки маленькой голубой чашки — его подарок к Вариному дню рождения.

— Вот... нечаянно, Женя... Они такие были? Пенки твои? Такие?

Он все ведь понял тогда, и от нежности к Варе, от горячей любви к ее трогательно схитрившему сердцу чуть не закричал. И все же не закричал, а отбросил эту д и обеими руками мученически прикрыл глаза, чтобы она не видала его радости и огромного неумемного счастья...

«Почему? Почему не закричал тогда, сволочь?! Почему никогда не назвал ее «солнечным бликом» и «несказанным светом»? Ну, почему?» — спрашивал себя Лобов в вагоне и ответа не находил.

3

Порт был насыщен крутыми и сложными запахами, странным образом вызывавшими бодрость в мышцах и голодное посасывание под ложечкой, — пахло рыбой, смолеными канатами, йодом и еще чем-то здоровым и свежим, что исходит от моря и кораблей. Лобов долго бродил по пирсу, разглядывая у причала суда и суденышки, готовые, казалось, вот-вот уйти в большую и интересную сказку для взрослых. Он уже знал, что малые рыболовные траулеры моряки с грубоватой ласковостью называют «мартышками», и все с тем же, вчерашним, чувством мести к Варе увидел себя — худого и бородатого — на такой «мартышке» в двенадцатибалльный шторм где-то у берегов Гренландии.

— Нравится? — вслух спросил он невидимую Варю. — Вот. И ты не ищи меня тоже. Никогда! К черту!..

Вода у пирса была затянута атласно-радужной пленкой. Тонкими копьями ее пронизывали солнечные лучи и, уходя в синюю глубину, рассыпались там на мелкие блестящие. Эта сочная гамма цветов и оттенков, эта слепящая игра бликов на бортах кораблей будили в Лобове безысходную тоску и чувство какой-то все нарастающей тревоги — ему впервые не хотелось перенести на холст это световое чудо.

На одном свежепокрашенном траулере Лобов увидел громадного черного кота. Лениво изгибаясь и потягиваясь, кот медленно шел по самому краю пустынной палубы, и пушистый холеный хвост его изнеженно-грациозно закручивался в кольцо, и глаза светились как пронизанные солнцем морские брызги.

— Гад! — неожиданно для себя сказал Лобов, вдруг жгуче возненавидев черного красавца. — Кот... Тебя любят потому, что люди в море одиноки, а ты...

Он не успел определить и осмыслить вину судового баловня перед моряками: в рубке, которую Лобов мысленно назвал будкой, кто-то притушенным, почти девичьим голосом запел удивительную по задушевности и откровенной жалобе песню.

Ты сегодня пьешь со мною снова,
Как давно не видел я тебя!
Но не будь так замкнута, сурова,
Не гляди с упреком на меня...

Лобов обессиленно присел на бухту каната и, зажав в коленях свой огромный портфель, с тихой яростью принялся украдкой пинать его кулаком в то место, где лежали этюды.

4

Из порта в город он шел пешком. Он не знал, что будет делать там, но шел стремительно, с каким-то мстительно-сладострастным чувством подставляя себя клубам веской апрельской пыли от пронесившихся грузовиков. Он давно ощущал колющую резь в левой ноге — в ботинок заскочила каменная горошина и каталась там от носка к пятке, и, приседая от боли, Лобов почти кричал:

— На! Вот тебе! Вот тебе!..

В город он вошел, когда позади, в море, в полнеба вспыхнул багровый закат. У моста через канал сидел рыбак. Рядом с ним малиновым огоньком отсвечивала стеклянная банка из-под маринованных огурцов. Из черной парусиновой сумки, лежавшей чуть позади рыбака, высовывался омертвелый хвост корюшки. Рыбака окружала толпа болельщиков, и чьи-то спокойные и дородные жены заинтересованно щупали пухлыми пальцами золотой корюшкин хвост, а рыбак остервенело взмахивал удилицем, сочно и длинно сплевывал в воду, но молчал.

— Коровы! — сказал Лобов и заковылял к гостинице.

5

Поздним вечером Лобов спустился в ресторан и, против своей воли, вошел в зал надменно-небрежной походкой, которая как бы вопила о том, что он грядущий талант. Он только так входил в общественные заведения — иначе уже не мог: тело самостоятельно напрягалось и замирало в гордом ожидании смотрин.

— Ак-тер! Ак-тер! — сердцем кричал Лобов, но с походки не сбился. Столик он все же выбрал в дальнем углу за кадкой с пальмой. Девушка в сахарно-белой миткальной короне объявила ему сорта коньяков — были трех, четырех и пяти звездочек, и Лобов вслух сказал ей «разумеется, пяти», а мысленно себе — совсем другое, и после этого твердо знал, что напьется...

Было дымно, шумно и ярко. В стеклянных сосульках люстр бесновались крошечные радуги и блики. За столиками в тесной вольности сидели юные бородачи, далеко отставив, будто позабыв о них, тонкие ноги в высоких морских сапогах, похожих на ботфорты знаменитых мушкетеров. «Тоже во что-то играют», — солидарно подумал Лобов и большим круглым глотком выпил коньяк. Потом он надолго присмирел, оглушенный пахучим питьем, заколдованный блеском огней и своими мыслями о неизжитом с Варей. Кто-то дважды с настойчивой книжной галантностью сказал ему «простите». Лобов поднял голову и увидел перед собой старательную копию с портрета красивого и больного старинного писателя. Нет, поэта. Он писал стихи о смерти. У него

была короткая и звучная фамилия. И борода... Да, Надсон!

— Простите... Вы верите в любовь? — трезво спросил Надсон. В его длинных зеленых глазах столько было нарочитой отрешенности, угрюмости и еще чего-то очень знакомого Лобову, что он, как от удара, подобрался и отдельно, сквозь зубы, сказал:

— Ерунда! Не верю ни во что!

— Да?.. Я тоже! — растерянно произнес Надсон и покраснел. — Если позволите, я перейду за ваш столик. Можно?

— Валяйте, — разрешил Лобов, и тот прошел в противоположный угол и понес через зал янтарный графинчик, тарелку с черной колбасой, и мизинец его левой руки, обхватившей хрустальное горло графина, картинно оттопыривался и вилял. Стоя, Надсон начал наполнять свою рюмку каким-то особенным наклоном графина, и он заворковал и заходил в его руке как живой.

— Жаворонок, — сказал Надсон, а Лобов разом почему-то вспомнил, что это из Хемингуэя.

6

Они пили каждый свое, и Надсон с гневно-подвывнотой страстью читал короткие, великолепно гремучие стихи. Лобов долго смотрел на его пушистые длинные волосы — в них запутались блики люстр — и вдруг спросил:

— Ваши?

Надсон скользнул по его лицу прискорбным взглядом и прочел новый стих.

— Хорошо! — искренне сказал Лобов.

— Бред! Это бездарно! — изнеможенно проговорил Надсон и пальцами прикрыл глаза. — Вас привлекает в этих произведениях лишь гражданская смелость. Только!

— Но стишки ваши? — опять спросил Лобов и выпил подряд две рюмки.

— Нет, ваши! — с ребяческой непосредственностью обиделся собеседник.

— Где печатаетесь?

— Вы провинциальный младенец! И вы, конечно, учитель, да?

— Черта с два! — сказал Лобов. — Я — художник. И тоже талантливый. Поняли? Где печатаетесь?

— Вот тут! — показал Надсон на сердце Лобова. — Разве вам неизвестно, что в наших журналах давно поделена земля? Между теми, что славили когда-то султанов, ханов и вождей!.. И нам, молодым и талантливым, никогда не перекричать хриплый хор этих старцев, поющих аллилуйю!

Он притаился в ожидании утешений, глядя куда-то поверх голов «морских волков», но Лобов молчал, и тогда он крикнул с вызовом:

— Пальто пропиваю!

— И наплевать! — безучастно буркнул Лобов.

— Наверно, из комсомола выгонят!

— И пусть!

Медленно и с бережной осторожностью, как полную рюмку с последним коньяком, Надсон поднес свою голову к лицу Лобова и спросил ошеломленно, шепотом:

— Вы что, бухой или... холодный дурак?

— Ак-теришка! — сумасшедше сказал Лобов. — Талантливый кот с изумрудными глазами! Чуть-чуть научился марать бумагу, и уже подавай тебе на терзания в няньки жену, друзей и государство!.. Кот с изумрудными глазами... Пшел вон, ну?!

7

Остаток ночи Лобов провел на берегу канала. В черной недвижной глади воды покойно догорали отсветы фонарей. Стихи, которые поселились в сердце Лобова с детства, были немного грустны, и все они оканчивались двумя строчками из Вариного письма. В девять часов Лобов пришел на почту и заполнил пачку телеграфных бланков с различными адресами и единым текстом: «Ты одна мне радость и отрада, ты одна мне несказанный свет». Женщина в черном атласном халате неторопливо и хмуро начала перечитывать все бланки, а Лобов прикрыл глаза пальцами и перестал дышать. «Неужели не примет? Неужели конец, потому что иначе Варя не вернется! Иначе нельзя ей писать! Нельзя! Как я объясню это почтарям?»

— Восемь рублей, двадцать четыре копейки, — сказала женщина и вздохнула.

Поезд на Вильнюс отходил днем.

Было начало апреля, и вербы отряхали пушистые серьги, и по откосам дороги в черно-серых фраках гордо расхаживали скворцы, и рядом с составом по юной

траве бежали и бежали солнечные блики, и Лобов знал, что никакому черту на дано погасить их пронзительный свет.

1959

У КОГО ПОСЕЛЯЮТСЯ АИСТЫ

...Тут ничего нельзя было поделывать. И потому что бабке шел семидесятый и она доводилась матерью его помершему отцу, и потому что жили бедно — в колхозе работала одна мать. Перед тем как кормить кур, бабка выходила во двор и шугала и шугала, и все воробьи и голуби разлетались куда ни попало. Где ж им было завестись в ихнем дворе! Тут ничего нельзя было поделывать. А у всех по лету хоть что-нибудь, да велось. У Кузярихи — скворцы на осине, у Макеевых — воронки под окном...

И, отправляясь в школу, Костик Мухин уже с конца зимы каждый раз давал кругалю: за их огородной соткой, недалеко от электрической мачты, стоял дуб. Бабка говорила, что он их, мухинский, хотя и числится давно в колхозе. Ну и хорошо, что числится. Грачам-то еще лучше. Кто б их там шугал? А из того хвороста и куриных перьев, что складывал Костик под дубом, можно было свить не два и не три гнезда, а целую облепиху!

Но грачи облетали дуб стороной.

В такое время — конец марта — у бабки совсем пропадал сон. С полночи она уже принималась шастать по хате и бубнить не то молитву, не то какой заговор над Чибачихой. Это их черная наседка. Во всей деревне ни одна курица не выводила в такую рань цыплят, как она. Зимой почти. И всегда ночью или на заре. Сперва внутри яиц что-то тюкается. Чуть слышно. Это проклевываются цыплята. Сами. А Чибачиха тогда надувается и так кряхтит, что аж самому становится трудно. Она, наверно, думает, что рожает цыплят. Несмышленная. Птица ведь.

Цыплята — все одно, что вербные кытички, или почки по-правильному. С ними и минуты не вытерпишь, чтоб не взять на руки и не погладить. А им много надо, что ли? Зажмуриваются после этого и лежат... Потом они отживали, конечно. В решете на окне, где солнышко. Бабка дня два только и делала, что

кормила их там крутым желтком. А от этого и любой выздоровеет...

Снег всегда таял потихоньку, а в тот раз туман и буря согнали его за одну ночь. Тогда-то и сломался дуб. Кто ж теперь приживется на нем!

Но недели через две — уже по теплыни — над дубом большими кругами заходили аисты. Два. Костик увидел их из окна хаты, и, когда выбежал на крыльцо, аисты совсем спустились к дубу. На метр прямо. А не сели. Сделали еще три круга и полетели за электролинию к болоту. Не понравился, значит, дуб. Обломух потому что. Зря только торчит... Мог и весь теперь свалиться...

Все ж на второй день аисты появились над дубом опять. Тот, у которого крылья были с широкими черными полосами, сел первым. Ничего не побоялся. Самец потому что. А аистиха не села, хотя он минут пять трещал клювом и приседал. Звал. Она покружилась-покружилась и улетела к болоту. А он с полчаса на одной ноге стоял. Думал, может, как быть дальше. А потом тоже улетел. Все-таки аистиха жена ему, хоть она и птица из породы голенастых. Да и дуб обломух...

Аист решил, видно, настоять на своем. И правильно. В обед он принес сразу две длинные палки и уложил их на дубу крест-накрест. Фундамент делал к гнезду. Что ж он мог больше! И во второй раз он тоже вернулся с двумя палками. В болоте брал. В грязи все были. Костик потом их видел, когда они упали с дуба вместе с теми двумя. Скользкие потому что. А дуб ведь сломан. Неровно же там...

Аист почти до самого вечера простоял на дубу. Думал о чем-то.

Конечно, макушку можно было и подровнять. Пилой. Так все одно палки б сыпались. Тут надо было придумать что-нибудь другое. Чтоб помочь и не отвадить. А это только через бригадира Василь Палыча приходилось, потому что все какие ни на есть старые колеса он прятал в колхозный сарай. Для хозяйства. Но разве он сам не схотел бы приманить колесом аистов? Еще как! Только проговорись. У него будь здоров какая липа во дворе!

Поэтому и пришлось ждать почти до ночи. Колесо же не обязательно было уносить. Катить можно. По

огородам. Тяжелее было очутить его на дубу. Веревки потому что узловатые. И темно...

Аист прилетел утром. С хворостиной. И как начал трещать! Фундамент увидал! И в обратный раз пригнал аистиху. Показать. Она села на колесо, пригнулась за чем-то, а потом подошла к аисту и положила голову ему на шею. Мирилась...

Бабка вскоре говорила про гнездо, что такой кучи хвороста ей бы на целую неделю хватило. Печь топить. А кто б его снял? Сама, что ли? Там ведь уже яйцо лежало! Одно пока. Костик лазал смотреть на него, когда аисты летали на кормежку. Лежи-ит! А величиной с три куриных...

Бабка думает, что только людям одним бывает трудно. А другим всем на свете так это — ничего... Костику даже вспоминать не хочется, как все это случилось с аистихой. Может, ей второе яйцо захотелось тогда поскорее снести. А может, к этому первому торопилась. Но только она нечаянно заплуталась крыльями в электрических проводах, и... убило ее током. Два дня простоял аист в гнезде на одной ноге. Как каменный. Не ел и не пил. Горевал... И лишь на третий день полетел к болоту. Костик следил за ним с берега из кустов. А что толку? Он и там все время стоял на одной ноге. Один. Это только Костиковым глазам казалось, что с ним второй такой же аист стоит...

Трудно тогда было. И ничего не придумывалось с яйцом. Куда его деть? Под Чибачиху подложить? А бабка? Разве ж она позволит! Да и аист мог сразу улететь куда-нибудь...

И все одно плохо не бывает долго на свете. Все одно когда-нибудь наступает хорошо, если всем ждать. Дома это тоже часто бывает. И этого нету, и того нету. А как начнут тогда бабка, Костик и мать хотеть и ждать втроем, так все потом и приходит, чего не было...

Так и с аистом. Дней через шесть ему повстречалась другая аистиха. В болоте. И откуда она там появилась! Красивая. Высокая. Ноги тонкие, красные. И начали они там гулять вдвоем. Аист уже не стоял все время на одной ноге. Бегал теперь. Лягушек искал. Найдет, подкинет вверх, словит, положит возле нее и как затрещит клювом! Ожил. Перед тем как разлетаться из болота, аист опять поджимал одну ногу и вытяги-

вал шею к аистихе. Жаловался, может. Или уговаривал ее лететь с собой. Гнездо-то готово. Где же еще она такое найдет!

И она согласилась...

Потом все было хорошо. Аистиха снесла три яйца. И то, первое, было целое. Четыре, значит, уже стало!

Аистята вывелись в один день. Четверо. Смешные. Почти голые. А ноги, как карандаши. И сразу же аистиха оказалась неправильной. Выбросить захотела того, четвертого. Аист, наверно, чуял такое дело. Не улетал надолго. Принесет несколько лягушек и станет на краю гнезда. Чтоб караулить. Сын все же. От первой жены... Да он мог и не волноваться. Костик ведь тоже караулил с длинной палкой из двух удочек. Чтоб грозить аистихе. Тогда она перестала кормить четвертого. Троим дает, а его отпихивает и клюет куда ни попало...

Сироте всегда трудно. Любому. А есть-то ему небось, тоже хочется, как всем.

Лягушек лучше всего ловить в обед. Они в это время сидят поверх луж и перекликаются друг с другом. Только успевай хватать. И надо каких поменьше. Глотки-то у аистят узенькие еще. В первый раз Костик наловил их половину поросячьего ведра. Он опрокинул его прямо в середину гнезда, как только аистиха отлетела чуть подальше. И слез. А аистиха вернулась и сразу же начала клевать и отпихивать четвертого аистенка. Значит, не в том было дело, что лягушек всем не хватало. Полведра же теперь в гнезде лежало. Живых. Свежих. Просто не любила она его. Вот и все. Не свой потому что. Четвертый.

Может, тогда она и повредила ему левую ногу. Хромал. И за это Костик прозвал его Колькой. Калека потому что. Он уже давно питался лягушками из рук Костика. Только давай! По тринадцати штук съедал. Сразу. Аж потом раздувался. Остальные тоже получали. Если оставалось. А из гнезда его все же выпихнули. На самый край. Оттуда он и высматривал Костика. И даже бабку стал кликать, если видел ее во дворе с поросячьим ведром.

Ростом Колька с отца вырос. И такие же полосы на крыльях. Только летал он на болото совсем редко. Те остальные не принимали его. Не свой. Все лето он поч-

ти не отходил от Костика. Тот картошку окучивает — Колька сзади по борозде ходит. В кооперацию за солью пойдет — Колька по огородам туда ковыляет. И дело тут не в лягушках одних было. Это само собой. Просто нравилось, когда в глаз ему дуешь. И когда шею гладишь. И хроющую лапу...

Еще задолго до отлетного времени Колька загрустил. Все, бывало, на небо смотрит. Ищет там кого-то. И даже Костика стал сторониться немного. Будто обижался за что-то. А за что? Разве Костик виноват, что Колька сирота? Дурак! Мог ведь и один лететь, если ему обязательно надо. Сзади всех. Что они ему? Только чтоб весной опять прилетал сюда. Никуда чтоб больше!..

И Колька так и сделал. Позади тех полетел. Один... Что ж тут можно было поделывать, раз ему так хотелось! Не привяжешь же его за ногу? Птица ведь... Вот если б лягушек ему можно было дать на дорогу... Какую-нибудь сумочку с ними привесить на шею... Небольшую... Чтоб не мешала... Да это только так, Костиково хотение одно.

Что произошло с ним в дороге, так и осталось неизвестным. Может, с двоюродными братьями подрался за что-нибудь. А может, с иными какими. Но только, когда на третий день вернулся назад, левый глаз у него почти не открывался. Затек кровью. И отчего-то ему все с левой стороны попадало! А что прилетел обратно — правильно сделал!

Дома всегда все подживает скорее...

Горе пришло разом с зимой. Какие ж тогда лягушки! Все под снегом. А есть ведь все равно хочется. И даже больше, чем летом. Конечно, без бабки Кольке перезимовалось бы легче. Ведь он все ел. И хлеб. И кукурузу. И сырое тесто прямо из дежки, если она была плохо прикрыта. Жил-то он в хате. Где же ему еще. В сенцах замерз бы в момент. Но что можно было поделывать, когда бабке все мало и мало было. Как будто сдохнет ее поросенок, если Колька склюет из его ведра штук пять картошек!..

Да это ничего. Трудности повсюду есть. Хуже стало потом. С половины зимы. Когда Чибачиху посадили на яйца. Колька сроду ее не трогал. На что она ему сдалась такая! Он только интересовался, что она там делает в кошелке под лавкой. Сидит и сидит. А Чибачиха

переживала, когда он подходил. Такой крик поднимала, что долго не вытерпишь.

Снегу навалило в конце прошлой зимы — страсть одна! По огородам совсем нельзя было пройти. А Колька пролез. К школе прямо. Знал откуда-то, что Костик там. Конечно, он мог и лететь, но холод же был. А по улице не захотел идти. Собак боялся... Костик увидел его из окна. Стоит в снегу и сипит. Лапы аж позеленели. Клюв заледенел. Крылья распушились... Костик принес тогда его домой на плече. А бабка... Это она выгнала Кольку на снег. Укусил, говорит. За ногу. Как будто он собака, чтоб кусаты! Он ее только клонул. Может, и больно ей было, но ведь и Кольке не сладко от рушника... Она ж его все время стегала... Мало ей все... Поросенка жалела... Чибачиху берегла...

* * *

Это рассказал мне сам Костик Мухин. Мы сидели на берегу озера. Далеко впереди, над сизой грядой леса, большим пламенным крылом размахнулся закат. Какая-то птица пешком пробиралась через осоку у наших ног. Я ждал конца, а Костик молчал.

— Ну? — осторожно спросил я.

— Ничего больше, — шепотом сказал Костик. Он трудно и затаенно ревел без слез. В таких случаях нельзя утешать человека, и я спустился к осоке и вспугнул дикую утку. Она полетела над самой водой и нырнула на середине озера.

— Ну? — не оборачиваясь, снова спросил я.

— Дальше не надо!

Костик крикнул это как под болью, и я запоздало понял, что продолжать рассказ не нужно.

1961

ТРОЕ В ЧЕЛНЕ

Стоял июль, и я выбрался из города в ту благословенную пору, когда свершается незримое таинство перехода ночи в утро, когда улицы непорочно-чисты и торжественны, какими они бывают только на заре. В такое время почему-то хочется ехать непременно посередине мостовой, и твоя неказистая, выдавшая виды машина как бы преображается, становясь вроде бы мощней и благополучней, и ты сам и дела твои предстоят тоже в

сравнительно справном виде, и все это побуждает тебя чуть-чуть приосаниться и даже откинуться на спинку сиденья, а руки уложить на баранке так, чтобы и они утверждали твое уверенно покойное положение... Нет, нет, тут и не пахнет самодовольством, тут дело совсем в другом: просто в зарождающуюся гармонию утреннего мира не вписываются ни твои вчерашние нечаянные беды, ни завтрашние плановые тревоги. Только и всего. Тогда против воли в памяти оживает только светлое и радостное, чему ты был свидетелем или участником, а так как этого не слишком много оказывается поблизости, то тебе невольно приходится устремляться вдаль своих дней — в детство. Там, за что ни возьмись, все годится для благодарной дани этому вселенскому торжеству покоя и порядка, оттуда можно брать это — светлое и радостное — целыми охапками, зажмурясь, потому что, как сказано, там все годится...

Так вот, стоял июль, и я ехал на одно потаенное лесное озеро. До него считалось пятьдесят два километра — сорок по шоссе и двенадцать лесным проселком. Он был пустынен и извилист, и на нем копился тот самый зеленый колдовской полумрак, который испокон веков наводил оторопь на детей и взрослых чудаков-романтиков: и тем и другим чудится, что такими вот дорожками небось ходят в гости друг к другу какие-нибудь немислимые лесные тайны. Следы? А зачем им оставлять их! Охотничье любопытство не всегда бывает бескорыстным, далеко не всегда...

Проселок вел под уклон, — вот-вот должно показаться озеро, и я ехал тихо, потому что в глубоко прорезанных повозочных колеях залегала топкая голубая пыль. Бывало, вот по такой же поре и дороге я гонял в лес-Кашару свою корову. У нее был длинный породистый хвост, большое розовое вымя и только один рог, а что мы им, одним, поделаем, если на дорогу возьмет и выскочит... мало ли что такое, чего ни она, ни я сроду не видели! Но от таких встреч нас тогда спасали мои глаза — я зажмуривался, Белкин хвост метелкой — я за него держался, и пыль в колее — в глубине она была почти горячей, и ногам делалось уютно и отраднo, а при хорошем плохого уже не ждешь, потому что плохое боится хорошего...

Уже на виду озера я съехал в сторонку, разулся и подвернул брюки повыше колен, — как бывало в дет-

стве. Я пошел вниз по колее, загребая пыль исподу, — она была там мягкая, бархатная и горячая, как тогда, и поэтому следовало зажмуриться и выставить руки вперед, словно бы ты держался за что-то.

— Дяденька! Ай потерял чего?

Они — трое, мал мала меньше — стояли в глубине шатристого куста, а за ними в прогал камыша и аира проглядывалось озеро. Я вылез на гривку дороги и сказал, что потерял стержень, железный такой...

— Теперь потерял?

— Да нет, раньше, — сказал я.

— Неш его найдешь тут?

— Да вот, — сказал я, — пробовал...

Им было от девяти до одиннадцати — не больше. Штаны у них удерживались одноцветными самодельными помочами, и я решил, что ребята — братья. Их рты, носы и щеки были густо ублажены фиолетовыми разводами, и я спросил, много ли черники.

— Страсть! — сказали они.

Лишь позднее, под вечер, я понял, отчего у них, у троих, так откровенно лукаво и, как мне показалось, насмешливо светились рожи, — они просто обрадовались мне, четвертому тут, а я воспринял это иначе — кому охота оказаться вдруг застигнутым со своей причудой-блажью на виду?

Обычно я располагался под тем самым кустом ольхи, где стояли братья-черничники, — в прибрежной поросли там был проторен удобный спуск к воде, но какой же рыбак-отшельник станет при посторонних глазах разбирать-раскладывать свои удильные причиндалы и разные там каши-привады! Надо было подаваться в противоположный конец озера, и, когда я сел в машину, ребята о чем-то спросили меня, но в гуде мотора ничего не было слышно...

Когда ты заякорился на облюбованном месте и щедрым жестом старинного сеятеля кинул прикорм, с этого мига порывается твоя связь с твоим же прошлым и будущим, ибо поплавок приобретает над тобой магическую власть и силу. Конечно, ты обязательно заметишь, как из осоки царственно-величаво выплывает маленькая изумрудная утка, везя на себе семь или восемь золотистых живых пушков, — уводит зачем-то свой выводок на другое место. Завидя лодку, мамаша-перевозчица исчезает под водой, но ты никогда не узнаешь, что ста-

лось с ее пассажирами, потому что в это время поплавок тоже нырнул и ты ощутил на леске дрожь пойманной рыбы, а в своем сердце — трепет желанной удачи. Тут нельзя ни торопиться, ни оглядываться и нельзя не поцеловать в большой оранжевый глаз твою первую плотицу прежде, чем упрятать ее в плетенку. Ну скажите, пожалуйста, что вы увидите после этого на том месте, где была утица?!

В тот день все было объемно большим, неожиданным и важным, как в детстве — и непроглядная глубина серебряного знойного неба, и какие-то веерные лучи солнца, пронзившие озеро до самого дна, и накатные волны ладанного духа от разогретой смолы и хвои, и лампадно-рубиновый свет моих целлулоидных поплавок.

— Дяденька, дикунов лишних нету, а?

Это было сказано шепотом у меня за спиной. Я обернулся, сильно качнув лодку, и увидел их, тех троих, сидящими в куце обрубленном с кормы дырявом корыте, переполненном водой. На какую-то долю секунды я еще сомневался в реальности услышанного и увиденного, — говорят, что в полдни жарких дней одиноких рыбаков морочит водяная блажь, но это не был мираж: то были истинно они, с одинаковыми тесемками-помочами через левое плечо, с засохшим черничным соком на рожках. Дети сидели в корыте прямо, не шевелясь, затылок в затылок, и передний — старший — держал в руках обломок черной мореной доски, средний — две ореховых удочки, а младший старую консервную банку. Было непонятно, каким дивом удерживалось и не тонуло корыто, — его борта, может, только на какой-нибудь сантиметр возвышались над водой. Первым моим движением было поднять с шестиметровой глубины оба якоря, подтянуться к ребятам и перетащить их к себе, но по бокам корыта густо торчали ржавые гвозди, гибельные для моей резиновой лодки.

— Нам маненько!

Братья сказали это хором, — видно, истолковали мое замешательство как нежелание поделиться дикунами. Я на всякий случай вытащил из-под себя надувные круги-сиденья, а ребятам безразличным тоном сказал, чтобы они плыли прямо к прибрежной осоке, где мне сподручней будет передать им наживку. Они сказали: «Ладно», и старший стал грести обломком доски, а

средний — одной рукой, потому что вторая была занята удочками, младший же принялся вычерпывать воду из корыта консервной банкой. Почему-то я глядел только на него, хотя видел только стриженую красную макушку — нажгло солнцем. Пока я выбирал якоря, у меня была возможность душевно помянуть тех, кто умеет каждый год справлять по сыну, а тревогу за них взваливать на другого, когда тот сам не может проплыть в случае чего и пяти метров!..

Ковчег с тремя хотя и медленно, но все же влекся к гряде береговой осоки; я настиг его и поплыл следом. Удочки мои волочились сзади, но мне приходилось смотреть только вперед, на красную макушку водочерпия. Корыто вдвинулось носом в осоку и встало. Я немного посидел молча, потом спросил всех троих, где они нашли эту чертову посуду.

— Челн? — переспросил старший.

— Ну челн, — сказал я.

— А он тут давно. Только его какой-то дурак все топит и топит. Накидает камней и... Как ни придем, а он все затоплен и затоплен...

Я подумал, что «челн» надо утопить на глубине. Дождаться вечера, когда черничники уйдут, и утопить!

— А ты много споймал, дяденька?

Я показал садок.

— И все на дикунов?

Это спросил младший. Он прижимал к груди банку, забыв о ней и глядя на меня трепетно и пораженно. Может, и впрямь ему пока не доводилось видеть такого улова — в моем садке шебаршилось десятка три вполне приличных плотниц и красноперок. Я поймал их на обыкновенного червя, но разрушать восторженную ребячью веру в дикуна было немислимо. Я кивнул и опустил садок в воду.

— А мы тоже споймали, — баском сказал старший и добыл со дна корыта кулан из ивовой хворостины. На ней низилась гирляндка синца и густерки, и я заметил, что многие рыбки были без хвостов.

— Это их раки, — в тон старшему сказал средний, что держал удочки. — Мы оставили рыбу в озере, а раки взяли и обкусали за ночь...

Вот так оно и выяснилось, что ребята не черничники, а рыбаки «с ночевкой», что они совсем не братья, а только «соседи» и живут на окраине моего же города.

Они не очень внятно объяснили, как добрались до озера, а пытаться, что ждет их дома, мне не хотелось, потому что у малых и старых рыбаков эти возвращения-встречи одинаковы...

Я подплыл к челну и переложил в него пузырек с дикунами, полбуханки хлеба, специально намоченного для прикорма рыбы, две сардельки и одно круто сваренное яйцо, — больше из еды ничего не было. Мы условились половить еще часок-другой тут же, у осоки, а потом ехать домой. Свою лодку я привязал к камыши-не метрах в шести от челна. Я сидел лицом к нему и видел, как там торопливо и молчком пообедали, потом младший взял банку и стал выливать из челна воду. Он работал бесшумно, ритмично, ладно и споро, а его дружки застыли в напряженных позах, устремив глаза на поплавки. Не клевало ни у меня, ни у них. Пожалуй, пора было сматывать удочки, — макушка у водочерпия совсем стала малиновой.

— Ну давайте, говорю, попробуйте на яичку! А? Я ж вам вон сколько оставил!

Это он предлагал старшему и среднему — шепотом, настойчиво, страстно, не прекращая работы, а те почему-то не хотели, — видно, до конца верили в дикуна...

Солнце свалило уже к западу, когда мы выехали на лесной проселок. Они, трое, хотели сидеть вместе на заднем сиденье, и я их не неволил. Мы ехали молча, казалось, что конца этому дню не будет во веки веков. У въезда на шоссе я переключил скорость на прямую передачу и спросил у всех у троих:

— Боялись небось ночью-то?

— Не, — сказал старший, — мы ж не спали...

— Огонь надо было жечь, — сказал средний.

— Это дело другое, — сказал я.

— А чего зря спать? — сказал младший.

— Конечно, — сказал я. — Когда мне приходится ночевать в лесу, я тоже мало сплю.

— А чего зря спать! — опять сказал младший, и я, не оборачиваясь, отыскал рукой его макушку и щелкнул в нее мизинцем, и мы все четверо засмеялись, потому что знали над чем...

КАРТИНЫ ДУШИ

Такого никогда не было прежде, но в тот день художнику Грачеву исполнилось сорок три, и жена принесла бутылку тракии, и они выпили ее — он с удовольствием, вслушиваясь в себя после каждого глотка, а жена виновато морщась и страдальчески хмурия лоб, потом он — тоже впервые — подал ей пальто, — малиново-седого цвета, с некрасивой сборкой в плечах, — и, когда помогал жене одеться, подумал, что он будет проклят, если не привезет теперь из Ленинграда какую-нибудь модную и красивую одежду для жены. Он так и подумал — «одежину», потому что пальто должно быть заграничное: свое всегда сидело на жене мешком.

Оттого что это решение хорошо, тайно и ладно легло ему на душу, Грачев не захотел, чтобы жена проводила его на вокзал, — ему надо было наедине додумать свое возвращение к ней с подарком.

Под навесом перрона роились предвечерние сумерки ранней весны. У купейного вагона, загородив подход к подножке, обнимались и горячо плакали от предстоящего расставания двое парней в одинаковых темных ватниках и серых кепочках с миниатюрными козырьками.

— Саш, понял? Как приедешь, так сразу отбивай телеграмму!

— Зарублено, Петь!

— А ей, падле, ни слова, Саш! Понял?

Они раз десять повторили это, не выпуская друг друга из объятий, а Грачев стоял и ждал, пока друзья доцелуются и доплачут.

Его купе было пусто. Копя и копя в душе какую-то неумную радость, Грачев попросил постель, заплатил рубль, лег и быстро уснул. Он нечасто ездил и любил вагоны: при размеренных баюкающих толчках ему никогда там не снилась разведка боем и плен.

Была ночь, синий продолговатый свет в потолке вагона, мерное покачивание и ритмичный перестук колес, когда Грачев проснулся и увидел маленького генерала. Тот сидел напротив, тесно составив ноги в курносых ботинках, и лампы на его темных брюках алели строго и назидательно. Грачев смущенно кашлянул и сел, а генерал поспешно убрал с прохода ноги и сказал тоненько, вежливо и весело:

— Здравствуйте! Что это вы все спите и спите!

— Да вот, понимаете, заснул, — виновато сказал Грачев и тут только полностью увидел и понял, что это — мальчик, суворовец.

— Хотите? Очень вкусно! — сказал суворовец и поднес к лицу Грачева целлофановый кулек с жареными картофельными стружками.

— Да нет... Я потом, — сказал Грачев: от запаха постного масла у него мгновенно поднималась изжога.

— Пожалуйста! — просительно сказал суворовец.

Грачев залез в кулек двумя пальцами, захватил пару стружек и положил их на подушку.

— Пятно получится, — шепотом сказал суворовец, и Грачев взял стружки и сунул их в рот, — он не мог противиться ласковой настойчивости маленького генерала, не хотел, чтобы его святой испуг перед «нарушением» — пятно получится! — остался без воздаяния. Изжога началась сразу. Грачев с тоской поглядел на стриженую голову своего нечаянного доброхота и икнул.

— Я вам чаю попрошу. Хотите? — сказал тот. Грачев молча кивнул. Суворовец оправил брюки, подтянулся и ступил из купе с левой ноги. Вернулся он скоро и, оставаясь еще в коридоре, сообщил повинно и растерянно:

— Нету... проспали мы, говорят. Уже одиннадцать.

— Да не суть, — добродушно сказал Грачев, залезая под одеяло. — Давайте-ка досыпать, чай будем пить в Ленинграде.

— Там и какао можно, — утешительно и почему-то баском сказал суворовец и смутился. Он спросил, как ему, Грачеву, лучше всего, при свете или так? Грачев сказал, что синий свет хорошо, и мальчик признался, что ему он тоже нравится. Он быстро и аккуратно разделся и вежливо, с той радостной нежностью, когда ребята бывают счастливы, пожелал Грачеву спокойной ночи. Грачев ответил ему тем же, а мысленно тепло и растроганно сказал: «Спи, спи, чижик в лампасах».

В купе установился и окреп тот ровный и напряженный ритм ночного движения, когда человеку с закрытыми глазами кажется, что поезд катится назад, а не вперед. Грачеву не спалось. Он испытывал какое-то умиротворенно-уютное чувство от этой своей встречи с суворовцем и снова подумал о подарке жене и по возможности на этот раз закупить для себя побольше красок теплых тонов. Грачев находился в том состоянии

духа, когда в памяти оживает только светлое, доброе и теплое. Обычно такие «картинки души», как мысленно называл это Грачев, поселяются в памяти человека независимо от их величины и значимости. «Просто дело тут в тепле красок, — решил Грачев. — Вот как, например, эта моя встреча с чижиком в лампасах. Ну что в ней особенного? А ведь она станет для меня «картинкой души»...»

Он осторожно приподнялся и заглянул на соседнюю полку. Суворовец спал лицом к нему на правом бочку, и у его полуоткрытого рта на подушке метилось круглое пятно слюны.

«Чижик в лампасах», — улыбнулся Грачев и приказал себе спать. Он натянул на глаза край простыни, уложил на грудь руки и затаился. Суворовец вдруг звонко и четко проговорил во сне: «Давай, давай», и Грачев засмеялся — это совпало с его просьбой к самому себе о показе «картинок души». Грачев не захотел «уходить» в детство, потому что оно закончилось короткой юностью и войной, и начал с той весны, когда он после демобилизации приехал в незнакомый город. Туго гудящее купе, продолговатая полоса синего света под потолком вагона, кажущаяся из-под простыни маленьким Млечным Путем, сладко спящий суворовец, предстоящий подарок жене, груды красок теплых тонов, что он закупит, — все это было той прочной и нужной преградой, через которую не могли пробиться в память Грачева «черные пятна», как он называл все невеселое и трудное в своей жизни. И вот из той яростно неприветливой послевоенной весны, которая в его представлении давно и навсегда связалась с каким-то беспредельно пустынным серым полем, сейчас вдруг легко и готовно всплыло сверкающее видение широкой полноводной реки и белых увалов черемухи на ее берегах. В поисках жилья Грачев тогда забрел на окраину полуразрушенного города и там...

«Не торопись, давай с самого начала! — сказал себе Грачев, пораженный тем, что он впервые обнаружил в себе эту несомненно большую и яркую «картину души». — Что же тогда было?»

Но он уже ясно видел и знал, что было на берегу реки. Там, запорошенный от макушки до завалинки теплым снегом черемуховой отцвети, стоял зеленый деревянный домишко. В нем жили дед Антон и бабка

Груша, похожие на тех сказочных «бабу и деда», о которых когда-то было принято рассказывать засыпающим детям. Они приняли его жить «за так» и сказали, что в реке начал браться на слепого вьюнчика усач, а через недельку, глядишь, подоспеет редиска. Ее было у них три грядки, тоже заснеженные черемухой, и она в самом деле подоспела через неделю, но к тому времени Грачев добыл немного масляных красок, лоскут брезента и кусок картона для трафарета. Лебеди получились сизо-розовые, с непомерно длинными шеями и малиновыми носами, а озеро рьяно голубым и бездонным. Увидев картину, бабка Груша тихо ахнула и поглядела на Грачева смятенно и опасливо, как на колдуна. Лебедей решено было сбыть завтра на базаре, когда бабка Груша понесет редиску, но вечером того же дня, вернувшись с реки, Грачев увидел их прилаженными над семейной постелью.

— Мы вот тут примеряли, — сказала бабка Груша, и вид у нее был виноватый и кроткий.

— Да мы только пришили. Утречком сымем, — сумрачно объяснил дед Антон и махнул рукой. Грачев тогда чуть не заревел от жалости и любви к этим людям и обушком топора накрепко, в четырех местах, приколотил «гобелен» к стене.

— А как же... базар ить завтра, — робко напомнила бабка Груша.

— Нарисуем другую! — сказал Грачев.

— Да неуж опять получится? Такая? — усомнился дед Антон.

Недели через две грачевские сизо-розовые лебеди поселились чуть ли не в каждом окрестном домишке: бабка Груша брала за них, что сулили — кусок сала, свежого усача, пяток яиц. Она не могла побороть в себе почтительной уважительности к Грачеву, и однажды, отозвав его в уголок, попросила, чтобы он «поглядел» деда Антона.

— Гуз появился на спине, а к доктору мы боимся чегой-то, — сказала она. Сам пугаясь чего-то, Грачев сказал, что это он не может, потому что ничего не смыслит в медицине, но бабка Груша заплакала и молитвенно схлопнула ладони.

— А ты ж погляди! Ну погляди ради создателя! — истовым шепотом проговорила она, и Грачев понял — надо «глядеть». Он на всякий случай помыл руки, но,

чтобы не убеждать хороших людей в наивной вере в его всеумельство, сказал, что в другой раз дед Антон осмотрит его, Грачева.

Спина у деда Антона была широкая и справная, но пониже лопаток сидел и зрел большой подкожный чирей. Грачев боязливо дотронулся до него мизинцем, потом поглядел в окно, подумал и сказал:

— Лет двадцать пять!

— Господи, это чего ж такое? — прошептала бабка Груша и села на скамейку.

— Жить будет. Он! — сказал Грачев, кивнув на деда Антона.

— Болтает не знамо чего! — притворно рассерженно сказал дед Антон и вдруг засмеялся тоненько и счастливо, как ребенок. — Ну и болтает!..

— Двадцать пять! — упрямо и серьезно сказал Грачев.

— Хватит мне и... — дед Антон запнулся, затем решил: — Пятнадцати.

— Это как сам хочешь, — сказала бабка Груша и губы собрала в трубочку, — обиделась, что старик не согласился на все года, отпущенные ему Грачевым.

«Это надо рисовать розовым, синим и золотым», — радостно подумал Грачев, не представляя, как можно нарисовать то, что он здесь «видел». В памяти его стали возникать картины одна другой ярче и трогательней. Вот он сидит в дырявой лодчонке на большом озере. С запада, заполнив полнеба, стремительно метется лохматая аспидно-дымная туча, разреженная белесыми полосами предосеннего града. Налетевший шквал взбугрил озеро и погнал лодку прочь от берега. Грачев бросил спиннинг и пригоршнями начал вычерпывать воду из лодки, — она вот-вот была готова пойти ко дну. Его тогда смял и обессилил какой-то пронзительный животный испуг, но не оттого что он не умел плавать и был в тяжелых резиновых сапогах и брезентовом плаще. Нет, он устрасился, как только подумал, что на озере никого нет и люди никогда не узнают, как и где он погиб. Лодку кружило и захлестывало. Грачев то остервенело греб, то вычерпывал пригоршнями воду, то делал еще что-то помимо воли и разума, а когда посыпался град — круглый, льдистый и тяжелый, как бобы, он спрятал голову под плащ, и корма лодки нырнула в это время в глубину, а нос, где полулежал Грачев, за-

дрался кверху, ткнувшись во что-то мягкое и податливое. Это был крошечный блуждающий остров. Грачев обеими руками уцепился за ивовый куст, удерживая лодку и самого себя. Шквал не стихал, но град редел, и Грачев оглянулся на корму лодки. Она скрывалась в воде, и ни сумки с едой, ни подсачка, ни весел не было. Он приподнял голову и далеко от себя, там, где мутно обозначался берег, увидел большую красную машину с прицепом, а у кромки бурлящего озера — голого человека: сложив ладони рупором, он что-то кричал Грачеву.

— Ого-го-го! — рыдающе отозвался Грачев, и страх его прошел. Он понимал, что человек этот ничем не может помочь ему, но уже одно сознание, что тот готов помочь, странным образом ободрило его и прогнало страх.

— Что случи-илось? — прокричал голый. Грачев крепче обхватил куст и ответил, что все в порядке. «Туча минует, и тогда я подтащу лодку на остров», — подумал он. Человек крикнул: «Хорошо» — и побёжал к машине, но уехал он лишь после того, как улегся шквал и проглянуло солнце...

Купе гудело туго и ладно. Грачев долго лежал с закрытыми глазами и с горечью думал о бессилии художника явить в своей картине то, что выражается только словом. Вот как в той, которую он только что «видел». Как ее нарисовать? Как выразить ее сокровенную сущность — человек — человеку? «Писателям, конечно, проще, — думал он, — хотя дело всегда и только в таланте. И еще в любви и познании. И писать книги, и рисовать картины надо мягкими теплыми тонами. И чтобы сердце обязательно знало и любило то, о чем ты хочешь сказать. Только тогда возможно помочь читателю или зрителю восхититься самим собой как человеком...»

— Давай, давай, он хор-роший! — проговорил во сне суворовец. Одеяло сползло с него на пол, и Грачев поправил его, с трудом удерживаясь, чтоб не потрепать рдяное мальчишеское ухо спящего. «Сам ты хор-роший! Чи-ижик», — засмеялся Грачев. Он лег и стал глядеть на маленький Млечный Путь под потолком вагона. «Погоди, как это было, когда я узнал, что он, тот человек, что меня допрашивал, хор-роший?» Грачев нарочно для себя притворялся зачем-то, что вспоминает. На самом

же деле «картинка души» всплыла перед ним сразу же, как только суворовец произнес свою фразу...

Это было, когда грачевские партизаны и сам он проходили госпроверку. Его допрашивал молоденький лейтенант-смершовец. В то время у таких, как Грачев, было принято спрашивать: «Как ты сдался фашистам», а не: «Как вы попали в плен». Нет, Грачев не испугался и не оскорбился, — он просто тихо заплакал и положил на стол свой потайной маленький браунинг. Лейтенант удивленно-внимательно поглядел на Грачева и каким-то трудным усилием руки пододвинул к нему оружие.

— Так, значит, вы попали тяжело контуженым? — спросил он, склоняясь над протоколом.

— Я ведь сказал, что нет, — возразил Грачев.

— Что нет? Как это нет? — шепотом заорал лейтенант. — Что, я не знаю, как попадали в плен, да?!

«Это же надо рисовать светло-розовым и золотым», — подумал Грачев, и Млечный Путь под потолком вагона двоился, рос и ширился, и Грачев не утирал слез...

1967

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Истекал предпоследний день старого года, — за окном уже сгущались синие сумерки вечера, пронизанные лунным светом уличных фонарей и тем тихим и легким чувством грусти, которое посещает нас при расставании с другом. Провожать дорогих и близких лучше всего по утрам, — новый день для того и настает, чтобы вознаградить расставшихся, но старые годы уходят в полночь, и в природе это сделано для того, чтобы люди острее и крепче запоминали разлуку. Так, по крайней мере, думал я в этот вчерашний, предпоследний день старого года, сполна одарившего людей мирными заботами, трудами, радостями и печалью — всем, из чего соткана жизнь. С уходящим старым годом надо расставаться с тем ощущением морального достоинства и свободы, которое возможно при единственных лишь обстоятельствах — когда есть основания сознавать, что никому и ничего не должен. Я не мог сказать этого о себе. Мне надо было торопиться сделать все то большое и малое, что причиталось с меня старому году.

Было четверть седьмого вечера, и, прежде чем выйти из дома, я вспомнил о водопроводном кране в умывальнике; он был давно неисправен, и, хотя струя воды била из него вверх, поэтически напоминая как бы оживший Бахчисарайский фонтан, я все же решил позвонить в домоуправление.

— Послушайте, товарищ, — сказал я, чувствуя рождение в себе тихого уныния пополам с гневом, потому что звонил в десятый раз в этом уходящем старом году. — Послушайте, — повторил я, — нельзя же так, голубчики!

— Здравствуйте! — вежливо прервал меня музыкальный женский голос. — Что случилось?

— Кран! — сказал я.

— А что с ним?

— Бьет! — сказал я. — Вверх!

— Вот как? Пожалуйста, не волнуйтесь, сейчас к вам придет водопроводчик. Номер вашей квартиры? Благодарю.

— А это... точно? Водопроводчик действительно придет? — малодушно усомнился я.

— Конечно. Через десять минут, — заверили меня с того конца провода.

— Я, видите ли, спешу, — неуверенно сказал я.

— В таком случае он явится к вам через пять минут. До свидания!

В трубке послышался мягкий щелчок. Я с завистью к чужой праздности подумал о том, как ловко меня разыграли: было очевидно, что я неправильно набрал нужный номер и попал в чью-то квартиру, хозяйке которой вздумалось мило пошутить. Тщательно, с длинными паузами, я снова набрал нужный номер. В трубке раздался тот же чарующий голос, и я неуклюже сказал:

— Простите, это опять я. Насчет крана...

— Это там, где он бьет вверх?

— Совершенно верно. Вверх! — подтвердил я.

— Мастер отправился к вам три минуты тому назад. Не волнуйтесь, пожалуйста.

— Поздравляю вас с наступающим Новым годом! — с жаром сказал я, чувствуя рождение в себе какой-то необычной радости.

— Мы вас тоже поздравляем и желаем вам всего лучшего. До свидания.

Трубка была почему-то теплая и казалась уютно-удобной. Я бережно опустил ее на рычаг, а в коридоре в это время как-то необычно — в меру независимо и вместе с тем осторожно — прозвучал звонок. Я открыл дверь и увидел человека с большой брезентовой сумкой через плечо. У него были синие веселые глаза и мохнатые черные брови, в которых застряли нерастаявшие снежинки. Он сказал: «Добрый вечер», затем уточнил, здесь ли неисправен кран.

— Понимаете, бьет вверх, — сказал я.

— Очевидно, истерлась резиновая прокладка, — предположил чернобровый. — Это несложно. Сейчас все будет в порядке. Вы, кажется, торопитесь?

— Нет, нет, не беспокойтесь, — сказал я.

— Тогда позвольте войти.

Он тщательно вытер о половик подошвы сапог, ступил в коридор и снял шапку, а когда я принял ее, сказал: «Благодарю».

Починка крана заняла не больше трех минут.

— Пожалуйста, испытайте кран. Так не туго будет? — осведомился мастер.

Я заверил его, что кран в порядке, и с той поспешно-вороватой суетностью в таких случаях, которая не сглаживается привычкой и опытом, протянул ему деньги.

— Вот вам... За труды, так сказать, — сказал я фамильярно и вместе с тем смущенно, избегая глаз чернобрового.

Он молча повернулся, рывком снял с вешалки шапку и ушел, плотно прикрыв дверь.

— Товарищ! — запоздало позвал я. — Извините... Я совсем не хотел обижать ни вас, ни себя. Слышите?

Но он, наверное, не слышал...

Поселившаяся было во мне легкая радость померкла. Я вышел из дому по очередным делам. Над улицей в воздухе реяли сверкающие пушинки. Пахло свежим снегом, хвоей и чуть заметным настоем моченых яблок. На лугу, под малиновой дугой неоновой рекламы, бодрствовал сержант-милиционер. Он был краснощек и ладен в своем темном полушубке под нарядным белым ремнем. Проходя мимо, я поскользнулся и толкнул милиционера, испытав досаду за свою неловкость.

— Хорошая погода, не правда ли? — ободряюще сказал постовой и козырнул мне.

— Не погода, а прелесть! — с чувством сказал я,

потому что ко мне неожиданно вернулось утерянное настроение.

— А вы замечаете, как пахнет? — немного таинственно спросил сержант.

— Снегом, елками и яблоками! — сказал я.

Он согласно кивнул, но тут же спросил:

— А вы, извините, что курите?

— Сигареты. «Дукат», — сказал я. — Хотите? Это бывает, знаете, забудешь купить и...

Я сунулся было в карман, но сержант движением руки остановил меня и застенчиво проговорил:

— Нет-нет. Я перешел с нынешнего дня на трубку... Вам знаком запах «Золотого руна»? Неужели нет? Это же... ну, как вам сказать? Это же сплошная прелесть! А если на морозце, то... Хотите попробовать? Прошу вас!

Его слова, глаза и вся фигура выражали ту добро-сердечную настоятельность, которой нельзя ответить отказом. Было очевидно, что этому человеку необходимо поделиться с другими тем, что он только что обрел сам, иначе какая же ему от этого радость! Я вожделенно потер руки и сказал:

— С удовольствием попробую.

— Извольте-ка, — сказал сержант, протянул мне новую черешневую трубку, набив ее табаком и обтерев мундштук чистым листком из блокнота. Я глубоко затянулся, затем выдохнул клуб душистого дыма, и, когда он наплыл на сержанта, тот привстал на носки сапог и сладко зажмурился.

— Хорошо! — сказал я.

— Это не то слово, — мечтательно сказал сержант. — Затянитесь, пожалуйста, еще разок!

Расстались мы с сержантом минут через десять. Под лунным светом фонарей по-прежнему реяли сверкающие снежинки, и в воздухе растекались чистые струи медово-мятного аромата. Я был на середине мостовой, когда нужный мне автобус тронулся с остановки. От избытка дружественных чувств, вынесенных от встречи с сержантом, я прощально помахал ему перчаткой, но он вдруг замигал сигналом правого поворота и остановился у края тротуара.

— Вы в центр? Пожалуйста, заходите, — сказала девушка-кондуктор, выглянув в раскрывшуюся дверь. У нее были пушисто взбитые волосы и по-детски восторженные

глаза. — Будьте добры, проходите вперед, там свободное второе правое кресло. За билетом я к вам подойду.

— Вы очаровательны! — галантно сказал я ей, и никто из пассажиров не обратил на это внимания, потому что многие из них непринужденно и приглушенно разговаривали друг с другом.

В центре города я немного погулял по проспекту, — было любопытно и радостно встречаться с прохожими, несшими в руках пакеты и свертки, а на лицах — оживленную беззаботность и добродушие.

В редакции, куда я нес свой рассказ, вахтер приветливо поздоровался со мной и сказал, хотя я не спрашивал его об этом, что редактор у себя и, наверно, ждет меня. Я угостил его «Дукатом», и он взял сигарету, но не знал, куда ее деть, — не курил, очевидно. В приемной редактора девушка-секретарь, похожая чем-то на девушку-кондуктора из автобуса моего рейса, поднялась из-за стола мне навстречу и спросила, как ей обо мне доложить. Я назвал свое имя, и она скрылась за дверью редакторского кабинета, но тут же вернулась и сказала:

— Раздевайтесь, пожалуйста. Вас ждут.

Редактор действительно ждал меня.

— Рад вас видеть, — сказал он, идя ко мне навстречу. — Как поживаете? Что принесли? Статью? Очерк? Фельетон? Ах, рассказ! Великолепно! Давайте, батенька, давайте... Так-ак! Ин-те-рес-но! Гм. Остро! Свежо! Критико-реалистично... Именно то, что нам нужно! Как вы поживаете? Надеюсь, все в порядке?

— Благодарю вас, все идет отлично. Как здоровье вашей дорогой тещи? — наобум спросил я.

— Она поправляется, — сказал редактор. — У нее ведь феноменальное сердце!

— Да, она замечательная женщина, — сказал я. — Не смею вас задерживать. До свидания.

— Всего хорошего, — сказал редактор. — Рассказ я сегодня же зашлю в набор...

На проспекте по-прежнему было оживленно и весело. Я зашел в универмаг и стал обходить этаж за этажом, решительно не представляя, что купить другу в подарок на день рождения.

— Вы чем-то озабочены? — участливо спросила продавщица галантерейно-смешанного отдела. Странно: она чем-то походила на секретаря редактора.

— Понимаете, нужен подарок другу, — сказал я. — У него завтра день рождения.

— Вы хотели бы для него что-нибудь символически подтверждающее вашу дружбу, не так ли?

— Совершенно верно! — воскликнул я. — Вы очень проницательны.

— Благодарю вас, — сказала она, — но мне хотелось бы знать, чем ваш друг увлекается. Лыжный спорт? Шахматы? Музыка?

— Он рыбак и охотник, — сказал я. — И вообще хороший человек.

— Не сомневаюсь в этом, — сказала девушка. — Не могли бы вы в таком случае зайти к нам ровно через час? К тому времени мы подготовим сюрпризный подарок вашему другу. Не беспокойтесь, это будет совсем не дорого.

Я снова очутился на проспекте. Было хорошо сознавать свою причастность к этому предновогоднему сверкающему миру и хранить в сердце почти родственную привязанность к населяющим его людям. У меня было достаточно времени, чтобы посидеть в кафе. Элегантный, чем-то похожий на дипломата официант корректно и в то же время немного интимно спросил, что мне угодно: ужин или просто закуску. Я заказал закуску и сто пятьдесят граммов коньяку.

— Пожалуйста, — сказал официант. — Но я позволил бы себе заметить... если, конечно, вы не возражаете?

— Сделайте одолжение, — поспешил я.

— Мне хотелось только посоветовать... Не лучше ли вам заказать только сто граммов алкоголя? Едва ли сто пятьдесят будет вам полезно. Вы не находите?

— Да, пожалуй, — согласился я. — Благодарю вас.

— Пожалуйста, — сказал официант.

Через час я возвращался в универмаг за подарком другу. Проходя мимо зеркальной витрины, я вдруг обратил внимание на то, что в моей фигуре появилось что-то очень схожее с той легкой осанкой, с какой я ходил когда-то на свидание со своей будущей женой...

Дорогой читатель! Как вам живется в новом году? Пусть вам в нем каждый день встречаются люди, похожие на безымянных героев из этой моей невинной сказки-мечты.

**Из архива
писателя**

К ПОВЕСТИ «УБИТЫ ПОД МОСКВОЙ»

Через деревню идут отступающие. Старший лейтенант без левого уха. Один. Попросил есть. Ему дали. Собрался почти весь взвод. Три дня выговаривает: «СССР! Дальше всех летали... Глубже плавали! И ни одного автомата! Великий вождь. Ха-ха-ха! — в душу его нерусскую, темную... С пол-литром на танк, а? Ты знаешь, лейтенант, как немцы называют эти пол-литры (он когда ел, все время поглядывал на бутылки) — сталинским коктейлем! Коктейлы! Фанерные самолеты — чижики! Полстраны за три месяца. Мерзавец!!»

Алешка выстрелил в него — в грудь.

В особом отделе Ястребов написал объяснительную.
— Можете идти! Хотя мы подвезем вас.

О детстве: — А что было? Двор — темный, каменный, глубокий. Всегда одно и то же — белье, розовые кальсоны с отвисшей мотней. Непросыхающие лужи мочи по углам двора (в Москве не было общественных уборных)...

А у Алексея иначе: Любач, Бешеная лощина...

К ПОВЕСТИ «ПОЧЕМ В РАКИТНОМ РАДОСТИ»

Я уезжал рано утром. Солнце золотило верхушки хат, и ветряк, оставаясь еще в тени, стоял в поле — и хорошо, что стоял, и крыло его, озаренное светом, золотилось, как плюмаж над шлемом сказочного русского богатыря, вышедшего из победного боя...

Я выехал в поле, остановился и вылез из машины, невидимое, но все в солнце лежало там, позади, Ракитное.

К ПОВЕСТИ «ДРУГ МОЙ МОМИЧ»

Слово «коммуна» звучало так же загадочно и маняще, как и вычитанные из книг сказочные названия других городов и стран — Рио-де-Жанейро, Австралия, Мадагаскар...

Но не те люди жили в ней, не в том доме, не так, коммуна тут была ни при чем, — та коммуна, о которой мы грезили с теткой.

По утрам в воскресенье, когда звонил колокол, небо могло быть затянуто облаками и земля могла обходиться без солнца, но после «кобедни», когда люди домой шли из церкви — обедать, мне хотелось синего неба и солнца.

Два Зюзи. Один тот, что кричал когда-то непутевые частушки про Костю, давал мне закуривать, уезжал с нами в коммуны, а там посылал меня в Саломыковку подглядывать «шасеку-пац», и второй, в хромовых сапогах, в кожанке, верхом на Момичевом жеребце, председатель камышинского сельсовета.

Два Момича — тот, с которым строили клуню, метал парину и ездили в Лугань лечиться, и второй, сгребавший в подол рубахи снег, перемешанный с полудохлыми пчелами, разорвавший тын, чтоб нагреть воды.

Две тетки — живая, в красной косынке, с одуванками в руках, смешливая, моя, и вторая — обряженная Звукарихой...

Два меня самого — тот, что по утрам радовался солнцу, лугу, речке, и второй — сразу вспоминавший все-все зимнее...

Момич, когда зарыли тетку, взял ком земли с могилы и на виду всех сунул руку под рубаху и растер землю против сердца, чтоб скорбь отлетела.

В колхоз их не зовут, голод, рушат Момичев двор, оставляя клуню; приход Саньки в сельсовет и портрет Сталина и Ворошилова, и он думает, что они тоже хотят есть — так легче ему.

В Момичевом сарае поймал двух голубят; толстозадые и тяжелые. Сварил.

— Что то? — спросил Царь.

— Голубят, — сказал я. — Ешь скорей, один...

Я выпил сладкую жижу и лишь спустя годы узнал, что это можно было назвать бульоном.

Саньку везет в Лугань Халамей.

— Слухай, не бегай, гляди, ты ж маленький, чего они сделают тебе, а я пропаду.

— Слухай, давай я свяжу тебя, а?

— Зачем? — спросил я.

— А чтоб не убег... Мало ли. И ежели ты того... то меня и заберут. А тебе они ничего не сделают, а кормить, может, будут.

Халамей все стоял на телеге и глядел на меня изпод руки, — не знал, видимо, куда ему ехать.

Положил голову на руки и заплакал, потому что ничем нельзя было завершить то, что кончилось, потому что я опять, как тогда, уходя из Камышинки, беззвучно шептал как угрозу живым и как клятву мертвым, что я не пропаду, не пропаду, потому что нужно было плакать, подумал, что все кончилось, а я остался, и что ростом с Георгия Победоносца...

— Вот ведь дело-то какое: эти мне чужие, а твоим я чужой...

— А ты чужой «моим»? — спросил я.

— Чужой, — убежденно сказал он и несколько погодя добавил: — И никто из нас не знает, отчего это... Из-за моего обличия? Я ж сроду не был... этим... кулаком. Знаешь же!

— А Голубова кто?

— Ай забыл? Эту собаку мы с тобой вместе... Только поздно это вышло у нас. Надо б раньше!..

— До советской власти, что ли?

— Нет. До Егоровны, — сказал Момич и встал. — Ну вот что — я пойду, и ты мне пока не чини помехи. Дён через десять приду и расскажу, что и как.

МОМИЧ О ЗЮЗЕ-ПОЛИЦЕЙСКОМ:

- И что, он постарел?
- Да какой был, такой и остался. Зюзя, одним словом.
- Не очень-то ты хорошего мнения о своем помощнике.
- Он и этим служит.
- Кому?
- А кому он всю жизнь служил?
- Тогда он служил... советской власти.
- Никакой властью тогда и не пахло. Разбой то был, вот что!

К ПОВЕСТИ «...И ВСЕМУ РОДУ ТВОЕМУ»

Беседы с Яночкиным

— Да здравствует талант и будь проклята посредственность.

Тот притих (Яночкин).

— Нет, не обязательно, чтобы она была проклята. Но надо, чтобы она не лезла на трибуны и пьедесталы. Это не только... но опасно для народа. Нельзя вылезать в князи из грязи.

— А это почему?

— Не хочу объяснять. Вы не поймете, потому что не захотите...

— В наше время человек должен быть всесторонне и глубоко образован, уметь самостоятельно мыслить... Иначе общество невежд и дураков ждет катастрофа.

— Какая?

— Ядерная.

— Это только капиталисты сгинут.

— Среди них, наверно, тоже есть дураки, — сказал Сыромуков.

— Они не дураки, — возразил Яночкин.

Сыромуков засмеялся.

— А по-моему, из вас командир отряда, как из моего...

Павел Петрович запнулся, и Сыромуков подсказал:

— Тяж, верно?

— Ага, во-во!

— А ну-ка, давайте поднимемся в палату! — приказал Сыромуков.

— Давайте, давайте!
— А что мне там делать?
— Выпьем. И я покажу вам свой снимок в книге. Там я молодой и красивый... Пошли, ну?
— Ну пошли, — неуверенно сказал Павел Петрович. (Как шли, П. П. уже не уверен в своем. Книга. Беседа. Выпили. П. П. согласен.)

— Представьте себе, Петрович, мой отец был офицером.

— Красным то есть командиром?

— Нет. Настоящим офицером. Белым. Деникинцем.

— Ну, это... не знаю. И как же с тобой потом обошлось?

— Я его не помню, потому что родился при советской власти.

— Да какая же разница, — сказал Яночкин, — он-то где?

— Расстреляли.

— Значит, было за что!

— Вполне возможно, что было. Ему шел двадцать второй год, а в эту пору жизни люди обычно не жертвуют лицом ни ради спасения своей шкуры, ни ради положения.

— Белый есть белый, — сказал Яночкин. — Фабрикант, что ль? Или торговец?

— Нет, мы из сельской местности средней полосы России, из ЦЧО.

— Значит, помещики?

— Захудалые мелкопоместные дворяне. Но усадьба моего отца цела до сих пор. Сейчас там управление совхоза. Дом каменный, двухэтажный.

— Помнишь, стало быть?

— После войны ездил посмотреть.

— Пустили?

— В дом?

— Вообще.

— Вообще пустили. И в дом тоже. Потому как я был старший лейтенант госбезопасности.

— А вот, например, дворницкие лопаты.

— Это какие?

— Которыми снег счищают в городах.

— Ну и что?

— А то, что производство таких лопат у нас пока не освоено, их делают сами дворники и дворничихи. Знаете как? Покупают пилу и приделывают ее к месту... зубьями наверх. И это во всей стране на протяжении десятков лет! Представляете?

— Ай-яй-яй, какая беда! — сказал Яночкин. — А кто спутник сделал? Забыли?

— Нет, — засмеялся Сыромуков. — Вы и сделали. Мы!

— Вот то-то!

— Ага, — сказал Сыромуков.

— А вы были в каком-нибудь музее Пушкина? — спросил Сыромуков.

— Многих.

— Так вот же наврано, сделано, выдуманно. Все не так, как было тогда при нем, в жизни. Все ложь. А главное, никто из слушателей не согласился бы на то, чтобы тут, в этой пушкинской квартире, осталось для людей все так, как было при нем.

— Но вы, наверно, помните из книг, как однажды Демосфен говорил о Филиппе, а ветреные афиняне толковали между собой о новостях дня. Раздраженный оратор начинает рассказывать им пустую побасенку — и афиняне слушают его внимательно.

«Боги! — воскликнул великий оратор. — Достоин вашего покровительства народ, который не хочет слушать, когда ему говорят об опасности, угрожающей его отечеству, и внимательно слушают глупую сказку!»

— Вот, например, курево. Бог дал человеку единственную и, наверно, оптимальную возможность жить — красиво, дышать вольно кислородом. Это, значит, запахи рос, цветов, грибов, муравьиных кочек и так далее. И все это дано ему так, на его пользу. А он — сам, видите ли, — придумал для себя такой фимиам, как табак. И еще водку! Ну что может быть глупей и постыдней этого напитка.

— Вы непьющий?

— Почему это? — почти обиделся Сыромуков. — Люблю коньяк.

— Это другое дело.

— Но я, как всякий советский интеллигент, лишен возможности купить его.

Яночкин сделал какой-то определенный вывод, от которого не в состоянии отказаться. Сыромукову хотелось узнать, кто он по специальности.

В его рассудок набилось много всевозможного мусора, как набивается он в шерсть долго не сменяемого кожуха.

— А отчего коты орут в марте? Собаки вот молчком сходятся и другие животные, а эти почему-то кричат. В чем это дело?

— Голова у них маленькая, а удовольствие большое. Не выдерживает. С людьми так тоже бывает, при назначении на должность не по размеру головы.

Они заводят речь о счастье на земле. Яночкин говорит, что будет лучше. Сыромуков слабо возражает, — мир стареет, идет к затуханию. Да и смотря что считать счастьем.

— А ты что считаешь им?

— Наверно, молодость, здоровье, радость.

Здесь он думает, как со временем тускнеют его радости. На что откликалось сердце. Что оно помнит. И разум — лукавый дипломат.

— Ну, а белье и одежду, где вы брали?

— С этим плохо было, — нехотя сказал Сыромуков. — Но баню мы делали себе каждые десять дней. Как и в армии.

— Это же как?

— В Прибалтике у каждого хуторянина своя баня.

— И все помещались?

— Да нет, посменно. Кому-то ведь надо было в охроне хутора быть. И хозяев развлекать.

— А зачем это?

— Чтобы не скучали о соседях.

Они должны были доносить властям, что мы у них были. Они обязаны были сообщить правду — сколько нас было, чем вооружены, в какую сторону ушли.

— Я, Павел Петрович, житель Земли, и поэтому меня в первую очередь интересуют местные, а не космические нужды.

— Это какие же?

— Например, домостроительные, дорожные, лесные, водные и так далее.

— Этого добра, этого у нас хватает! — бесшабашно сказал Павел Петрович.

— Я вижу, Павел Петрович, что горести мира сего не занимают места в ваших мыслях, — засмеялся Сыромуков. — А ведь воздух и воду мы в последнее время успешно загаживаем, леса сводим, а дорог у нас плачевно мало.

— А вот насчет ответственности у вас как было? Строго?

— Да, как в старину.

— А это как?

— Боярин отвечал головой, а князь уделом.

Яночкин немного помолчал.

— А это самое... Оперуполномоченный особого отдела у вас был?

— Не-э, — равнодушно ответил Сыромуков.

— Не полагался?

— Не-э.

— А кто же выполнял его функции?

— Их тоже у нас не было. Функции ведь идут от должности.

— погоди, но ты говорил, что в отряде находился большой процент окруженцев и других темных элементов.

— Нет, насчет темных, — перебил Сыромуков, — я ничего не говорил вам, Петрович. У нас все были русые.

— Да я не о том.

— Понимаю, — сказал Сыромуков, — вы имеете в виду шпионов и предателей, да?

— Ну конечно.

— Видите ли, у нас каждый должен был добыть себе оружие сам, а так как купить или, скажем, украсть его было негде, то существовал единственный способ — отобрать у врага, а тот даром ничего нам не давал.

— Подожди, чем отобрать-то? Голыми руками?

— Вот это уже вопрос по существу жизни. Но отряд возник не сразу. Первая винтовка была отобрана у полиция.

— А вы что, не воевали? — спросил Павел Петрович.

Сыромуков почувствовал интересное для себя и ответил:

— Да как вам сказать? А что? Заметно?

— Вот-вот! Дуриком проскочили войну. Поэтому и сохранились таким?

— Каким? — с удовольствием спросил Сыромуков.

— Мальчиком.

— Мне просто повезло.

— В тылу?

— Был и в тылу. Только не в своем. Но мне, наверно, повезло в ином плане, — загадочно сказал он.

— Это в каком же?

— Меня всю жизнь гоняли, Павел Петрович, а это все равно что с гончей собакой. Чем больше она бежит, тем лучше становится.

— Слушай, Богданыч, ты бы рассказал что-нибудь про отряд свой. Как воевали.

— Это, Петрович, не просто сделать. Рассказывать о партизанстве очень трудно. Почти невозможно.

— Почему?

— Потому что стараешься угодить слушателю и поневоле низводишь быль до полной сказки...

— Так, значит, тут все, говоришь, парадное?

— Победное, — сказал Сыромуков. — А я ведь знаю, как мы дошли до этого!

— Все знают!

— Нет, — возразил Сыромуков, — об этом знают только те, кто воевал, а остальные судят по парадам.

Спички. Коробок. Какой?

На нем по солнечному полю было написано по-английски, что это сделано специально для арабской республики.

— Что ж, это хорошо — сочинить что-то приятное для арабского бедуина, но для белорусской бабы тоже пора бы сделать что-нибудь веселое, чтобы она в тридцать лет не выглядела старухой с померкшими глазами и не ходила в умопомрачительном плюшевом саке и кирзовых сапогах!

— А где вы встречали таких белорусок?

— Ну хотя бы на Белорусском вокзале в Москве. Кстати, на Казанском и Курском можно увидеть тоже таких же женщин. Они всегда нагружены какими-то нелепыми узлами. Как в войну.

— Не замечал.

— Не бывали там или не хотели замечать?

— Каждый видит свое!

— Вот именно, — сказал Сыромуков.

К РАЗГОВОРУ С ЛАРОЙ

— Давайте в дальнейшем так: вы раз и навсегда запомните, что я в своей жизни видел крови больше, чем вы чернил, поняли?

— Вот бы никогда не сказала, что от вас уйдет женщина! Наверно, вы слишком мало уделяли жене внимания, — рассудила она. — Но скорее всего, что сама бывшая жена не любила вас, — вдруг сказала она.

— Почему это? — задето спросил Сыромуков.

— Потому что иначе она не ушла бы.

— И все же мы разошлись!

— Ну да. Потому что не любила, — упрямо сказала малютка. — Она ведь хотела только получать, а вы не давали, вот и все. А любить — значит давать.

— Это вы из какой книги? — спросил Сыромуков.

— Не из какой. Меня тоже бросил муж.

— Муж? — откровенно удивился Сыромуков.

Она что-то поняла и обиделась. И чтобы загладить свою оплошность, Сыромуков сказал, что ее муж просто дурак.

— Ничего подобного! Мой муж очень умный, образованный и интеллигентный человек!

— Как хорошо и важно кое-что до самой смерти не знать. И о луне. Как благородно она шлифовала душу. В школе ведь этого не почерпнешь, только сам. А теперь извольте — это безжизненный ком пемзообразной породы с громадным слоем пыли, отраженный чужим светом. Черт-те что! Вам это нужно? Мне, например, нет. Это не помогает жить. Вы только вообразите, что Луне, оказывается, четыре с половиной миллиона лет. Это куску-то сухого дерьма в космосе, а не месяцу, не тому таинственно загадочному ночному светилу, которое на протяжении всей истории человечества вдохновляло его лучших представителей слагать колыбельные песни потомству.

— А разве это нужно?

— Что? — опять ошеломленно спросил Сыромуков.

— Ну... обман. Предрассудок. Невежество.

И было задето самолюбие, и тянуло, хоть и немного, унижить ее. Он ждал ее, а сам все еще продолжал чувствовать свою ничтожность и досаду. Ему не совсем было ясно, на кой черт он пригласил ее в город.

Это потому, что он солгал о жене — она не бросала его ради другого. Просто уехала в тот город, где они встретились впервые.

Они пили, и она рассказала, как у ее подруги, в Москве, умирает отец, 83 лет, и не умирает. А они ждут смерти его, но и плачут.

— Давайте выпьем за здоровье этого старика, — сказал Сыромуков.

— А вы видели его (Хемингуэя) последний снимок? С таким предсмертно-виноватым выражением?

— По-моему, оно, выражение это, означает, что твое поведение почти всецело зависит от поведения того, с кем ты вынужден общаться, когда все идет наперекор и крест-накрест! Как выдержать свое естественное поведение, если оно непонятно тому, другому? Приходится подлаживаться, и тогда на лице человека появляется вот такое хемингуэевское выражение...

— В мире много поддельного.

— В природе? Сфере?

— В мире человеческих взаимоотношений.

— Да, нам иногда не хватает здравого смысла, — сказала Лара.

Она, наверно, хотела понравиться, потому что не задавала вопросов, не противоречила и не выказывала свою ученость.

— А как у вас обстояло в прошлом дело с женщинами? — неожиданно смело спросила она.

— Плохо обстояло. Во-первых, их было ничтожно мало.

— Жалеете?

— Да, — равнодушно признался Сыромуков. — А главное, ни одной красивой, яркой!.. Какие-то ослицы.

— Почему?

— Меня всегда привлекали бесприданницы природы, как бы вам сказать? Ну, сироты, что ли? Кому надо было дарить и дарить.

— Что дарить?

— Себя.

— Значит, вы уже в юности смотрели на себя, как на подарок... нам?

— А вы язва! — сказал Сыромуков. — Я не помню, как смотрел сам на себя, а вот на меня эти мои печальные девы всегда смотрели, как на собственность.

С первого же знакомства. Они всегда были страшно добродетельны и целомудренны. Мне неизвестны обоюдные радости.

— Понятно. И вам, значит, приходилось любить и плакать, любить и плакать.

Она затаенно смеялась, пожалуй, даже издевалась, и Сыромуков вдруг подумал, что ей надо было бы быть повыше ростом. Хотя бы немного.

— Вы рискуете, Лара Георгиевна, услышать от меня грубость.

— Ну! Этого вы не позволите себе, милорд. Где вам грубить такой, как я! Вы ведь желаете покровительствовать мне, руководствовать мной, не правда ли?

— Конечно, — растерянно сказал Сыромуков.

— Ну вот видите! И цель у вас высокая, благородная...

— Не надо, Лара. Я вполне оценил вашу пронизательность.

Лара ошибочно принимала живопись своих озлобленных мыслей за глубокий ум.

Эта ее неожиданная злобная агрессивность, почти наглость, не обижали его, а почему — он не знал и не стал допытываться.

— Ну и отхватил себе тютельку! — сказала одна из женщин. А через некоторое время вторая, и тоже женщина, произнесла тоном кандидата педнаука:

— Какие крайности!

Сыромуков попытался было утешить себя новой философской мыслью, что стремление людей к симметрии указывает на недостаток их мышления, но это не помогло.

— Вы, конечно, встречали в газетах примелькавшиеся заголовки статей «Может каждый»? Так вот — это придуманная ложь или заблуждение. Не каждый и не все может. И это хорошо, иначе, если каждый захочет мочь, мы рискуем превратиться в китайцев!

— Почему именно китайцев?

— Ну, процесс их культурной революции тогда станет неизбежным. Поправление всех духовных и материальных ценностей, созданных выдающимися людьми истории. Это во-первых. Во-вторых, не станет талантов, поскольку для них не будет условий. Каждый ведь может!

— Не знаю, приемлемо ли это ваше суждение.

— Приемлемо для чего?

— Для нашей страны.

— Конечно, приемлемо, — сказал Сыромуков. — Мы ведь не отказываемся от преград для неспособных, когда те пытаются проникнуть в высшие учебные заведения. Конкурсы и есть преграда для них. Одним словом, нам нельзя допускать, чтобы восторжествовала стационарность.

— А чем это опасно?

— Застоем движения, раз мы уничтожаем перепад уровней.

— Не знаю, — протяжно сказала она, — нужно ли это.

У них дружба-вражда. Они должны немного издеваться друг над другом: она над его старостью, т. е. над стремлением казаться моложе своих лет, он — над ее претензиями на ученость и осведомленность.

— Ваша бесцеремонная непосредственность может найти только одно оправдание: вы ограждены от моего достойного вам ответа сознанием своей безнаказанности как женщина и моя спутница, ясно? Между прочим, вы не оригинальны. Уже много веков так называемые «представители народа» всячески мстят нам, дворянам, за то, видимо, что мы ни в чем не похожи на них, а они на нас.

— Ах вот что? Вы, значит, дворянин?

— Да, столбовой. Мой пращур был сподвижником и другом генерал-фельдмаршала Гурко.

— Скажите пожалуйста! А кто же ваш отец?

— Когда он погиб, у него было звание штабс-капитана и двадцать один год за плечами.

— Когда он погиб?

- Через год после того, как я родился.
— А когда вы родились?
— Очень давно. Вместе с Россией. Давайте, пожалуйста, выпьем. Прошу вас!
-

Вдруг он ощутил упругий, горячий и трепетный ее язык у себя во рту и отметнулся, почувствовав тошнотворный приступ. Требовалось немедленно сплюнуть, но для этого надо было закурить, чтобы откусить кончик сигареты и забить рот табаком. Он так и сделал — молча и поспешно, а потом стал шумно плевать в кусты. Она каменно сидела рядом, белея в полутьме лицом.

— Черт ее побери, эту «Приму», — сипло сказал Сыромуков.

— Мне холодно, — пожаловалась она. Голос ее дрожал и срывался.

Сыромуков отбросил щелчком сигарету и поднялся со скамейки.

— Да-да, пойдемте, а то нас не пустят.

— Но еще рано, — недовольно сказала она. — Зажгите спичку, я проверю время.

Сыромуков засветил спичку и посмотрел на свои часы. Было половина десятого.

— Ну и что? Еще полтора часа, — сказала она. — Садитесь!

— Мне надо написать сыну письмо, — твердо солгал Сыромуков.

Она срыву поднялась и пошла одна, странно неся перед собой руки. Сыромуков шел в шаге от нее и то и дело неслышно сплевывал в сторону.

И Сыромуков стал искать правдоподобие предлогов, которые бы помешали ему встретить малышку...

Когда он увидит малышку, то у него не будет желания не только вспоминать ее имя, но вообще знать ее.

...По праву твоей интеллигентности, слабости, джентльменства, и вот изволь сидеть и трусливо ждать, когда она лишит тебя репутации серьезного человека, излохматит отпуск.

О ЕЛЕНЕ

Он часто меняет место работы, учится заочно. А как стал архитектором? Ведь заочно нельзя приобрести такую специальность, а до войны не успел.

Она окончила гимназию (женскую), работает библиотекарем, приносит из фондов заказы. Быстрая ориентация, способность быстрее всех находить нужные заказы. Учится заочно на факультете иностранного языка (немецкого) в Московском институте иностранных языков им. Мориса Тореза.

-
- Неужели мы не дождемся счастья?
— Дождемся, — сказал я, — но мне не хватит для этого моей молодости.
— А мне?
— Ты останешься навсегда девочкой, навсегда, — сказал я.
— Разве это хорошо?
— Что? — спросил я.
— Остаться навсегда.
— Моей девочкой. Седой, — сказал я.
— Ты ведь писатель, — сказала она, — а это плохо. Нельзя ничего выдумывать в жизни, пусть это будет даже красивое. Нельзя врать.

— В детстве я никогда не могла одна съесть конфеты, сладости, которые мне давали в гостях. Всегда несла их братьям. Мама меня всегда брала в гости с собой. Так это осталось на всю жизнь. Для себя все потом, когда будет больше возможностей. Проклятая Достоевщина, и от нее никогда не избавиться. А ведь можно вначале для себя, потом другим, что останется. Конечно, это принципиально другая основа характера. Тогда все по-другому.

— Никогда не забуду, как какая-то Бакшина, твой заместитель, однажды ночевала у нас и, видя, что я стираю пеленки Дениса, таким невинным голосом попросила: «Леночка, простирните мои рейтузы, я так устала от организаторских дел, вы знаете, ведь ваш муж очень молод и неопытен в торговых делах, мне приходится его выручать».

И я простирнула. Меня до сих пор от этого тошнит.

У Елены гордость преобладала над чувством и даже разумом, и она своим поведением отняла у него самое дорогое достоинство — веру в себя.

Сыромуков так и не постиг, почему после ухода жены его квартира приобрела совершенно необъятные для его разума просторы.

Всюду вдруг стало вольно, широко, невообразимо; и могли приходиться люди и оставаться на ночь, и всем им хватало места.

Воля!

ВОСПОМИНАНИЯ. РАЗДУМЬЯ.

— Ты знаешь, что такое «мерячение»?

— Нет, — сонно сказала она.

— Это разновидность душевной болезни, выражающейся пугливостью, неудержимым подражанием словам и действиям окружающих. Впервые болезнь была замечена на острове Ява. Но в 1868 году наш русский доктор Кашин наблюдал ее в Забайкальской области. Болезнь может захватить большое количество лиц, вследствие ее психической заразительности. Случаи излечения мерячения неизвестны.

Кайзер остановился и оглянулся на меня, глаза у него были громадные и тревожные. Я заревел, и он заржал тоже. А белый высокий вал — от неба и до зем-

ли — накатно сползал с Долгого мыса к нам, в лоцину.

Он надвигался с каким-то необъяснимым, жутким нарастающим шорохом, и от него несло холодом, как из погребца. И тогда Кайзер догадался, что надо делать, — зная, наверно, по прежней своей степной жизни. Он так резко и круто обернулся кругом к валу, что я сверзился с него вместе с зипуном, а Кайзер расставил передние ноги и просунул между них голову — спрятал ее. Я залез к нему под живот и подобрался к передним ногам, чтобы обнять его за голову, чтобы мы видели друг друга. И тогда на нас обрушился град, голубой и продолговатый, как грачиные яички. Тело Кайзера дрожало, гулко звучало, и он стал медленно подгибать ноги и придавливать меня к земле. Наверно, я испугал его своим криком, а может, он сам догадался, что нельзя приседать. Я сижу под ним, и ноги его выстремились. Временами он хрипло и коротко ржал, и тогда я кричал тоже...

Потом, когда град кончился и шел только дождь — теплый, тихий и отвесный, Кайзер перестал прятать голову, выпрямился и притаился — отдыхал. Тогда и я вылез из-под него на свет божий. Градины уцелели только на зипуне, а в траве их уже почти не было — потаяли... В моей сумке оставался еще хлеб. Мы съели его сладко и дружно, и Кайзер пригнул шею, но сначала я вскинул ему на спину зипун.

Мать встретила меня и Кайзера так, как, наверно, встречали в старину вернувшегося с войны ратника. И конь цел, и седок невредим...

Кайзер жил долго и красиво, и о нем и о себе с ним я мог бы рассказывать бесконечно, о хорошем и радостном очень хочется высказать все разом и единым словом, которого я не нашел пока. Кайзер погиб нелепо и горестно: в тридцатом году на нем поехал в город председатель нашего только что созданного колхоза. В седле поехал. Этот человек не знал, что Кайзера нельзя было стегать ни хворостиной, ни плеткой, а он ударил его, и Кайзер понесся и на потеху чужого хмельного седока пробежал галопом двадцать верст...

После его смерти тогда я долго и опасно хворал...

Да, этого человека Сыромуков возненавидел на всю

жизнь... Тогда же было так. Кайзер погиб в конце зимы, на масленицу, и недели две Сыромуков не ходил в школу. На Великий пост в те далекие времена приходился какой-то небольшой и нешумный, но все равно хороший и добрый праздник — «сороки». В этот день полагалось печь коржики в виде птиц и сажать на ветки деревьев, чтоб закликать-приманивать из чужих стран жаворонков. Снег к тому времени превращался в бурое крупитчатое месиво и пахло от него почему-то железной лопатой, и текли ручьи, обнажались взлобки, и на них слетались мокрые исхудавшие грачи с разинутыми клювами. Да-да. В этот день мать насильно выслала его из хаты. Птицы-коржики были горячие-горячие, прямо из печки, и он рассадил их в ветках ракитки, росшей над окнами хаты, а чтоб закликать — надо было петь или хотя бы свистеть...

Да-да. Так вот оно и получается. Сначала свищишь, а потом кое-как поешь, и все проходит, любая боль...

РАССКАЗ МИХОНА

— Приехала из областной газеты корреспондентка. Мы ее встретили с председателем как положено. Ночевать определили, угостили... Между прочим, водку не пила. Мы с председателем отлучимся, выйдем на крыльцо, шараннем по полстакана своего коньячку — и опять за беседу с нею. Дотошная баба оказалась, грамотная. В декабре дело было... Ну, отправили мы ее, а дня через три в «Ракитинской правде» статья вышла «Кормовой баланс одного колхоза». Нашего, значит... В общем, она вывела нас там в первые по району и области по запасу кормов. На полтора года у нас было по этой статье корма. Ну, вышла и вышла газета. Только через неделю прихожу я в коровник (коровы у нас висели на матицах на веревках) и вижу: перед одной прямо перед мордой висит газета. На нитке привязана к рогам. Ну мы сообщили в район, оттуда приезжал из МГБ... Забрали тогда Кусичку и Аноху. А я думаю, что это не они вывесили газету...

— А какая разница? — спросил я.

— Большая, — сказал Михон. — Они ж по пяти лет

отдули. А газету вывесила доярка Ньюшка-лесовая. Это я точно знаю.

РАССКАЗ ШОФЕРА СЕКРЕТАРЯ РАЙКОМА

— Приедем в колхоз, секретарь остается на месте, а мне приказывает сделать круг на «Волге» по проселочным дорогам километров двадцать пять или тридцать. Каждый раз так. «Ну что он, думаю, очумел? Зачем гонять?» Ну я и спрашиваю его: «Афанасий Иванович, говорю, чего это я езжу?» — «А что, тебе надоело?» — «Да не то чтобы очень, но зря же гоняю». — «Дурак ты, — говорит. — Ведь мою машину все председатели колхозов знают. Вот и пускай думают, что я у соседа и сейчас к нему заверну». — «Острастка, думаю!»

Маленький старик в большом синем плаще и черной мятой кепке с кирзовой сумкой в левой руке рылся в железном мусорном ящике, вставал на цыпочки, чтобы заглянуть в него, и, когда пошел ко второму ящику, Сыромуков предложил ему удочки, но старик и там ничего не отыскал.

Осенью 1941 года где-то под Волоколамском — как он со своим взводом (остатки роты) отступали.

Была деревенька, целым оставался один домишка, и в нем они — шестнадцать человек — спали вповалку на полу, и стояла железная узенькая койка, и на ней спала хозяйкина дочка, и он, в шинели и в шапке, с полевой сумкой, войдя (поздно уже, когда расставил дозоры), не знал, где прилечь, и сел на койку, на которой она спала (тоже в одежде, в валенках и теплом платке, накрывшись косячковым одеялом). На рассвете они уходили, и он увидел девушку — длиннокосую, скорбную, молчаливую, как мадонна... Как это было? Ну да, взвод уже стоял на улице, когда она молча, одними громадными манящими глазами приказала ему задержаться. Он сразу все понял. Не то понял, чего она ждала, а то страшное, почему ей надо было это, — с

часу на час должны прийти были немцы, и ей нельзя было достаться им девушкой.

Ни единого слова они не сказали друг другу, даже имен своих не сказали ни до того, ни после, когда она взяла его за руку и повела в хлев, где было пусто, и там на куче высохшего навоза легла и закрыла лицо рукавом, и он, стиснув зубы, опустился у ее ног на колени, а потом все совершил, как какую-то избавляющую от мук и позора казнь над ней, все время помня о своих солдатах, что стояли на улице, и немцах, которые вот-вот должны были прийти сюда. Она так и осталась там, в золотом хлеву, и он побежал оттуда, и сам знал, что никто из солдат не мог бы догадаться, где он был и что делал в эти пять минут, ибо лицо у него было злое, беспощадное и чуть-чуть помешанное, какими становились лица у всех солдат во время атак, когда не было уверенности, останутся они в живых в этом бою или же погибнут. В его памяти так и запечатлелся на веки вечные этот пустой холодный хлев, приобретший со временем облик храма с золотым тронном-ложем, где они свершили безмолвное торопливое приношение какой-то искупительной жертвы перед Богом, Россией и всем родом своим, и он никогда и никому не сказал об этом ни единого слова и знает до сих пор, что об этом нельзя рассказывать человеческим языком, — тут нужен иной, какой-то надмировой, сверхчеловеческий язык, молитвенный, немой и грозный... и святые уши.

Да-да, попробуй сейчас кому-нибудь рассказать об этом и не встретить молчаливое и пошлое гы-гы, знаем, мол!

Над его квартирой, — слава Богу три комнаты, — в такой же квартире над ним жили три семьи. И каждую ночь в субботу и воскресенье там устраивались гулянки с затяжными грузными плясками, когда сотрясался потолок и с него осыпалась штукатурка. И Сыромуков не смыкал глаз и все надеялся, что они все-таки уснут, ибо плясали там в каком-то идиотски размеренном и ленивом подпрыге — трух-трух-трух-трух — по полчаса и часу, а затем прерывались на выпивку, очевидно, и снова — трух-трух-трух, как будто там утряхали мешки с каким-то сырым веским содержимым.

Черт возьми, думал он, черт возьми, если бы знал об этом Алекс!! Сумел бы он так погибнуть?! Вот вопрос!

Карандаш был изящный, белый, как вишенный цвет, но на нем была оттиснута красная жирная черта, и в ней белыми буквами было написано: «ВДНХ СССР». А почему не «Утро» или «Ромашка»? Ведь такими карандашами работают в основном детишки, и что им почудится в этом нечеловеческом звуке ВДНХ? Вздор. Все дело в бездарности. А может, в страхе.

В очереди за сдачей бутылок:
— Стань в очереди! (Один на старика-пьяницу.)
— Что? Сам стань, дурак! Что я принес — революцию? Я бутылочку принес!

Во время припадков — спустя день и в тот день — серьезность. Затем приходит легкомыслие и недоброжелательность к людям.

Очень много погибло прекрасных архитектурных произведений, потому что Сыромуков пытался вывести их путем мечтания. Это все были — и остались — призраки, потому что шло вразрез с реальностью, заданностью и серийностью. То, что он делал, не отвечало запросам дня.

Это верно и сегодня, что политика — это искусство мешать людям заниматься тем, что их касается.

Да-да, значение повседневной очевидности сведено к нулю.

Я заметил, что люди, в сущности, враждебны друг другу, — они могут питать обоюдные искренние симпатии лишь в том случае, когда равны здоровьем, летами, имуществом и общественным положением. Но стоит быть нарушенному одному из этих условий, как отно-

шения изменяются, — тогда выступает зависть, враждебность, злорадство.

Сыромуков сказал, что он имел возможность убедиться, какая непрочная в жизни связь между заслугами и наградой.

Насчет того, что он всех и всегда обманывал, суля всем и каждому непомерно много всякого, чего и сам не имел. Лара. И Яночкин. И Елена. И себя обманул. И с хромым стариком тоже.

Он все свое детство и юность ненавидел отца, белогвардейца какого-то, стыдился, скрывал, пока не встретился потом с ротмистром. Что было бы теперь, если бы он встретил его? Мальчика? Его, наверно, надо было приласкать. Обнять. И поблагодарить, тот, наверно, заплакал бы. Родя Письменов. Поручик.

И цветущий луг, и сизая марь таинственной подгоризонтной дали, и нетленная красота ночного звездного неба.

Психологическая неранимость, просто неуязвимость этих людей раздражали Сыромукова.

Все движется страданием и мукой. Без этого жизнь остановится.

Есть сферы, где скромность должна считаться основным правилом — это сексуальная жизнь.

В жизни человека рано или поздно, но непременно наступает период внутреннего двоевластия, — это когда сердцу еще хочется пожить без расчета, а рассудок говорит ему «нет»...

Человека всегда подстерегает глупость, если он подвержен самодовольству, жажде власти, страху.

Он презирал себя за то, что вел себя по отношению к нему достойно.

Чтобы иметь право рассуждать о войне, нужно побывать на фронте.

Если бы современный человек до конца уничтожил вековые обряды и условности, он превратился бы снова в дикаря.

Мне очень трудно принять «напевы» Рождественского за мысли. А вот с Твардовским всегда хорошо. Потому что он настоящий поэт. А тот просто пишущий «возвышенные» стишки, ужасно банальные по мысли.

Но ведь быстрее всего устаревает в этом мире именно новизна. Не потому ли нас тянет к Толстому, Бунину, Гомеру, Блоку, Сервантесу. Книги этих великих побуждают мыслить, освобождают от суеты выбора.

Главная причина нравственных беспорядков нашего времени состоит в усиливающейся страсти к наслаждениям и в отсутствии понятия о долге.

Я всегда боялся и ненавидел тех, кто распоряжается чужими делами.

Он или холуй (когда плакал на трибуне Соболев), впавший в экстаз раболепия перед ЦК, или лукавый политик и выжига, нарочно разыгравший роль трагического актера, чтобы сорвать милость из Кремля.

Сыромуков где-то читал, что будто бы прекрасное всегда отмежевывается от судорожности, как форма от безобразия.

Мещанство торжествующее, гордящееся своей неприкосновенностью, поддержкой партии.

Все эти правильные — в какой-то степени неполноценные, потому что дело тут не в добродетельности, а в отсутствии у них темперамента, пытливости ума и радости жизни.

Такие люди, конечно, не совершат ошибки, но и подвига от них ждать не надо. Это мещане.

Но были и есть люди, которых никакие казни не могли смирить.

Он не мог рассказать никому, боясь подлости оскорбления того самоотверженного и великого подвига, который совершила эта тихая бедная девочка. Это же больше, чем стрельнуть в немца! (Ему так казалось.)

Сыромуков не любил москвичей за их упрямое невежество и зазнайство, за то, что они до смешного провинциально ведут себя, когда приезжают в Прибалтику на взморье, взвинчивая там цены на жилье, рыночные продукты, — особенно отличаются этим кандидаты общественных наук. Они почему-то считают, что центром Прибалтики является Рига, не зная, что в Прибалтике три республики, что помимо Риги там существуют древние Вильнюс и Таллинн.

И я вдруг остро и растроганно ощутил светлое и грустное чувство родины и ее старины.

Не следует путать свободу просвещенного человека с своеволием хама и невежды.

Скудоумный фигляр от литературы, забавник подлецов и дураков.

Последние слова человеческой мудрости в том, что смерть надо принимать со смирением, как одну из неизбежных функций природы.

Сыромуков однажды подумал (необузданное воображение, «безудержь») — что было бы, если бы он, по воле «таинственной силы», явился к корпусу вечером в десять сорок пять, перед отбоем, в золотом фуникулере, как в ракете. На площадке перед корпусом «какета», мелькнув и рассеяв искры — холодные, из золота, — остановилась, и он, Сыромуков, выпрыгнул из нее на глазах ошеломленных курортников и пошел к лифту, не оглядываясь. Что бы они делали?

Какое-то мгновение сидели бы одурело, а потом ринулись — некоторые за ним, и тогда надо успеть захлопнуть дверь лифта перед их носом и скрыться. Но утром его заметят и опознают в столовой и толпой окружают. Наверно, арестуют как американского шпиона.

— Докладай, на чем и откель вчера явился.

Озлоблен на все человечество? Что с тобой? Не хочешь стареть? Боишься смерти? Но они ведь тоже все тут старые! «Иди ты знаешь куда? Тоже мне учитель нашелся!»

В САНАТОРИИ

Он отдаленно миновал скамейки и вдруг подумал, что недостойно себя ведет: «Ты злишься на этих людей потому, что считаешь их здоровыми, а себя смертельно больным, но толщина — не благодать, а несчастье и болезнь, — сказал он себе, и они приехали сюда лечиться, как и ты сам. Понял? Да, но я ни-

когда не лечился с таким наслаждением, как они, и тут тоже не буду лечиться, потому что тогда мне конец... Но ты же только что обещал делать все, что найдут нужным врачи! Это я обещал не себе, а Денису и взвешивался тоже для него! Значит, ты хочешь его обмануть? Нет. Я буду принимать нарзанные ванны. Этого хватит для сердца и для Дениса. Ну довольно об этом. Вон посмотри лучше на ту хрюшку, вставшую на задние окорока. Как, по-твоему, она больна? А какое твое дело? Почему ты хочешь, чтобы эта женщина непременно была больна? Я совсем не хочу этого. Но меня раздражает ее сытая мощь и глупость. Лучше бы ты помолчал. Откуда ты знаешь, что она глупа? А, не прикидывайся ты человеколюбом! Ты отлично видишь, что она набитая дура! Один зад чего стоит!»

— Сразу это нельзя принять. Надо все узнать обо всем, а уже потом принять, полюбя. Сам ты тоже на первый взгляд не цаца. За одну походку небось можно возненавидеть. За несхожесть с ближайшим окружением. «Лицемерие — это дань, которую платит порок добродетели». (Достоевский сказал.)

Каждый нездоровый человек бесповоротно убежден в уникальности своего застарелого недуга, в его недоступности для других, что заставляет такого хроника почитать себя как бы счастливым исключением среди остальных людей.

Он ценит свой недуг и даже ревностно оберегает его, скупко делясь с врачом, скажем, райбольницы, — дескать, не для него его сокровище, не верит молодому врачу, стремясь к профессору — старику, считает, что на излечение его болезни требуется особенное необычное лекарство, время, особая деликатность и непременно интимность с врачом.

И все они свято верят в курорты. Само название, например, «нарзанная ванна» действует чуть-чуть мистически. Потом необычный ландшафт, пестрота воскресного базара, ишак, запряженный в двуколку...

Сыромуков испытывал почтительную оторопь перед людьми с орденами... Как и каждый, в конце концов отправлялся в кабинет — с таким почтительно строгим и решительным выражением лица, будто самоприучастился к чему-то необычайно важному в своей жизни, — так, возможно, в свое время ходили на исповедь к священникам верующие в отпущение грехов и заблуждений, и каждый оставался в кабинете от тридцати до сорока минут, — это уж всецело зависело, вероятно, от того, как и во что исповедующийся перед врачом оценивал степень благородной исключительности своей хворобы.

— Господи ты Боже мой! — смятенно подумал Сыромуков. — Надо же отрастить такие пошлые курдюки и не стыдиться.

Сыромуков понимал, что они чуждаются его, что он будет им припоминаться как нелюдимый и мрачный тип, мешавший им принимать на курорте самые главные процедуры — еду.

ОТРЯД. ПЛЕН

Я чувствовал в себе законченную готовность вынести любую пытку: раскаленный железный прут спиралью вокруг тела; медленное отнятие конечностей; выкручивание жил и показ палачом на своей красной ладони синего 'яблока моего глаза... Пусть это все случится, пусть будет, но только бы обрести миг и встать с колен на ноги, только бы свершить свое безвестное отмщение!..

Записать сон, как пришли к вам, в хату бедняка литовца, где вы четверо (бежавших) и один уже пристал «вольный», у него полевая сумка, а там несколько штук разнокалиберных патронов.

Хозяйка: Идут!

ШЕСТЕРО

И этот, что с сумкой, быстро повесил ее на Сыромукова, — он, по испуганному голосу хозяйки, решил, что идут немцы или полицаи. Но вышли «лесные». Их недоверие. Прощупывание. Вранье Сыромукова. Страх. Вранье, что он заслан по линии контрразведки. Но недостает оружия. И тогда один из них быстро выхватил браунинг и, направив ствол в живот Сыромукова, еще до выстрела крикнул:

— Вот оружие!

Но он не выстрелил, потому что неизвестно отчего Сыромуков совершенно не испугался, не шелохнулся, не двинулся с места, а только командно и грозно спросил у рыжего:

— Что такое?

И ему отдали этот пистолет. И выяснилось, что те шестеро голодны. И Сыромуков уже в самом деле приказал хозяйке накормить их. И она — молча и покорно — накормила. Но когда они жадно стали жрать хлеб, сало, Сыромуков спросил рыжего, кто командир их группы.

— Я, — сказал он, хотя это было видно сразу.

— Вы... как? — сказал Сыромуков и показал глазами на потолок, а это означало небо и, значит, парашют, а также и то, что сам Сыромуков очутился здесь не просто как-нибудь. И рыжий это понял, смутился и сказал: «Да нет, я знаете...»

— Понятно, — прервал ты его и сказал, что это не имеет никакого значения. Ты сказал это амнистирующим тоном, а это могло значить, что ты уполномочен вербовать, возвращать, прощать и узаконивать.

Вот как это было. Вот с чего начался твой отряд.

Будничная изнанка партизанской жизни неприятна, даже отвратительна. Голод, чесотка, вши, отсутствие медикаментов и врачебной помощи, естественные в этих условиях случаи грабежа и мародерства, истребление раненых товарищей.

Это никому не надо знать, потому что неинтересно. Хвастаться тут нечем. Разве мыслима бы была партизанская война, не дойди враг до самой Москвы?

А тут песни, видите ли. Ой туманы мои, растуманы.
Дурная песня.

Да, человеческим языком об этом нельзя рассказывать. Невозможно. Человеческий язык сразу начинает лгать. Начинает сразу с подпольной борьбы, а не со смерти. О лагере нельзя рассказать. На него — в него — можно лишь заглянуть — посмотреть, как в могилу. Да, тот, кто видел смерть, молчалив. Повести о лагерях лживы. Просто выдуманы жуликами.

Как записывались в РОА, очередь, не брали. Дело ведь шло о куске хлеба — немедленно, — ибо расплата за предательство могла наступить через год (немцы под Москвой), а смерть — на рассвете следующего дня. Он сам встал в очередь, и его не взяли, не поверили, что он лейтенант. А казака, что на турнике «работал» по утрам, взяли сразу.

Немцы в лагере не показывались (Ржев). Полиции — русские. Умирали тысячами. И пригоняли тысячами. Дичали с ходу.

Много ли он знает о том, что такое плен! А как ему объяснить — что когда у человека внезапно уходит почва из-под ног, то руки у него сами по себе хватаются за любую опору. Но бывает, что держаться не следует! Лучше упасть, чтобы остаться в живых, ибо опорой могут оказаться оголенные провода под током...

Сыромуков всячески поощрял своих тем, что они — генштабисты. Однажды его спросили трое, наверно делегация:

— Товарищ лейтенант, а правда, что всех пленных будут... (Им говорили в лагерях, когда вербовали во власовцы.)

— Вранье, ложь и провокация, тот, кто достойно вел себя в лагере, будет непременно награжден.

— Видите ли, для того чтобы бороться, надо прежде всего оставаться в живых. Именно этого не понимало

ведомство Берии, ведавшее судьбами пленных, оставшихся живыми.

Он приказал адъютанту — уже был, был такой — отдать им всем его, Сыромукова, одеяла. Тот исполнил распоряжение, но это на остальных не произвело никакого впечатления. Подражаний не было.

И ему показалось чем-то искусственным, притворным и ненужным такое свое милосердное поведение, в котором не проявилось никакой потребности к самосохранению. И в угоду кому?

У меня было достаточно времени для дум и размышлений, и я всегда радостно дивился красоте и светлой шире души русского человека. Как это она еще не захлебнулась в багровом потоке виденного и пережитого несчастья! Как не утратила способности и охоты выбирать в нем и прятать для потомков окровавленные осколки человеческих идеалов и красоты, беречь и верить в их возрождение и бессмертие?!

Спасибо же провидению за то, что я тоже русский, крестьянский сын! Спасибо за то, что я пронес сквозь погань и грязь плена ничем не запятнанную душу свою и нетронутое сердце, по-прежнему способное пламенно любить, смертельно ненавидеть, верить и хотеть и плакать вот над этими строчками!..

К ПРОДОЛЖЕНИЮ ПОВЕСТИ «КРИК»

На мне английские, превосходной шерсти, защитного цвета брюки и френч, перешитый из английского же френча, подобранного немцами у Дюнкерка. На отложном воротничке моего френча — белые, серебряные полосы. Я — унтер-офицер «украинерхундертшафт», у меня безукоризненная выправка, высокий рост, звонкий командный голос. Я не терплю разгильдяйства, и в присутствии командующего сотней обер-лейтенанта фон Сатлофф, бью рукой в перчатке по толстым щекам русских солдат, изменивших своей родине.

При встречах фон Сатлофф любопытно оглядывает меня и говорит всегда одно и то же:

— Гут! Корошо!

— Сволочь, выслуживаешься, — ползет приглушенный шепот из строя. Я встречаюсь взглядом с Иваном. Он три раза крепко зажмуривается и открывает глаза. Это значит, я действую правильно.

— Господин обер-лейтенант! Капитан Грач не командир, а болван!

— Он... ваш начальник. Вы не можете так говорить о нем!

— Он плохой начальник, господин обер-лейтенант. Он долго служил в большевистской армии и привык, чтобы им командовал комиссар, — там у них это положено! А в немецкой армии, насколько мне известно, господин обер-лейтенант, этого не должно быть! Я говорю это потому, что мы уже являемся помощниками немецкой армии, а со временем нам может быть оказана честь быть в ее рядах непосредственно... Даже на фронте!

— Так! Это так! Фюрер может оказать эту честь украинцам!

— Вот. А при таком начальнике мы никогда не заслужим этой чести! Он распустил солдат! Его не слушают и не боятся... Когда он заходит в казарму, его даже не приветствуют! Унтер-офицеры распустились. Фельдфебели тоже. От этого страдает и ваш авторитет. Надо, чтобы при вашем появлении солдат замирал на том месте, где застал его ваш вид. Он должен стоять боком или задом...

— Задом? Ко мне нельзя.

— Он должен повернуть к вам, господин обер-лейтенант, голову. Он должен замереть!

— Так мощно. Да! Так! Альзо! Вы, Климовский, говорить верно. Вас скоро... очень скоро, вызвать оберст комендант! Да!

— Слушаюсь, господин обер-лейтенант! Гайль Гитлер! — Климов выкинул руку и оглушительно-четко щелкнул каблуками сапог.

Сатлофф растерялся на минуту, выкинул руку и сказал «хайль», но тут же заговорил быстро и резко:

— Это вам не надо. Это только для мы... только немцы!

— Виноват, господин обер-лейтенант! — сказал Климов. «Переехал, — подумал он, — перехватил»...

У него голубые глаза. Умный лоб и пухлые детские губы. Он строен и высок, хорошо пел и сочинял стихи. Прекрасно знал немецкий язык и в сотне был переводчиком. Не имея отношения к строю, он пользовался правом свободного хождения по городу.

Мы долго приглядывались друг к другу. Этот человек интересовал меня всем: он нравился мне своей торопливостью, с которой жил. Да, он очень торопился, словно знал, что это — последний год его жизни...

Однажды вечером, после проверки, я сидел на бревне и вслушивался в затихавший за стеной мир. Он несмело подошел ко мне, несмело сел рядом и вдруг сказал:

— Извините, но вы плохо играете...

Я до сих пор не знаю, что он имел в виду, но эти слова его, построение фразы, наклон головы и тембр голоса толкнули меня вдруг на решительное:

— Как и вы, — резко ответил я.

Он, Климов, помнил его, унтер-офицера Греголь по карцеру. С т ы ч к а.

Затем он посадит его сам туда.

Второй Карпенко. Хороший. Вспомнит в сотне, подойдет и скажет:

— Господин лейтенант. Разрешите?

— Что такое, унтер-офицер?

— Я, господин лейтенант... Хотел спросить. Давно хотел... Простите меня, это не вы сидели в карцере? Помните? Когда картошку пекли?

«Выдаст... найдут в тюрьме бумаги... установят фамилии и... Убиты! Повесить в карцере... Выдать за самоубийство».

— Что такое? — удивленно, вскинув голову, спросил Климов.

— Я говорю... но, может, я ошибся, господин лейтенант? Похожи вы...

— На кого я похож, унтер-офицер Карпенко?

— На того человека, что сидел тогда в карцере... на вас.

— Так. Ты в городе был?

— Так точно.

- Кто сегодня дежурный?
- Фельдфебель Грач.
- Пошли его ко мне. И зайди с ним сам.
- Слушаюсь!

«В караул всех своих и Макаренко. Он придушит...»

На пороге офицерской вырос фельдфебель Грач. Рывком подняв руку к лихому чубу, он застыл в ожидании.

- Вы дежурный?
 - Так точно, господин лейтенант!
 - Построить сотню!
 - Слушаюсь!
-

Я впервые в жизни пьян, но изо всех сил стараюсь удержаться на ногах и думаю: «Это пять минут... правой за горло, а левой — закрыть рот. Он — старик!.. Возьму автомат и парабеллум... Построю сотню — и через город... Ну!!»

Без стука в комнату вошел фельдфебель Бенк... Я покачнулся, опрокинул коньяк и тут же ощутил потерю малейших в себе сил, — они куда-то улетучились, и я подумал, что я — неврастеник, хлюпик, способный на мгновенный духовный порыв за счет всех своих физических сил...

— Тепе некорош, Климоски? — спросил Сатлофф.

— Не-ет. Все хорошо, господин обер-лейтенант! Разрешите идти?

— Я! Ити!

Опустошенный, я долго переходил улицу, слабо ударил у ворот часового, «несвоего», и рассказал на кухне Ивану свою встречу с Сатлофф.

— Господи! Ну что ты делаешь! Погубишь ты и себя, и нас, и все дело. Ну на черта он нужен тебе, уьем потом его... Господи же!

В середине ночи во мне жили и боролись два человека. Один — давний, до конца напуганный знаток газетных передовиц и жизни по плакатам — пытался затянуть брючный ремень на моей шее.

Другой — новый, не знакомый мне и странно близкий, пытливо спрашивал:

— Во имя чего?

— Во имя родины и ее чести, — отвечал первый.

— Но ведь смертью ей не поможешь. Для борьбы нужны живые руки и зрячие глаза.

— Ты трус и предатель!

— Но ты же знаешь, что нет! Я ведь хочу бороться.

— Ты хочешь только жить, любой ценой, даже в плену!

— Да. Хочу жить, ибо борются и побеждают только живые!

Да, в смерти можно было найти забвение, но добровольно погибнуть в беде и несчастье — не подвиг. Это теория и удел трусливого раба. Вернуть себе жизнь и свободу и помочь в этом другому — вот задача сильных и смелых на земле!

У вас нет выхода. Допустим, что вы останетесь в живых... допустим, дождетесь «своих». Но ведь вас всех поголовно расстреляют или сошлют на каторгу. Поймите, что для большевиков вы все изменники и предатели. Все без исключения! Они не будут у вас спрашивать, при каких обстоятельствах попали вы в плен. Они задают только один вопрос — как вы сдались в плен...

На журнальном снимке была изображена немецкая часть со знаменем, встречающая двух солдат, бежавших из русского плена.

— Видал, господин унтер-офицер?

— Что? — не понял я.

— Да вот встречают... Хорошо это дело у них, сволочей, поставлено. Верят, значит, своим, потому фрицы и...

Шмаченко откровенно вздохнул и поглядел на меня почти враждебно.

— И у нас встречают! — вдруг крикнул я, опалась непонятным гневом и обидой на кого-то. — Встречают, но не таких гнид, как ты. Понял?

Шмаченко вытянулся, по-немецки прижав руки к бокам, и ответил заученно:

— Так точно, господин унтер-офицер!

А помолчав минуту, сузил глаза и с нескрываемым злорадством спросил меня шепотом:

— А вас, думаете, лучше встретят, чем меня?

В сотню иногда приходила молодая немка. Сатлофф тогда выпрямлялся, подтягивался и, пока она обходила строй, не отнимал руки от виска, идя все время сзади нее в трех шагах.

Во время этих смотров Климов становился во главе сотни на правом фланге. Однажды, проходя мимо него, немка чуть задержала на нем прищуренные глаза, а тонкие ноздри ее дрогнули и побелели.

Климов долго не вспомнит, где он видел этого человека. Иногда память выщупывала русло, которым вот-вот была готова привести мозг к чему-то ясному и нужному, но оттого что Климов почти не верил во все то, чему был свидетелем и участником, что он не хотел помнить «этого», — мысль сбивалась с нужного русла на ложное, он терял первоначальный интерес ко всему и думал, что, очевидно, видел этого человека где-нибудь раньше, давно, в вагоне, например, или еще где.

— Как ваше имя?

— Тимофей, господин лейтенант.

— А фамилия?

— Городец.

«Не знаю такого».

Когда выдадут шапки, Тимохе попадетсся кубанка. Климов вспомнил сразу.

Тимоха охранял мясокомбинат. Застрелил человека, литовца, который нес коровье вымя. Унтер-офицер.

УХОД ИЗ СОТНИ

В полдень он назначил Тимоху начальником караула в первый лагерь, за которым было кладбище — 36 тысяч умерших. Поле, канавы. Кто-то из литовцев привез туда большой камень-валун. На нем надпись: «Пусть

вам будет мягкой литовская земля». Кто-то менял цветы. Немцы прознали, камень убрали пленные, но цветы появлялись.

В день ухода Климов в 11 часов ночи обошел казармы. Солдаты спали, и он посмотрел на них, и, странное дело, в сердце ворохнулась не то жалость, не то обида, не на них...

Через город он пришел к лагерю в караульное помещение. Тимоха сидел за столом, свесив чуб на порожнюю бутылку из-под самогона.

— Господин лейтенант, в карауле все в порядке! — доложил он и спрятал бутылку под стол.

— Хорошо. А на кладбище был?

— Господин лейтенант, не успел, ждал, когда стемнеет...

— Темно уже. Пошли вместе.

— Одни? Не возьмем их? — кивнул он на нары, где спали трое солдат.

— Нехай спят... (как шли!)

— Ну, где то место, знаешь? — шепотом спросил Климов.

— А тут. Вон она, а цветов нема... Рано пришли мы, господин лейтенант.

— Нет, мы пришли с тобой вовремя, унтер-офицер... Стань прямо и не двигайся. А то я не вижу тебя.

— Я стою, гос...

Климов выстрелил трижды, почти касаясь парабеллумом спины Тимохи, постоял над ним и, не уловив жизни вокруг, пошел с кладбища на восток, не разбирая дороги, так, чтобы Млечный Путь все время был у него с правой стороны...

С этой минуты для него начался новый этап жизни.

НАБРОСКИ К РАССКАЗУ «СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА»

Приехал навестить человек своих родителей в Ейске и возвращался в Москву.

Молчаливый. Почти мрачный. Купе. Несколько человек. Он достает пачку папирос «С П». Этих папирос нет уже. Его спрашивают — откуда у него они.

— Из мест не столь отдаленных.

1937 год.

Он студент медфака. Ночью арестовали. До войны. Колыма. Человек русский. Он и другие попросились на фронт. Добровольно. Из них сколачивали штрафроты. (Разведка боем. Что это?)

Это когда нет сведений о противнике. Нет связи с соседями. И дураку командиру надо это узнать.

Он попадает в штрафбатальон. Батальон идет в разведку боем под Москвой. Остается половина. Из него — рота, тоже штрафная. Рота вводится в бой. Короткая дистанция, сзади заградотряд. (Комендантская рота.) Будут расстреляны (им это объясняется).

И рота держалась. Но их отбили, заградотряд бежал (нацмены). Остатки роты — несколько человек — в окружении. Блуждают. Кто-то ими командует. Пробиваются к своим.

Он вышел ночью. Попал в расположение своих.

— Кто? Откуда?

— Из окружения.

Смерш.

Лампа. Сам в тени, прожектор на него.

— Фамилия?

Он не смог сказать, что из штрафного, и он сказал:

— Врач.

— Специальность?

— Хирург.

Звонит в полевой госпиталь. Там нужны хирурги.

(Он у меня в стадии обработки. Под брезентовой палаткой.)

Он был ранен в плечо. Нужно было лечить его. И он там познакомился с сестрой-ординатором. Любовь. И он признался ей, кто он.

Сестра подумала и сказала:

— Молчи. Расстреляют. Я помогу, присматривайся.

И он наблюдал, научился доставать осколки. Так он стал доктором. Получил назначение. Носил две шпалы. И его отозвали в армейский госпиталь. Он взял сестру. И там пришло пополнение — медсестры. Ревность. И во время ревности та доложила. Его вызывают в Смерш.

Допросы. 1943 год. Его откомандировали из части в военкомат. В какой?

Он сказал наобум — на Урал. Военком-подполковник — трус. Карьерист. Оба подполковника. Дружба

вроде. И военком предложил ему остаться в городе — там не было хирурга. И он вынужден признаться, что он штрафник.

— У нас будет комиссия. Переквалифицируем в терапевты. Их здесь много, и ты можешь заниматься.

Через три дня.

— Сделали «вус»?

— Да. Сейчас.

Военком нажимает кнопку, и приходят два автоматчика. И снова Смерш. Арестовали, посадили. Волокита.

Он называет фамилии людей — командира полка, батальона. Их лечил.

Их запрашивают.

— Предатель лечил вас?

Те выросли — генералы.

И генерал вспоминает, кто его вылечил. С фронта письмо: «Я ему благодарен». И приписка: «А вы, мразь, оставьте его в покое».

От полковника тоже.

И волхвы решили просто: передали дело в гражданский суд. Был судья сапожник-портной. В кодексе статья: «За врачевание без диплома 7 — 10 лет». И его осудили на семь лет. Колыма снова — уголовник уже.

— Кто пекарь — шаг вперед! И все шагают и так далее.

— Кто врач?

Он не пошел, но многие шагнули. Начальство начало смотреть дела.

— Ага. Он же был им!

— Будешь врачом?

— Не могу.

Но там умеют заставлять. И он снова врач, в лагере. Хирургом. И лечил. Это ведь были люди, и они были ему благодарны. А умершие не были в обиде. И он стал думать. Набирался знаний. Добывал литературу. И отбыл срок, но ему еще добавили за упорство — отказ быть врачом.

Вышел. Там пять да тут девять. Что делать? И он уехал в Москву поступать в институт.

К ПОВЕСТИ «ВОТ ПРИШЕЛ ВЕЛИКАН...»

Однажды на общем собрании сотрудников издательства он сказал, что если бы верил всем нам, то ни одного нельзя оставить на работе.

У нее нет никакого страха своей недостойности перед величием Толстого или Бетховена. Она нахальна от безнаказанности своей.

...Эти гасильники последних протестов нашего национального духа.

Кержун:

— Слушайте, милостивый государь, знаете ли вы, что такое история развития науки?

— Да, — сказала Ирена, — кое-что мне говорили об этом в институте.

— Я так и думал, — сказал он. — Так вот дополните. История развития беспощадной науки — это рассказ для дураков о том, как обнаруживались вещи, которые, будучи невидимыми и непознанными, считались ими несуществующими. Пример — отношение наших ученых <...> к кибернетике. В философском словаре за 1954 год сказано, что это — реакционная метафизическая лженаука, предназначенная для массового истребления людей... Понятно?

— Да. А что говорится в позднейших словарях?

— Все наоборот.

Только выдающиеся люди сохраняют в старости деятельный и сильный ум. А таких мало. Все серая посредственность.

Провести мысль о том, что старики губят дело. Что они никогда не справлялись с временем, отставали от него и, чтобы удержаться, тянут время назад.

Философская неграмотность героев, безмыслие, ограниченность, по воле авторов, их духовного закутка. Чеховский учитель гимназии Беликов по сравнению с ними титан мысли, дерзатель, Прометей!

— Вы же просто многое не знали, как не знаете и теперь, а вели себя так, будто все истины вселенной открыты только вам одним, вели себя просто гнусно и глупо.

— Да, мы умней, честней и рачительней. Можете быть уверены, что при мне, сегодня, немцы до Москвы не дойдут! А при вас дошли! Потому что вы были заняты не тем, чем следовало заниматься.

Вы были озабочены устранением людей, которые были просто-напросто лучше вас, выше, умнее, порядочнее...

И я впервые в жизни почувствовал, что разорился. Я разорился во всем: в вере в людей, потому что сердце набухло рьяной обидой за что-то на Лозинскую, в вере в свою терпимость и способность к сосуществованию с любимым и любимыми...

С женщиной, которую ты любишь и ценишь, нельзя быть до конца интимно-откровенным. Тут надо оставить между собой достаточную полосу «нейтралки», если хочешь, чтобы вы всегда оставались на высшем уровне.

САМОЕ СТРАШНОЕ

Как после войны женщина несет на закорках «самовар». Он одной рукой держится за шею, а другой долбит ее в макушку.

О МАТЕРЩИНЕ

Он подслушал разговор четырех молодых людей (те лежали в кустах) и насчитал из десяти слов — семь матерных.

Пьют поголовно, массы. Как только привозят водку или вообще что-нибудь в бутылках, образуется громадная «голодная» очередь. Становятся женщины, берут по 8 — 10 бутылок.

РАЗНОЕ

Закон лагерей и тюрем.

Вначале человек замыкается в самом себе, думает и молчит, молчит. Но никто и никогда не выносит этой муки до конца. В жизни заключенного вдруг наступает минута, когда он ощущает неотвратимую физическую потребность высказаться. И тогда заключенный расскажет вам, незнакомому и случайному собеседнику, все, что он пережил, совершил, переживает и думает совершать.

Вы должны и обязаны знать, пока не поздно, что те из сволочей, кто сам наделал когда-то мерзких гадостей и глупостей, кто обманулся в своих несложных и смешных желаниях, — с течением лет становятся охранителями чужой нравственности и юности (своя-то юность пошла прахом) и всерьез думают, что они теперь очень опытные, очень умные и очень порядочные, чужую нравственность и юность они-то уж сберегут!

Это самый подлый, лицемерный и отвратительный люд, от которого надо держаться подальше.

Я не думаю, что можно исчерпывающе полно ответить на такой большой и сложный вопрос — как найти себя юноше в жизни и что это значит?

Если бы кто-нибудь знал такой рецепт, то жизнь на нашей планете превратилась бы в земной рай для чело-

вечества, ибо в этом случае мы **избежали** бы множества печальных заблуждений, ошибок и преступлений.

И все же жизненный опыт позволяет человеку старшего возраста прийти на помощь юноше, только что открывающему себе мир и ищущему себе место в нем.

Процесс перехода от беззаботного детства к зрелости и ответственной деятельности взрослого человека — не может иметь для всех одинаковую длительность и по-разному протекает у разных людей. Тем не менее для всех вступающих в жизнь неизбежен и обязателен закон обретения себя — это поиск. Пожалуй, этот период в жизни человека — самый живой, страстный и яркий. Ибо, как и в любом поиске, нас непременно ждут новые открытия, радости и разочарования. Замечено, кстати сказать, что, чем пытливей и одаренней юноша, тем сложнее его путь поиска и наоборот.

Но что это значит — найти себя? Очевидно, речь идет о месте в жизни, то есть оптимально правильно выбрать из всех возможностей и форм деятельности те, которые соответствовали бы склонностям моей индивидуальности. Выбор возможных тут путей велик и разнообразен, и, какой из них лучший, должен решить сам человек, юноша! В этом заключается главная трудность, так как только практически в процессе самой ответственной деятельности выясняется, подходит ли она человеку, а он — ей. Здесь речь может идти о призвании.

Разумеется, юноша в этом случае — то есть в выборе своего места в жизни — не остается в одиночестве. Его реальный выбор, да и сами его стремления, сознает он это или нет, в огромной степени определяются предшествующим воспитанием, влиянием окружающих людей, социальной средой. И тем не менее этот выбор, повторяем, очень труден. Он неизбежно рождает раздумья, сомнения и колебания, столь характерные для юношеского возраста. Не случайно именно в этом возрасте с особой остротой ставится вопрос о смысле жизни.

Юноша жадно ищет формулу, которая бы позволила ему разом осмыслить и собственное существование, и перспективы развития общества. Но где взять такую формулу?

Не менее важен в этой связи и сопутствующий, так сказать, жизненному самоотысканию вопрос — о каком

человеке можно сказать, что он богат как личность? Здесь, на мой взгляд, нельзя самодеятельничать, чтобы отыскивать уже давно открытое. В мировой философии и этике давно уже найдены критерии оценки жизни и деятельности индивида — это его полезность обществу, людям. Социальная ценность человека измеряется тем, насколько его деятельность способствует прогрессу общества, служит делу разума и порядка. Поскольку человек — существо общественное, его личное счастье тоже зависит от этой деятельности. Чем больше человек дает людям, тем богаче он сам как личность.

Итак, мы, следовательно, пришли вроде бы к доброму и вполне благополучному выводу, что трудный поиск самого себя в жизни — неизменно рождает пытлиую и беспокойную мысль и увлечение, а именно это приводило человека к открытиям, украсившим нашу землю.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ НЕ О СЕБЕ

Некоторое время мне пришлось заведовать отделом литературы в республиканской газете, и теперь, когда я встречаю симпатичного человека, с которым хотелось бы дружить, у меня прежде всего возникает пугающий вопрос — «а не пишет ли он?», ибо помимо инстинктивной оторопи перед возможностью столкнуться с очередным графоманом возникает еще и совершенно иное чувство — солидарность и сердечное участие к тому, у кого нелегкая и сложная судьба, повелевающая ему писать. Конечно, дружба с таким человеком необычайно увлекательна, — как правило, он задумчив и немногословен и с ним хорошо проводить закаты на отдаленных лесных озерах. В то же время общество такого «молчальника» очень трудно: на ночлегах он невпопад отвечает на вопросы, подкладывает в костер вместо дров свои или чужие удочки и спустя десять минут после того, как остыл таганок, забывает, что ел с тобой уху... Дело в том, что он постоянно пишет — везде и всегда, и за год у него получается не больше трех печатных листов прозы — густой и прочной... Проходит еще годик, а то и два, и он, этот «молчальник», почему-то не торопится издавать свои три печатных листа, и пишет новое, и с ним по-прежнему хорошо и трудно дружить...

Тоскуют русские луга и плесины
Без птицы аиста с весны до осени.
Пропала чистая, исчезла белая,
Хоть никакого зла она не сделала
Ни В. И. Ленину, ни И. В. Сталину,
Ни Л. Зиновьеву, ни Н. Бухарину,
Ни чернокожему, ни красномордому...
И все же сгинула, пропала, гордая!
И на Руси моей в лугах и плесинах
Не видно аистов весной и осенью...

16. 10. 63

Письма

С. А. ВОРОНИНУ

Душа моя, здравствуй!

Уж и не знаю, ты ли мне не ответил, я ли тебе, но молчим долго и вроде как бы и нехорошо. За собой знаю поганую слабость — съезживаться, когда худо, когда нужно крикнуть о помощи. Гор-р-рдыня!

Как ты и что ты?

Поздравляю тебя и Маню с Новым годом. Дай Бог Вам покоя в сердце и надежды в глазах, родня моя!

И книжицу посылаю. Может, и заглянешь в нее.

Декабрь 1958 г. Обнимаю крепко. Ваш К. Воробьев

Родной человек!

<...> Я особенно полно и остро ощутил твою честную дружбу, твой братский локоть. Спасибо тебе за твое русское сердце, умеющее любить и ненавидеть!

Рецензию Н. я получил в первых числах июля, и хотя ножик в его руках старенький и затупленный, но удар получился прямо в сердце. Подгадал, мерзавец, время, когда подстеречь меня на жизненной тропе!

Написать тебе об этом мне было особенно трудно: «Последние хутора» ведь печатались в «Неве», и мне надо было время, чтобы справиться с бедой одному за всех. Ведь надо было что-то делать, и я послал рецензию... с письмом Гнездиловой и Юре Бондареву. Это, если помнишь, автор «Последних залпов», «Батальоны просят огня». Он в «Литгазете». Повесть и мои рассказы он читал, отнесся ко всему тепло, но то, что ему особенно нравилось, «возмутило» Н. Юра пока молчит, но рукопись мне издательство не возвращает. <...>

Но как бы то ни было, я потребовал у Ковалева возвращения рукописи всего сборника. Нельзя жить и

работать за страх, как Ковалев, и нельзя вымаливать себе снисхождения у Н-ных, — я был не таким задуман своим отцом!

Теперь о личной судьбе. Все разорилось. Надо идти работать. В газете меня ждут, и я до сих пор числюсь членом редколлегии, хотя денег за это и не платят <...>

Из всего, что ты с царской щедростью предложил мне, все мною приемлемо на коленях, но осуществимо будет, очевидно, одно — рецензии. <...>

Все же до того, как впрячься в лямку газеты, мне хотелось бы свидеться с тобой. Возможно, что в двадцатых числах августа я и приеду на пару дней, если ты не уходишь в отпуск.

Да, ты здорово прав еще в том, что надо писать. Писать хорошо, почти блестяще, и тогда Н. будет зарабатывать на масло и курочку уже на хвалебных рецензиях, — все ему все равно.

Я тут и много прихворнул от всех этих радостных дел. Мои герои из «Дороги», ставшие уже зримыми, настоящими и близкими, как родственники, давно не встречались со мной. Но вот пройдет еще немного времени, и все забудется за новыми днями. Мне надо написать сильную книгу. А к сроку я снова не управлюсь. Что будет?

Как все это сложно и трудно. Как трудна бывает дружба, — ведь ты многим жертвуешь ради меня. Но я верю в день, когда все эти жертвы окупятся. Вся моя жизнь — сплошное несчастье, но ведь я выходил все же победителем, хоть и в крови были душа и нос. Выпозу и на этот раз.

Крепко тебя обнимаю. Привет Мане и Наташе.

02.08.59

Твой К. Воробьев

Дружище, привет и салют!

Получил твою письмишко. Вот видишь, значит, можешь ты писать талантливые письма, можешь! Рад, что понравилась тебе «Дорога», вернее — первый этап ее. Я попытаюсь окончание ее пройти с таким же упрямством и верою в то, что не сгину на полпути к цели.

Ты понимаешь, скверно у меня с сердцем — склероз... будь он проклят! Не хочу играть в сундук. Мало сделал, ничего еще не написал.

В связи с этим и с тем, что надо кончать повесть, я ушел — навсегда — из газеты. Ушел с 15 октября... Теперь мне будет трудновато жить — как-никак, а 6 душ и еще мать в Москве, которой я помогаю. Для того чтобы я более или менее спокойно писал, нужен приработок. Однажды мы говорили с тобой о рецензиях. Это возможно? Мне надо знать, я тогда попрошу Котенко, еще кого-нибудь. Т. е. ты ничего не должен делать в этом плане, если это связано с непонятными мне трудностями у тебя; могут ведь это мне дать и другие.

Я проездом в Кисловодск поссорился с Ковалевым и Гнездиловой. Видишь ли, тогда, весной, я просил их иметь в виду «Серебряную дорогу» на 61 год. Мне невнятно ответили, что она, дескать, в резерве. Но ведь это не план и не договор! Я предложил повесть «России», и мне выслали договор и даже обещали 25%. Мне же это надо, сам понимаешь. И вот на меня накинись, что я-де неблагодарный, зазнался и проч. Черт с ними... в «России» ко мне отнеслись воистину по-братски, а Ковалев издал «Гусей» только потому, что нечаянно был мною получен аванс, потом эти пререканья, твое письмо, скандал, два года волынок и отвергнутые «Хутора». Да пошли они вон!

...Я вернусь к 15 ноября... Подумай насчет рецензий, добро? А радикулит — не хвороба. Это блажь и чепуха. Готов на обмен — пять твоих за одно мое. Но все же не хвораю, нам надо долго жить, потому что писать нужно и воевать надо. А насчет того, что советская власть — хорошо, ты прав. <...>

Заехали бы вы к нам из своих Сочей, а? Подумайте.

Крепко тебя обнимаю. Привет пламенный и нежный Мане.

22.10.60

Твой К. Воробьев

Дорогой мой человек!

Спасибо за письмо и за то, что в нем.

Уехать отсюда готов хоть к черту, если там выделится мне хоть подобие жилплощади. Работать с тобой готов в любое время и в любом месте, но лишь после окончания повести, которую добыю к осени. Сам ведь понимаешь, если пойти к тебе в журнал, то о личном творчест-

ве я должен временно — с годик — забыть. Кто-то из нас тогда должен писать один, то есть ты. Так я тебя уразумел? Это совершенно меня не пугает. «Дорога», кажется, получится добротной книжкой, недаром же я сижу над нею пять лет! Вкладываю в нее все силенки и селезенки. Временами теряю веру в себя, ругаюсь... на себя и на самых ближних своих, а потом читаю — в сороковой раз — твое письмо, которое ты прислал мне в Кисловодск по первой части повести. Ну, и отхожу.

Затруднения мои временные. Я ведь со дня на день жду авторские экземпляры «Хуторов», последнюю корректуру я держал аж в ноябре. Так что все образуется в ближайшие недели...

Книжку твою вижу в киосках и магазинах, но не покупаю нарочно. Ты нешто не пришлешь с надписью?

Теперь о самом трудном и неприятном. Если это без кряхтенья, без сердечной судороги и нервного тика, то пришли рублей 250. Я клянусь самым ответственным местом, что верну их через месяц-два, а не через два года. И без напоминаний. Потому что гроши будут. И пиши иногда.

Обнимаю тебя яростно, поясню кланяюсь Мане.

30.03.61

Твой К. Воробьев

Дорогой мой Сергун!

В своем ноябрьском письме (по прочтении первой части «Дороги») ты, между прочим, сказал, что ее — часть — можно печатать и самостоятельно. Мы тогда условились, что лучше всю. Временами я возвращался к этой мысли, она теперь стала просто необходимой по целому ряду причин.

Что, если ты примешь решение опубликовать эту часть самостоятельной штукой под заголовком «Алешка, парень русский»?

Это было бы очень и очень хорошо. Я бы рассчитался с бухгалтерией у вас, немножко бы сам подлатался, вышел в свет. Что касается второй части, то я ее представлю «Неве» зимой, очевидно. Она очень самостоятельна и начинается с войны. Подумай и сообщи, хорошо?

У нас тут весна во всю ивановскую. Настроение у меня рабочее, хорошее, но ты бы здорово выдвинул меня, если бы решил положительно дело с «Алешкой, парнем русским».

Дай тебе Бог решить это в мою пользу.

Шлю тебе и Мане сердечный привет. Крепко обнимаю. Жду письмишка.

16.04.61

Твой К. Воробьев

Дорогой мой Человек!

Прежде всего — радостно поздравляю тебя: ты написал добротную, правдивую штуку. Первое ощущение — здорово ты вырос! Даже странно, что это ты написал, ты, которого я знаю живым. Конечно, завидую, но радостно, легко, с гордостью за тебя и почему-то за себя. Словом, изволь тебя крепко обнять и расцеловать. Я аж заплакал. Молодчина же ты, мой выхухоль! Пущай знают! Все знают!

Прочтя 9-й номер, сам писал до изнурения. Видел укоряющие глаза твои, злился, но страниц от этого не прибавилось, хотя закончил вторую часть.

О ней-то и хочу поговорить с тобой. Но мне очень хотелось бы, чтобы ты вот на этом месте прервал это письмо и сперва прочел эти 70 страниц. Хорошо?

А теперь слушай: мне кажется, что эту вторую часть следует публиковать как самостоятельную повесть под названием «Убиты под Москвой». Я говорю «следует», если будет к этому возможность, если ты (извини ради Бога) ощутишь потребности отдать ее на «суд» Каре.

Если же этого нельзя будет сделать, то, возможно, ты смог бы опубликовать первую часть под названием «Алешка, парень русский». Ведь и та и другая сюжетно закончены и могут идти как самостоятельные вещи. Мне это нужно. Я буду еще писать третью и четвертую части, и буду их писать так, как хочу я. Но я не уверен, что будут они, так сказать, с в о е в р е м е н н ы. А мне буквально нечем жить. Я голодаю. А для написания двух частей мне потребуется 2 — 3 года.

Пожалуйста, подумай над этим. И напиши, к чему ты пришел, что вынес из второй части. Не затягивай с ответом, а? Ведь мне нужно до смерти предпринимать что-нибудь и вылезать из ямы, в которой я сижу. До сих пор издательство «Сов. Россия» не выпустило «Хутора», хотя «Иностранная литература» перевела ее (по тексту «Невы») на финский язык. Но ведь они не платят ни гроша!

Прости, родной, за все хлопоты, причиненные мною тебе. Но ведь придет время, и все образуется. Ведь не бездарная же я сволочь, понимаешь ты это!

Обнимаю и крепко тебя целую. Сердечный привет Мане.

П. С. Концовка во второй части, т. е. в «Убиты под Москвой», может быть иной: герой, Алексей, жив и идет из окружения.

20.10.61

Твой К. Воробьев

Дорогой Сергей!

После наших последних писем друг другу я написал маленькую повестушку. Не думаю, чтобы она заинтересовала «Неву», но все же и начать пристраивать ее, не предложив сначала «Неве», я не имею права. Так ведь?

Сделай милость, прочти. Она крошечная, 48 страниц всего. В любом случае найди, пожалуйста, возможность или ответить, или вернуть рукопись, добре?

Я все же надеюсь вернуть со временем тебе и «Неве» свое прежнее родство, если ты не возражаешь, — испытываю в этом большую душевную потребность. В это ты должен поверить, и писательское ремесло тут ни при чем. Просто горьковато и обидно: дружба и братство стоит ох как дороже трех бесталанных писем. И даже повестей, какие бы они ни были!

Кланяюсь Мане. Тебя обнимаю, хоть бы ты и отбивался от меня, как от чужого пьяного в подвале грузинского кабака.

03.03.62

Твой К. Воробьев

Здорово, мой дорогой!

Спустя пару часов после телефонного разговора пришло твое письмо. И испытал я сразу два острых и противоположных чувства: с одной стороны, удовлетворение всем — письмом, тобой, собой, творчеством; с другой — неясную досаду: «А денег-то нет!» Но ведь пора бы и смириться и знать, что поэтам деньги не даются, черт бы их взял!

И все же ты, брат мой, враг мой, учини, сделай милость, вот какую штуку. Пришли мне гарантийное письмо Литовскому отделению Литфонда на 200 рублей, а? Т. е. не от себя, а от конторы. Надеюсь, ты зна-

ешь, что это такое. Это Тома Масловская, думаю, знает. Я бы немножко подлатал портки. А то совсем скверно. И медлить с этим никак нельзя.

В связи со всем этим мне пришла на ум вот такая штука. Твой земляк Н. Тихонов в свое время написал: «Гвозди бы делать из этих людей. Не было б в свете крепче гвоздей». Как фраза это, возможно, и звучит. А в сущности своей это чушь. Страдания и лишения никогда и никому не приносили ни добра, ни успеха... <...>

Так вот. Идет весна. Тут тоже была несусветная стынь, мраз и мразь. А сейчас грачи и ручьи и недалекая благодать господня. Авось оттаю и я.

Да, чуть не забыл изъяснить тебе верноподданническое чувство за рецензию во втором номере. Когда хвалят, то это все-таки хорошо. Итак, я собрал на «Гусей» три хвалебные рецензии — в «Литературке», «Новом мире» и в «Неве». Может, под старость пригодится. Переиздать бы рассказы, да где же мне! У меня и новые есть.

Ты все же пиши иногда. Надо же понимать, что пять минут внимания человеку — божья милостыня на неделю. Ну, будь здоров и благополучен. Не хворай. И пиши.

Обнимаю крепко. Поклон Мане.

23.03.62

Твой К. Воробьев

Гарантийное письмо не забудь. Гарантию жажду!

Дорогой Серега!

Я не ответил на твое письмо, которое отнял у тебя в «Неве» два месяца тому назад. А там, между прочим, есть достойная твоего таланта строчка — это насчет готовности заключить со мной договор на повесть, буде она хорошей.

Я все правильно понял: ссориться мы не будем, хотя «Нева» и поступила со мной далеко не по-братски — зря отвергла повести, зря удержала деньги за «Крик».

Как я тебе уже говорил, обе повести хорошо трогательно приняты двумя московскими журналами и выйдут одновременно. Я пришлю их тебе с сердечной надписью, — ведь все хорошо, когда хорошо кончается, правда? Я думаю, что написаны они добросовестно и

искренне, черт меня дери! А все, что ты мне писал о них, — темный бред К-а. Больше мы, давай, не будем говорить об этом. Надеюсь, ты поймешь со временем и сам, что «Нева» поступила со мной несправедливо, — в этом убедит тебя критика. Кстати, на «Крик» есть большая и добрая рецензия в 10 номере «Нового мира». А в том же номере «Молодой гвардии» — реклама на обиженного тобой Алешку.

Ну вот. Ты не осерчал? Не надо, родной, я ведь прав. И нам нельзя кочеряжиться друг перед другом, — мы с тобой хорошие парни, неплохие совсем писатели и отменные друзья. В последнем ты тоже убедишься со временем.

Теперь слушай. Повести выйдут месяца через четыре. Мне трудно, и я работаю напряженно и радостно. Помоги, заключив договор на повесть «Я слышу тебя». Это сказание о высоком гуманизме советского человека, в тяжелые годы войны поднявшего оружие во имя победы над врагом, во имя спасения будущих поколений. В повести будет и современность.

Конечно же, напишу ее... ну, сам знаешь как. Представлю к 1 сентября 63 года. Объем 10 листов. Если можешь — выручи. Нет — Бог тебе судия. Что пишешь? Как живешь?

Крепко обнимаю. Кланяюсь Мане. Твой *К. Воробьев*

02. 09. 62

Бью челом тебе, дорогой мой!

Во-первых, спасибо за договор и аванс. Крепко ты меня выручил, и за это Бог тебя наградит еще на этом свете своей милостью, а я пребуду тебе благодарен во веки. Амины!

Чего это ты молчишь? Какую и почто таишь обиду? Коли есть она — выкинь. Негоже это. Не к лицу нам. Большие ведь мы. И уже старые.

Что поделяваешь? То есть пишешь что? И вообще, как живется-можется? Я купил мешок гороху, варю крутую кашу, ем ее и пишу. Хорошо, когда есть в хате твоей горох, а в сердце любовь и ненависть! Ох как хорошо! Только так, наверно, и можно писать что-нибудь стоящее, нужное жизни...

Я сегодня случайно прочел в «ЛИЖИ» рецензию на свой «Крик». Автор ее обиделся на меня за начальство,

которое я и не думал хулить. Это в номере за 11 ноября. Длинно и неумно. Бог с ними, «правоверными». Караван должен идти своей дорогой. И он таки пойдет, потому что время ему идти.

Не молчи, душа моя, не хмурься. Крепко тебя обнимаю. Сердечный привет Мане.

30.11.62

Твой К. Воробьев

Дорогой Серега!

Не пойму, что произошло у нас, почему ты не ответил на мои письма, за какой мой грех рассерчал ты? Ну, да Бог с тобой. Недавно тут... с затаенно-радостным чувством сообщили мне, будто тебя отрешили от Главного. Я позвонил в «Неву», и Масловская сказала, что сие — брехня. «О Господи», — сказал я, а больше ничего и не сказал.

Сегодня я послал в «Неву» свою повесть. Мне хотелось бы, чтобы ты ее тоже прочел. Она небольшая, всего 96 страниц.

Сделай, пожалуйста, так, чтобы судьба ее — любая — определилась по возможности побыстрее. Это то, что я должен по договору. Не подойдет — гони ее назад.

Живу я по-прежнему. Глаза мои отцвели, лоб вытянулся за счет лысины в дыню, и все хочется и хочется написать свою главную книгу, и все не получается и не получается...

Будь здоров и благополучен. Привет Мане.

20.05.63

Твой К. Воробьев

Дорогой Сергей!

Спасибо тебе за решение судьбы моей «Лесной былины», — добрые вести ладно и ложатся на душу. Очень хочу, чтобы те перемены-замены в «Неве», которые будто бы намечены, опять вернули нас друг к другу. Я б тогда долаялся с тобой и доцеловался.

Не морщись, не хухоль бровей и не сторонись братиных локтей, — они ежели и толкают когда, то понятно почему...

24.10.63

Твой К. Воробьев

Милый мой выхухоль, привет тебе!

Спасибо за письмишко, ты всегда был хороший друг, хотя черти тебя временами увлекают в дебри, куда тебе ходить не след. Разумею под сим бездарное обвинение меня в грехе, которого я не совершил: обиду по части финансов. Тут не то, я же понимаю твое и свое положение. Но вот зачем забраковал «Алешку»? Нешто «Молодая гвардия» вумней и прогрессивней «Невы»? А ить печатают в этом месяце, т. е. в 11 номере. И ведь повесть-то сердечная, русская, наша с тобой. Пусть «Убиты под Москвой» повомировская тема, согласен. Но «Алешка»! И обидно то, что не сам ты додумался до отверга.

Ну ладно, то все прошлое. «Страхи» твои не читал. Где они? Пришли-ка. Но вот вчера, случайно, прочел твой рассказ «В родных местах». Я читал его и раньше, но второпях. Впечатляющая, задумчивая это штука, и напоена она чистыми мыслями о брате своем. Черт меня дернул прочесть и твою передовую в восьмом, кажется, номере «Невы». Ну зачем ты выставил имя свое над нею, зачем?.. Суетная, слабая и неверная по жизни штука. Пойми, что не только чувство радости является жизнеутверждающим, далеко не только! В том же номере есть превосходная статья-зарисовка о Н. Симонове. И там приведена беседа Горького с Луговским на эту тему. Прочти. И вообще старайся не делать не свое дело. Ты — человек доброго, мягкого и ласкового сердца. Всего там хватает для тебя и для людей — и грустинки, и слезинки, и жалостинки. Не бойся доверять ему: оно у тебя правильное. Особенно когда ты пишешь. А поскольку жизнь твоя в письменах, то, значит, и живи в обнимку с сердцем своим, ограждай его временами от обидных наскоков суетного разума-политика.

Ну вот-с, отвел душу, всыпал тебе. Хорошо почувствовать себя ментором!

А что пишешь? Я сижу над чем-то грустным, светлым и злым. Называется оно «Момич и я». В конце года выходит в «Сов. России» мой сборник повестей и рассказов листов на 20. Значит, будут немного гроши, будь они неладны. Весь в долгах. Аж страшно. <...> Сердце пищит. В декабре еду в Кисловодск. Лысею. Но спереди только... Так-то, брате.

А киноповесть назови «Я слышу тебя». Или как сам захочешь.

Будь жив, здоров и благополучен. Поклон Мане.

29.10.63

Твой К. Воробьев

Сергея, привет тебе и целование!

Как жив-здоров?ловишь ли рыбу? Тут у нас в это лето не клюет. Совершенно. В прошлое лето я к этому времени пымал 52 штуки, а в нынешнее — всего пять. Ну, что еще? Написал повесть. Отвез в «Н. мир». На первых порах посоветовали кое-что усечь, а дальше пока не знаю, — то ли примут, то ли отвергнут...

Через недельку-другую еду с чадами к морю. Буду там лопать угрей. А с сентября опять в лямку.

Не молчи. Как и что там у тебя?

Мане поклон. Обнимаю. Пиши.

10.07.65

Твой К. Воробьев

Сергун, привет тебе и целования!

Я только что слез с поезда, — был в Москве, промаялся там и устал, аки пес гончий. Приветы тебе от «Сов. России». Чернов хлопочет, насколько я понял, с твоей книгой.

Да, трудно, милый. Теперь ты понял, что значит, когда хорошая книга не лезет в машину? А?

«Новый мир», как я тебе уже писал, заключил со мной договор на «Момича», дал в самое время аванец, а будет напечатана вещь или нет — покрыто финским туманом.

...Пишу «Крик». Дал отрывочек в «Сельскую молодежь». Будет в 3-м номере. «Сибирские огни» — журнал приличный, так что не смущайся. Дай Бог, чтобы сказание пришло там ко двору.

Едва ли попаду на пленум. Я же в Литве... А повидаться надо бы. Наверно, на съезде в марте или апреле только, если, опять же, меня пошлют туда. Вот дело-то какое.

Пиши иногда, не ленись. Поклон жене. Обнимаю.

14.12.65

Твой К. Воробьев

Сергун, здравствуй!

Я захворал, лежал, оттого вовремя не ответил на твое письмо, а адреса Дубулт не знаю, вот и ждал, когда ты окажешься дома.

Ну, как они, дела?.. Новостей особых нету. Мечтал съездить в Польшу или Чехию, да поломалось: не хватило пороху. А так хотелось побывать. Кстати, и книжки вышли там мои, пару лишних штанов бы отхватил. Я, понимаешь, бедствую с рабочим местом. Обычно арендую хату и зимую там один. На этот раз попалась неудачная, — дите орет. А в городе нету спасу: то звонки, то явления, то пьянка, то какие-нибудь мероприятия, и опять же коньяк и даже самая что ни на есть низменная водка. Нельзя писать!

А я засел за «Крик». Трудная, чую, будет штука и долгая. Мою повесть вроде бы взял «Новый мир». Т. е. прислал аванец. А как там дальше будет, не знаю. Вот ее, ту повесть, хотелось бы, чтобы ты прочитал. Благо что ты уже не редактор и, стало быть, читал бы как человек с нормальным чувством.

Верно ты говоришь, я не читал твою вещь. Взял бы да и прислал. У нас тут ее нету.

Ну будь здоров. Обнимаю и целую. Приветствую семью.

Твой *Костик*

Сергопуло, привет тебе и целование!

Каюсь, повинен, что не ответил вовремя тебе, да я, брат, крепко сидел у стола, — понадобился эпилог к повести, что отдал в «Новый мир». Только что кончил и отослал. А что будет — Бог весть.

Я, между прочим, и не знал, что у тебя новый городской адрес. Как-то в декабре был я в «Сов. России». Курганова говорила о твоей какой-то книжке статей. Говорила хорошо, а мне бы хотелось знать, чего ты туда напихал? Мало ли какие это были статьи. Звучат ли они сейчас достойно для тебя? Над этим надо подумать очень ответственно, потому как ты — писатель Сергей Воронин.

Ну-с, в конце этого месяца поеду в Кисловодск, — сдает сердчишко.

Жду весну. Хочется полопать рыбку. Зову тебя к себе в июне или июле. Ох тут и озера ж! Лещи — во!

Уха! Луна! Тихий таинственный мир, и мы — юные и талантливые! А? И... «Гривачей» споем!

14.02.66 Обнимаю. Привет Мане. . Твой К. Воробьев

Привет, браток!

Значит, все нормально выходит с твоей книгой. Я ведь, грешным делом, подумал о твоих периодических статьях, вроде той, что была однажды в «Неве» как передовая. Помнится, что она не вызвала у меня особого энтузиазма, потому я и поспрашивал у тебя — что в книге. Из любви, из-за заботы поспрашивал, а не за здорово живешь.

...А «Связка налимов» твоя хороша. Вумница ты. А ко мне готовься. Может, Бог даст, все к тому времени будет хорошо, и мы покойно и нужно нам погостим в душах друг у друга.

24. 02. 66 Обнимаю. Привет жене. Твой К. Воробьев

Дружище, привет тебе и целование!

Да нет же, никаких кошек — ни черных, ни рыжих — не перебегают дорогу нашу. Просто это произошло по причинам более тягостным, чем уважительным. Главная из них — это наша российская необязательность перед ближним, основанная на неверии в помощь и поддержку. Неверие это — суть опыт всей излохмаченной и обруганной жизни, когда для виду прибегают к таким фарисейским заклинаниям, как «человек человеку...» и т. д.

Дела мои, дорогой мой, уже давно приобрели желтый колер. После того как в «Сов. России» рассыпали уже сверстаный сборник повестей, печатать меня перестали всюду. Жить стало совсем трудно, и я пошел служить — сижу в газете с августа. Вот на этот февраль я взял за свой счет отпуск — душа рвалась к столу, но как только представилась ей эта возможность, то зажмурилась, забила в угол, и — молчок. Видно, нельзя, грешно, преступно плевать... в источник, а потом хотеть, чтобы он опять служил людям.

Ну-с, однако, хватит ругаться. Я рад твоему письму. Откровенно говоря, я потерял этот твой новый адрес, а

на Сосново писать сейчас не решался, едва ли ты там. Очень, прямо с каким-то болезненным нетерпением жду весну, чтобы забиться на день-два на какое-нибудь пустынное озеро и прильнуть к поплавку, и почувствовать себя человеком — родней всему прекрасному, что осталось еще на земле. Смешно сказать, но я дважды в неделю проверяю удочки, лажу-примеряю колена-стыки, проверяю поправки в ванне... Может, мы с тобой этой весной-летом побродяжим хотя бы недельку? Мы еще договоримся, как, где, когда? Хорошо бы здесь, в Литве. Уж больно тут озеро и пустынно.

В последнюю свою бытность в Москве Валя Курганова говорила мне о твоей повести. Я даже прочел заключительный абзац в ней. Он никак не полезет в машину, потому что это литература. Но дай Бог, чтобы я ошибся насчет машины.

Меня поддерживают молодые ребята-сибиряки: шлют свои книжки, письма, которые, кстати сказать, лучше их книг.

Давай уж теперь, душа моя, не примолкать надолго. А то ведь совсем спятишь в одиночке.

Крепко тебя обнимаю. Поклон Мане. Семья моя шлет вам слаженный привет.

25.02.66

Твой К. Воробьев

Дорогой Сергопуло, салют!

Спасибо за открытку. Поздравляем вас всех с весной, с надеждами, с плотвой, окунями и щуками.

Рад за тебя: своротил пьесу? Так им, недругам, и надо!

А плодовит ты — как кролик. Сколько ты пишешь в день? Поделись опытом, а? Тебе нужно сидеть в Соснове и писать, а деньги придут, никуда они не денутся от тех ребят, кто пишет... Чем? Помнишь, что говорил Толстой? То-то же! Он ведь разумел тело, душу, сердце...

Обнимаем вас скопом. Выше голову! Тверже шаг!

30.04.66

Ваши Воробьевы

Сергун, дорогой, привет!

Я только что вернулся из краев, где стоит ветряк о двух крыльях, — помнишь, посылал тебе фото? Письмо

твое пришло без меня, и благородно-дружеский твой запал — приехать в июне — пропал даром.

У нас такие вот семейно-необходимые планы на июль. У Веры отпуск с июля. Мы думаем поехать числа 4—5—6 к морю, в Палангу. Жить там будем в палатке, ловить рыбу и предаваться заботам и трудам, неподвластным комитету по печати.

Так вот: в машине окажется одно свободное место. Нет ли у тебя душевного движения составить родственную компанию? Мы едем вчетвером — Вера, Наташка, Сергей и я. Решись, а? Рыбалка там в заливе хорошая, только червяков надо брать с собой, и я накопаю ведро.

Ответствуй поскорей. Привет семье. Обнимаю.

29.06.66

Твой К. Воробьев

Сергопуло, привет!

А угри все же были! И вообще я в своей жизни еще не испытал такой рыбалки, как в этом заливе. Понимаешь, килограммовые окуни, лещи, красноперка, плотва и черт-те что, только ненастье мешало. Я с собой взял большое ведро червей, — там их нету, и их залил дождь, размокли и стали как вареные макароны.

Назад когда ехал, моей машине в багажник вонзил буфер-рейку военный грузовик, — не рассчитал, гад, выноса буфера. А что ты возьмешь с солдата? Испаскудил всю з... машине, но уже поправил за тридцатку.

Доживаю последние вольно-бездумные дни, — с первого сентября за работу. Сделал большой болт, чтобы прикручивать ж... к стулу. Буду продолжать «Крик». Проведу Сергея Воронова по всем кругам войны, плена, «послеплена» — до 53 года. Там точку поставлю, огляжу содеянное и скажу — «хорошо!».

Я ведь тебе могу сказать-похвастать: та моя повесть, что в «Н. м.», честная, мужественная и достойная нас, русских. В принципе редколлегия взяла ее, но... там много такого (т. е. повести), что пугает фарисеев. Я боюсь, что вернут, хотя оценки — сверх того, что я ожидал. Сам я трижды сказал себе: «Молодец, Костик!» Это хорошо, когда ты можешь сказать себе это.

А где будет твоя повесть? В «Звезде»? Надо бы почитать. А то ведь мы, каналы, перестали читать друг

друга, наперед решив, что малые мы талантливые, дерьма не напишем. Нет, надо читать. И подробно хвалить и восторгаться (и ругаться, конечно, но главное — ободрять, ласкать друг друга, поддерживать).

И вообще надо бы повидаться. Может, что-нибудь придумаем? Обнимаю тебя, целую, выхухоль ты мой славный!

Привет душевный Мане и всем чадам-воронятам.

26.08.66

Твой К. Воробьев

Сергун, здоров был!

Все приемлемо — и Псковщина, и твое большое озеро, и мои потайные лесные бочаги. Дело за красными деньками, а они, чую, потихоньку идут к нам. Что-либо из всех вариантов мы осуществим всене непременно.

Ты порадовал меня своим оптимистическим зарядом. Конечно, с этим лучше жить, чем с черной тоской, которую к тому же не к кому понести.

Я вот под воздействием твоего оживляющего укола законвертовал три рассказа да и разослал их по трем дыркам — в «Молодую гвардию» Сякину, в «Звезду» Холопову и в Пермь Виктору Астафьеву (помнишь, я тебя знакомил?). Может, он сумеет там в «Огни» или в «Урал». Тебе пока не посылаю — муторное это, брат, дело, соваться с чужим. Подождем, что ответят. Ежели у тебя есть вход в «Звезду» — напомни там при случае. Я им послал лирико-безобидную штучку про рыбалку. До этого они мне вернули рассказ про плен.

Ну вот. По-моему, сегодня первый день масленицы. Значит, поздравляю тебя с новой весной на земле. Целую всех твоих, желаю всего благополучного и мира в душе.

Привет от всех моих.

05.03.67

К. Воробьев

Сержик, привет тебе, дорогой мой, и поклон.

В мае на съезде я буду в том случае, если Л. С. Соболев пришлет мне пригласительный билет, о чем я просил его в бытность нашу с ним в Кисловодске еще в апреле прошлого года. Тогда, между прочим, он пред-

ложил мне свою помощь в переезде в Русь — в какой-либо город средней полосы. Мы условились, что я немедленно напишу ему в Москву, какой угол избрал, но, занятый повестью, письмо я тогда не написал и только вот вчера собрался. В нем же прошу и пригласительный. А прийдет он или нет — бог весть, хотя тогда обещал непременно.

Ох, как хочу домой! <...> Но кто мне даст квартиру? Что я буду делать, скажем, в Воронеже, Орле, Астрахани? <...> Должность в отделении мне дадут. А печатаюсь туго, сам знаешь, хотя, между прочим, вчера получил из «Звезды» телеграмму, что рассказ принят.

Насчет «Нового мира» — пока проблема. Я ведь встречался с А. Т. Твардовским несколько раньше — в сентябре. Он, как и прежде, когда шли «Убитые», расстрогал меня теплом и приветом, но... повесть трудная. Я убрал из нее очень многое (целые сюжетные планы), но год-то праздничный, а там о буднях русаков...

Очень тягочусь работой в газете... но служу, бо надо кормить детей. Правда, на этой неделе выторговал один день в неделю (нет, два — субботу и понедельник), чтоб писать самому. Начал повестушку на современную тему. И с первых же строк за спиной вырос редактор... и Гриша Бровман...

Завидую тебе, что уже рыбачишь. Я как-нибудь позвоню на дачу. Может, приехать на два дня, а?

Привет Мане, поклон от моей челяди. Я облысел, озлел, очерствел, но не оподлел и не сдался врагам.

1967 г.

Твой К. Воробьев

П. С. При встрече я прочту твою новую вещь и пьесу и привезу оттиск рассыпанного своего «Момича». Плохо, что не читаем новое друг у друга!

П. П. С. Пришли рассказик страниц 7—8. Я его тисну и вышлю тебе тугрики. Можно тот, что будет в «Неве».

Сергея, здравствуй!

Вот что, мой дорогой: рассказы-то не «газетные», не «радостные», не «юбилейные».

Посмотри что-нибудь для майского номера, чтоб там улыбались, не выли жалобы, чтоб «уря» кричали бы.

Нешто мне тебя учить? А эти я верну позднее, — сначала попытаюсь пристроить их на литовском языке. Может, удастся.

Если есть такой — весенне-праздничный — рассказик, то немедля шли. Чтоб успеть.

У меня все по-прежнему. Весна. Дня три тому назад ездил на озеро, пымал 60 голов разной мелочи — плотва, окунь, ерш. Сочинил уху.

Обнимаю. Мане поклон.

1967 г.

Твой К. Воробьев

Порадовало и рассмешило нас с Верой твое письмо: ты, кажется, всерьез принял мою шутку. Друг мой, мне ли, «абстрактному гуманисту», «ниспровергателю и злостному пацифисту» (И. Гринберг, Г. Бровман), отказываться на старости лет от веры в Бога истинно русской литературы — правды? А насчет весенне-радостного рассказа ты не прав, он может быть... Что касается «уря», то это знаешь откуда? Из А. К. Толстого, поэта. (Русь).

На кого, Федорушка,
На кого, родимая,
Рать твоя жандармская,
Силушка татарская?
На себя, невпорушка,
На себя, родименький.
Чтобы я не микнула,
Чтобы я не пикнула,
Чтоб не выла жалобы,
Чтоб Уря кричала бы!

Вот так-то, мой дорогой. Сетование твое на прежнее свое отношение к слову (редакторство в «Неве») отрадно. Оно и не запоздало, хотя именно я, как ты сам о том знаешь, пробовал драться с тобой, но с сомнительным для себя успехом. Кстати, у меня хранятся твои письма, поучающие автора «Убитых», «Радостей» и «Алешки» (не принятых «Невой»), как писать «Уря». Я еще потребую от тебя выкуп за эти письма, ты мне еще посулишь за них не одну литрочку копячку!

Да, а вот с рассказом ты зря. Надо было бы его. Посмотри. Что-нибудь лиричное, сердечное, наше.

Слушай: а ведь 30 апреля Пасха. Может, собрались

бы? Может, вы с Маней приехали б? Или мы к вам? Как лучше, а? Подумай и позвони мне домой (5—17—63).

Погода хреновая. Сыплется с неба какой-то сифилис. Но до Пасхи еще неделя. Откликайся побыстрей!

Почтенье от всех моих всем твоим. Обнимаю.

23.04.67

Твой К. Воробьев

Сергопуло, привет тебе и целование!

Да-да, проблема переезда по-прежнему жива. Я много пытался обменять квартиру на любой город средней Руси, но безуспешно. Наконец мне пришла в голову такая мысль: что, если купить где-то хату? Обыкновенную хату крестьянскую, но чтобы это было где-то не очень далеко от города, что ли, чтобы река или озеро. Т. е. чтобы я мог там без семьи жить в году месяцев пять и писать. Мне вот приходится тут снимать в лесу приют с апреля по июнь, а затем — с сентября по декабрь или ноябрь, смотря по погоде и дороге. В городе писать нельзя, не дают. На хату у меня сейчас есть две тысячи. В общем, трудное это дело.

А встретиться надо бы. Я в скором времени намерен съездить в Кисловодск, надо подлечить сердчишко, давно не был в санатории. После этого уже нужно будет подыскивать где-то за городом комнату и садиться прочно за стол: пишу повесть о сегодняшнем наконец дне. <...> Кстати, то, что я послал тебе, это остатки от повести. Самое дорогое — вылетело.

Наверно, нам надо повидаться где-то в апреле или даже мае, чтобы уже порыбалить. Это можно будет и у меня, и у тебя.

Очень это хорошее дело — свой угол, вот как у тебя в Соснове. А я дожил... до старости и не приобрел норы в родной земле. Обидно это и горько.

Но распускать нюни нам не след. Главное — это писать. По возможности хорошо.

Приветствую Маню. Обнимаю тебя. А внук — это хорошо. Пуцай орет и растет. Пиши, не замолкай на годы.

05.01.68

Твой К. Воробьев

Мой дорогой друг!

Какого черта примолк? Я ведь писал, что в Кисловодск поеду, как только будет путевка, но ее пока нету, а я жду от тебя совета-резона насчет хаты: надо ведь употребить с великой пользой те копейки, которые я скопил. Меня приглашают в Ставрополь, но хотелось бы все-таки осесть рядом, поблизости с теми, с кем можно отвести душу в беде и радости, от кого можно услышать привет и дружеское нарекание. Там же я буду совсем одинок. Короче, как ты думаешь, если мне приземлиться в Псковщине? И от великой Руси недалеко, и ты почти рядом, и вообще. Помозгуй и отпиши.

Я вот только что вернулся из Москвы. Мне советуют купить хату в Тарусе. Но, понимаешь ли, там осело великое множество всяческой рвани от так называемой литературы и искусства... и я не хочу встречаться с ними даже в радиусе километра.

...Ну, эту беседу мы отложим для встречи.

Как и что ты? Над чем сидишь? Как твои дела карманные? Господи, прожили мы жизнь, старость впереди, а надежды на тихий труд никакой нет.

Пиши. Твой *К. Воробьев*

28.01.68

Здравствуй, мой дорогой!

Поздравляю тебя с новой весной на земле. Хорошо, что весны все-таки не зависят от земных пророков и вождей: вот горе б было!

Идея твоя — блеск. Принимаю. Отпиши, когда бы я смог приехать, чтобы все посмотреть, улаживать, совершать купчин. Я имею в виду хату. Конечно, было бы хорошо рядом или недалеко друг от друга.

Согласен и на квартиру в Пскове. Но это уже мы будем хлопотать после хаты.

И как мне ехать в Псковщину — на машине? Или поездом? И где и как мы встретимся? Когда?

15.04.68

Привет Мане. Обнимаю. *К. Воробьев*

Серго, а как ты думаешь, следует ли мне обращаться к Соболеву на предмет получения квартиры в

Пскове? Он ведь в свое время сам предложил такую помощь, если я выберу город.

Приехать на Первомай к тебе хотелось бы, но это будет, как говорят, зажирно: ведь потом, позже, все равно надо будет ехать. Друже, ведь приходится считать не только рубли, но и копейки, хотя личной вины в этой своей нищете и нет.

Ну вот. Так, значит, давай, проявляй беспокойство в прежнем направлении, и как только что-то появится, так черкни: я приеду.

Обнимаю тебя. Привет Мане, поклоны от всех моих.

25.04.68

К. Воробьев

Что ты примолк, друже?

Некоторое время назад я написал письмо Григорьеву, но ответа нету. У меня есть опасение, что К... будет мне вредить в этом плане: я дал ему рекомендацию, вытянул в Союз, но затем он написал совсем бездарную повесть. Издательство дало ее мне на отзыв, кривить тут совестью я не смог и вежливо, учитывая, что К... малый здоровый и молодой, должен, сказал я в рецензии, поработать еще. Как всякий бездарный субъект, страдающий графоманией, он кровно обиделся и обозлился. Я вынужден был сказать ему, что он такое, когда он пришел ко мне с упреками. И тогда выяснилось, что это — маленький, недобрый и склочный человек. Просто дерьмо.

Словом, у него есть основания бояться меня и в Пскове: ему ведь надо печататься, а в большую прессу он не вылезет.

Как дела с хатой на Псковщине?

Я послал А. С. Смоляну рассказ. Узнай при случае, что там и как.

Рассказ гладкий, не новомировский.

И не молчи. Привет от моих, поклон Мане. Обнимаю.

28.05.68

Твой *К. Воробьев*

Кербабайчик, здравствуй, родной мой!

Мы дома. Идет какой-то гнусный дождь, и душу об-

волакивает тоска разлуки с друзьями, с тем закатным солнцем на краю озера, с камнями-валунами, с якорем, с опарышами, с «мерзавцем» и даже поводом, по которому это было изречено.

Ах, как мне было хорошо в эти дни! А сами дни-то какие! А окуни, а Наташкина усадьба, а детишки с их «батей» и «Маней». А Маня — сама Россия, чистоглазая, а мы сами с тобой, особенно ты в последнюю рыбалку, услаждавший слух мой колоратурными руладами... Ах, черт возьми!

Всех вас обнимаю и целую. Вера шлет вам душевный и благодарный привет.

22.06.68

Ваши Воробьевы

П. С. Отпиши обратной оказией, следует ли мне просить Соболева, чтобы он обратился по поводу меня к Густову? И как имя-отчество Густова — Иван Семенович? Или не надо Соболева?

Дорогой мой Сергунок, привет тебе и целование!

Прикончил твою книжку. Самым жалким, этаким беспомощным образом — старею, видно! — заревел (и вообрази, в голос, тенором) над твоим отличным рассказом «Дорогие папа и мама». Добрый, чистый рассказ! Талантливый, ты молодчина.

...Слава Богу, что все у тебя ладно с фильмом. Уже негоже, нехорошо испытывать нужду. У меня же она еще будет, — пишу, черти бы меня взяли, то, что не лезет в машину. Начинаю озлобляться, а это нельзя.

Ну да вот переберусь поближе к тебе, а ты на меня действуйешь жизнеутверждающе, и, может, все наладится, сказать ведь есть о чем!

Обнимаю тебя. Сердечный привет Мане, Вера кланяется Вам.

02.10.68

Ваши Воробьевы

Сергопуло, дорогой мой, здравствуй!

Получил твое письмишко. Как ты жив-здоров? Друг мой, ничего же не требуется, т. е. не нужно было Соболева. Дело в том, что Вера сейчас готовит кандидат-

скую, ей надо год или полтора на это, и уехать одному мне нельзя — ведь сыну 13 лет, ему нужен отцовский глаз и длань.

А вообще-то все обойдется, — я все равно перееду в Русь.

Как твой фильм? Намерен ты летом жить на Чудском? Может, мне там тоже купить хату?

Поклон Мане. Не молчи. Спасибо тебе за хлопоты. Обнимаю тебя.

02.01.69

Твой *К. Воробьев*

Сергуха, здравствуй!

С Новым годом тебя, с новым счастьем! Как и что ты? Чего не ответил на письмо, что я послал летом? А я хотел приехать на Чудское с ведром червей.

Посылаю тебе свою книжку. При желании загляни в «Ракитное», в «Чертов палец». И отпиши, если найдешь нужным.

Мой низкий поклон Мане, наравне со чадами.

Не молчи. Нам с тобой нечего делить на старости нашей дружбы. А при встрече есть о чем поговорить. Вернее — послушать мне. Обнимаю.

26.12.69

Привет от моих. Твой *К. Воробьев*

Мой вьюный друг!

Письмишко получил, спасибо. Оно что-то показалось мне грустноватым, — наверно, огорчился за те два рассказа, — но ведь это ты напрасно. Главное — это то, что есть эти рассказы, а самое главное — это то, что ты есть сам. Ты ведь как птица, славящая восход солнца, когда она, зажмурясь, воздает хвалу творцу, не обращая внимания ни на охотника с ружьем... ни на дровосека с топором у подножия ее березы (безноса).

Сейчас уезжаю в деревню. Буду писать. В городе просто невозможно.

Игорь Григорьев написал мне два письма. Любезных. Колесников-Капустников-Овсянников тоже. Видимо, М. Д. что-то сказал там. В общем, я жду хватеру.

Слушай, я вычитал у Сабанеева, что там у тебя во-

дятся угрищи. Ловить их надо на шнур. Но нужны вы-
ползки. Или куски печенки воловьей.

Не умолкай надолго. Пиши. А что касемо хаты,
так это дело терпит. Важно сперва сесть в Пскове. Мо-
жет, мы потом с тобой найдем другое (рядом с Спици-
ном) место. Мало ли!

Ну будь жив, бодр и весел. Сердечный привет Мане,
Наташе, ребятам. Поклон от Веры.

25 июля 1970 г.

Ваши Воробьевы

Дорогой мой, что ты примолк? Может, взял и оби-
делся? Тогда мне надо тебе написать (а я хотел все это
рассказать на глаз), что я встретил в Пскове, когда ез-
дил туда в декабре. В то время там проходил слет-се-
минар литераторов области. Мы с Курановым (отличный
малый и хороший писатель) вели семинар прозаиков.
Продолжалось это дня три. Перед отъездом я зашел к
Густову, но принял он меня не одного, а вместе с Гри-
горьевым и некоей Искрой из журнала «М. г.». Разговор
был вообще, потом, перед уходом, Густов сказал, что
квартира мне будет до 10 января. На следующее утро
мне, по настоянию Григорьева, нужно было представиться
секретарю по пропаганде Веселову. Это бывший ре-
дактор «Псковской правды». Он, естественно, пожелал
познакомиться с моей (устно, понятно) биографией. Я
рассказал, что я и кто. Помню, что, когда я сказал,
что около пяти лет работал заведующим отделом лите-
ратуры и искусства республиканской газеты, был членом
редколлегии и, следовательно, дежурным ночным редак-
тором (это тот человек, который подписывает выход но-
мера в свет), Веселов дважды переспросил:

— Но ведь это же орган ЦК?

Для него, очевидно, показалось странным это (я же
беспартийный). <...>

<...> Григорьеву я послал позже телеграмму с объяс-
нением причин, которые мешают мне на ближайший
год переехать в Псков. Между прочим, Густов сказал
мне, что устроить Веру на работу там будет нелегко.
Здесь она заведует кафедрой в партшколе, 160 рублей
ее необходимы, год ей надо на то, чтобы сдать канди-
датскую.

А тем временем мне лично совсем стало негде жить:

Наташа вышла замуж, родился ребенок, нас стало семь человек в квартире. Я снимаю конуру в деревне. Приезжаю домой на субботу-воскресенье.

Но дня два тому назад, когда я был дома, из Пскова позвонил Григорьев. Он сказал, что телеграмму мою не показывал Густову, спрашивал, как быть. Я просил его уточнить, что же все-таки с квартирой? Он должен позвонить мне 14-го... Я еще написал Куранову, чтобы он попросил Л. Малякова (это в отделении Лениздата дельный человек) узнать, что с квартирой, ибо Григорьеву верить трудно.

Что касается ребят, то я, надеюсь, пришелся им по сердцу: я ведь и в самом деле люблю людей, тянусь к ним, если не чувствую там отпора.

Вот какие, милый ты мой, дела. А ты говоришь — купаться! Вот еще что: я послал в «Звезду» рассказ. Сижу без гроша. Учти это при случае.

И не молчи, нельзя же так. Обнимаю тебя. Поклон Мане, привет Наташе.

12.02.71

Твой К. Воробьев

Н. Д. КОСТРЖЕВСКОЙ

Дорогая Нина Дмитриевна!

Спасибо Вам за внимание, за «Аистов», за хорошее человеческое письмо. Я не привык к умному и доброму слову критики, оттого, видно, Ваше признание о нерешительности написать рецензию воспринял с горечью. Мне думается, что никаких «особых сил», кроме зрячего сердца, Вам не нужно было. Стало быть, у Вас есть все.

Мне хочется вернуть Вам «Аистов», что с удовольствием и делаю.

Очень хотелось бы, — я нуждаюсь в этом, потому что живу на отшибе, — познакомиться с людьми, которым дорого еще русское слово. Позвольте мне, в мой очередной приезд в Москву, повидать Вас. Ведь Вы в «Советском писателе», насколько я понял?

Еще раз благодарю Вас за письмо. Шлю Вам сердечный привет.

7.6.64

К. Воробьев

Нина Дмитриевна, почет Вам и уважение!

С некоторых пор я живу в глуби литовских болот и хлябей, на зыбучем островке, в одинокой заброшенной хибаре. Рядом со мной дикое озеро. В нем я ловлю рыбу, ем ее в ухе или жареной и пишу свою главную книгу, роман, который называется «Друг мой Момич». Жить там трудно, — совершенно один, но зато никого нет. Газет и радио — тоже. А это помогает писать.

Так вот. Вчера я наведаясь в город и нашел Ваше письмо. Нет, Вы — интересный, видимо, человек. Тогда как же объяснить то обстоятельство, что Вам удалось сохранить, живя в Москве, зрение, слух и обоняние? А ведь Вы к тому ж причастны к железной гвардии нашей критики, — гвардии, которая тем и знаменита, что постоянно «мал-мал» ошибается: вместо «караул» — «ура» кричит.

Словом, меня ободряют и радуют Ваши письма, Ваши мысли. Если быть откровенным, то меня не тянет на широкое знакомство с московской знатью: дело в том, что большинство из этой знати — литературной и критической — прискорбно нарушили нормы поведения, облегчающие труд художника, — они пожертвовали лицом ради положения. Я знаю, как трудно уберечь свое лицо. Мне, например, понадобилось двадцать лет на то, чтобы пробиться в издательства. Мне знакомы лабиринты и Вашей уважаемой организации. Рецензии, о которых я написал в своей повести «Почем в Ракитном радости», я получал от вас.

Между прочим, это не жалоба. Черта с два! Впереди еще много борьбы, и я буду упрям. Это другое. Мне надо написать свой роман. Изо всех сил написать. Правильный роман. Я очень уцепился сердцем за проблеск надежды, промелькнувший в Вашем первом письме: это переиздать мою книгу. Дело в том, что я полностью выплатил долги, кредиторы теперь не ловят меня в переулках, но ведь подойдет осень и зима, озеро мое замерзнет, ухи не будет. Я буду вынужден пойти служить куда-нибудь, а «Момича» нельзя оставить, — это хороший малый, последний из... и т. д.

Кажется, мне не следовало бы писать Вам эту, не шибко изящную, прозу, но в ней правда жизни. Извините меня, пожалуйста, за нее. Я не знаю, когда выберусь в Москву, — так хорошо мне сейчас работается,

но я буду искать случай для этого и найду Вас. Спасибо Вам за все. Ответьте мне.

До свидания *К. Воробьев*

13. 6. 64

Нина Дмитриевна, здравствуйте!

Вы большущий молодчага, что написали мне такое грандиозное письмо. Бог воздаст Вам за это полной мерой добра, а я к памятнику, что соорудил Вам в сердце, прибавил еще одну «украшательскую» деталь — нечто вроде голубого грота, где хорошо притаиться, чтобы хорошо думать о людях и о себе.

Как видите, я полон решимости написать Вам длинное письмо, для этого у меня есть роскошные условия: неделю тому назад я схватил в своих хлябях какой-то гнусный грипп (не бойтесь, через письмо он не передается) и вот сейчас сижу в городе, и у меня пустые дни и жалующиеся глаза.

Дня два тому назад я написал письмо-ответ Алле Латыниной. Я понимаю, что ее письмо — святое дело рук Ваших, и очень старался при сорокаградусной температуре, чтобы письмо мое было по возможности внятным и полным ответом на ее, извините, по-детски наивные и чистые вопросы. Как теперь мне кажется, ответов не было: письмо было посвящено этакому небрежному защитительству своей особы от нападков «Литературки». Больной-больной, а булавочный укол ощутил болезненно! Но это и в самом деле безобразие. Повесть пролежала в журнале почти два года. Все же я попытался внушить Алле Латыниной, что писать о моем творческом пути — рано (для меня), биографические «данные» сейчас еще не нужны.

Вчера я отправил письмо В. Петелину. К нему я приложил начальные главы «Момича». Возможно, я поступил неосторожно, разъяснив слишком оголенно суть вещи. Но «Момич» — не «Секретарь обкома», и шарнирными фразами тут не обойдешься. Вы не могли бы прочесть эти главы?

Вы не сердитесь, что письмо печатаю на машинке? Я пробовал пером, но получаются какие-то инфузорные строчки.

Вы правы, «Друг мой Колька» было ведь кино. Но, может, плюнуть на это? «Момич» и в самом деле мой

друг. Очень большой друг. Но в конце концов можно просто оставить «Момич». Это не суть.

Осторожной и интригующей заявки я не смогу написать. Тут я совершенно бессилён. Но если «Момич» приглянется Вам и можно будет заключить авансовый договор, я приеду в Москву, и соединёнными силами мы напишем эту заявку на право жить и писать. Согласны?

Это что касается скучных дел. Нет, ещё об одном, не скучном, но важном и нужном жизни. Конечно же надо, чтобы хороший и умный человек занял важное место в издательстве. Вы посоветуйте этому хорошему умному человеку не ставить сейчас же тех условий, которые он, обладая потом властью, сможет многое сделать самостоятельно. Что касается меня, как какой-то помощи, то я испокон своего века испытываю всяческое отвращение к такой группе писателей, как всякие там турсунзаде, бабаевские, кочетовы, стряпухи-ляпухи и проч., кто в тяжкое время моей родины самозабвенно и упоенно славил султанов, ханов и вождей, преследуя хищную и корыстную цель — сталинские премии. К этим «классикам», низведшим русскую современную литературу до уровня жалкой стряпни, примыкает ещё железобетонная гвардия различных окололитературных жуков — бездарных, мелких, бесчестных и мстительных. На протяжении многих лет литературного безвременья они вели и ведут гнусную борьбу со всем тем, в чем есть проблеск таланта, совести и любви к своему народу. Надо ли говорить, что этим людям я враг, и моя задача, помимо моих произведений, наносить им при любом счастливом случае любой моральный урон.

Та-ак. Отвел душу. Я Вас не напугал этим? Больше не буду. Извините, пожалуйста.

А теперь давайте я расскажу Вам, что такое литовские хляби. Вообразите себе бесконечно-неоглядный дремучий вековой лес. Сосны и ели стоят во мху седом, в тишине и сизой дымке таинственности. Вы идёте по еле приметной тропе, и вам немножко жутко и отрадно, — на целые десятки верст вокруг тут никого нет. Вы идёте и идёте, и вдруг сердце — прыг! и рушится вниз, в живот прямо, а на макушке, если она не лысая, дыбком встают волосы, и глаза — сами — мгновенно окидывают ближайшие деревья и останавливаются на одном, где побольше ветвей и сучьев: на тропе, шагах в

тридцати от вас, стоит живой, могучий и красивый как лесной Бог — лось. Стоит и смотрит на вас, рыжевато-бронзовый, с умно удивленными глазами, с роговой короной на голове. Его Лесное Величество! Император! Это все вы думаете под холодок в животе, пятясь к обыкновенной сосне. А лесной Цезарь все глядит и глядит на вас, потом царственным движением ударяет передним — левым почему-то — копытом в землю и взрывает коротко, трубно и угрожающе. Вы уже сидите на первых сучьях сосны, и тогда к лосю, — это ж лосиха, мама, а они опасны, потому что на страже дитя, а может, и сам папа, потому что с рогами, — тогда к нему грациозно-испуганно подбегает маленькое, трогательно изящное существо с выпуклыми огромными черными глазами, — лосенок! и вы дорого бы дали, чтобы погладить его сверкающую кожу, точеные ноги, гордую дворянскую головку, всего его, созданного Богом в минуту наивысшего напряжения и взлета своей фантазии. Они не уйдут тут, если вы не закурите и не прицелитесь в них — в лосенка — из спиннинга. Прицелитесь из ветвей, пустите клуб дыма от сигареты и крикните ознобно «бух!». Так раза три. Тогда они уйдут. Не убегут трусливо, а проследуют. И вы тоже тогда пойдете своей тропой к своему заброшенному и заколдованному лесному озеру, заросшему кувшинками и лилиями. Рыба в нем непуганая и величиной в курский лапоть...

Ох, я мог бы Вам рассказывать об этом бесконечно! Но это надо видеть. Просто видеть, слышать, чувствовать, раз Вы не потеряли всех этих человеческих достоинств.

На сегодня хватит. А то я Вас замучаю своей болтовней.

Спасибо Вам за письмо. Желаю Вам, чтобы у Вас все сбывалось, что Вы сами себе загадали в детстве.

21.6.64

К. Воробьев

Сегодня Троица. Когда-то, в детстве, это был самый радостный праздник. Хаты потому что украшали ветками, а пол усыпали так называемой «богородицыной травой». Вы этого не знаете? Три дня живешь как в лесу.

К. В.

P.S. Нет, в «Аистах» ведь впервые как в книге и

«Убиты», и «Крик». «Сказание» же вышло здесь в ноябре, т. е. одновременно с журналом, тиражом в 15 тыс. экз.

К. В.

Нина Дмитриевна, здравствуйте!

Получил Вашу посылку, спасибо большое, но Вы совсем зря это делали: в Литве бумаги вдоволь, она тут делается для Москвы, и как это Вы по такой жарнице несли эти охапки на почту? Но что по-ребячески обрадовало меня — так это папки! Великолепнейшие папки! Дай Бог такие папки любому члену Союза советских писателей! В одну такую папку я и всажу «Момича». И пушай сидит там. Любые путешествия по журналам и издательствам выдержит! И вернется в целости. Потому папка хорошая. Объемная. Подозрительно-независимая...

Виктор Васильевич Петелин советует мне приехать в Москву, чтобы, как говорят, на месте повести речь о договоре, но, мне думается, это преждевременно. Надо закончить хотя бы первую книгу из тех трех, что я задумал. Как Вы считаете? Я послал ему продолжение «Момича», тиснутое в газете недавно, и это свое соображение. Он воистину добрый и душевный человек. И как это только Вы уживаетесь такие в «Совписе»? Очень хочется поглядеть на Вас.

Еще раз благодарю Вас за заботу, за бумагу, за великолепные папки.

Шлю Вам сердечный привет.

28.7.64

К. Воробьев

Нина свет Дмитриевна!

Во-первых, позвольте возразить-оправдаться: я смею думать, что ни о какой <...> «направленности» романа речи не было. Было о том, что «Момич» будет анти всему лживому, кровавому, холуйско-подлому и безобразному. Ни автор, ни, надеюсь, самый правоверный и подозрительный читатель или редактор не посмеют отождествлять сие с советской властью. Очевидно, в беседе с милой Аллой Николаевной я допустил некий лаконизм, понятый напрямик. Но в тот момент я был мрачен, зол и разъярен на весь «Совпис», не застав

там Вас. Это я вполне серьезно. Так что, как видите, ни в чудаках, ни в дураках ходить мы не желаем!

Далее. Ваша мысль о сборнике рассказов в рабоче-крестьянском издательстве — сплошное благородство. В «М. г.» я дал семь или восемь рассказов о детях. Это было аж в мае. Там листа три-четыре всего. Судьба этих рассказов не известна — в отпуске человек, заперший их в стол. Так вот: что Вы скажете на то, ежели в «Московский рабочий» дать все мои рассказы? Штук двадцать? Большинство из них печатались, некоторые нет. И сборник назвать «Рассказы». То есть можно ли это? «Литературка» не освистит? Напишите мне, пожалуйста, об этом.

Далее. Я согласен с Вами насчет дерьма и мрамора, но ведь тут просто невозможно ничего поделывать. Вы ведь видите, какое глухое молчание вокруг, над и под «Аистами». А книжку уже издают в европах. Нигде ведь ни пisku, ни шороху. А Вы говорите «купаться»! Да это хрен с ними, — мне лично хватает того, что есть — солнца, травы, воды, леса, чертей и ангелов. Со всем этим я в большой любви и дружбе (писать только это мешает, но я ведь скоро постарею), и единственное, чего не хватает — хлеба. А «Москвич», небесно-голубой, как кот мурлыкающий, черти б его взяли, нужен для поездок в гости к лешим, феям и водяным. Тут тоже нельзя ничего поделывать ни мне, ни Кузяке.

Заявку на «Момича» пришлю чуть позже.

Момич, загородив меня, поясню кланяется Вам. Он Вас чтит и любит. Пишите, не молчите. Привет мой Виктору Васильевичу.

18.9.64

К. Воробьев

Нина Дмитриевна, привет Вам и почет!

Вы, во-первых, не ответили на мое карандашное письмо. Отчего сие? Что Вас в нем привело в молчаливый гнев? А еще утверждаете, будто человек человеку кум и сват!

Во-вторых, я сейчас вот поташу на почту папку, что Вы прислали, — да будет благословенно Ваше имя! — полную сказаний о плохом и хорошем под этим небом. Не все там, в папке, умильно для сердца автора. Многие бы я прихлопнул дланью омастеревшего,

остаревшего и озверевшего писаки. Но там моя пестро-крученая юность. Жалко.

Было бы чертовски здорово получить от рабоче-крестьянского издательства человеческий ответ. Но в это, откровенно говоря, не дюже верится: куда ж тогда денется все то, что заставляет кое-кого кричать, что человек человеку у нас друг и брат!

Николаю Федоровичу Даладе я написал коротенькую и, надо надеяться, не очень вразумительную записку — дескать, «будьте добры», «пожалуйста» и т. д. Я сослался в ней на Вас — дескать, она подговорила. Так что сделайте милость, отвечайте за неразумных.

Есть еще к Вам униженная просьба: посоветуйте умом, а не сердцем, можно ли предложить «Правде» рассказ «Урок»? Я, вообразите себе, получил оттуда телеграмму, просят рассказ на современную, конечно, тему. Я поблагодарил за «огромное» доверие и сказал, что напишу. Но писать, наверное, не буду — Момич не хочет. А «Урок», по-моему, штука ничтожная, но вельми нынешняя.

Не молчите, пожалуйста, ладно? Не молчите!

29.9.64

К. Воробьев

Нина Дмитриевна, спасибо за письмище!

А то, что рассказы мои не попали в Ваши руки — плохо. А. А. Чернов — хороший малый и смелый редактор — узрит все же (в сборнике) крамолу в смысле его тематической разобщенности. Черт его знает, откуда это взялось, привилось и утвердилось, что сборники рассказов должны быть на тему: про колхоз. Про ремесленников. Про железнодорожников. То есть понятно, откуда это взялось, — все оттуда же, откуда явились бровманы, бабаевские и кочетовы с симоновыми. <...>

А. А. Чернов совершенно неправ насчет «Костяники» <...> Кстати: читал ли Кардин мой рассказ «Седой тополь»? Небось не понравился. Один жулик — Радов — сказал: «...там некем восхищаться». Каков плут? Он только и делал всю жизнь, что «восхищался» сталинской конституцией. Колхозами. «Ежовыми рукавицами»...

Впрочем, пошли они все к... Поговорим о другом. Например, о том, что я только что получил договор на

«Момича» из «Советской России». Значит, дней через десять получу тыщу рублей. И куплю я мешок гороху, и уеду в деревню, и буду до апреля сидеть там, и обрасту бородой, и, яко тать в ночи, буду являться в город за Вашими письмами, дорогой Вы мой Сократ Нинович! Как видите, все идет отлично.

Может, еще и Чернов не угробит сборник. Тогда мы с Момичем вообще будем ходить рубахи навыпуск, — пущай поглядят, позавидуют.

Мне б только вот слетать в Москву на пару дней, встретиться в Вами, пока я еще сохраняю человеческий облик. А то в бороде я дичаю, и встречные думают — «кусается, поди». И я бы прилетел, коли б мсье Даладье — Далада взял да и решил дело в пользу нищих.

А насчет того, что я будто сетую на тишину в моем литозере, — Вы зря. Это ведь о себе и обо мне написал один — тоже бородатый — дядя вот такое:

Пусть волны, как волны,
пусть ветер, как ветер,
пусть пули — в бою, как в бою, —
на бронзовой паре
 своих сорок третьих,
как вкопанный в землю стою.
И вижу, как беркут, далеко-далеко,
и ведаю суть за враньем:
от мозга и к мозгу
 большая дорога
работает ночью и днем.
Мой мир — не растворов,
мой — крепких эссенций,
бой, грянув, творит и не ждет!
Но есть у меня
 беззащитное сердце,
И это меня подведет...

Это я Вам стишки за стишки.

Пишите, не ленитесь. Будьте до конца вумницей.

До свиданья.

10 октября 64

К. Воробьев

Премилостивая Нина Дмитриевна!

Я опять виноват, скотина, но заслуживаю снисхождения без всякого подозрения, — крепко и тяжело осел я на березовый чурбан, в город выбираюсь редко, когда

уж совсем жрать бывает нечего. Хочется мне в зиму эту закончить первую книгу. Временами я тут, под завыв волков и хрюк вепрей, даже порываю над самим собой, — страшна судьба этого темного, похожего на врубелевского «Пана» человека! И никого у него нет, кроме меня, вызвавшего его тень к себе в друзья.

Да, конечно, договор я получил. Я понял, почему он примчался как бешеный, понял. Вот сейчас закончу отстукивать письмо, пойду в кафедральный собор и куплю за рупь аж большую, желтую, настоящую восковую свечу, и затеплю, и поставлю ее, где ей надо стоять, а сам буду строг и печально-несчастен. И если на Вашу душу сегодня, 15 ноября 1964 года, хоть на минуту упадет тихая и чистая радость тому, что рядом с Вашей комнатой шастают и шастают по коридору вдумчивые шаги соседей Ваших, — знайте: это действие свечи воску яркого! Вы думаете, что я клоуничаю? Черта с два! Поживите одна, в лесу, осенью, в дождь, день и ночь, обросши бородой, с зубной болью под ложечкой, без валидола, с длинными, как тюремный коридор, кошмарами, когда ты по полчаса орешь: «Люди!» — а проснуться никак не можешь, потому что людей нету! Поживите — и Вы постигнете, что такое значит общая кухня!

Я нашел у себя дома письмо уральского писателя В. Астафьева и его рецензию в Пермской газете. <...> Между прочим, Астафьев пишет, будто в декабрьском номере «Урала» идет большая статья обо мне же. Это, вероятно, Ваша? Пришлите ее мне, пожалуйста, тогда. Здесь нет «Урала».

А тут сыро, серо и тоскливо. Кого-то сейчас вот хоронят, — мимо моего окна едут «черные вороны». А грязь, а дождь, а ему, покойничку, хоть бы хны. Устроился...

Посылаю Вам два рассказа. «Урок», дрянной рассказишко, я написал в благородной ярости лет восемь тому назад. Никто его не взял, — убоялись чего-то. Но теперь уже «крамола» в нем слиняла. «Солнечный блик» тоже не взяли. Это мой последний рассказ. Больше я их не писал. О нем сказали, что он декадентский. Разве? Если они Вам понравятся, чему я совершенно не верю, то пошлите их в «Урал». А нет — плюньте.

Не могли бы Вы не считаться визитами и писать мне не только в ответ на мое письмо, но и так, когда

вздумается? Надо же все-таки чуть-чуть считаться с Момичем. Ему же восемьдесят, а мне 45, и уже 15 лет мой мозг ежедневно теряет около 300 тысяч нервных клеток, а всего их у человека нормального примерно 14 миллиардов. Ну и сколько там осталось? Мне ж вот-вот грозит вумственная импотенция! Должен я торопиться или как?

Ну вот. Низко Вам кланяюсь, желаю всяческого благополучия... и всего, без чего жить нам совсем кисло.

Пишите, а не сочиняйте, письма. Не забывайте о святом Антонии в пустыне.

15.11.64

Ваш К. Воробьев

Нина Дмитриевна!

Спасибо за совет написать Коле Даладе. И в самом деле, это свинство, но нешто я похож на обычную советскую каналю, расточающую «дружбу» по выгоде? Кой черт! Того (я это подглядел давно), кого долго били и оскорбляли, трудно заподозрить в пренебрежении к ласке и участию. Скромно говоря, меня тожать били!

Так вот. Все сие от горячечной занятости моей, — я ведь даже Вам не пишу (хотя и не ставлю это себе в достоинство). Ну просто трудно, просто нету сил сесть за письмо. Вы это хоть немножечко учитываете? Понимаете, что у меня получается: страница в день на машинке — с 6 утра до 10 вечера — и в корзинку (в печку) тридцать-сорок-пятьдесят рукописных страниц! Думаете мне их не жалко! И мозоли на пальцах и <...> Черт дернул меня писать! Я ведь отличный шофер! Ну ладно, это все при встрече. Теперича так: Коле пишу сегодня же. В следующем письме объясните, пожалуйста, почему, Вы думаете, не взяли в «Н. м.» мое «Ракитное»? «Туземцы» там, да? Черт с ними. Наверно, они и «Момича» не примут.

Далее: отчего это Вы так сухо написали? Обиделись? На себя тоже перенесли упрек мне в «неблагодарности»? Дурочка! Институтка!! Психоманка!!!

Ох, хочу куда-нибудь — в Кромы, в Бердичев! Ох, надо бы встретиться, пожаловаться, поплакаться, погрозиться, поклясться!..

Если сварите опять такой борщ, как тогда, телеграфируйте.

Приникаю к Вашим рукам, как пустынный к ключу.

15.12.64

Ваш К. Воробьев

Милая Нина Дмитриевна!

Ну да, Вы были правы: я тут не могу оставаться, — они — ну эти самые — в великом множестве съехались сюда, и мне нельзя различить: то ли россиянин одолевает супостата, то ли он, татарин, теснит россиянина. Что касается меня, то Момич не хочет. Они облучают его какими-то пронзительно-гнусными токами, и он бессильно ярится и ведет себя неукротимо.

Очевидно, я уеду через пару дней, так что Вы не пишете сюда. Я первый напишу Вам из Вильнюса.

Насчет «Н. мира» Вы правы во всем, но я не хотел Вам говорить об этом: уж больно стыдно: к кому и зачем пошли на поклон внуки Толстого и Бунина! И где? На святой Руси! Препроводилку к «Ракитному» я берегу. Когда-нибудь прочтете, и «легкой грустью подернутая ее прекрасные чистые глаза», как пишут мои пригорьные талантом и совестью собратья по перу.

Словом, все хорошо, прекрасная маркиза. Все, кроме пустячка — дышать нечем!

А насчет фильма по «Ровеснику» — тягостная бредь. Не будет фильма. Не на тех напали.

И Момича не будет. Т. е. он будет, но в моем столе. Я ведь это знаю, хотя пишу, будто иду через пропасть по струне.

Я хочу повидаться. Вот в марте закончу первую часть и приеду. Очень болит сердце — и чего это оно? Чего ему, моему-то, не хватало и «ет» в жизни! В самом деле болит, и я боюсь.

А куда это Вы ездили? Хорошо было? А я что же — рыжий?

А зачем это Вы дразнитесь «бессмертием»? Ах, подруга, зря это: мне и так кисло.

А насчет повестей у Далады — мне нравится. А как это сказать, как начать и кончить?

Мне нравится Ваше насчет «Ракитного». Откуда это Вы знаете про все, что написали? Вы взаправду знаете это? Я Вас люблю, потому что, в таком случае, Вы бу-

дете жить долго-долго, дерзать, выручать и мучиться.
Долго целую Ваш лоб и руки.

21.1.65

Ваш *К. Воробьев*

П. С. Да нет, я не боюсь и переписки: ведь в сущности эти парни — отличные ребята. Все мы дети одной кормилицы — советской власти. Только и всего. А сиськи у этой кормилицы сосут не те «дети». Но ведь ей это нравится. Значит, она хочет того!

Милая Нина Дмитриевна, здравствуйте!

Пожалуйста, садитесь. Пожалуйста, перестаньте хмуриться и обкладывать меня огненными глаголами, ибо все они израсходованы мною же на самого себя же еще по пути из Москвы в Вильнюс. После, несколько дней живя стыдливо и крадучись, я чувствовал себя ужасным прохвостом и канальей, в каком-то состоянии нельзя было садиться за письмо к Вам, и вчера, в понедельник, я уехал в деревню, где и ощутил себя чище и невиннее.

Прохвостом я чувствовал себя из-за того, что не по-видал ни Вас, ни маму. За все дни, проведенные в Москве, у меня по причине глубокого провинциализма и склонности в нетрезвом виде к сотворению различных мелких и средних чудес, буквально не было ясной минуты без «кумпаний», без словесных — слава Богу! — драк, знакомств и разрывов, признаний и отрицаний, удивлений и разочарований, — словом, все кончилось тем, что я купил книгу о Тухачевском (на обложке великолепный, гордый и смелый портрет его) и, заявив застолью в ЦДЛ о том, что «все вы полутатары и унылые рабы серой посредственности, кроме вот этого маршала да еще одного парня» (тут был učinен некий указательный знак), я ушел на вокзал и уехал.

Таким образом, ежели Вы посоветуетесь с Богом, допустившим такой съезд «верных сынов России», то обязательно амнистируете меня и напишете мне пару гневных или печальных строк по прежнему адресу. Целую Ваши руки и «падаю до ног», как, наверно, любил говорить мой юный маршал, кроме которого... и т. д.

Поздравляю Вас с новой весной в нашем веселом мире.

15.3.65

Ваш *К. Воробьев*

Нина Дмитриевна, привет Вам, привет!

Вы изволили быть уже поздравлены мной с весной или нет? Ежели нет, то прошу прощения и делаю это (т. е. поздравляю) самым изысканным и почтительным образом.

Может, в Москве это не так видится, а тут весна... и все — для меня — прелести ее — безденежье, тоска по засиженным далям, потеря нити в писании, внезапные озарения на восходах солнца — уйти в каменщики или золотари: здесь на окраинах небольших городков они еще сохранились. Сидит, понимаете, на душистой бочке и с великим наслаждением жрет батон. А морда до того крепкая, круглая, выпанная, что хоть реви за свой горький жребий бездомника.

«Урал» прочел, — спасибо за хорошие, сладкие (это я хорошо говорю: сладкие) слова и пожелания. Только знаете что, ведь книги нету, а я, грешный, получил пуда три писем россиян. Хороших, помогающих иногда обходиться без обеда.

Ну вот. 1 мая истек срок представления «Момича» в издательство, а ему и конца-края нетути! Но я пишу. Сижу в деревне и пишу и реву над ним с собой вместе.

А чего это Вы молчите? До свиданья.

Желаю Вам полного короба добра.

7. 5. 65

Нина Дмитриевна, здравствуйте!

Мне не удалось ни повидаться еще раз с Вами, ни связаться по телефону: Вы куда-то все уходили и должны были вот-вот вернуться, а я истерзался и замучился до такой степени, что снова прибег к прежнему спасительному рывку — взял и уехал ночью на вокзал. Потом я хворал подрывом сердца и обидой на себя, ненадежного под московским небом. И все же я привез 170 рублей. Это я к тому, что вполне мог отдать Вам долг...

Если Вам интересно про «Момича», то судьба его пока — в таком свете: журнал «Молодая гвардия» изредка укреплял мою психику присылкой увесистого бумажного кирпича. Я изучал его и писал реляции, за что мне присылали месяца через два-три от 25 до 37

рублей. Таким образом я утерял свою независимость и «Момича» обещал им. И дал. Там прочли, и случилось все то, чего мне и хотелось: сказали, что это блюдо не для них. «Новый мир» на днях ответил, что это хорошо, но конец страшен. Надо что-то опускать. Конечно, я опущу, но окончательно еще ничего не известно. Они посоветовали снять «роман» и «книга первая», заменив это «повестью», ибо сюжетно вещь закончена. Ну и пусть. Мне хочется сделать какой-то перерыв и написать лирико-современную повестуху — «В какую вам сторону?». Это записки таксиста. Думается, что напишу ее легко и сравнительно — для меня — быстро.

Наверно, письмо это не застанет Вас, — Вы, наверно, в Туапсе. Я тоже на днях уйду с рыбаками «в море», давно хотелось побыть с людьми смелого роста, а они — в большинстве — такие, рыбаки разумею.

А вообще — очень трудно и тоскливо. Вы окажете мне великую услугу, если напишете мне, что на этом свете — и в нашей дружбе — все в порядке, т. е. по-прежнему.

12.7.65

Ваш К. Воробьев

Здравствуйте, дорогая Нина Дмитриевна!

Благодарю Вас — с маленьким опозданием — за приветную открытку к Новому году. Я тогда же пожелал Вам в душе всего хорошего и доброго, а сейчас подтверждаю это графически. Рассчитываю на Ваше снисхождение, — я долго и бездарно хворал, да и сейчас общаюсь с веселым миром через окно.

Очень хотелось бы (солдатам и заключенным это всегда нужно) получить от Вас живую весть — какое у нас тысячелетие на дворе и т. д.

Мой «Момич» сдан в набор в «Советской России», он войдет в сборник моих повестей. Надеюсь, что выйдет он и в «Н. м.», так как журнал заключил в свое время договор со мной и даже выслал авансикко на заплатки. Поскольку Вы житель столицы, а я глухой провинции, Вам лучше ведомо, имею ли я право издать «Момича» отдельной книжкой. Может, разъясните? У нас тут весна. Я жду путевку, чтобы поехать в Кисловодск. Наверно, это сбудется в первых числах марта.

Между прочим, к «Момичу» мне понадобился эпи-

лог, что я и проделал трудно и опасно, но в тон ко всему.

Ну не поленитесь же и отзовитесь!

26.2.66

Ваш К. Воробьев

Милосьдарыня Нина Дмитриевна!

Вообразите себе зелень юной листвы, голубую лазурь неба, шпарящее на 19 градусов солнце, разных там комаров и бабочек и вообразите посередине всего этого — меня, и Вы позеленеете от злости и зависти ко мне, ибо я — в Кисловодске-с! Я только что с тихой мстительной радостью прослушал сводку погоды в Москве и сказал:

— Так им и надо, зулусам, правящим мои рассказы и бракующим их! <...>

Так вот. Отвечаю на Ваше письмо. «Момича» продолжать пока нельзя, о чем Вы сами знаете отлично, пока будете торчать где-то в криткутке, а в кресле главреда будет, извините, потеть седалище мадам (забыл фамилию). Я закончил его эпилогом. Олегу Михайлову я дал отрывок из повести «Крик». Я хочу ее продолжить, но это длинная песня, хотя написать очень хочется, и опять же там много лирического мата, а мадам мне не простит этого! И я мечусь и мечусь, и к осени надо сдать в местное издательство 8 листов чего-то, и, наверно, я напишу — напишу! — о таксисте, вернее — записки таксиста под названием (не разглашать!) «В какую вам сторону?». Но там снова хочется — и буду! — материться, а жить как — совсем не знаю. Долгов у меня громадная и живописная куча, и Ваши два рубля погребены в этом ворохе малой песчинкой, и я не знаю, когда и как сбудутся Ваши чаяния, чтоб получить их с меня. Вот как-с.

Слушайте-ка, Сократовна. По-моему, в этой московско-рабочей богадельне (да будет благословенно Ваше имя за то и т. д.) считают, что они выпускают мои оригинальные рассказы. Но ведь там таких, наверно, два, а остальное — было. Так вот нас, дворян-с, разьедают противоречия. С одной стороны, нам, обнищавшим по милости и т. д., хочется сдрючить с этой конторы как можно побольше, ибо Вы тоже заинтересованы в том, памятуя о двух карбованцах. С другой же... не

попасть бы на уста Чаковскому. Я советовался с «Россией», и там мне сказали, будто я — дурак, это не мое дело, есть книжная палата и т. д., но мне нужно знать Ваше мнение. А кроме того, ведь Вы меня туда ввели. Так что отвечайте, как я должен поступать.

Насчет «Момича»: я имел в виду издать его отдельно после выхода в «Н. м.» и в сборнике повестей в «С. Р.».

Я пробуду в Кисловодске до 5 апреля. Адрес мой <...> Если придет охота — черкните.

Кланяюсь земно

16.3.66

Ваш К. Воробьев

Милостивая моя осударыня, бью Вам челом.

Спасибо за Платонова. И подумать только: он вышел в «М. р.»! Кстати, недавно, просматривая какой-то журнал, я прочел, что в этом издательстве вышел только что роман некоего Кочеткова, что ли, под названием «Дорога в отчий дом». Насколько мне помнится, под таким кличем-девизом там же года полтора тому назад намечался выход сборника рассказов опять же некоего Воробьева. Видать, пламенно на меня там осердились: не хотят ответить, что все же со сборником.

Мадам, я разделяю Вашу печаль по поводу нелепой верблюжьей шинели, в кою обрядили и т. д. Но в этом случае, очевидно, совершенно нельзя ничего поделывать, кроме как ждать истечения продленных сроков. Ведь все мы ждем!

Я мог бы Вам сейчас, например, наплакать полный фартук ядерных и горючих слез о многом и разном, что прибило меня в конце концов на службу в редакцию газеты. Я сижу и служу, так как Туркин взял и рассыпал уже подписанный к печати сборник моих повестей, куда входил и «Момич». Но не только борода этого дяди смутила Вашего знакомого. Он устрасился и «Убитых», и «Радостей»... А Вы говорите — купаться! Ни среднее, ни малое, что я написал, не лезет... Для «Н. м.» я переделал «Момича». Теперь это называется «Тетка Егориха». Но пойдет ли она — Бог весть. Впрочем, об этом лучше при встрече.

У нас, матушка моя, осень. Слякотно, скучно и

мерзко. У меня полна хата хворых... А Вы еще твердите — купаться!

Ну, а что Вы? Напишите.

25.11.66

Будьте радостны! Ваш *К. Воробьев*

Матушка Сократовна, здравствуйте.

Письмецо Ваше я получил давно — благодарствую. Не отвечал по причине милой расейской необязательности, ежели не считать миллиона иных помех.

Книжицу, вышедшую по Вашей милости, посылать не хочу Вам — уж больно она ничтожна и стара. Как Вы справляетесь с житием под этим невысоким комнебом? Я, грешный, взял в феврале творческий, так сказать, отпуск — душа рвалась к столу, а когда ей это представилось, то зажмурилась, забила в угол и — молчок! Кроме матершинных междометий — никаких романсов. Теперь жду марта, чтоб вернуться на свой исходный рубеж.

Может, Вы и правы — насчет жалобы в Цеку, — но делать это я не хочу, не сумею. Печатать меня не желают. Никто. Ничего. Вертают назад, не вскрывая пакета. Канальи, мать их распроезак.

Что слышать, пани, в столице?

Не отворачивайтесь, ясновельможная, от сырых и согбенных.

Пишите. Ваш *К. Воробьев*

26. 2. 67

Нина Дмитриевна, здрасьте.

В свое время, когда Вы отдыхали в доме творчества, я написал Вам письмо. Там были кое-какие просьбы о совете, но ни совета, ни ответа я так и не дождался. Понимая, что у Вас к тому были важные причины, я сохранил к Вам прежнее дружеское сердце, поэтому Ваше письмо вполне могло быть человечнее. Вы не находите?

А «Момич» ведь не вышел. Вышла «Тетка Егориха» — вторая половина того брадатого черта — и все. Ежели сия тетка нужна Вам — вышлю с великой поспешностью и удовольствием.

А насчет Пскова все так, как Вы каркаете, но уже подошло время мне приискивать высотку на родной земле. Помнить надо о «милом пределе»...

А нового, т. е. радостного, — ничего нету. Туман и мрак. Да и нет в этом ничего мудреного — осень потому. А впереди — зима...

Желаю Вам всего доброго!

П. С. Слушайте, а когда Вы сделаетесь Главредом «Совписа»? Я бы б Вам бы б привез роман, а Вы бы б взяли его и... дали на внутреннюю рецензию Матову, а?

27.11.68

К. Воробьев

В. В. ПЕТЕЛИНУ

Уважаемый Виктор Васильевич!

Спасибо за письмо, за добрые слова, за изъявление дружбы. Этому чувству я знаю цену и умею ценить его.

Я и в самом деле пишу роман. Сюжет его — просто жизнь, просто любовь и преданность русского человека земле своей, его доблесть, терпение и вера. Роман будет из трех небольших частей, объемом весь листов 20. Начало его — тридцатые годы, конец — шестидесятые нашего, как говорят, столетия. Наверное, что-то будет в нем и о так называемом «культе». Я не боюсь того, что темы этой чуждаются издатели, хотя и не все. Причина их «оторопи» мелка и недостойна серьезного внимания. И она преходяща. Ведь если говорить правду, то тема «культы» по существу еще совершенно не тронута. Она лишь печально скомпрометирована и опошлена различного рода скорохватами и конъюнктурщиками — бездарными к тому ж, — т. е. теми самыми «мюридами», которые в свое «культовское» время создавали и охраняли этот «культ» с кинжалами наголо.

Нет, я не собираюсь поражать, устрашать, холодить и леденить. Я хочу по возможности русским языком рассказать о том, на чем стояла, стоит и будет стоять во веки веков Русь моя, вопреки всему тому, что пытались и будет еще пытаться подточить ее, матушку. Роман будет ясен, прост, спокоен, правдив и жизнеутверждающ, поскольку мы с Вами живы, здоровы и боеви-

ты. Кажется, я наговорил полный короб комплиментов ему, роману, но сам я тут ни при чем: я строитель, любящий свою работу и наученный понимать толк в «строительстве». И если иногда я отступаю от желания «заказчика» приделывать «балкончик» к зданию, то это ж на пользу зданию. Дольше стоять будет.

На всякий случай я посылаю Вам начальные главы из романа, тиснутые в республиканской газете. Конечно, из них Вам трудно будет разглядеть даль его, но кое-что Вы постигнете, и если Вас (я разумею издательское начальство) заинтересует роман, я с удовольствием отдам его Вам — мне здорово бы помог договор на время работы над книгой.

Черкните мне, пожалуйста, пару строк о том, как легло Вам на душу начало «Момича».

Шлю Вам сердечный привет. Мне тоже хочется повидать Вас. У меня уже «накопилось» в «Сов. писателе» несколько друзей, да будут благословенны их имена, как говорил Моисей.

20.6.64

К. Воробьев

Виктор Васильевич, здравствуйте!

Конечно, Вы правы: мне следовало бы приехать в Москву, но сейчас это, по-моему, преждевременно, так как рукопись далеко не готова. Где-то в сентябре—октябре будет готова первая книга, тогда я повезу ее Вам. Очевидно, роман пристроится в «Советской России» — там меня более или менее знают как вполне «благонадежного» автора. Возможно, они дадут мне и договор с авансом, так что все, я думаю, образуется, главное — не терять упрямства, веры в ближних своих и в себя.

Спасибо Вам за готовность оказать мне приют. Наверное, это мне понадобится.

На всякий случай, а также для совета, прямой критики посылаю Вам продолжение «Момича». Сейчас я сижу в нем в полосе коммуны. Это нужно сделать грустно-впечатляюще, правдиво-точно и тепло.

Конечно, если бы не необходимость отрываться от работы на побочные поделки для хлеба насущного, то книга продвигалась бы успешнее. Я как-то дерзнул своротить сценарий. И, знаете, своротил. И даже напечатал его во втором номере «Невы» за этот год (правда,

там его сильно попортили), но никакая, даже захудалая, киностудия не откликнулась на мой затаенно-вожделенный призыв. Видно: на эту кухню я постучался не в те двери: кажется, нужно было с «черного хода», а я по этим путям не ходок.

У нас тут сушь, жара. Появились уже кусачие августовские мухи. Конец лету. Вы были уже в отпуске? Куда Вы ездите? Валяйте в Литву, в Палангу. Говорят, что здесь хорошо. Я ни разу там не был. Я даже Черного моря не видел еще, вот ведь незадача.

Будьте здоровы и благополучны. Крепко жму руку.

28.7.64

Ваш К. Воробьев

В. П. АСТАФЬЕВУ

Только что вернулся домой (ремонтровался в Кисловодске) и нашел Ваше письмо, — прямо-таки новогодний мешок с подарками! Спасибо Вам за теплое слово. Черт знает отчего это, но мы ведь редко балуем себя, т. е. друг друга, словом привета и одобрения. А как это нужно.

Между прочим, я не писал повести «Капля крови». Это, очевидно, кто-то другой написал. Но судя по тому, что она Вам не понравилась — я не сожалею о том, что не являюсь ее автором.

К великому своему стыду, должен признаться, что ничегошеньки не читал Вашего. Когда я об этом сказал Александру Евсеевичу Рекемчуку, он с великим сожалением-осуждением молча посмотрел на меня и вздохнул.

Виктор Петрович! Давайте-ка так: вскорости у меня выходит в «Советской России» сборник повестей и рассказов. Я его сразу же пришлю Вам, а Вы постарайтесь, пожалуйста, выслать мне что-нибудь свое. Ладно?

Потом: а почему Вы изволите хворать и лежать в больнице? Что с Вами? Сердце? Поезжайте в Кисловодск. Это же здорово — нарзанные ванны, циркулярный душ и черт-те что еще там, после которого Вы способны лишь произносить междометия там, где до этого истерично взвизгивали в гневе или обиде. Ничем Вас после нарзанных ванн не пронять. Никому и ничем! А писать после них хочется, так что дуйте в Кисловодск.

Итак, еще раз сердечное спасибо за человеческие слова. Крепко Вас обнимаю, желаю Вам крепости в костях и мышцах и чувства русского в сердце. Пишите и шлите творения.

5.01.64

Ваш К. Воробьев

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за хорошее письмо и за книгу. Прочел пока один рассказ «Старая лошадь». Вещь сильная, впечатляющая, — Вы человек богатый и щедрый сердцем. И очень русский Вы, что в наше окаянное время — великое достояние! Мне известно, что жить и писать с этим чрезвычайно трудно, но Вы ведь знаете, что иначе нельзя, не стоит писать, а стало быть, жить. Черт с ними, с этой бандой верхушествующих в нашей литературе, всегда певших алилуйю тому, кому надо было петь анафему, продававшихся оптом и в розницу за мишуру. Мы нищи хлебом, но зато «в моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне», как сказал Блок. Это чувство радости за свою нерастраченность очень четко проявляется в лесу, на пустынном озере. Правда?

«Звездоград» разыщу. Загляну и в «Знамя» и напишу Вам о рассказе друга.

«Убиты под Москвой» мои. И «Крик» мой. Они входят в сборник. Я жду его денно и ночью, ибо одолели кредиторы, гоняются с палками уже. Я недавно написал повесть «Почем в Ракитном радости». Это об обворованном детстве и юности чистого мальчика. Писал долго, мучительно и радостно. Журналы не взяли. Послать сейчас Вам свои книжки не могу: нету их. У меня когда-то вышли сборники рассказов «Подснежник», «Седой тополь» и «Гуси-лебеди». А еще раньше в «Советской России» вышла моя повесть «Одним дыханием» — вещь суетная, слабая, отвратная, ибо «хоть маленькая, да семья»...

Не знаю, как Вы, а я пишу очень трудно и медленно. А тут еще чужбина, не свое, русское. Хотя леса тут — диво! И множество прекраснейших озер. О встрече в таком лесу я как-то написал рассказец. Он у меня под рукой, и я посылаю его Вам: этим я хочу сказать, что мне не чужда Ваша преданность лесному бродяжничеству.

Ну, вот и отвел душу, как говорят. Давайте не терять связи. Мне кажется, что у нас есть о чем пореветь в жилетку друг другу.

Шлю Вам искренний привет.

Ваш *К. Воробьев*

28. 01. 64

Дорогой мой Виктор!

Это письмо не застанет, наверно, тебя, но не написать его было нельзя — Господи, как хорошо, что на земле моей сохранились еще люди, как ты, как Твардовский, Пастернак, Юрка Нагибин, Виктор Некрасов — и имя нам — легион! Не знаешь ли ты, мученическая душа твоя русская, отчего нас невозможно пронять, отчего мы, несмотря на трехсотлетнее ярмо татар, розги Салтычихи, лагеря Берии и Сталина — сохранили живой, честный ум и веселый смех!

Нет, живы мы — столбовые русские смерды и дворяне, и никому, никогда не отдадим свой летучий — для нас неминуемый — гений, всеохватную душу свою, умеющую любить, терпеть, прощать и помнить.

Я крепко, по-братски, обнимаю тебя, верю в то, что все мы — в рассеянии сущие — пойдем наконец, что друг без друга, без локтя и слова — нельзя.

Твой *К. Воробьев*

15. 03. 64

Дорогой Виктор, привет!

Спасибо за открытку. Тебя тоже поздравляю с весной, желаю радостей и хоть немного денег, будь они прокляты! Ты не задумывался, отчего их у нас нету?

Что ты сейчас делаешь? Между прочим, для поддержки штанов я попросил творческую командировку в Пермь. Ехать, конечно, мне не нужно, но отметить бумагу надо будет. Ты это сможешь? Ответь.

В день по абзацу пишу, а иногда по целой странице. Видал?

Будь жив, здоров, благополучен, крепко обнимаю.

Твой *К. Воробьев*

30. 04. 64

Дорогой Виктор, привет тебе и целование!

Надеюсь, ты жив-здоров и Эссендуки пошли тебе на пользу телесную.

Вот и дождался я своих «Аистов». Посылаю тебе их. Жаль, что «Убитых под Москвой» ты не читал в журнале, там до черта было купюр, в сборнике же это полнее. Я ведь писал их как продолжение «Алексея».

Хотелось бы услышать твое мнение о «Ракитном», «Крике», «Ермаке», «Синели».

На днях в киоске купил твоего «Розового коня». Тебе не кажется, мы с тобой одним миром мазаны? Нет, не только по судьбе-кручине, а по восприятию сердцем мира божьего? Вот то-то и оно-то!

Слушай-ка, у меня есть два рассказа о войне — «пронзительные», по печатному листу. Что надо для того, чтобы устроить их в библиотечку «Огонька»? Разъясни. В этих делах я олух и дурак.

Мне что-то сейчас не работается: наверно, втуне ожидаю хулу и брань разных бровманов за своих «Аистов». Сволочи, вышибают недозволенными приемами перо из рук, никак не могу привыкнуть к оскорблениям, хоть на мне уже и места нету живого! Казалось бы, ну чего киснуть, я ж на своей земле — родной, пуховой, а вот поди ж ты! Это, наверно, оттого, что нету пяточка, аренки, где я мог бы стать в позицию с кулаками...

Как твои творческие дела? Что ты пишешь сейчас? Как твои материальные дела?

Не молчи. Пиши мне. Не забывай о в рассеянии сущих.

Крепко обнимаю тебя.

Твой К. Воробьев

22. 05. 64

Виктор, привет, дорогой!

Спасибо, дружище, за теплые слова. Кстати, а где Нагибин писал обо мне? Не читал. А вообще-то — пошли они, эти критики-хулители, на хрен. Но Ю. Нагибин — человек чертовски одаренный и умный. Этот парень мне нравится. Он может. Ему бы только поскорей постареть. Уж очень любит нравиться женщинам, а это погибель!

Рад за тебя. Значит, своротил, говоришь, повесть? Вот же счастливец! А я сижу в деревне (снял баньку)

и пишу свою главную книгу. Мы ведь всегда пишем главную, а она, как правило, не получается. Сижусь-сидю, а потом как вдарюсь куда-либо на озеро и как нарыбачусь до одури, и опять в баню.

Я не понял тебя насчет «Ракитного». Чего ты брюзжишь, она ведь честная штука.

Витек, осточертела чужбина! Хочу в Русь, криком кричу — хочу домой! Рязанцы советуют к ним, а квартиры нету. Буду пробовать обменять.

Между прочим, ведь меня, наверно, не пошлют литовцы на съезд. Может, надо через журнал или издательство какое-нибудь? Черт-те что, брат. Нет, пора удирать, пора. О чем твоя повесть? Война? Мир? Ты хороший писатель. У тебя несметная куча дара божьего, и сердце у тебя большое, зрячее и доброе. Только ты (сужу по рассказам «След человека») иногда бываешь многословен, будто не доверяешь читателю, рассусоливаешь, не оставляешь места для подтекстового чтения. Это у тебя от обилия чувства. Ты как жеребенок на весеннем ромашковом лугу, — вырвался и заиграл. Скупее давай, скупее. Но я ведь не читал твоих больших вещей, — здесь нету их. Может, прислал бы, если есть? А то нехорошо не знать друг друга. Да и подработать надо на тебе. Может, «Молодая гвардия» захочет рецензию. Они поддерживают мне штаны тем, что изредка присылают рукописи читать. Приходится ругаться и поучать, а это противно.

Пиши, не молчи годами.

Обнимаю.

К. Воробьев

7. 11. 64

Вить, здорово!

Всего на два дня позже тебя я приехал в Москву, — ребята из «Советской России» сказали, что ты был. Жалко, что не встретились! Видался с Ч., он шел с С-ым водку пить, звали меня, а я чуть живой был от канунного заседания и не мог пойти. Ч-н рассказал мне, как он назвал твою прозу чистой слезой, а я вдруг взял и пустил сам слезу.

Друг мой, брат мой, надо сдавать командировку, а она не отмечена. Можешь это? Попытайся. Но в любом случае верни эту бумажку, а то я пропаду.

Написал повесть. Отдал в «Н. мир». Советуют кое-что убрать. Очень хочу, чтобы ты прочитал. Она всего 160 стр. А писал около двух лет.

Не молчи подолгу.

Обнимаю и целую.

К. Воробьев

10. 07. 65

Вить! здравствуй!

Слушай-ка, ты, песенная душа! Ты не мог, черт тебя заласкай, писать как-нибудь «побрежнее»? Два часа надо, чтобы расшифровать твою открытку! Как присной памяти академик Иван К. пишешь. А как же тебя печатают машинистки, а?

Я тоже поздравляю тебя с осенним праздником. Желаю тебе удачной книги, килограмм денег и всего, что нам всем нужно.

Что ты делал в моих Курсках? А Носов — кто? Я не читал его. Ох, хочу на родину! Я ведь чуть-чуть не смылся в Рязань, да не вышло с жильем. Остается одна надежда — купить хатку где-то, крестьянскую, рублей за 200—300. Иначе ни хрена не получается. Я уже прощупывал почву насчет Курска. Но мне сказали, что тамошний секретарь обкома терпеть не может писателей, а рассчитывать на жилье там нельзя.

Читал объяву на твою повесть в «Новом мире». Я тоже отдал туда первую часть романа. Вроде бы взяли, т. е. заключили договор и прислали авансец, но сказали, что штука трудная и надо еще «делать». А я и так «делал» ее два года!

Вот такие они дела, душа моя!

Шлю тебе братский привет, обнимаю и целую. Поклон семейству.

Твой К. Воробьев

7. 11. 65

Привет тебе, дружище!

Спасибо за ласку: я, видишь ли, уже отвык от человеческого слова, потому как рык и брань сплошь. И не то чтобы я не понимал сути этой брани, не ведал истины за брехней, но сердце-то незащищенное! Вот дело-то какое.

Уже вот полгода, как я служу в газете. За это время не написал ни строчки. Да и не берут меня, не хотят, вертают без отписок даже, просто с обратной почтой. Это раздражает, зовет к отпору, ожесточает душу, а с таким настроением писать трудно. Плохо то, что травят меня бровманы.

Но все же караван должен идти своей дорогой. У меня второй месяц жена лежит в больнице, а сам я тоже дошел до ручки. Но зреет замысел новой повести, и я напишу ее, если даже весь мир заселят одни черти.

Как ты? Прислал бы «Сибирские огни» со своей вещью.

Желаю тебе в новом году мира, здоровья и благополучия.

Не забывай.

Обнимаю,

твой *К. Воробьев*

28. 02. 66

Вить, дорогой мой, здравствуй!

Письмо твое я получил уже давно. Из письма Л. Соболева узнал, что ты уже побывал в Москве. Все ли у тебя благополучно? Дай Бог, чтобы было так. Хотя ты ведь рожден под благополучной звездой.

Я вздумал послать тебе свой рассказ. Может, можно порекомендовать твоим ребятам в «Сиб. огни»? Ежели нет — хрен с ним. Первый экз. в «Сов. России», в издательстве, так что пусть это не смущает.

Ну что тебе, родной, сказать? Вот наступает весна, скоро можно будет укрыться на озере с удочкой — на целый воскресный день! Это ведь тоже благо.

Не молчи подолгу. Пиши.

Обнимаю тебя,

твой *К. Воробьев*

4. 03. 66

Витек, привет тебе и всяческий почет!

Спасибо, брат мой, за праздничную открытку с хорошими словесами. Она как раз пришлась вовремя: я просматривал «Огонек», а там тиснут отрывок из будущего романа З. — ты, может, помнишь его на съезде российских словесников? Он, бедолага, явился туда в

шинели, полковничьей папахе, в гимнастерке, галифе и сапогах, так сказать, классический костюм военного коммунизма, одеяние сталинской страды. Так вот и отрывок... под стать его одежде, не от ума. Читать это больно и мерзопакостно, ибо там какое-то бездумное глумление над российской бедой и болью.

А впрочем, пошел он к такой матери, холодный дурак! Эпигон прискорбных душой.

Как твои дела? Слышал, будто ты забрал из «Нового мира» свою повесть? У меня там тоже лежит повесть. Вот уже с год. И аванс давно прожил, а рукопись лежит и лежит. А ты говоришь — купаться! Вот оттого оно и безденежье и безработица за столом, ибо выпадает ручка и сохнут и вянут чернила. О чем твоя «Кража»? Хотелось бы почитать. И хотелось, чтобы ты тоже прочел мою рукопись.

Насчет переезда мне обещал помочь сам Леонид Сергеевич Соболев. Сказал, чтобы я наметил пункт. Может, ахнуть в Воронеж, а? Ты не знаешь, что там и кто там?

Привет семье.

Обнимаю.

Твой К. Воробьев

1967

Милый мой человечек, здравствуй!

Принимался несколько раз писать тебе, но выходило так непотребно мрачно, тоскливо и горько, что... Надо было рвать письма: я не люблю нытиков и неудачников.

Как-то мне написал открытку У., по-моему, из «Знамени». Подвигнутый тобой на милосердие, он вызывался помочь мне, имея в виду, очевидно, протолкнуть что-нибудь в журнал. Я поблагодарил его. Но ведь... «Знамя» меня не возьмет, что тут пытаться. А дня три тому назад звонил из «Н. современника» кто-то из твоих друзей. Но ты, наверно, не знаешь, что З. терпеть не может того, что я пишу. У меня есть его злобные рецензии (закрытые). А там ведь и Бровман!

Вот недавно «Новый мир» вернул мне (хорошо вернул) рассказ. В нем 40 страниц. Отдал его в местный наш тут альманах. Он выходит один раз в год, тираж — 2 тысячи экз. Оседает тут, в Литве. Вот и все. Но все же я продолжаю писать.

Ну-с. Есть у меня и просветы на горизонте: ребята из Пскова обещают осенью квартиру там. Перееду. Был я у секретаря обкома. Кажется, перееду. Может, там, на родной земле, будет лучше?

Душевное спасибо тебе за память и доброту.

Крепко обнимаю,

твой *К. Воробьев*

21. 09. 68

Милый Виктор, здоров!

В Псков я еще не перебрался, дело затягивается до осени. Смутно представляю себе, что такое Вологда. Впрочем, дело ведь в нас самих, а место, как говорят, красится человеком (хотя человек пошел, скажем прямо, весьма говенный).

Посылаю тебе несколько военных и полувоенных рассказов. Может, что-нибудь отберешь.

А на дворе, брат, весна. Кричат грачи, пробивается трава, — все как тыщу лет тому назад, и ничему нет дела ни до цензуры, ни вообще до всего того, что страшно осточертело, измучило... Спасибо за письмо. Не забывай. Крепко обнимаю тебя,

твой *К. Воробьев*

27. 4. 69

Дорогой Виктор!

Спасибо за открытку, за рассказ. Может, немного денег пришлют? Живу в Вильнюсе, в Пскове не дали квартиру. Живу хреново: меня совсем перестали печатать. Я ожесточен, а это не помогает писать.

Юра Гончаров пытался помочь мне издаться в Воронеже, но из этого ничего не получилось. Говорят, что надо писать так, как, скажем, Кочетов. Или Бабаевский. Но это же надо уметь так писать!

Как твои дела? Все в порядке? Я что-то расхворался, расклеился. В Чехословакии вышла книжка моих повестей на днях, но денег-то оттуда не получишь, вот дело-то какое.

Ну, будь жив и здоров. Желаю тебе и всем твоим домашним светлого и доброго нового года.

Обнимаю,

твой *К. Воробьев*

26. 12. 69

Дорогой Виктор, привет тебе, привет!

Как поживаешь! Почто примолк? Не откажи, дружище, в совете-разъяснении такого анекдота: я попал в «Современник» нечаянно, по просьбе В. Чалмаева дать журналу что-нибудь, поскольку оттуда был выведен Бровман и т. д. Я тогда дал «Генку». В оскопленном виде, но с моего согласия, он был тиснут. После я послал рассказ «Чертов палец». Рукопись завернули с яростными следами пометок-негодований на полях, вытертых, впрочем, резинкой. На том мы и расстались. Но попозже Б. написал мне письмо, в котором советовал не обобщать, не прерывать и т. п. Я послал рассказ «Уха без соли», а в будущем обещал дать повесть, которую кончаю. Кажется, «Уха» тиснута в ноябрьском номере. Соли там не осталось, но опять-таки с моего согласия. И вот я получаю перевод на 127 рублей 40 коп. Получив такую кислую дулю, я подумал: не является ли это дипломатичным указанием мне на дверь? Дескать, вышла ошибка со мной.

Может, тебе, как члену редколлегии, известно что-нибудь на этот счет? Хотелось бы знать истину. Ответь, пожалуйста, что значит этот веселый юмор? Это, разумеется, останется строго между нами.

Обнимаю тебя,

твой К. Воробьев

16. 11. 70

Р. S. Мне, конечно, следовало бы отослать эти 127 рублей назад, но это, наверно, будет выглядеть чересчур «капризно» и мелочно. А очень хочется.

Вить, здравствуй!

Спасибо, дорогой дружище, за твое благородство, — мне передали, как ты на пленуме сказал добрые слова обо мне. Я тогда был в больнице с воспалением мозга и частичным параличом конечностей. После операции (трепанация черепа) рука и нога восстановились, а левый глаз видит плохо — троит и двоит, так что, к примеру, ежели стать возле метро с протянутой рукой, что вполне для меня реально, то поданный пятак будет сходить за три.

Из нейрохирургического заведения я выписался в августе и сейчас живу пока в Москве, так как периодически надо показываться врачам.

Хвороба стоила и стоит чертовски дорого. Будь добр, черкни мне пару строк вот о чем: ты не мог бы посодействовать в издании сборника моих повестей и рассказов в издательстве «Современник». Я там никого не знаю, и я не тот автор, которого привечают. На мне лежит какое-то проклятье, а за что — никто не знает. Сам я тоже. Все изгадил, всех напугал Бровман.

Я учусь ходить, читать и писать. Вот уже и устал. Силенок мало, да и голова побаливает.

Мой адрес: 101000, Москва, ул. Генерала Ермолова, дом 2, корп. Г, кв. 167.

Крепко тебя обнимаю,

твой *К. Воробьев*

3. 09. 74

Дорогой Виктор!

Спасибо за письмо, за рекомендацию. А вот воспользоваться ею я, кажется, не смогу, так как пребываю преимущественно в лежачем положении. Да, Прокушев, оказывается, не считает возможным издавать меня, поскольку, видите ли, я не являюсь русским писателем (имеется в виду место жительства).

Вот, брат, какие пироги.

Но переживем и это. Было ведь хуже и подлей. И опасней.

Будь здоров.

Обнимаю тебя, твой *К. Воробьев*

19. 09. 74

И. Н. ФОМИНОЙ

Дорогая Инга Николаевна!

Утром я отправил Вам новый вариант заявки и письмишко с сетованием на то, что договора «нетути», а вот сейчас, вечером, получил всю оказию. Вы неправильно указали адрес — квартира не 28, как Вы изволили начертить на конверте, а 25. Пакет блуждал черт-те где. И все равно Вы прелесть, и не кокетничайте: подвиг-то Ваш, и награду я придумаю. Правда, она будет зависеть от степени исполнения издательством последнего пункта договора, так что это обстоятельство прошу иметь перед взором.

Господи, ну какое такое письмо еще надо директору? Не смогу я это. Дайте ему, пожалуйста, то мое вселенское обращение.

И ради Бога уведомите меня о результатах как можно быстрее: я оставил за собой резерв — «Совпис». Они торопят сказать определенно, а все не знаю, что «таперича» делать. Полагаю, что это мое чистосердечное признание не наложит на Ваши души тени недоверия ко мне — дескать, ковар-рство! Нет, все проще: жить же надо! И по возможности хорошо писать. И возвращать долги...

Отбиваю Вам от порога поясной поклон. Момич тоже кланяется и вприщур оглядывается — хорошо ли ему будет? Недоверчивый, старый черт.

Пишите же!

Ваш К. Воробьев

19. 09. 66

Дорогая Инга Николаевна, здравствуйте!

Пожалуйста, напишите мне подробно, что произошло с книгой. Я, к сожалению, не могу приехать, я совершенно потерял, и 1 августа надо выходить на работу в редакцию газеты, — иначе места не будет. Я три дня пытался написать Вам это письмо, но оно не получалось. Я хотел бы знать, кто именно запретил книгу. Что это значит, кроме всего, что я знаю. Дело в том, что я не могу представить в дальнейшем свою судьбу как писателя. Я похож на человека, бегущего под уклон с ножом в спине.

Напишите, пожалуйста, все подробно.

P. S. Верстку я оставил у себя.

28. 07. 66

Дорогая Инга Николаевна!

Во-первых, поздравляю Вас с наступающим Новым годом. Очень надеюсь, что он будет веселый для редакторов и писателей...

Не могли бы Вы благосклонно отнестись к моему «Чарли Барклею» и киноповести «Я слышу тебя»? т. е. в смысле приобщить это к сборнику, если он будет? Это ведь оригинальное, если не иметь в ви-

ду, что «Барклей» был оттиснут в количестве 8 тыс. экземпляров в Литве в 1956 г. Только восьми! Киноповесть была в «Неве» в 64 году.

Я бы приехал в январе, если нужно. Будьте добры, черкните пару строк.

До свидания.

К. Воробьев

23. 12. 66

Милая Инга Николаевна!

Простите ради Христа за молчание и задержку этой оказии, — совсем расклеился я, оттого и выпадают лучшие страницы моей сути... Так ли я написал просьбу о помиловании? Может, надо было на машинке и без слезы? А черт его знает, не люблю, старый идиот, жалиться, оправдываться, спасаться.

Но «Генку» я, конечно, напишу. Может, не к ноябрю, а чуток попозже, но напишу. Листа два уже есть.

Поздравляю Вас с весной. Числа 20 уеду в лес, чтобы писать. Будьте добры, напишите мне, как начальство отнеслось к этому делу. Как Вы поживаете? Хотелось бы попить московского чайкю.

Ваш К. Воробьев

6. 04. 68

Дорогая Инга Николаевна, здрасьте!

Спасибочки за оттяжку срока. Десятого января — вещь!

А Гончарова я впервые прочел в Друскининкай. Это была изданная Вами, сударыня, книга «Дезертир». На библиотечных полках, захламленных разными там «Огнями и мечами», «Сыновними бунтами» и прочей какалатурой, книжка эта сияла своей девственной нетронутостью, — она была чиста, как женская слеза по мужской вероломности: ее не читали. Это, между прочим, верный признак того, что книжка дельная. Я ее взял, начал читать часов в десять вечера и поздно ночью прикончил обе повести — «Дезертир» и «Неудача».

Должен Вам заявить, милостивая государыня, что Вы издали отличнейшую, талантливую, серьезную и честную книгу! И за то Вам душевнейшее спасибо! Конечно же, мне хотелось сказать Гончарову полтора теплых слова. Что я и проделал.

Нуте-с, рад Вашему предстоящему путешествию в свадьбу, как и всякий не потерявший уважения к себе мужчина, я переполнен мрачной завистью и ненавистью к тому Пражско-чешско-хорватскому монстру, и не дай ему Бог повстречаться нам в «Праге», где мы будем с Тимуром! Сами должны понимать, какая сатанинская казнь ему уготована!

А таперича вот какая к Вам просьба. Поскольку, как я полагаю, не все время у Вас в Праге будет проходить в сиренево-лазурном чаду, но будут и светлые окна-прогалины, то не смогли бы Вы позвонить (тел. 43-26-90) или навеститься к Ольге Ивановне Птачковой — моей переводчице. 2 октября 67 года она сообщила мне, что перевела «У кого поселяются аисты». Я хотел бы получить вызов. И еще: я послал ей «Егори-ху». Получила ли? Между прочим, лет пять тому назад в Праге вышел сборник моих рассказов «Лебеди». Вот!

Итак, падам до ног и целуем рэнчки.

Ваш *К. Воробьев*

16. 04. 68

Любезнейшая Инга Николаевна!

Сидя в деревне, испытывая всяческие терзания — скуку, тоску, словесное бесплодие по причине боязни редактора, я вдруг нынешней бессонной ночью вспомнил, что в Вашем издательстве существует, помимо всего прочего хорошего, еще одна очень хорошая редакция — т. н. малой серии, что ли? А вспомнилась она мне по той причине, что у меня есть, выброшенная Вами из предыдущего сборника, оч-чень идейная и оч-чень художественная повесть «Чарли Барклея». В ней три листа (меньше, наверно), помимо упомянутых достоинств. Скажите, пожалуйста, ежели К. позволительно печатать свои вполне дерьмовые «Щиты» огромнейшими тиражами, затаскивать это на экран и сцену, то Ваше отношение ко мне в этом плане чертовски, извините, несправедливо! Может, можно и мне оттиснуть «Барклея»? Сообщите, ради Бога.

В предыдущем письме я обращался к Вам с просьбой насчет моих дел в Чехословацком издательстве. Получили ли Вы это письмо?

Между прочим, сегодня канун Первомая, а я сижу в своей норе сырый и угрюмый, и нет мне ни аванса, ни пивной.

И между прочим, в Праге продаются разноцветные ленты для машинок «Консул». Вы, надеюсь, намерены вернуться оттуда? Это следовало бы знать заранее, потому что редактора терять — не шутка.

Поздравляю Вас с весной.

Ответьте мне, пожалуйста, я раз в неделю-две заглядываю в Вильнюс домой.

Привет всем моим друзьям из Вашей комнаты.

Ваш К. Воробьев

30. 04. 68

Инга Николаевна, здравствуйте.

Вы зря так, к черту прямо. Право, не ведаю, чем это я Вас так рассердил. Дело ведь просто было в моем старании оказать себе помощь в работе над трудной повестью, судьба которой будет не лучше «Момича». А рассчитаться-то за аванс надоть? Вот я и просил у Вас совета и помощи, только и всего. А Барклей ведь малый безобидный, и мне думается, что тиснуть его вполне можно и лепту за него обратить в погашение.

Почему Вы решили, что я шучу? Вы убеждены, что Барклей совершенное дерьмо?

Впрочем, есть три рассказа на 3 листа. И вообще, об этом следовало бы, наверно, поговорить очно, если, конечно, Вы не прониклись ко мне — вернее, к моим лохматым рукописям — вполне понятным отвращением. Разве я не понимаю всей выгоды того редактора, у которого не болят печенки, когда он работает над аллилуйщиной! Если мне думать в этом плане, то поневоле решишь, что Вы тонко намекнули, кому из нас следует отправиться к Вашему милому чертику. Но этого я все же не думаю, — не могла же Ваша поездка так восстановить Вас против моих горемычных героев-бедолаг.

Ну вот. Ежели я здесь не прав, то прошу прощения за минутное затемнение, но и Вы, пожалуйста, не придавайте тому серьезности: этак легко впасть в обиду, тем более что люди в беде и счастье одинаково эгоистичны, потому что заняты тогда только собой. Вы ведь, наверно, не нуждаетесь в том большом чувстве благодарности Вам — редактору? Нет? Я не мог сказать это проще, но это сущая правда, и странно, что Вы подозреваете меня в равнодушии и слепоте на этот счет.

Кроме того, то письмо, как я это, я пишу Вам на службу.

Итак, зову Вас к миру во всем мире, к дружбе, единству и братству. Бо мы, как говорят хохлы, еще понадобится Родине, читателям и... критикам. Шлю Вам сердечный привет. Поклон всей 542-й!

Ваш *К. Воробьев*

28. 05. 68

Дорогая Инга Николаевна!

Разрешение на продление срока представления мною рукописи я получил недели три тому назад от директора Вашего издательства: до этого я дважды писал Вам, но Вас, очевидно, не было, а может, письма не попали к Вам, потому что Вы не ответили. Словом, срок оттянут до декабря.

Возможно, Вы правы, до 70 года можно ждать, а там... мало ли?

В Воронеже, как я чую, ничего не выйдет, ибо ворота там сделаны по типовому же чертежу, но плюс в расчете на рост местных гавриков, а я гаврик чужой. Там я думал издать расширенный вариант «Крика», «Егориху», поскольку она не издавалась в России, а только в Литве, и часть рассказов. «Крик» читал Гончаров. Он написал мне о своем впечатлении — это ему понравилось, но литпришибеевы не смогут это осилить.

Вот какие дела.

Ну-с, а дела, как я уже имел честь сообщить Вам раньше, серые в желтую полоску... Дело в незримой прелестной фигуре цензора, который неотступно стоит за моим письменным столом, т. е. сзади меня. Вы можете представить себе, что из этого получается!

Очень жаль, что какие-то девицы в Вашей конторе считают приличным не передавать Вам письма Ваших авторов.

Кланяюсь О. В., Тимуру. Не считаете ли Вы все вместе, что мне пора повидать вас?

Всего Вам хорошего и радостного.

К. В.

29. 03. 69

Дорогая Инга Николаевна!

Желаю Вам в Новом году черт знает чего хорошего — честных, талантливых авторов, красивых аристок-

ратических поклонников Вашего редакторского таланта, трогательно-умного убранства Вашего рабочего стола (в своей повести, которую Вы с каким-то недоброжелательным ехидством именуєте «романом», я кое-что «украл» с него), радостей и свадьбы в глазах. Во! Мне помнится, — Вы помните? — что обещали мне, Вашему верному автору, непременно пригласить меня на свадьбу? Помните? Так что смотрите! Не то — кинжалом я владею! Я в Кисловодске как-то жил!

А таперича вернемся к нашим баранам. Я и не настаиваю, чтобы была издана непременно маленькая книжка. Я полон упрямства, дерзости и уверенности, что «Чебрец» (запомните, это договорный «Я мчусь к такой и т. д.», запомнили?) обязательно, непременно будет лежать и пахнуть на Вашем столе в марте. Ну, на худой конец, в апреле. Все равно ведь книжку Вы будете планировать, если понравится цвет и запах, в 71 году. Я только нахожусь в архихреновом нравственно-денежном состоянии; я только думал, как рассчитаться за аванс поскорей. Но, очевидно, это утрясется и позже, т. е. в 71, так? А повесть невелика — листов 6, как и подобает хорошей повести.

Тут дело в том, что вот уже несколько месяцев я потихоньку спячиваю с ума. Выражается это в том, что я сплю 2—3 часа, — меньше, чем Наполеон: тот удовольствовался четырьмя. И в правом ухе у меня засел — денно и ночью — кузнечик, что-то похожее на часы. И это никогда не проходит. И я с усилием заставляю себя жить, отвечать (а не рычать) на вопросы и т. д.

Послезавтра, в субботу, иду в госпиталь. Очень боюсь сойти с ума. А с чего бы, правда? Впрочем, кому какое дело до этого. Извините...

Пожалуйста, не умолкайте надолго.

Ваш *К. Воробьев*

Поздравляю Вас с Рождеством! Передайте мои поклоны всем нашим.

7. 01. 70

Милостивая Государыня Инесса Николаевна!

Получил Вашу посылку, — сердечно благодарю: я всегда верил в чистоту Вашего благородства и отзывчи-

востях. «Чем пахнет чебрец» (повесть, повесть, а не и т. д.) непременно, обязательно закончу к весне, а иначе я буду проклят. Но сколько сомнений с ней, тревог, неуверенности, что это что-то похоже на мое. Мне очень частенько хочется сжечь ее, но удерживает аванс. Отсюда, между прочим, проистекает кое-какая малюсенькая мораль, Вы не улавливаете ее?

Мне очень хочется встретиться (ну что за чертовщина, иссякает ручка, как давно не пившая ничего душа!), встретиться, говорю, с Сов. Россией. А ей, Сов. России, хочется? Не замолкайте надолго.

Всем пламенный беспартийный привет.

К. В.

2. 02. 70

Дорогая Инга Николаевна, здарсьте!

Пожалуйста, узнайте, — но совершенно точно, до тошно, без девической небрежности, — кто таперича правит делами в «Новом мире». Остался ли там Дорош? Кто пришел, откуда, где был раньше?

Видите ли, повесть моя близится к концу. Глядишь, в мае—июне я прикончу ее. Вот и надо пристраивать. Вы потерпите до июня? Все равно ведь в этом торжественном году Вы не будете составлять мой сборник.

У нас пахнет дымом от сжигаемого мусора — весна! Скоро будет «клювать» щука и прочая водяная тварь.

В первых числах мая мне предстоит оказия в Москву, — надо навестить маму, она больна. Будете ли Вы тогда в издательстве?

А о новомировцах мне хотелось бы узнать теперь.

Поздравляю Вас с новой весной. Приветствую всех наших.

Ваш К. Воробьев

17. 04. 70

Дорогая Инга Николаевна!

1. В «Псковской правде», газете партийной, как Вы сами понимаете, на 4 стр. помещена рецензия на «Тетку Егориху». Почему и завернута расклейка «Тетки» в эту газету. Есть еще поднебесно-хвалебная рецензия, но не в этой газете, а в другой, уже республиканской и тоже, как Вы догадываетесь, партийной. Этой газеты сейчас у

меня нет. Но можно, конечно, найти, буде она, рецензия, понадобится.

2. Прилагаются также 177 стр. новой повести. Конец в 25—30 страниц (а то и меньше, но, возможно, и больше) дошлю через месяц-два. Это вполне ответственно.

3. Аннотаций на свои вещи сроду не писал, — не умею, не знаю, о чем я пишу. Все остальные подробности излагаются в особом письме Вам.

С комприветом,

К. Воробьев

5. 09. 70

Мадам,

благодарю Вас за письмо на нежно-сиреневой заграничной бумаге. Я полностью оценил всю полноту и силу его иронического подтекста, — дай Бог Вашим авторам писать с таким чувством и умом свои «Полеты на луну».

А в Вильнюсе в самом деле зело мерзкая погода. К тому же с гонконгским гриппом.

«Великана» высылаю на имя Туркина, понятно. Пущай хоть перед концом своим потешится над Кержуном.

Если Егориха вызовет у него плотоядную жажду убить ее во второй раз, то как Вы смотрите на «Алексея, сына Алексея»? т. е. «Сказание»? Но, может, древнее изречение «помни о смерти» поможет Туркину быть — на минуту стать — человеком? Он ведь не читал Егориху.

А снимок пришлю пижонский.

Но почему Вы оттягиваете с перепечаткой? Что сие значит?

Благодарю за обещанную книгу. Поздравляю с наступающим Новым годом.

Ваш К. Воробьев

20. 12. 71

Дорогая Инга Николаевна!

Я получил непонятный, но весьма радостный для меня переводик. Что сей сон означает? Пришлый ревизор вскрыл ошибку — нерадивость бухгалтерии? Какой молодец! Вот бы почаще так «обворовывать» авторов! Во всяком случае, мною сотворена была страстная мо-

литва во имя святой и непорочной девы Инги, ибо, не ведая еще источника благодати, я понимал, что только с ее выси и только оттуда на меня может упасть какая-то милосердная капля.

Благодарю Вас! Благодарю. Шлю Вам душевный привет, поздравляю с наступающим Новым годом.

Ваш *К. Воробьев*

25. 12. 73

Милостивая государыня Инга Николаевна!

Видит Бог, я польщен Вашим трогательным желанием приобщить к парадному ряду подаренных Вам авторских экземпляров и мою книжку. С тревогой за Вас воображаю, с каким негодованием, оскорбленные в своих лучших «законных» чувствах, встретят герои и героини тех дарственных экземпляров моего разночинца и пижона Кержуна! Вы хоть подумали, что отныне будет твориться в Вашем книжном шкафу? Сколько там выработается крупной соли светского злословия? Подглядываний? Подслушиваний? Апелляций к какой-то там Киреевой? Доносов в «Литературку»? И все это, заметьте, будет совершаться по ночам, т. е. в те благословенные часы, когда к Вам обычно слетают девические сны.

Так Вы будете беспокойно наказаны за свое легкомыслие.

Так воздастся Вам за всю Вашу тонкую иронию насчет разных там «высочайших милостей».

Прощайте. Целую Ваши редакторские ручки.

К. Воробьев

20. 02. 74

Р. Н. ВИКТОРОВУ

Дорогие друзья!

Я не уверен, что образец заявки на сценарий помог мне, — он показался мне, простите за откровенность, сумбурно-нелепым. Я сочинил что-то свое и, возможно, еще более сумбурное.

А доехал я роскошно и всю дорогу развращал себя тщеславием и гордыней, — дескать, вот мы какие, воробы! Только у дома, при расплате, сердчишко исподтишка испытало что-то похожее на слезную дрожь —

пятерки хрустели так печально-загадочно и ничего не обещающе.

И думаю я, дорогой, что зря ввязался в эту — все-таки желанную сердцу — историю с фильмом, и хотел было утром послать вам первую часть «Серебряной дороги» и услышать оправдание своему малодушию и благословение на продолжение ее. Но потом это прошло. Я не думаю, что ты будешь выматывать у меня селезенки. Ты же соавтор и изволь тоже смеяться и плакать. Изволь думать, как начинать и кончать и от чьего голоса должен идти текст лесного плана. От командира?

Жду твоих замечаний по строю сценария. И как тебе нравятся эти чертовы окна с Настей, Макеем Ивановичем и Гогом? А почему бы и не так?

В общем, заключаю договор. Неужели Кукушкин не постигает, что «Подснежник» — будет правильная штука!

Низко кланяюсь Надежде, привет маме, обнимаю тебя. Книги пришлю потом. Если «Человек в мокасинах» подойдет, то не затеряй очерк, он у меня только в этом.

И меня все тревожит этот железнодорожный подвиг Подснежника, — не прослыть бы нам с тобой мелкими воришками и не посрамиться на всю Русь святую... Нет ли еще одного варианта того же подвига? Газетно-журнального? Впрочем, я могу и ложно тревожиться. Ведь не будем же мы списывать фразы оттуда, а идентичность аварии — вещи разные, правда?

Ну, благослови вас Господи! Пиши. Я пока ничего не буду делать с сценарием, буду ждать, что ты скажешь: как его и откуда.

К. Воробьев

10. 02. 61

Салют болящим и скорбящим!

Надеюсь, что ты на ногах уже. Вообще говоря, нужен особенный талант, чтобы схватить такую простудищу летом. Где это ты так? Может, нужны какие-либо лекарствишки? Хотя нужны, очевидно, просто деньги... А на Руси святой испокон веков они не давались поэтам. Вот бы сочинить об этом фильм. О Белорусской киностудии. Изучить причины, способствующие появлению бездарных картин, познать тайну привета этой ки-

ностудией дико-халтурных сценаристов Севелы-Драпкина, Казаринского, Антоненкова и т. п. и т. д. Что это такое? Отчего сие? Напрашиваются очень невеселые ответы.

На предмет хлеба горького я сочинил пару пустячков, при сем прилагаемых. Сейчас снова засел за повесть. Трудно, брат. И писать и жить.

Насчет вет. эскулапа это, возможно, и вещь. А кто им стал? Командир? И он стал лечить вашего Кукушкина? Это хорошо. <...> Рад, что тебе понравилась первая часть «Дороги». И шлю тебе привет. Поклон Наде.

Выздоровливай. Пиши.

Обнимаю *К. Воробьев*

Мой вьюный друг!

Однажды (с сомнительным успехом) я пробовал выучиться на какого-то эндокринника. Было это в голодный год, и я, спасаясь от лиха, подделал себе в справке лета и махнул в Мичуринск, где и был этот техникум. Эндокринник — это что-то связано с бойнями и мясокомбинатами. Словом, я проучился недели три, и все эти двадцать дней нас кормили кишками. Все, что было в городе и его садах — все провоняло этими кишками. Ужас один, как это противно, ежели кишки и кишки, а больше ничего. И я сбежал опять в голод.

Это я к тому, что Подснежник — блюдо для меня старое, надоевшее. От него на меня уже пахивает чем-то вроде тех кишок. Может, этим и объясняется то блестяще рекордное время, в которое я справился с этим блюдом, то бишь сценарием. Я вылизал все до крошки. Конечно, своим приемом — справа налево. Ежели ты найдешь, что тарелка нечиста — валяй слева направо. Причем сколько угодно! Буду рад. И буду хихикать, представляя тебя за этим занятием.

И все же я преисполнен тайной (за нас с тобой, а не за Кукушкина) гордости: фильм будет мощный! Да-да!

Обнимаю. Поклон Наде. Пиши. Привет от Веры.

К. Воробьев

20. 09. 61

Дорогой Ричард!

Письма твоего не понял — почему это ты должен

увольняться по какому-то там «положению № 2»? Что это такое? А разве ты не занят сценарием о «Милых людях»? И вообще, что это за настроение? Если б я так реагировал на хулу и похвалу рецензентов, то давно бы протянул копыта.

Вчера я получил заключение. Сегодня выслал ответ Лужанину — я не понял, что от меня хотят. Ведь в сценарии сохранен дух и фраза рассказа. А о другом не было и речи. Другое пусть сочиняет другой. Но ведь от меня требуют «коренной переработки» вещи. А я надеялся, что всему конец — и слава Богу! Мне кажется, что товарищи чем-то разъярены, взбешены на меня: нет ведь ни единого доброжелательного слова! В чем дело, ты не знаешь? Не было ли речи о взыскании аванса? Это было бы совсем гнусно! И вообще, какие порядки в этом деле? Тут уж не время предаваться унынию, тут надо действовать. Не хандри, пиши.

Привет Наде. Обнимаю. *К. Воробьев*

16. 01. 62

Дорогой Ричард!

Мною были предприняты почти конвульсивные душевные и физические движения для того, чтобы освободиться от уз «дружбы» со студией. Вначале твое начальство пыталось обвинить меня в какой-то недобросовестности с каким-то не писанным и не отправленным мне письмом. Когда же я предложил установить факт неотправки этого письма, они маленько сконфузились, но договор не расторгли, предложив мне любой срок для представления нового варианта сценария. Занятый тогда повестью, я предложил черт-те какой срок — до 1 августа 63 года. Условия они приняли.

И вот я кончил книгу. А радости у меня нет: надо что-то делать, заранее зная, что, будь мой сценарий сверхгениальное произведение, он не будет принят. Мне ясна позиция студии — взыскать аванс.

Не мог бы ты на минуточку проявить заинтересованность в моей тревоге на этот счет и узнать истинные цели и намерения начальства своего! Что им надо истинно? И что я должен сделать для того, чтобы мир и покой не был между нами нарушен? Мое единственное желание — забыть то счастливое время, когда я, после свершения некоего торжественного акта, пил

кумыс, а затем уехал в Вильнюс. Ты сам понимаешь, что писателям и режиссерам изредка не вреден кумыс, но заставлять их делать то, что они не могут (потому что они хорошие писатели и режиссеры), — нельзя.

Ответь мне, пожалуйста, по возможности побыстрее и поточнее.

Привет Наде. Крепко жму руку.

К. Воробьев

29. 04. 63

Ю. В. ТОМАШЕВСКОМУ

Дорогой Юрий Владимирович!

Сердечное спасибо Вам за теплое человеческое письмо, за мужественную и чистую статью. Мне, как Вы сами понимаете, неловко разбирать ее достоинства, но я могу и хочу признаться Вам, что испытал чувство радостного удовлетворения от своего невеселого, пасмурного труда, раз он вызвал в чьем-то родственном сердце такой отклик и поддержку.

Со своей стороны я хочу утешить Вас — не огорчайтесь, пожалуйста, тем, что этот труд Ваш пропал даром. Во-первых, солнце еще много-много раз будет всходить и всходить на востоке, а, во-вторых, как известно, не все рукописи горят. Еще раз душевное Вам спасибо.

Шлю Вам дружеский привет.

7. 06. 70

Юрий Владимирович, меня осенила вот такая мысль: в Литве выходит раз в год нечто вроде литературного сборника на русском языке «Литературная Литва». Это, надо сказать, всегда добротное издание. Мне думается, что Вашу статью там примут радушно (лично ко мне там относятся с благосклонностью, тьфу, тьфу). Вам не зазорно было бы прислать свою работу туда? Наверно, им можно будет сказать, для кого и по чьему поручению она готовилась. Адрес таков: Вильнюс, проспект Ленина, 50, издательство «Вага», редакция литературы на русском языке. Если это окажется приемлемым Вами, то, разумеется, представьтесь им слегка, упомянув для веса свою фирму.

Я же при первой okazji в Москве разыщу Вас. Мой же адрес Вам известен.

Будьте здоровы и благополучны.

А логика присылки статьи полнейшая: «Вага» ведь издавала эти мои две книжки.

1970 г.

Дорогой Юрий Владимирович, сегодня мне позвонили из «Ваги» насчет Вашей статьи, что, дескать, вот старший редактор Совписа и т. д. Из соображений высшего порядка я отрекся от истины, что статья и ее автор ведомы мне, и в дальнейшем выяснилось следующее: мы с Вами, сударь, опоздали ровно на три недели. Материал книжки сдан в набор, статье, стало быть, придется вернуться домой или лежать в «Ваге» до будущей весны. По этому поводу я могу лишь произнести некую сакраментальную фразу, как произносят ее на русском языке мои друзья-литовцы: клеба нету, колодно, к — о. Если это способно вызвать у Вас какое-нибудь смиренно-философское чувство, удержите его: помогает.

Письмо Ваше я получил. Не придумывайте себе, пожалуйста, неуютного домысла, что я что-то недоговорил о Вашей статье. Дело в том, что мысль изреченная — есть ложь, и в данном случае это так со мной и было. Вы только вообразите: пишу я лет двадцать. Книжки мои выходили дома и, как говорит Райкин, т а м. И лишь в Чехословакии однажды нашлась чужая-родная душа, трогательно понявшая, о чем я пишу, и мне после этого было горько и трудно жить, потому что дома я постоянно встречаю враждебность и хулу. Пакеты мои неизменно возвращаются назад, и все надо и надо не ожесточаться, не падать, чтобы уже не вставать. Это все тяжело. Однажды — давно — я предпринял попытку издаться в Совписе, но какой-то Гринберг, извините за невольную надменность мою, так страшно и бесстыдно надругался над телом моей Руси в моих отвергнутых рукописях, что я искренне жалел о том, что слишком поздно родился и не могу поставить его к барьеру!

Так вот, Ваша статья и письмо. Что они могли у меня вызвать, кроме удивления и благодарности! Я и до сих пор удивляюсь, как это Вы сохранились и осме-

лились? Ну, положим, осмелились Вы потому, что сохранились. А как это Вы сохранились? Тогда я решил, что судьба послала Вам какое-то горестное испытание — в одиночку, только Вам, без руки и голоса соседа, — которое стало чистилищем для Вашей совести, — иначе к правде, кажется, в наше время не приходят, и хоть это эгоистично, но я не могу не приветствовать это Ваше, возможно, выдуманное мною, испытание.

А вообще нам просто надо когда-нибудь встретиться. Вы не ездите в Палангу? Туда теперь вся Москва сбивается, и нет зрелища печальнее и нахальнее москвича на чужом ему месте. Я не обидел Вас? Но это ведь правда. Так вот, собирайтесь-ка в Палангу. И заезжайте ко мне. Дома у меня есть, кстати, телефон: 5-17-63.

Шлю Вам привет и крепко жму руку.

Ваш *К. Воробьев*

7. 07. 70 .

Юрий Владимирович, здравствуйте.

Вчера вернулся из Москвы и дома нашел несколько хороших писем. Ваше тоже. Мне оно не показалось «хорошим». Скорее грустным, минуя в нем единственно радостное место, где Вы с трогательным ликованием пишете о скором пополнении Вашей семьи. Да пошлет Вам бог сына! Потому как сын — продолжение рода. Ну-с, книжку, конечно, написать надобно. Да ведь она уже обречена Вами же. Она же получится правдивая и яростная, а этот товар на нашей лит. ярмарке не идет. Совсем. Впрочем, Вам это известно не хуже, чем мне. Другое дело, если бы Вы взяли и подняли пласт какой-нибудь «не поднятой» еще целины. Ну скричали бы частушку о Бабаевском, например. Или о Липатове, Бубеннове. А то — Зоценко! Вы бы еще дерзнули на Анну Андреевну Ахматову! Насколько мне помнится, этих мучеников в одно и то же время причислили к стану нечистых... Сие — горько говорить и слушать. А Вам надо написать книгу, чтобы издать ее. Но, разумеется, порядочную книгу о порядочном же писателе, не подпавшем почему-либо под анафему. Есть ли такие? Вот ведь какие дела!

А в Москве я был по случаю горестному и для меня трудному, — тяжело и безнадежно болеет моя мама. Ей 80 лет. Повидать Вас я не мог. Такая встреча наша

была бы по моей невольной вине серой и вымученной, и я бы «не заметил» Вас, а Вы — меня.

Вообще все трудно. Жить трудно. Писать. Встречать и провожать день. Мне нравятся люди (из моего, так сказать, полка), которые не утратили выправки души и грации рук, закованных в браслеты. Сам я все чаще и чаще начинаю сдавать. Бывает, что погода разгуливается, но это стало случаться все реже и реже. Страшное безлюдье! И безденежье — тоже. Это не сближает с жизнью. Чаще и чаще хочется быть совсем одному. Но это, кстати сказать, совсем не значит, что я приглашаю Вас одуматься. Напротив. Я только хочу с высоты своих злых и горьких лет предупредить Вас, младшего сополчанина, что нужно тщательно беречь свои силы — слова, жесты, мимику лица, движения души — чтобы в урочный час написать свою настоящую книгу!

Ну, проповеди и нытья, пожалуй, хватит. Отпишите-ка мне, пожалуйста, нет ли у Вас какого-либо знакомства с Воениздатом? В лета моей тщеславно-легкомысленной юности я написал дюжину браво-победно-выложенных рассказов...

Эти мои рассказы отвратили от меня К., когда он, привлеченный «Убитыми», писал (или хотел писать) обо мне какую-то реляцию. Старик не понял, когда, почему и как написал я эти рассказы. Разумеется, в них нет ни пресмыкательства, ни подлости. Они просто наивно-сентиментальны и даже милы своей простодушностью, что дорого мне как юность и... немного глупость, только и всего.

Словом, для Воениздата это, наверно, подошло бы. Я же давно и прочно живу в нищете, потому что уже не могу написать такого рассказа, над которым возрыдал бы адмирал...

Будьте живы и бодры. Приветствую Вашу жену. Набиваюсь в крестные Вашему, грядущему в сей большой добрый мир, наследнику. Да будет этот мир истинно добр для него!

Ваш К. Воробьев

31. 07. 70

Шлю Вам привет, Юрий Владимирович.

Вот какое дело: всю эту сволочь, о которой Вы с

милой мне брезгливостью упомянули в своем письме, я отлично знаю. В моем столе лежит, например, совершенно шизофреничная «закрытая рецензия»... на мои рассказы, которые я пробовал издать в Совписе несколько лет назад. Стало быть, соваться к нему не стоит. Да и вообще этот наш минутно оптимистический домисел поддержать себя безнадежен. Бросим это. Надо, как видите, питаться акридами, грибами, рыбой, т. е. подножным кормом, и продолжать свое наветное шествие. Все образуется потом, после, потому что оно не может не образоваться. <...>

Как здоровье жены? Пожалуйста, передайте ей, что России испокон веков очень нужны и нужны детишки тех родителей, кому сама Россия всегда доводилась злой мачехой, а почему это происходит в России — одному Богу ведомо. Из этого следует: мы ждем в мир маленького Томашевского, чтобы было кому передать и нашу боль любви к России, и родовую шпагу, с которой мы за нее бились.

Братски Вас обнимаю. Будьте все живы, крепки и непреклонны.

Ваш *К. Воробьев*

4. 09. 70

Р. С. Сейчас иду в издательство «Вага», там я узнаю о судьбе статьи.

К. В.

Ю. В.! Статью Вам завернут. Она, видите ли, велика. А кроме того: «Мы ведь даже о своих заслуженных народных писателях Литвы не печатали ничего подобного». Это довод!

Есть советик Вам. Суньте-ка статью в журнальчик «Наш современник». Он сейчас немного ухаживает за мной, желая заполучить повесть, которую я кончаю.

Дерзните. Это ведь бесплатно (в смысле отказа).

К. В.

Юрий Владимирович, поздравляю Вас и жену с появлением на свет рабы божьей Анастасии. Пленки и распашонки, конечно, дело хлопотное, но для молодого отца — всегда отрадное. Хуже — другое: Ваша неприкаянность в Совписе. Контора эта мне известна. Там

одна Главредиха чего стоит! Не попробовать ли Вам торкнуться на предмет пристройства в «Современник». На днях мне звонили и жаловались, что с весны не могут найти зав. отделом прозы. На этой должности был А. Б., но с уходом Ч. он стал замом Викулова. Кстати, в 11 номере там идет мой рассказ «Уха без соли». Соли, понятно, в рассказе не осталось, но, как Вы понимаете, с голоду съешь всякое. Теперь в 1 номер планируется моя повесть, но я ее еще добиваю. Стало быть, условия для вручения Вами статьи о К. Воробьеве «Современнику» вроде бы благоприятные. Но, может, мне надо порекомендовать Вас Богданову? Тогда вручать статью неудобно будет. Подумайте и напишите. А вообще имейте в виду, что возможности в нашей стране исчерпаемы. Вам могут оказать теплый прием, скажем, в «Октябре» и изгнать из старого «Нового мира». Это происходит от сумбура, глупости, беспорядка, но происходит... Далее: реорганизуется изд-во «Сов. Россия». На ее базе создается новое изд-во «Современник». «Советская Россия» будет издавать только классиков типа Кочетова и Софронова с Бабаевским, а «Современник» — неизвестно кого. Попробуйте созвониться с моим редактором там Ингой Николаевной Фоминой. Может, она поможет Вам внедриться в «Сов. Россию»? Разумеется, это все одно и то же, т. е. мир один, что в Совписе, что там, но для Вас важно новое место.

И еще: у Вас в белокаменной выходит журнал «За рулем». Его редактор — мой друг. Могу написать ему, чтоб дал Вам «наиглавнейшую» должность. Один ведь черт, над каким дерьмом работать: над «художественным» или «автомобильным». Важно иметь возможность кормить Настю и писать самому. Свою повесть «Сказание о моем ровеснике» я, например, написал, трудясь завмагом: больше никуда не брали, а Сереге было три месяца.

Работал я и грузчиком, и письмоношцем, и кинемехаником... На всякий случай учтите, что во мне 183 сантиметра и я был кремлевским курсантом и командиром партизанского отряда. Словом, надо выдюжить. Подумайте и напишите, что я могу для Вас сделать.

Крепко жму руку. Поклон жене, Насте тоже.

К. Воробьев

2. 10. 70

Юрий Владимирович, здравствуйте.

Что ж, может, оно действительно к лучшему, что статью завернули Вам. Вот я, например, сожалею, что согласился на публикацию «Ухи». Получилась, знаете ли, не уха, а похлебка с такими компонентами, которые я сроду не использовал в своих блюдах. Купюры и добавления превратили рассказ в баланду...

Повести, той, о которой я чисто и гордо думал вначале, не получилось. Это трагично. И выпадает карандаш из рук. Куда я дену ее? И как жить? Потом, позже, я пришлю Вам рукопись. Опротивела она мне до умопомрачения. Хотя в свое время мне так же представлялись «Убитые», «Радости». Может, это оттого, что я всегда был вынужден говорить на бумаге 40 из 100? Возможно.

Теперь, голубчик Юрий Владимирович, пожалуйста, исполните одну просьбу: узнайте, как величать Богданова и Фролова. Отвечая им, я называю их «милыми современниками», а они, надо думать, обижаются...

Ваши доводы в пользу бдения в Совписе мне понятны. Но, кажется, для него сооружается новое здание? И тогда будут казематики попросторнее. Впрочем, везде, в конце концов, одно и то же...

Привет Вашей Тамаре, Насте желаю горластеть и толстеть.

К. Воробьев

21. 11. 70

Дорогой Юрий Владимирович!

Обстоятельства сложились так, что я решительно не имел возможности ни повидать Вас, ни позвонить вторично, проведя все три дня в Воскресенском у больной мамы, — это километрах в 30 от Москвы. Вероятно, что в скором времени поеду снова, так что прошу Вас, пожалуйста, извинить меня за эту мою вынужденную необязательность: бывают положения, когда ничто не может помочь тебе. И тогда получается все скверно.

Сердечно поздравляю Вас и Вашу семью с Новым годом. Да будет он для Вас добрей и милосерднее старого!

Ваш К. Воробьев

1. 01. 71

Юрий Владимирович!

К страху за младенца своего привыкнуть, очевидно, нельзя. Особенно трудно бывает, когда является врач с шприцем. Но надобно знать, что детишки переносят хворобу легче взрослых и что болеть им положено.

Что касается Вашего сетования «склон лет», то это звучит немного по-ребячески, когда до смерти хочется слыть за взрослого. Ну какой там склон. Кстати, мне недавно попался на глаза роскошный том с зазорным названием «Мы — молодые». Я заглянул туда только потому, что увидел Ваше имя да еще своего приятеля Юры Куранова. Скажите, а почему Вы, говоря о воронежцах, не назвали Юрия Гончарова? Знаете ли Вы что-нибудь об этом отличном русском писателе?

Это досадно, что по работе у Вас беспокой и тревога. Но ведь этот заржавелый и закоптелый гасильник свечей в ночи трус и рухлядь.

...А статью бросьте. Пишите, сударь, что-нибудь проходимное. Со мной же у Вас ничего не получится. Знаете, однажды «Литгазета» командировала ко мне О. М. на предмет сочинения «творческого» портрета. И кроме неприятностей, ничего у него не получилось. Ну, а я, конечно, извлекаю из такого отношения к себе сплошное удовольствие. Говорю это вполне серьезно. Ну что бы я стоил сам для себя, если бы меня печатали и хвалили наравне с А., допустим?

Насчет Б. Я не верю, что она отдала статью в «Пергале». Вы не могли бы обратиться по этому поводу к гл. редактору из-ва К. А.? Он пришел туда недавно. Это мой хороший приятель. Но мне все же неудобно заводить с ним беседу о Вашей статье, поскольку она обо мне.

...А повесть моя подвигается трудно, и дела мои очень серы, почти желтые. Но иначе нельзя.

Будьте живы и здоровы. Сердечный привет Тамаре. Держитесь. Воюйте.

Ваш К. Воробьев

17. 02. 71

Милый мой Гаршин, здравствуй!

Опасаясь, что наше обоюдное молчание после первой встречи ты вдруг возьмешь да и истолкуешь черт-те как, а это ни к чему. А может, я тебя чем-нибудь

обидел? Это тоже было бы чертовски глупо. Четвертого мая я долго пытался дозвониться к тебе, но это было после обеда, телефон молчал. Я решил, что спит Настя. А 9 мая я снова был в Москве. Умерла мама. Хоронил я ее на Ваганьковском. Это было тяжело и страшно. Я еле притащился в Вильнюс. Долго хворал сам. И духом и телом. Сейчас только обрел способность членораздельно разговаривать.

Как и что ты? Черкни пару строк. Поклон Тамаре. Обнимаю тебя.

К. Воробьев

15. 07. 71

Дорогой Юра!

Вот тебе гранки и рукопись. Ее ты мне верни потом, т. к. это последний оттиск, а черновик утрачен машинисткой. Будто бы.

Рецензию Сурганова мне прислала Инга Николаевна. Она, рецензия, вполне заздравно-зауспокойная, насторожившая редактора, предложившего мне совместную «работу» над сборником в свете «конструктивных» предложений рецензента. Если учесть, что ему из-за меня в свое время была сделана жесткая выволочка¹, то будет вполне понятно, что имеется в виду под словом «работа». Значит, надо будет вымарывать лучшие куски в «Великане» и прочих вещах сборника, если хотеть, чтобы он вышел. Вот такие дела. Для любопытства посылаю тебе сургановский экосез... При случае поблагодари Сурганова от моего имени. Конечно же, попади сборник в другие «суровые и вумные» руки, мне было бы весьма кисло. Ну-с, а как ты намерен читать? Наверно, сначала надо прочесть рукопись? Или одновременно, сличающе? Но мне хотелось бы услышать от тебя всю неприкрытую правдушку: я недоволен повестью. Я же хитрил-мудрил, чтобы она вышла, понимаешь? т. е. в свет вышла.

Теперь вот какое дело, друже. Когда ты проникнешь в «Смену» и пульс твой обретет нормальную частоту и тон (или не проникнешь и тоже успокоишься), то не торопясь подумай и отпиши, кому бы в «Совписе» я мог предложить свой сборник из благонамеренных, так

¹ Строгий выговор за повесть «Друг мой Момич»

сказать, повестей и рассказов, опубликованных в провинции. Туда, думаю, могло бы войти: «Сказание о моем ровеснике», «Почем в Ракитном радости», «Генка», десяток рассказов без «воробьевских заскоков». Дело в том, что я сажусь за роман «Крик». Это года на три-четыре. Еще хочется написать «Это мы, Господи!» Света это не увидит. При мне, по крайней мере. И хотя я знаю, что голодный писатель — хороший писатель, все же краюшка хлеба ему временами нужна. Вот почему меня интересует «Совпис».

Будь жив, здоров и хоть немножко денежен...

Сердечный привет жене твоей.

Обнимаю,

твой *К. Воробьев*

15.08.71

Дорогой Юрий Владимирович!

Мне временами приходится заниматься тут судьбой произведений молодых авторов, пишущих на русском языке. На этом основании посылаю тебе для «Смены» толковый, на мой взгляд, рассказ Феликса Капланаса. Парню 25 лет, закончил пединститут, работает здесь в Центральной республиканской библиотеке, чемпионствует в Прибалтике по полевому теннису и пишет рассказы нашего толка.

Будь добренький, погляди это попристальней и при любом решении ответь прямо автору по адресу: Вильнюс...

Как твои дела? Что умолк?

Обнимаю тебя,

твой *К. Воробьев*

7.10.71

Сударь! После твоего письма я вдруг поймал себя — застиг нечаянно — на хорошем советском чувстве: а как это ему все удалось, — и квартира, видите ли, и синекура, а не служба, и все такое прочее?! Везет же ж! А тут вот... и т. д.

В журнал, конечно же, надо внедряться незамедлительно, если помнить добротную притчу русского народа о клоке шерсти. Не думаю, чтобы могли тебе отказать в нужной бумаге, — все дело это зависит от самого се-

бя. Надобно просто знать, — пора, по крайней мере, что они обожают смирение в просителе. Это очень им нужно для самоутверждения; они тогда бывают склонны к напутствию, покровительству, даже ласке. Стало быть, от тебя требуется одно — мудрость. Или, как говорят в Курской губернии, тихтахтика. Сиречь — на всякого подлеца довольно талантливой простоты.

Теперь о моем «Великане». Он идет в 9 и 10 номерах, но в каком виде! В повести остался один голенький и довольно подленький адюльтер, а все прочее, ради чего писалась эта штука, похерено. Произошло это без моего участия: откровенно говоря, я в тот раз не оценил способность нюха ребят из журнала на все подстрочное и дал согласие на урез трех листов, так как, по их словам, журнал может поднять только 8 листов. Правда, мне было обещано, что будет проставлено «печатается в сокращенном виде», что меня как-то устраивало. А когда прочел гранки, то душа моя уязвлена стала, но сделать что-нибудь уже поздно: вещь продана за 2400 рублей, из которых 60% мною вожделенно получены. Итак, утешением служит одно — «печатается с сокращением». И еще то, что повесть выйдет здесь отдельным изданием в ноябре — декабре почти полностью.

Я могу тебе послать гранки из журнала и рукопись, но что ты извлечешь из этого для рецензии? Негодование? Но такое придется по сердцу только мне, а не «Новому миру». Кроме того, надобно учесть, что у меня с «Современником» никаких объяснений не было и не может быть, я только решительно настаиваю на исполнении ими обещания. Значит, решай: слать тебе гранки и рукопись?

Читал ли Сурганов «Великана» в издательстве «Сов. Россия»? О том, что повесть выходит в Литве, никому говорить пока не следует. Мало ли каким добрым чувством ко мне могут подвигнуться чужие мне сердца.

Привет и поклон Тамаре.

Обнимаю тебя.

К.

2.08.71

Дорогие Юра и Тома!

Спасибо вам за письмо (а тебе, очкастая куница, я еще всыплю при встрече, я тебе покажу «зубатый да

смешной и рыжий»). Юр, ты излишне суетишься и нервничаешь. Во-первых, никаких там у меня не создавалось подозрений на твой счет, — просто я лучше тебя знаю степень любви ко мне в журналах и издательствах, только и всего. «Великаном» же я недоволен сам. Мне ведь хотелось провести там мысль, что не стало личности, индивидуальности, что велик и подл страх личной смерти...

Но все это выпало. Книга должна была выйти, чтобы тоже жрать, мне и Сереге. Вот и получается по старинной притче, что русская рубаха не живет без цветных ластовок. Уразумел? Вот так получится — должно получиться — и с твоей статьей. Нешь мы виноваты, а? Ведь хоть и маленькая, а семья!

Конечно, ты так и сделай — сперва попытайся в «Н. м.», а ежели там сорвется, пришли в «Сов. Литву». Но, пожалуйста, учти, что я совершенно равнодушен к «хорошей» и «плохой» прессе о себе, блевал я на эту самую прессу! Я сам большой, и мне этого достаточно.

Дела в «Сов. России» для меня желтые. Боятся «Егориши» (коммуна, видите ли, хреново нарисована, совсем нет гаруса и позумента). Но этой конторе я должен полторы тыщи, так что они вынуждены составить мой сборник. К нему нужно предисловие. У меня спросили, не возражаю ли я, чтобы это сделал Сурганов. Я сказал, что такое предисловие уже есть — твое... Обратятся ли к тебе, нет ли — не ведаю. Но я установил, что ты там на хорошем счету — тебя боятся. Ты сам не котируешься, что и слава Богу.

Далее. В Москву я приеду неизвестно когда: все зависит от главреда, который находится сейчас в Кисловодске...

Специально Томе. Дудки, чтобы мы, потомственные, зубатые, рыжие и смешные, встречались постно. Дудки-с!

Обнимаю и крепко целую вас.

И с Рождеством Христовым. Сегодня седьмое, а 13-го — наш новый год. Вот таким путем-с!

К. Воробьев

Р. С. Я начал новую повесть. Называется она «...И всему роду твоему», там опять сироты и герои нашего времени. Потому как дворяне!

К. В.

Милая Тома!

Когда будешь прогуливать Настю, выломи в парке

метровой длины хворостину, а дома сделай крутой соляной раствор (доза: килограмм крупной дешевой соли на ведро воды) и пропарь эту хворостину — так, примерно, часа два. После этого сними со своего благоверного портки, разложи его на трескучем полу своей казармы и — лупи! Но бей не верховым, подъемным приемом, а с потягом. Врезала — и сразу же потянула шпирцутен на себя. Тогда на его сорокалетнем гузне идеально красиво и четко обозначатся нежно-розовые впечатления, — иначе твое старание и мои советы пропадут даром. Бия (а хорошее слово, верно?), твори фальцетом приговорку: «Не будь дураком! Не считай себя вумней всех! Не пиши друзьям idiotских писем в пьяном виде!» А уж он, вразумляемый тобой супруг, отлично будет знать, что сие означает. Ну, после экзекуции ты можешь и поцеловать его и даже поднести ему рюмочку, потому как больше не будет дурить.

Дорогие мои ребята! Как вы там поживаете? Надо бы повидаться. Но у меня много горя, нужды. И надо писать.

Кстати, в мартовском номере журнальчика «В мире книг» хорошо и нужно мне пробовали обо... «Великана». А я завален письмами, помогающими мне держаться и жить. Вчера читатель из Омска написал — что будто бы (в каком номере — не знаю, очевидно, в последнем) в «Звезде» есть положительное слово о «Великане». Любопытно.

Не молчите годами!

Крепко обнимаю вас,

ваш *К. Воробьев*

10.07.72

Юр, а Сурганов, видать, малый с изюминой?

Брат Юрий!

Ты чего это притаился? Как дела, будь они прокляты? Служишь ли ты еще в «Смене»? Ежели служишь, то погляди, нельзя ли тиснуть этот мой очеркишко, — он, понимаешь, нужен был человеку, о котором там речь, поэтому и был написан.

У меня все по-прежнему. Тихонько пишу свою очередную ересь. По первой траве поеду в Москву. Там и свидимся. Не собираешься ли в Литву?

Мои поклоны твоей графине. Как наливается Настя?
Пиши. Обнимаю,

твой *К. Воробьев*

18.03.73

Гаршин, здравствуй!

Как живешь? Оттиск «Убитых» посылаю, о книжке «Неистовые ревнителы» (а каково название, а?) не беспокойся, она будет цела, Володя еще не звонил мне после отпуска.

Привет Томе. Обнимаю.

К. Воробьев

22.10.74

Гаршин, здравствуй!

Оказывается, «Ревнителы» твоих я все-таки прихватил из Москвы и вот вчера только обнаружил это. Книжку посылаю, ее следует хранить, как обличающий мерзость документ.

Не могу все же понять — кто этот Шешунов. Негодяй? Холодный болван? Или все вместе? А может, он просто прикинулся придурком, чтоб оголить всю эту полойную яму?

Но все же нет, он, видать, воинственный дурак. Советский дурак, то, что называется «свой».

Как вы поживаете? Я потихоньку пробую работать. Очень хочется бросить повесть «...И всему роду твоему», чтоб написать другую повесть. А то ненароком сыграешь в ящик и...

Привет Томе. Обнимаю тебя, поклон от Веры, привет от Сереги.

20.11.74

М. М. КОЛОСОВУ

Дорогой Михаил Макарович!

Братское спасибо за письмо и за книгу, — читаю «Затмение», вижу Курщину, узнаю Стрелецкую слободу, поражавшую меня в детстве своими полухохлацкими хатками, обилием герани и сложными «городскими» запахами. Повесть толковая, душевная и умная, и очень

чувствуется, что ох как могли бы Вы, сударь, написать об этой моей сторонухе пронзительную книгу, если бы дали волю своей живой боли по ней! А то, что боль эта живет в Вас, заметно очень, и я рад этому, — совсем осталось мало людей среди пишущей братии. Сплошные «творческие процессы». И хорошо, нужно, что Вы издатель. Мне-то лично, думаю, не удастся извлечь из этого какой-либо выгоды, ибо «Сов. Россия» издает меня в последний раз, да и то по досадной необходимости, поскольку я должен издательству аванс, но — слава Богу, что именно Вы издатель. Понимаю, конечно, что не все Вы можете, но Вы, по крайней мере, знаете, как уныл и печален образ писателя, добровольно отказавшегося от «творческого процесса»! Он, бедняга, зачастую сидит без обеда...

Да-да, в Курске живет отличный мужик Женя Носов. Я люблю его творчество и сожалею, что он не ответил мне на мое верноподданническое письмо: он как-то позвонил мне из журнала «Современник». Юра Гончаров — тоже толковый и «трудный» писатель — объяснил мне потом, что на Носова обижаться за необязательность нельзя. Это от курского раскурдяйства, мол. Я-то понимаю, но зря мы так бездарно разобщены. Все. А вот «процессники» небось живут нос в нос, а?

Я шлю Вам, дорогой Макарыч, сердечный привет и еще раз радостно благодарю за человеческое слово моим несчастным «Егорихам». Будьте живы и мужественны. Крепко обнимаю Вас,

Ваш

К. Воробьев

Р. S. Книгу, понятно, прочитаю до корки. Я бы, думаю, мог написать на нее тоже человеческую рецензию, но Ч. терпеть меня не может. Как и я его. Да и моя интерпретация книги не принесет Вам добра, а Вас надо сейчас щадить и беречь от дураков.

К. В.

17.12.72

Р. S. Кстати, а что все-таки с моим сборником? Он когда-нибудь пойдет в набор? Нет ни гроша, а жить и писать надо и надо.

А вообще очень любопытно, как отнесется к «Затме-

нию» официальная так наз. критика. Вещь ведь по сути своей просто страшная. Одна С. чего стоит, будь она благословенна. Молодец Вы, не убоились правды. Вот так и надо писать, не поступаясь и не жертвуя лицом и совестью. Гордитесь, ежели разбранят. Бровманы, скажем. Да мало ли их, «отчизнолюбцев»!

К. В.

Дорогой Макарыч!

Прочитал Ваши эпопеи. Вы меня радостно изумили. До этого я ничего Вашего не читал. Вообще становится все трудней и трудней читать своих соотечественников-современников, — до того изолгались и испаскудились, каналы, что просто страмота, как говорят мои куряне, а тут вдруг такая неподдельная растроганность, такая боль и правда с кровью и любовь в слезах! Спасибо за все это, за то, что Вам удалось пронести себя по свету божьему лупоглазым и чистым. Понимаете, мне приходилось подрабатывать на жизнь внутренними рецензиями, и дело кончилось тем, что я испугался себя, — а не злобствую ли я в своей гордыне, если из сотни рукописей не нашел и строчки не только что одаренной отсветом таланта, но просто удобоваримой? Но нет. Оказывается, я вполне способен на восторженную радость за собрата, на хорошую зависть к нему. Все, решительно все в Вашей книге ладно и нужно улеглось в моей душе. Хочу еще сказать, что читать мне Вас физически отрадно. Бунин, например, несмотря на мой трепет перед ним, всегда заставляет болезненно страдать и оглядываться в поисках поддержки; Чехов — вечерне печален и безысходен; Андреев — судорожен и надсаден и т. д., а Вы какой-то округло-добрый и уверенно-просветленный, обещающий надежду на исход, на здоровье. Может, это только я так Вас воспринимаю по причине близости и понятности для меня Вашего мироощущения, но, повторяю, читать мне Вас — покойно и блаженно, потому как сам я угловат и резок из-за нервишек.

Словом, дай Вам Бог!

Поздравляю Вас с Новым годом, желаю новых удач!
Крепко Вас обнимаю.

Ваш К. Воробьев

4.01.73

Дорогой Михаил Макарович!

Письмо Ваше я получил вовремя, а ответить сразу не смог — была куча различных дел по улаживанию своего финкраха. Сейчас все нормально, машины не стало, но зато есть деньги. Таким образом, не надо уже насилловать Вашу бухгалтерию, — это, очевидно, было бы все сложно и Вам не нужно.

Как Ваши дела? Мне хочется знать, пишете ли Вы, занимая этот пост свой? Это мешает или нет? Было бы чертовски жаль, — сейчас, я думаю, у Вас самое время пописать самому. Знаю по опыту, что с каждым годом это все трудней и трудней, и не по внешним причинам, а из-за себя: становишься пристальней и придирчивей, суше, даже уже, рациональней. Одним словом, стареешь и затухаешь. Учтите это. И не спеша поторапливайтесь. Писатель Вы, повторяю, хороший, настоящий, русский.

Поздравляю Вас с наступающей весной. Крепко Вас обнимаю,

Ваш *К. Воробьев*

18.03.73

Ю. Д. ГОНЧАРОВУ

Юрий Данилович, возможно, оттого, что живу я у черта на куличках — в Литве, мне не приходилось читать ни Вас, ни о Вас (как, вероятно, и Вам меня и обо мне), но вот случилось так, что в библиотеке одного санаторишка мне попался Ваш «Дезертир». Книга оказалась чистой, ее, видно, мало читали — и немудрено: понимаете ли, чем ни бездарнее опус, тем он тут захватанней. Так вот, позвольте мне сказать Вам душевнейшее спасибо за неожиданную радость — повести «Неудача» и «Дезертир» большой силы, горечи и правды произведения о войне, что довелось мне читать. Они очень русские, очень больные и — истинно талантливые. Мне хорошо и отрадно улегся на душу Ваш по-бунински точный, лиричный, пронзительный и плотный (чрезмерно даже плотный) язык. Он, этот язык сейчас не в чести, но... стоит ли мне утешать Вас!

Мы, пишущие, почти не читаем друг друга — и это понятно: попробуйте-ка оглушить себя каким-нибудь там «Щитом и мечом»! Тем более я ощущаю

потребность сказать Вам спасибо за Ваше сердце, за труд.

Желаю Вам прежней стойкости в своем одиночестве, упрямства и силы!

Крепко жму Вашу руку!

Конст. Воробьев

Литва,

Вильнюс, ул. Веркю, 1—25.

25.03.68

Дорогой Юрий Данилович!

За суматохой и различной — то головной, то сердечной — болью из-за хлопот по переезду в Русь (намерен приютиться в Пскове) я не ответил Вам своевременно на Ваше душевное письмо. Приношу Вам свои извинения. Должен сказать, что подобное, извините, хамское небрежение издревле сидит в русском человеке, а это прискорбно.

Был бы рад получить от Вас весть о житье-бытье. Я недавно был в Москве. Дела мои там хмурые, но удивить меня этим трудно, — заматерел. Между прочим, встретился я там с Виктором Астафьевым, добро поговорили о Вас, о Евгении Носове — моем земляке. Я давно не видел Виктора Петровича. Сейчас он крепко изменился. Вы не находите?

Должен Вас поблагодарить — и делаю это искренне — за теплое слово обо мне в вашем Черноземном издательстве: я как-то получил от Тамары Тимофеевны Давыденко неожиданное приглашение дать что-нибудь «не проданное» им, но такое, чтобы это все лезло в ротационную машину. Да что дать?

А как Ваши дела? Пишете ли? Это совсем стало трудно, но я заметил, что только тогда и получается хорошо. Значит, дай Вам Бог писать трудно. Только вот жить бы чуть-чуть полегче. Я говорю о хлебе.

Шлю Вам душевный привет, крепко жму руку. Нам бы следовало однажды встретиться, но как, где? Все трудно и сложно.

Ваш К. Воробьев

10.12.68

Юрий Данилович, шлю Вам сердечный привет!

Сроду не бывал в Ялтах и Крымах. Там хорошо ра-

ботається? Не думаю. Ведь дома творчества похожи на гостиницы, и я не представляю, как там <...> можно писать? Другое дело, когда негде жить, вот как мне, например. И то я предпочитаю забиваться куда-нибудь в деревню. Хотя зимой это очень трудно.

А знаете, я однажды чуть-чуть не стал жителем Воронежа. <...>

Отослал Тамаре Тимофеевне кое-что. Может, приглянется? Тогда можно добавить из рассказов, что печатались в Литве лишь.

Желаю Вам в новом году побольше ярости, здоровья и денег, — это очень сближает писателя с жизнью.

Крепко жму руку,

Ваш К. Воробьев

3.01.69

Дорогой мой Юрий Данилович, привет Вам, привет!

Письмо Ваше получил в свое время, спасибо. Замечание Ваше о граде Пскове — верное: куток серенький, а главное, что повергло меня в уныние, это какая-то заторможенность жизни в смысле ее демократизации — даже той, дозволенной. Подглядел я там и многое другое, от чего жить будешь, но улыбаться не захочешь, и все же у меня нет иного выхода. Тут я ни за границей, ни дома.

Так. Я должен Вам сказать, что для меня была бы кругом в омуте удача со сборником в Воронеже. Тут Вы просто бы спасли меня. Я послал сегодня Тамаре Тимофеевне еще две вещички — первую часть повести «Крик» и рассказец. В этом крике 77 страниц. 40 начальных были в свое время опубликованы в «Неве» и в моем сборнике «У кого поселяются аисты» («Сов. Россия»). Мне очень бы хотелось, чтобы Вы посмотрели эту штуку. А вдруг выйдет?

Не замолкайте надолго. Мне совсем кисло жить. А писать надо и надо.

Крепко жму руку,

Ваш К. Воробьев

30.01.69

Дорогой Юрий Данилович, здравствуйте.

Да, конечно: рассчитывать на то, что меня издадут

у вас, было бы наивно. Везде ведь одно и то же. Передайте, пожалуйста, Тамаре Тимофеевне мой сердечный привет. Скажите, что я хотел бы получить свой пакет с рукописями назад.

Ну-с, а насчет Пскова я оттянул свой переезд до осени: жена до этого времени должна управиться тут с диссертацией.

«Гордеи» мои замучены еще за моим письменным столом. Журнал же вообще привел их к горестному состоянию. Это самое лихо постигло и моего «Генку» в «Современнике» за январь. Здесь вообще выброшена суть.

А что делать? Ведь... впрочем, Вы все это знаете сами. Надо ведь жить и писать.

Жму Вашу руку.

Ваш *К. Воробьев*

10.03.69

Дорогой мой Юрий Данилович!

Наверное, я смог бы тремя-четырьмя фразами объяснить Вам, что я имел в виду, когда повторял и повторял, что надо писать, но для этого нам следовало бы быть наедине.

А вообще-то дело тут простое. У меня бывали тупики отчаяния, ожесточения и безверия не только в свои силы, но и в тени тех, кого Вы упомянули. Тогда наступала жуткая полоса бессилия души, и хотелось уйти совсем, потому что на вопрос, стоит ли продолжать, ответа не находилось.

Справлялся с этим я трудно! Но все же справлялся. Мешало этому еще и то, что я, полагаю, по натуре не шибко общителен и достаточно одинокий. Мне помнилось (когда я читал Вас), что и Вы не из радостно-бодрого племени, вот потому я и звал Вас, подбадривая в то же время и себя, не ронять щит. Только и всего. Очень нужна рука в рассеянии сухих!

Поздравляю Вас опять с весной на земле.

Крепко жму руку.

Ваш *К. Воробьев*

4.04.69

Юрий Данилович, здравствуйте.

Спасибо за письмо, я получил его своевременно.

«Заряд бодрости» в нем звучит, конечно, с изрядной долей иронии, — какая там, к такой матери, бодрости! Это просто ожесточенность и упрямство, желание хоть как-нибудь нанести моральный урон тому вселенскому шабашу ведьм и ведьмаков, в угоду которым Вы подвергаете кастрации свою рукопись... Но, конечно же, главы, о которых Вы пишете, следует убрать самому. Иначе Вам излохматят повесть и даже жизнь.

А я живу в деревне. Пишу тут (полстраницы в день, иногда абзац) и ловлю рыбу. Здесь много озер — пустынных, в кувшинках и лилиях, наводящих горькую печаль и раздумья о том, что сгибло.

Вообще-то можно было бы жить — особенно летом — растительной жизнью, если бы не постоянная и неотступная угроза полнейшей нищеты, — рукописи-то возвращаются домой! Правда, очень хорошо то, что у меня есть драндулет, старый «Москвич». Когда залезаешь в него, то обретаешь бо-ольшую уверенность во временной недоступности и недосыгаемости, и левая рука самостоятельно изготавливает кому-то кукиш.

Да-да, я с Вами согласен: Василий Быков — человек светлый! И хорошо, что его не хвалят Чаковские, иначе ему пришлось бы усомниться в своем таланте.

О чем Вы написали повесть? Хотя надо сказать, что вопрос этот глупый. Сам я сроду не мог ответить, о чем я написал рассказ или повесть. Но мне хотелось бы прочесть что-нибудь Ваше. «Дезертир» прочно лег мне в сердце. Ох, если бы Вам не подставляли ножку (лапу!).

У нас сейчас установилась великолепная погода. Письменный стол поэтому вызывает прямо-таки ярость и отвращение, но когда очутишься на озере и раскинешь удочки, то начинаются всевозможные терзания и угрызения, и надо возвращаться домой под некую умиленную жалость к самому себе: наверно, тогда хочется, чтобы тебя кто-то немного пожалел. Это — усталость. Повесть же, что я пишу, тяжкая и горькая, — хочется пошептаться правдиво.

Ну, будьте живы и удачливы. Берегите свой талант.

Ваш *К. Воробьев*

15.07.69

Дорогой Юрий Данилович!

Кто-то из нас кому-то не ответил в свое время на

письмо, — наверно, я на Ваше, так как знаю за собой эту безобразную российскую небрежность, ненавистную, впрочем, мне у других. Правда, однажды я писал Вам, но письмо нельзя было послать: я писал его ночью, а утром оказалось, что письмо «не почтабельно». Это было после того, когда В. К. на красном пиру молодцов-специалистов по военной теме вдруг схватила злая блевотная судорога. Об этом я и писал Вам, приглашая отвернуться и не смотреть на отвратительные корчи этой ублюдочной твари. Но, говорю, такое нельзя было послать Вам по некоторым невеселым для меня причинам...

Как Вы поживаете? Со слов Инги Николаевны я знаю, что Вы опубликовали новую повесть. Хочу просить Вас прислать ее мне, если это возможно.

Что касается моих дел, то это слишком скучно. Дважды, неузнаваемо для себя, я был тиснут в «Современнике». Оскопленно, оглуленно, с купюрами в треть. Второй год пишу повесть. Задумана она была чисто и смело, но внутренний стражник все время придерживает мысль и вырывает карандаш. Тогда наступают недели тоски и бессилия, бессонница и терзания. Я обещал ее, повесть, все тому же «Современнику». Здесь-то повесть, надеюсь, выйдет, так как я давным-давно получил под нее аванс, а это, как известно, сближает автора с издательством, но тиражик будет в 10 — 15 тысяч, так что опять впереди ничего, а сзади — пыль столбом. Очевидно, надо подаваться в таксисты, иначе можно очутиться в сумасшедке или в ином месте, а у меня сын 14 лет.

Таковы дела, Юрий Данилович.

Что и как Вы?

Не умолкайте надолго.

Крепко Вас обнимаю.

Ваш К. Воробьев

3.12.70

Милый Юрий Данилович!

Только что получил Вашу книгу. И прочел первую главу, ту, что кончается на восьмой странице. Молодчище. Вы! Так им и надо! А талант берегите свой, пишите и пишите, не уходите в сутемень околотитературных закоулков, — здесь речь не о Бунине, конеч-

но, — пишете и пишете, потому что все будет цело, все обретет право на голос и ответное эхо. Мне хорошо и радостно ложится на душу Ваше емкое, чистое, светящееся изнутри слово; отрадно сознавать, что есть, живы на Руси подлинные писатели. Вы — настоящий, большой писатель, — это обязательно надо осознать самому, обязательно!

Я немного не понял: а что же с книгой в Москве? Она выйдет там?

Я не уверен, что Вам — лично — нужна служба в журнале, но попробуйте все же принести пользу другим. А вдруг сможете? Вы партийный? Мне, когда я заведовал отделом литературы и искусства в республиканской газете, ничего путного не удавалось сделать, так как я безбилетный. Пришлось уйти.

Прислать Вам для журнала что-нибудь очень хотелось бы, но что? Ведь я знаю, что идет в машину, и такого у меня пока нет. Вот разве повесть, если ее не осилит «Современник». Но это будет ясно позже, летом. Достал повесть Распутина. Не читал, но посмотрел. Вы правы, это серьезно.

Напишите мне, пожалуйста, как вы пишете: легко или трудно? У меня это сплошное мучительство. Ненавижу стол, стул, белый лист бумаги. По три дня над страницей! А вот Бондарев мне говорит, что пишет от десяти до двенадцати страниц в день. Надо же!

В моем Курске живет отличный парень — Е. Носов. Недавно он звонил мне из «Современника», говорил о Вас очень задушевно и добро. Надо было бы укреплять связи нам, но живу я черт-те где, что-нибудь путное, написанное там, дома, попадается редко. А Носов — хорош, хотя читал я его очень мало. Вы знакомы? Непременно сойдитеесь. Вы стоите друг друга.

Ну вот. Спасибо Вам за подарок. Желаю Вам упрямяства, здоровья и немного побольше денег, будь они прокляты.

Крепко Вас обнимаю.

Ваш *К. Воробьев*

17.12.70

Дорогой Юрий Данилович!

И «Ночи» прочел, и письмо получил, — спасибо! Книга у Вас вышла плотная, по-бунински беспощадная,

чистая и благородная. Ей, конечно, не проникнуть ни в «Гвардию», ни в «Кордегардию» на Сапуновском проезде, — порода и осанка не те, но, право же, не тужите. Все закономерно и логично, если только эти слова уместны здесь. Мое личное отношение к Вашему светлomu дарованию известно. Придира и сухарь, я все трудней и трудней читаю моих современников, — этот процесс всегда сопровождается надсадным напряжением всего нутра, будто помогаешь тогда издали вытаскивать из болота увязшую телегу. А Вас читать мне радостно и свободно, и временами я ловлю себя на ребяческой зависти, что вот, дескать, кто-то может, а ты — нет. У Вас бывает такое, когда читаете Бунина, например? Стыдиться этого не следует, тут все верно и свято.

«Сто холодных ночей» приобрели пламенного пропагандиста в лице моей жены. Она заведует кафедрой языков и литературы в одном тут общеприбалтийском вузе, ну и вся кафедра читает книгу в тихом удивлении тому, что такое еще появляется на нашем чудесном свете. А это опять-таки хорошо, хоть и грустно от того, что «все наше будет после нас», если немного перифразировать этот Ваш тайный эпиграф к своей книге.

Итак, поздравляю Вас с большой удачей. Я надеюсь, что нам однажды удастся — совершенно одним, вдвоем — отпраздновать Вашу победу над ублюдками, заставшими свет.

А как Вы, сударь, смотрите на то, чтобы приехать летом в Литву? Вы только послушайте: Литва — это пока что зеленый, вполне пасторальный угол земли, испещренный безлюдными лесными озерами. А в них леши, караси, угри. Есть две резиновые лодки, куча удочек. Квартира у нас большая, три комнаты на троих. Сынишке 15 лет. Как, а? Это в случае, если Вы к тому времени не удержитесь в «Подъеме». Мне бы хотелось в ЦЧО: родина ведь, да ведь там руду добывают открытым способом! В общем, об этом мы еще условимся попозже.

Мучаюсь с повестью. Не выходит конец. И вообще пишу не то, что надо.

Крепко Вас обнимаю. Жена моя Вера Викторовна и сын Сергей просят передать Вам свои искренние приветы.

Ваш *К. Воробьев*

28.01.71

Дорогой Юрий Данилович!

Поздравляю Вас с новой весной в жизни. Держитесь ли еще в журнале? И как Вы мыслите вынести конторские пути, поскольку Вам ведомы летние подъездные пути к лукоморьям и безлюдным кущам? Хватит ли грации, чтобы с независимым видом носить эти кандалы?

А я, знаете, закончил наконец повесть, но впервые не ощутил того чувства освобождения и как бы радостного удивления самому себе, что почти всегда бывало раньше. Наоборот. Есть какое-то усталое и горькое сознание конца. Может, дело еще и в том, что нет никакой уверенности в благополучной судьбе книги? Рукопись отослал в «Современник». Теперь начнется нервное ожидание удара в спину издали. К этому примешивается еще досада на свою вполне ребяческую выходку: однажды зимой мне позвонил из «Современника» Е. Носов. Он первый перешел на «ты» (мы ведь земляки), сказал доброе слово о Вас — «человек со вкусом», сообщил мне свой адрес в Курске, и я написал ему несколько несдержанное письмо по отношению к «Современнику», на которое он не ответил. Очевидно, оно оцарапало его как члена редколлегии. Но возможно и другое: я признался ему, что очень мало читал его, а так как все мы, пишущие, люди-человеки и у многих из нас непотребно увеличен в мозгу «бугор» славы и самооценки, то допустимо, что я нечаянно причинил боль этому бугру Жени Носова. Жаль, что все вышло так дурно.

Сошла ли благополучно Ваша поездка в Орел? Мне очень хорошо известно, как я держу руки, входя в кабинет любого начальства, какие у меня в это время глаза, нос, сбор губ — все чужое, и как прячется в какую-то нору-тайник моя сирая, повинная в чем-то перед этим начальством, душа. Я прожил жизнь, а от этого «съеживания» в целях самозащиты так и не избавился. Раб сидит в нас. Раб. И не божий, а монгольский. А может, гордыня? Как Вы полагаете?

Крепко Вас обнимаю. Не умолкайте надолго.

Ваш *К. Воробьев*

3.04.71

Дорогой Данилыч!

Спасибо за хлопоты с командировкой, — я нашел

Ваше письмо, вернувшись из Москвы: хоронил мать. Сроду не думал, что для этого существует такая нелепая и гнусная крепостная стена препятствий, сооруженная скопищем каких-то лохматых, безбожных и беспощадных людей. Это пострашней Вашего впечатляющего «Пить хочется». А назвать, наверно, надо «Похороны в мае». Да! Мы воистину великие мастера создавать для себя трудности, чтобы «преодолевать» их. Я буквально валюсь с ног.

Ну вот. А дни в моей Португалии стоят изумительные. Наверно, здорово клюет рыба. Но этой весной мы не имеем права поехать куда хочется: озера распределены по заводским обществам рыбаков-любителей. Это значит, что на берегу Вас встретит «любитель» с красным носом и обложит в бога и закон, и Вам не захочется торопиться на воду. Наше писательское озеро за полтора верст от Вильнюса. Я там никогда не был. И не знаю дороги. Вот таким путем. Но если Вы явитесь, то придется рекомендоваться уругвайцем, скажем. Это поможет. Как в «Базаре». Но рыбачить будете, конечно, молча. Итак, жду.

Крепко обнимаю Вас.

Ваш К. Воробьев

18.05.71

Дорогой Юрий Данилович, здравствуйте!

Конечно же, я ждал: вначале письмо, потом решил, что Вы, значит, готовитесь приехать, как мы примерно о том условились, и я, оставаясь долго один — жена с сыном были на взморье — накопал в помойной яме пригородного дома отдыха ведро отличных красных червей, приготовил еду-питье, разжился второй надувной лодкой, но Вы, сударь, поступили как Иосиф Виссарионович, о котором Воронежский хор пел в свое время — «А он едет и не едет», и тогда я подался один на дальнее лесное озеро, и Бог одарил меня там всем, к чему стремилась моя пропылившаяся душа — первозданной пустынностью, покойными и вполне старинными восходами и закатами, угрями в аршин и лещами с курский лапоть несоветского времени, линиями, окунями и даже одним соменком, так как химвром в Литве совершенно в безнадежном состоянии. И все это, заметьте, на удочки, шнуры и кружки с живцами, — сеток я

не держу, сетка — скверно. Ну как? Душа Ваша уязвлена или нет еще?

Журнал получил, но еще не читал, — схватила жена. А письмо Ваше, как говорится, симптоматичное. Если учесть, что поверх той самой стены, о которой Вы пишете, натянута еще пряжа-основа колючей проволоки, через которую пропущен прохватно-убийственный ток недоверия и подозрения, а через равные промежутки на этой стене установлены всевозможные ока-прожекторы для просветления, то станет беспощадно ясно: треба тикати, чтобы сохранить в себе непрерывную и живую возможность писать самому. Послушайте, нельзя талантливому писателю работать в журнале в такой атмосфере, нельзя! Это дело пройдох и выжиг от беллетристики <...>. Еще имело бы смысл, получай Вы рублей 250—300. А так... Учтите, что мы уже не молоды, но и не старая заваль, когда нечем любить и ненавидеть. Самая пора писать самому!

Мне очень хотелось бы повидаться с Вами. Наедине, конечно. Одним. В конце этого месяца я уеду в Кисловодск. Вот оттуда, в конце, значит, ноября, я заверну на денек-второй в Москву. Может, и Вы вырветесь? Я напишу Вам из Кисловодска.

Обнимаю Вас крепко и сердечно.

Ваш *К. Воробьев*

Мой «Великан», представьте, вот-вот выйдет тут отдельной книжкой, весь, поэтому очень прошу Вас не читать то, что было от него в журнале.

К. В.

17.10.71

Дорогой Юрий Данилович!

Мне не привелось, к большой моей досаде, сделать так, как я Вам обещал: написать из Кисловодска, выманить Вас в Москву. Случилось так, что пребывание мое на курортах обернулось едкой мукой, — я попал в фешенебельный санаторий, где почти все обитатели, направляясь, скажем, на процедуры или в туалет, прицепляли к пиджакам или тренингам ордена и звезды — много звезд и орденов, и вот концентрация этих султанов и ханов, их перевально-«руководящие» походки, речи, реплики, стремление к стадной скученности, благоговейность однозвездного перед двухзвездным, плотояд-

ная жажда, несмотря на пуза, в столовке, хамская третировка измученных подавальщиц еды, суеверная вера в целебность нарзана и «храма воздуха», захлебная зачитываемость Чаковским и Кожевниковым и многое-многое другое в этом духе совсем разорило мои нервы и сердце, и я не только там ванны принимать, а стал помышлять о скале, чтобы чем ни выше, тем лучше. Короче говоря, я не дотянул свой срок и уехал. Надо было сохранить хоть какую-то надежду на возможность изменения...

А в Москве, где я пробыл два дня, в издательстве «Молодая гвардия» мне сказали, что мое творчество этому высокому учреждению решительно чуждо и противно. Я вел себя при этом идиотски смиренно и повинно и ушел мелким шагом нашкодившего ученика. Только в вагоне, уже возле Вязьмы, мне пришло в голову, что надо же было выбраться в Христа и печенки, надо было тоже хамить!

Вот, мой далекий друг, какие дела. Между прочим, в этой своей «лечебной» поездке я вдруг с особенной, обновленной силой почувствовал, как Вы мне близки, как Вы чисты и благородны в своем творчестве.

Что у Вас?

Мой «Великан» вышел тут, я пошлю его Вам сегодня же.

Поздравляю Вас и Вашу жену с наступающим Новым годом.

Крепко обнимаю Вас.

Ваш *К. Воробьев*

18.12.71

Дорогой Юрий Данилович!

Вы, сударь, не ответили в свое время на мое письмо, хотя оно и не вызвало ответа, но все же. Что и как у Вас? Сидите ли еще в журнале? Если заседаете, то не угодно ли просмотреть вот эти мои опусики? А вдруг подойдет? Ежели забракуете, верните назад, ладно? И напишите непременно о себе. В конце концов, нам надо хотя бы дважды в году писать что-нибудь друг другу. Что-нибудь.

Крепко обнимаю Вас. И простите за карандаш.

Ваш *К. Воробьев*

1.09.72

Дорогой Юра!

Давай мы перейдем на более сердечный тон? В смысле на «ты»? Не возражаешь? Ну так вот. Ты — большое центрально-черноземное чудовище, и ни дворянский почерк твой, ни писательский талант, перед которым преклоняются разные там португальцы, не могут извинить твой неуклюжий и зловредный поступок — быть в Вильнюсе и не заглянуть, даже не позвонить! Согласись, что это просто глупо. Что тебе помешало? Профершпилился на Лайдзе и был смущен, что не сможешь пустить пыль в собственные очи и обставить эту встречу в славянско-базарном стиле, когда я так великолепно-хамски нагрел тебя на четвертную? Это вполне можно подозревать за тобой — в смысле смущения, потому что я сам такой, но ведь подобные смущения, пойми, недостойны нас, и ты ведь заехал бы ко мне домой, где все кричит о щедрости, радушности и нищете. Понял ты что-нибудь из этого витийства?

Книгу твою прочел как всегда все твоё — с той напряженной духовной внимательностью, за которой для меня как бы прячется и удивление с примесью радостной зависти и досады пополам со скупостью, что книга, т. е. удовольствие от нее, вот-вот оборвется, и какая-то надежда, что все в нашей литсудьбе обойдется благополучно.

Но как это тебе удалось — собрать все о Бунине? И разве у нас издана книга жены Бунина? Я бы очень хотел прочесть ее.

Вчера вернулся из Москвы. Инга Николаевна ждет тебя там. Она полна отваги и желания издать твой сборник, но ты должен торопиться сдать его, пока цел там Колосок. Есть опасение, что его не утвердят, что придет Блинов.

Не понимаю твоего болезненно-повышенного отношения к газетной хуле. Ты что же, хотел бы ходить в грязи похвал «Литературки»?

Крепко обнимаю тебя,

твой *К. Воробьев*

25.09.72

Р. S. Рассказики верни потом, ладно? Понятно, что они не пройдут.

Дорогой Данилыч!

Спасибо за «Нужного человека», — только что по-

лучил журнал. Но когда же ты успел? Изумлен. И завидую. Молодец!

Ты лукавишь, говоря о «пропавшем без вести». Пропал ты, а не я. Ты не ответил на мое письмо, не приехал, как обещал, в Вильнюс. Какого черта?

Я слышал, будто ты ушел из журнала в издательство. Это верно? А что там? Кстати, а почему ты не отдал «Человека» в тот же «Современник», скажем? На худой конец, там хоть тираж.

А я окончательно застрял на одном месте со своей повестью. Не лезет в «машину». Не хочет.

Крепко тебя обнимаю. Не молчи годами, а то и в самом деле так можно пропасть без вести друг для друга.

Твой *К. Воробьев*

10.10.73

Юра!

Это хрен его знает что, как говорят французы! Как же ты не сообразил, что оставлять в дверной скважине записки — нельзя! Не то время, не те соседи и прохожие по лестнице, когда это можно было делать. Сейчас они — братья, друзья и товарищи. Не только такие бесприютные записки, но мой почтовый ящик то и дело оказывается взломанным или подожженным изнутри. И как ты мог дать волю ребяческой обиде на мою глухую дверь и не написать хотя бы из той же Заблудовки? А я все лето был дома. В тот день, очевидно, были с женой и сыном в лесу, но вечером мы обычно возвращались домой, черт возьми! В конце июня я купил «жигуля», ну вот и ездим. Нет, ты поступил по-раскурдяйски. Но не сочинил ли ты все это? Хотя упоминание магазина — за тебя. Жаль, что ты оказался таким воронежцем. Но потери твои возьму, только самогоном, а не коньяком, — я беден, как облезлая крыса, на машину занял 1700 рублей, гол и бос, а повесть не пишется. Конечно, Ялта — вещь, но я не смогу наскрести даже на дорогу, не только на путевку. Но вот в Дубулты бы — это можно. Был ли ты там? Отличный дом. И тоже пустует зимой. Сюда, я думаю, мне дадут путевку со скидкой в 70%.

Ну, будь жив. Пиши. И держи хвост плюмажем.

К. В.

20.09.73

Мой вьюный друг!

Поздравляю тебя с Новым годом. Да будет он к тебе милосердным во всем, чего ты алчешь на своей «финишной прямой». Но ты все же орденюк отхватил, а? А все таил-скрывал заслуги, копил их втихаря от друзей, обойденных даже медалями. Ну да бог тебе судья.

Финишная, конечно, грустная штука. Хотя мужик ты поджарый, ядовитый и настырный, как Бунин. Значит, и проживешь до девятого десятка. Этого хватит тебе? На всякий случай вот тебе в дорогу наставление Плиния Старшего. Оно, правда, орденюк не предполагает, а все же любопытно.

— Надо же когда-нибудь образумиться, надо сообразить, что о каждом дне можно судить только по следующему за ним дню, а о всех прожитых днях может произнести приговор только последний из них.

А что ты делаешь в Ялте? Работаете или дурака валяете? И приедете ли летом ко мне, орденюносная ты перечница?

Пиши.

Обнимаю,

твой К. Воробьев

15.01.74

Дорогой Данилыч!

Уже месяца три все собираюсь написать тебе письмо, а оно не получается: сразу же начинаю в нем хныкать да плакаться, а это, как говаривал Бунин, ни в транду не годится. Коротко же так: в день смерти Шукшина, т. е. в начале октября, я вернулся в Вильнюс, почти полностью пролечив машину. Словом, как раз хватило. В Москве мои родственники облюбовали для меня хату в Барыбино — это 60 верст от Москвы — за 5 тысяч, но власти не позволили это. Сказали, чтобы покупал в дачной местности, где любая конура стоит 15 — 20 тысяч. Здесь, в Вильнюсе, вдруг все для меня стало <...> чужим <...>. Надо уезжать. Пробуем менять свою квартиру (три комнаты, под окном каменный гараж) на какую-либо клеть в Москве. Там ведь похоронены мать и отец, оттуда я ушел с кремлевцами на фронт. Разрешение на обмен Моссовет дал. Нас трое — жена, сын и я. Не пишу. Левым глазом почти не вижу.

О тебе и делах твоих я знаю, что все у тебя хорошо, всё слава Богу — я поплевал через левое плечо и постучал по деревянному подлокотнику. Знаю, что ты счастливый отец, с чем тебя сердечно поздравляю, что в «Сов. России» выходит твоя книга, что Павловский из «Лит. России» позавчера звонил тебе и заказал «Как мы пишем», — напиши им всерьез, как мы это делаем, как сходим с ума, как нищенствуем, что умные и грамотные люди с чистой совестью знают тебя, любят тебя, ну а все остальное зависит от тебя самого. Но, как сам понимаешь, надо нам удержаться на прежнем уровне — я разумею «Неудачу», «Дезертира», «Убиты под Москвой».

Вот такие они, дела, юный папа. Хочу домой. А тут еще курить нельзя. И пить тоже. Хоть бы немного. Но мне будет не хватать пустынности здешних озер и лесов, хотя в последние пару лет столько моторизовалось разной сволочи, что трудно уже куда-нибудь скрыться.

В Москве меня навещала иногда Инга Николаевна. Так как в издательство пришел новый главред, то толкнуть там что-нибудь уже немислимо. Хорошо, если твоя книга выйдет.

Напиши мне письмо. Побольше. Тоска.

Обнимаю тебя крепко,

твой *К. Воробьев*

26.11.74

Е. И. Носову

Дорогой Женя!

Вчера Миша Колосов, навестив меня, дал прочесть твое письмо к нему, растрогавшее меня не только тем, что ты сказал в нем обо мне, но и всем, о чем ты писал. Господи, я и не подозревал, что у тебя такая нежная и незащищенная душа, что ты все еще восторженно-наивный мальчик-первак, явившийся в школу в страхе, что его туда не пустят и учителя, и ученики, потому что все они куда больше знают и значат. Тогда приходится быть бузукой под свой безгласный крик — за что вы так? Что я вам сделал? У тебя это так, да? Или только это мне хочется, чтоб за компанию? Нет, убежден, что так. Ну так вот. Я рад тебя приветствовать, так как остался жив, хотя, сказать по правде, не

знаю — зачем. Впрочем, я еще, наверно, смогу написать то, что мы обычно откладываем на последний срок. На голове у меня шрам от затылка до лба, глаз левый видит хреново, но рука и нога восстановились (были парализованы, и я превратился в полное ничтожество, когда невозможно выпрыгнуть в окно).

Мне нельзя показываться на солнце, нельзя курить, нельзя целых два года выпить сто граммов коньяка, нельзя поднимать тяжесть, если в ней больше 3-х кило, а я ловил в Литве лещей по 4 и 5 кило — это без бреха, милый. Мне надо год или полтора жить поблизости к нейрохирургическому институту, где меня оперировали. Т. е. в Москве, и хвороба стоила дорого, а я всю жизнь обшаривал полы магазинов в надежде на кем-то потерянный трояк (однажды, давно, нашел красную тридцатку). Таким образом, черт бы побрал эту продленную мне жизнь, дела мои окрашены в желтые краски, но, возможно, как говорил Зоценко, «счастье еще озарит нашу горестную жизнь». Я во спасение свое предпринимаю хилые, правда, попытки издать сборник повестей и рассказов в «Современнике». Но я решительно никого там не знаю. Да и автор я не тот, чьи творения с ходу идут в машину. Верно, можно было бы попросить о помощи в этом деле Юру Бондарева, — когда-то мы дружили, но с тех пор он стал чрезвычайно занятым человеком, и я боюсь оскорбительного отказа.

Как ты считаешь, Витя Астафьев имеет в «Современнике» вес? А ты сам? Черкни мне, пожалуйста, пару строк, ладно?

А я в самом деле, Жень, не помню нашу встречу в ЦДЛ. Значит, был хор-роший.

Ну вот. Написал эти две странички и устал...

Крепко обнимаю тебя. Твой К. Воробьев

2.9.74 г.

Дорогой Женя!

Не ответил сразу на твое письмо потому, что надеялся — вот-вот власти разрешат купить хату, и я поделюсь с тобой этой радостью, но власти на то, видно, и существуют, чтоб не позволять, и вот я опять в Литве. Тут и в хорошее время года тучи волочатся по земле, а сейчас и

совсем сплошной мрак, и ни единой родной души, и выпить мне нельзя. Совсем. Сознать, что ты когда-то мог сколько угодно, с кем угодно и когда угодно, все равно что сожалеть о прошедшей молодости, когда ты так нерасчетливо, и зачастую просто бездарно и преступно, распоряжался своими изумительными возможностями. Я с трудом сейчас верю самому себе, что мог до непотребства напиваться в неподходящий срок и с людьми совершенно чуждыми тебе, недостойными ни словесных излияний, ни пьяных слез и поцелуев. А время-то шло! Стыдно и обидно, но поправить что-нибудь там уже поздно. Перед отъездом я наведаясь к своему профессору, который делал операцию, и, между прочим, спросил его — когда мне можно будет выпить. Он сказал, что через два года, пятьдесят грамм, а я как тихий идиот обрадованно запросил прибавки — до полутора. Тот хрен, конечно, подумал, что я горький алкаш, — это было видно на нем по превосходительной усмешке надо мной, и я же не мог ему объяснить, чем мы пишем! Все это я говорю к тому, чтобы ты проникся чувством почтения и бережливости к своим возможностям захотеть и не захотеть, выпить и отказаться, обнять женщину и отстранить ее. Все это обязательно надо делать, пока ты жив и здоров, но делать так, чтобы это было достойно и в истинную охоту и непременно с равными тебе. Вот, по-моему, хорошо выпить с Мишей Колосовым. Тут большой запас духовной порядочности, обязательности и верности дружбе. Редкий он малый по преданности истинно русским, погубленным традициям — основательности, себе-наумейности, необходимой для другого, вообще всему тому, что подвергалось и подвергается хуле и гонению со стороны всяких там Чаковских и Полевых. На меня Колосок действовал в Москве умиротворяюще и врачующе. Русь еще не сгинула, и ее писатели не все еще опаскудели до блядского омерзительства. Проза Колосова такая же порядочная, добротная и ладная, как и он сам. Его время еще придет, хотя, как мне кажется, он не подозревает об этом, так как огорчается, что его не обливают грязью похвал в «Литературке». Тебя он любит преданно.

Пиши иногда мне, Женя. А то я тут однажды не выдержу. Боюсь пока садиться за стол. А вдруг не смогу уже!

Крепко обнимаю тебя.

Твой К. Воробьев

Приложение

ВЕРА ВОРОБЬЕВА

РОЗОВЫЙ КОНЬ

На письменном столе лежит чистый лист бумаги. На нем название будущей книги, книги о себе — «Розовый конь». Чуть ниже с правой стороны — эпитафия: Жизнь моя, иль ты приснилась мне...

С. Есенин

Это последние слова, написанные его рукой. До болезни свою главную книгу думал назвать «Это мы, господи!». Теперь же этот эпитафия стал нужнее, ближе, в нем все; трудно поверить, что все пережитое было; и не только другим, а и самому...

* * *

Красная горка в 1943 году выпала на май. Было теплое, тихое и светлое воскресенье. Я шла из деревни Вердулай, где жила моя подруга Зина и где мы с ней провели пасхальные каникулы, домой, на улицу Глуосню. Со мной шел пятилетний мальчик-сирота Эдик. Отец его, командир Красной Армии Блюмхен, в начале войны принял первый бой на границе с Германией и, видимо, погиб. Мать с двумя мальчиками добралась от города Кретинги до Шяуляй, и здесь она оказалась в оккупации, в лагере для жен командиров, откуда немцы рассылали их к литовским крестьянам на работы. Там ей удалось установить связь с партизанами, но была разоблачена и расстреляна. Погибла и вся крестьянская семья. К счастью, дети ее были в других крестьянских семьях и остались живы. Моя мама узнала о тяжелом положении детей и младшего из них взяла к себе. Вот этого мальчика и вела я за руку и проходила мимо лагеря военнопленных.

В 1943 году уже не было в городе тех ужасных «процессий», когда изможденные голодом, полуживые, грязные, оборванные наши пленные шагали по улицам города, а впереди «колонны» доходяги тащили деревян-

ную повозку со страшным грузом — в ней были мертвые и те, кто, обессилив, падал по дороге. Их везли за город и там, у озера, закапывали. По городу ходили леденящие душу разговоры, что близживущие литовцы слышат из-под земли стоны и земля колыхается. Так было в 1941 — 1942 годах.

В это солнечное воскресенье 1943 года было празднично, ничто в городе не напоминало о войне. И лагерь военнопленных преобразился. Оставшиеся в живых пленные имели возможность ходить на работу, где люди их подкармливали, давали одежду, да и конвоиры стали снисходительнее, среди них было много старых, они так не измывались над пленными, как молодые. В лагере в этот день было тихо, не слышалось обычной ругани и криков немцев, по двору бродили пленные тихо, спокойно. Когда я проходила мимо, из ворот вышли трое: немец с винтовкой и двое русских. Мы шли почти рядом, я по тротуару, а они по мостовой. Мой разговор с Эдиком по-русски насторожил их, казалось, они хотят заговорить со мной. Так в настороженном внимании мы подошли к железнодорожному переезду. Путь нам преградил товарный состав, и мы оказались совсем рядом. И тут заговорил со мной один из русских, высокий.

Разговор был отрывистый, необыкновенно напряженный, каждое слово казалось наполненным особым смыслом. Мне хотелось сказать что-то важное, сочувственное. Вагоны быстро мелькали. Было грустно, тяжело, я чувствовала себя виноватой: они пленные — а я свободная, и каждое слово могло оказаться обидным и оскорбительным для них. Вот уже показался конец состава, уже подняли шлагбаумы.. и они повернули налево — шли в депо, а я пошла дальше, так и не сказав ничего важного. Вдруг меня кто-то взволнованно окликнул: «Ради Бога извините, скажите, как вас зовут». И с отчаянной решительностью спросил: «Где вы живете? Я найду вас». Он стоял освещенный солнцем, высокий, стремительный, решительный и неуверенный, ждал ответа. Немец его торопил. Высокий лоб, ослепительная улыбка, энергичные жесты — все выражало какую-то необъяснимую исключительность. Таким я запомнила его на всю жизнь. Запомнилось все: и взгляд, и улыбка, и жесты, и одежда, и походка, когда уходил к «своим». Несколько минут он стоял и не уходил, а я смотрела на него, не понимая, что я должна сказать.

Наконец я опомнилась, сказала свое имя и адрес, и он поспешил к тем, ожидавшим его. До самого дома меня не покидало чувство, что случилось что-то необыкновенное.

Несколько дней я ходила под впечатлением этой встречи, рассказала маме, но ничего необыкновенного в моем рассказе не было. Местные русские и наша семья тоже всегда старались найти возможность заговорить с пленными, сообщить им, где фронт, даже русское слово для них было утешением. Так было не раз. Шли дни, и я сама себе стала казаться глупой и смешной, уверовавшей во что-то роковое. И вдруг (опять было воскресенье) однажды я услышала знакомый голос — громкий, подчеркнуто-четкое произношение, взволнованность — забыть его трудно. Он разговаривал с моей мамой. Я выбежала во двор. Это был он, очень возбужденный, не скрывал радость, — ему еще не верилось, что наконец нашел наш дом. Оказалось, что в городе несколько улиц с названием Глуосню, поэтому пришлось ее искать две недели. Встреча эта была нашей судьбой, отмеренной Богом во времени от Красной горки 43 года до Пасхи 74 года. Было мне тогда 17 лет, а ему 24. Назвался он Борисом. За калиткой его торопил немец, он сопровождал его на работу на мясокомбинат.

* * *

Прошла неделя, и снова неожиданно Борис зашел к нам, но не один, а с тем, кто шел тогда вместе в день Красной горки. Звали его Алекс Кидер, он, оказалось, работал переводчиком, хорошо знал немецкий язык, пользовался относительной свободой, поэтому была возможность зайти к нам в дом. У Алекса была связь с жителями города, которые и помогли в поиске «моей» улицы. В этот день они познакомились с моим старшим братом Валентином. Он работал на железной дороге в городе Картена, но часто приезжал домой в свободное от дежурства время. Затем в начале июня мимо нашего дома Борис проходил с Иваном Вороновым, когда их вели на работу.

В июне я с Зиной уехала на неделю в Вильнюс — она должна была навестить свою родственницу, а одной ехать было неприятно. Пока мы были там, в нашей семье случилось большое несчастье. 13 июня в день Троицы утонул в реке Дубиса брат Валентин. Он при-

ехал на воскресенье домой и решил с друзьями отправиться на речку отдохнуть. Оттуда привезли его мертвым. Когда я вернулась, в доме нашла смерть, тоску и страх, больную от горя маму. Мне не смогли сообщить о несчастье, так как 13-го я выехала из Вильнюса и на обратном пути заехала к своей крестной матери.

Но одна беда не беда. В августе немцы вывезли в Германию на строительные работы младшего брата Виктора, и мы остались втроем: мама, Эдик и я. В эти тяжелые для нашей семьи дни русские люди из России особенно были нам дороги и близки.

В августе Борис сообщил мне, что готовится побег из лагеря. Вначале они уйдут вдвоем с Алексом, а затем Воронов и Иван Иванович Т. У Ивана Ивановича был адрес для связи с литовскими крестьянами в деревне Лепоряй, мне передали его, чтобы я связалась с крестьянкой Эвальдене. О дне побега обещали сообщить. Но в начале сентября зашел к нам Алекс и сказал, что немцы усилили охрану, обстановка осложнилась, собираются куда-то увозить, уже первая партия отправлена и в нее попал Воронов, но ему так и не удалось бежать. Мы договорились о месте встречи в 4 километрах от города по дороге в Вердуляй, недалеко от хутора, где жила Зина. Алекс хорошо ориентировался в городе и округе. На условленное место я должна приходиться в течение десяти дней во второй половине сентября. Конечно, своей тайной я давно поделилась с Зиной, так как мы с нею уже в 1942 году в деревне, где работали пленные, помогали поддерживать им между собой связь, передавали информацию о фронте, сигареты.

И вот мы вдвоем каждый вечер отправлялись в назначенное место. Прошло десять дней, но так никто и не появился. В этот период мы с Зиной не учились уже в гимназии, бросили и стали работать в карточном бюро по распределению талонов для сельской местности на промтовары. Работали с нею в одной организации, в одной комнате, в одно время. Вечером часто уходили в деревню, а рано утром пешком ходили на работу. Сентябрь был погожим, и мы до позднего вечера 10 дней ждали появления беглецов. Мы стали думать, что побег не удался или случилось что-то непредвиденное.

В деревнях кое-где стали забирать у крестьян пленных-работников. Некоторые крестьяне сумели откупиться продуктами, им оставляли пленных до следующего сб-

ра, а других увозили в лагерь. Несколько дней мы в назначенном месте не появлялись, потеряв надежду. И вот наступил день моих именин 30-е сентября. С самого утра меня не покидало чувство тревоги и мысль, что сегодня надо идти туда. Вечером мы с Зиной отправились в назначенное место. Небо было звездным, странно мигающим, полная луна освещала белым отсветом дорогу, узкую, извилистую и пыльную. Тишина казалась звонкой, родной и привычной, мы часто этой дорогой уходили из города, чтобы побыть на природе и посидеть вдвоем в нашей «деревенской» маленькой комнатке при керосиновой лампе. И дальний лай собак был своим, защитным, но все же вдвоем на пустынной дороге было тревожно. Мы шли бодро, шумно и для храбрости пели. Вдруг в неожиданном месте из ржи вышли два «немца» и преградили нам дорогу окриком «Хальт!». От страха мы оцепенели, но тут же узнали беглецов. Долго смеялись, радовались встрече, а они подтрунивали над нашим страхом. Потом рассказали, как немцы собрались их отправлять в Ригу и на вокзале они бежали. Все обошлось благополучно, так как Алекс знал немецкий язык и был одет не как пленный. Действовали дерзко, безрассудно и потому, наверно, удачно. Многие годы потом я вспоминала, холодея от ужаса, а что было бы, если в тот вечер не пошли бы, пропустив, как это сделали до этого? И благодарила Бога, что вот так вовремя пришло чутье, ведь так много было у нас наивности, легкомысленности и непонимания своей ответственности в этой ситуации. Но, может быть, именно это и помогло.

Зина предложила им пока укрыться в их сарае на сеновале. Надо было выждать время, связаться с Эвальдене, убедиться, что за нашим домом не следят. Алекс планировал устроиться в городе и организовать восстание в гетто. Борис должен был возглавить лесные группы. Через два дня Алекс ушел в город, у него были связи с русскими семьями, а Борис заболел, и пришлось Зине признаться родителям в том, что в сарае беглец, больной, нужно лечение и тепло. Родители разрешили перейти в их дом, в нашу с Зиной маленькую комнатку. Конечно, они пошли на большой риск. И только в середине октября я принесла черную железнодорожную шинель, фуражку и костюм брата, и мы ушли на улицу Глуосню, дом 6. Надо было, чтобы Эдик не догадался и не видел Бориса, которого он хорошо знал. Наша

квартира состояла из трех небольших комнат и маленькой кухни. Моя комната, изолированная, оклеенная ярко-синими обоями, выходила окнами на запад, и была видна улица Дваро, а вторая комната давала возможность наблюдать улицу Тильжес, третья — улицу Глуосню. Таким образом, все подступы к дому были обозримы, и мы постоянно были начеку. За кроватью маленькая дверь вела на чердак. Она была завешана ковром, и нам казалось, что там можно укрыться, никто не догадается, что за ковром — вход в чердачный чулан. Конечно, в случае массовой облавы это бы не спасло, но во время патрульной проверки действительно никто ни разу туда не заглянул.

* * *

В те несколько дней в доме на Глуосню Борис много рассказывал о начале войны, о плене. Особенно он приходил в ярость, когда вспоминал, какими беспомощными они оказались в схватке с немцами. Как победно немецкие танки давили наших солдат, играючи, легко и уверенно. С засученными рукавами и с автоматами на животе гнали обезумевших солдат в лагеря, брезгливо, кончиком кованых сапог «выковыривали» контуженых из воронок, со смехом выкатывали их оттуда к ногам своих солдат или автоматной очередью приплющивали навсегда к земле, удовлетворяя этим свои амбиции победителей. С чувством ненависти вспоминал отечественные заградотряды, тоже вооруженные немецкими автоматами и так же браво готовые послать пули в головы тех, кто под натиском дьявольской немецкой силы нарушали закон Сталина «Ни шагу назад». Потом обо всем этом он напишет в повести «Убиты под Москвой». Он сам попал в плен в декабре 1941 года под Клином контуженый, и запомнились ему засученные рукава.

Нельзя было без слез слушать его рассказ о немецких лагерях, в которых ему пришлось испытать нечеловеческие страдания. Все, что потом написал о плене, он рассказал подробно тогда. Это клинский, ржевский, смоленский, каунасский, саласпилский лагеря, паневежеская тюрьма, шяуляйская тюрьма и лагерь. Временами мне не верилось, что это могло быть в реальной жизни. Особенно меня потрясли побег из вагона и одинокий вой в болоте. Меня потом долгие годы преследовало видение поезда, мчащего в смерть пленных и под окошком вагона

для перевозки скота качающийся скрюченный черный комок человеческого тела в предсмертном исступлении дерзнувшего обрести свободу — выпрыгнуть из вагона. И странно, мне казалось, что я когда-то тоже испытала чувство радости обретения свободы и животной любви к земле, небу, траве, лесу, ставшими хранителями жизни. И чувство одиночества, безысходности и жгучего желания жить казалось мне до боли понятным, когда он рассказывал о том, что, не дождавшись Ивана Воронова, — тот пошел в деревню за картошкой, и его схватили полицаи, — заблудился в болоте и в смертельной схватке с болотной тиной все же выполз на берег и диким утробным воем всю ночь согревал свои окоченевшие тело и внутренности. А утром, на рассвете, увидев дом с черепичной крышей, обезумевший, побежал туда. Там, в комнате на столе, лежала пачка «Беломорканала», оказалось, что здесь только что были советские парашютисты. Он побежал в лес в надежде догнать, но никто на его зов не откликнулся, и невыносимое чувство безнадежности бросает его на землю в смертельной тоске. Нельзя было забыть предательски торчащую под вагоном с сахарной свеклой портянку, когда немец с фонариком шарил рядом и, увидев беглеца, вытаскивает его, избив, заковычивает в цепи и увозит из паневежеской тюрьмы в шяуляйскую. И много лет спустя я зрительно представляла саласпилсский лагерь, о котором он рассказал тогда. Потом в 1947 году мы, будучи на отдыхе на Рижском взморье, ездили на место саласпилсского лагеря. Тогда сосны стояли еще оголенными, без коры, ее обглодали пленные насколько могла достать человеческая рука. И колючая проволока еще была та же, и стояли те же бараки, только покрашенные, отремонтированные, там располагалась какая-то воинская часть. Мы молча посидели недалеко на горке, потом он сказал: «Мне иногда не верится, что это было со мной, а как будто приснилось в кошмарном сне».

Все, что потом написал в повести о плене, видимо, должен был рассказать, освободить душу от безмерно гнетущего груза, успокоив ее в какой-то мере сочувствием-содроганием сердца близкого человека. И говорил поэтому, как на исповеди, ничего не тая.

В эти дни желание рассказать о себе, о пережитом казалось неудержимым. Рассказывал взволнованно, вдохновенно. Длинными ночами мы вспоминали и вспоминали свою жизнь, удивляясь схожести переживаний, ощущения одиночества среди сверстников и дома, семейной неустроенности. Он рассказывал о родном селе, о голодном годе, раскулачивании, о бедах и лишениях своей большой семьи, в которой он вырос. У него было пять сестер и брат. Старшие сестры Татьяна и Мария родились еще до первой мировой войны, а их отец, Дмитрий Матвеевич Воробьев, в 1916 году ушел на войну, попал в плен, и 5 лет от него не было вестей. В этот период у Марины Ивановны в 1919 году родился сын Константин. Кто был его отцом, никто не знал — мать хранила тайну. В деревне же ходили разговоры, что отец Костика — русский белый офицер, называя фамилии то Останкова, то Письменова. Мать назвала фамилию Письменова, когда Константин Дмитриевич, будучи уже взрослым, спросил ее: «Кто отец?» Потом уже сыну Сергею он говорил: «Запомни, Сергей, мы — Письменовы». Даже было желание сразу после войны взять себе фамилию Письменов, но не хотелось обижать отчима, а когда стали выходить книги, было уже поздно и нехстати.

Дмитрий Матвеевич вернулся в 1921 году, когда уже в семье его не ждали. Он благородно простил Марине Ивановне измену, усыновил незаконнорожденного. В последующие годы у Марины Ивановны дважды родились близнецы: Милаида с Василием и Анна с Александрой. Отчим для того времени был человеком грамотным, читал книги, повидал чужой мир, в Германии он работал в одном зажиточном хозяйстве, овладел немецким языком, так что в деревне слыл грамотеем. Любил философствовать, выступать на собраниях, и в деревне его прозвали Философом. В доме было немало художественной литературы. Крестьянский труд не любил, и по этой причине их хозяйство считалось запущенным. Константину Дмитриевичу с детских лет приходилось помогать отчиму — выполнять почти все крестьянские работы. Но Дмитрий Матвеевич слыл в деревне хорошим портным, шил полушубки, чем и подрабатывал. О своем отчине Константин Дмитриевич говорил всегда с чувст-

вом любви и благодарности за то, что тот никогда его не упрекнул куском хлеба, никогда не тронул, как говорится, и пальцем. Веселый, любящий беззаботную жизнь, он все же не стал для семьи примерным кормильцем. Всю тяжесть забот о семье взяла на себя мать. Она была статная, красивая, голосистая, в молодости служила в соседнем селе у помещика. Дмитрий Матвеевич пренебрег девушками своего села и привел в дом жену со стороны. В повести «Сказание о моем ровеснике» образ Алексея навеян теми представлениями о молодости Дмитрия Матвеевича, которые сложились у Константина Дмитриевича из рассказов матери. У нее был резкий, взрывной, беспокойный характер, она все принимала близко к сердцу с особой страстностью и непримиримостью к тому, что ей казалось несправедливым. Дмитрий Матвеевич, наоборот, относился равнодушно, по-философски к тому, что ее могло привести в исступление, поэтому скандалы в доме не утихали. Марина Ивановна обладала воображением, способностью образно и живо рассказывать и метко подмечать в людях смешное. И Борис с любовью пересказывал ее насмешки над соседями. Разговаривала она всегда в повышенном возбуждении, почти на крике, в памяти детские **годы** остались у него как непрерывная цепь скандалов и **страданий** матери. Она грозилась удавиться, броситься в речку.

Константин Дмитриевич жалел мать, любил ее и чувствовал себя виноватым, чужаком. Благородное поведение отчима к пасынку все же не могло заменить отцовской ласки, он не мог уместить в своем сердце двух людей: того, кто неожиданно вернулся из Германии, и того, что на заре ушел куда-то навсегда. Временами (говорил он) жгуче ненавидел своего отца и так же любил и страдал от тоски по нему. Если бы можно было только раз увидеть, какой он! Улица его дразнила «подкрапивником», «белый, белый, кто тебя делал» и разными грязными словами. Иногда ему казалось, что его сердце должно разорваться от горя и всех обид, которые безжалостно наносили сверстники и взрослые. Чувство одиночества и отвергнутости его терзало в те минуты, когда отчим сажал себе на колени своего сына Василия и они вместе с Мариной Ивановной в мирные дни в семье любовались им, забыв о его присутствии. Слова «вот он у нас какой красивый» — на всю жизнь

остались в сердце затаенной болью. В детстве он отличался необыкновенной шустростью, ловкостью и сообразительностью.

И все же обиды не заслонили в душе ни красоты бескрайних степей, манящих какими-то далекими, неизведанными мирами, ни ослепительных солнечных лучей, сверкающих в тогда еще многоводном Реутце, ни захватывающих дух катаний с обрыва зимой на мерзлых «катяшках» вместо коньков, ни головокружительных кувырканий летом в душистой траве наперегонки, ни ночных костров на выгоне ночью, когда вместе с сельскими ребятами стерег своего Кайзера (так звали они свою лошадь). Все равно мир сверкал, радовал и манил, и родная хата с земляным полом и садом из трех сливин и одной яблони, рано покинутая в отчаянии от нестерпимых обид, на всю жизнь осталась в памяти неповторимым благом жизни.

Ранние годы детства остались в памяти вместе с сохранившимися тогда еще обычаями и праздниками Пасхи, Троицы, Масленицы. Особенно любил Пасху, и не случайно на страницах его повестей яичная скорлупа крашенных яиц приобретает какое-то самостоятельное эмоциональное выражение, а не просто упоминание детали пасхального ритуала. Радость и чувство восхищения вызывали воспоминания о той деревне, которая еще жила естественными своими бедами и заботами, традициями, обычаями и церковными обрядами в доколхозное время. Он зрительно достоверно помнил и какими были куличи, которые пекла его мать, как ему казалось, самые красивые, и вкус «стюдня», в нем оставались «бабки», их любили добела обсасывать, а потом до позднего вечера в них играть, и озорные частушки — их «кричали» (так говорили в деревне), сидя на завалинках девки, посадив себе на колени парней, и все то, что потом вошло в его повести, но навсегда исчезло из жизни деревни.

Вместе с чувством одиночества (вспоминал он) крепло и ощущение своей исключительности и несхожести ни со своим братом и сестрами, ни со сверстниками, деревенскими ребятами. Как сокровенную тайну, поведал он тогда свое ребяческое открытие, которое поразило его и заставило поверить в свою исключительность. Однажды в знойный летний день, идя по полю (было ему в то время 12 лет), увидел следовавшую за ним

свою тень, над головой которой сиял нимб. В раннем детстве тогда в их доме жила сестра Дмитрия Матвеевича, набожная смиренно-кроткая женщина. Она часто рассказывала маленькому Костику о жизни святых, о Священном писании, о небесных светилах, о Боге, восседавшем там, на небесах, водила его в церковь. Ее влияние на детское воображение и на чувства было огромное, и он с благодарностью вспоминал это непорочное, отреченное от жизни существо. Видимо, ее рассказами и было вызвано ожидание нимба. До этого дня не раз он оборачивался на свою тень, но нимба все не было и не было, и вдруг он засветился. Это признание меня поразило невероятным совпадением: легенда о нимбе тоже в 12 — 13 лет меня тревожила. Я мечтала стать писательницей и где-то прочитала, что у писателя над головой должен засиять нимб.

Мучительным воспоминанием о детстве у него было чувство постоянного голода. «Мне всегда хотелось есть, — говорил он, — потому что никогда не приходилось наесться досыта — семья большая, жизнь была трудной, и я не был способен попросить, чувствуя себя лишним ртом, чужаком. Я очень рано стал понимать, что те дети родные, а я неродной, и очень болезненно воспринимал каждое слово». Был небольшой период намечающегося благополучия в семье, когда отчим работал заведующим сельмагом. Это был какой-то шумный и по-особенному суетный год. Дома постоянно были гости, их надо было угощать и ублажать. Дмитрий Матвеевич, обретший самоуверенность, деятельный, часто возвращался навеселе. Мать беспокоилась, предчувствуя недобрый исход этой суетной деятельности. И действительно, грянул гром — недостача, арест отчима, горестный плач матери. Шел 1933 год, а с ним голод, выкосивший тысячи людей в Курской области, в том числе и в селе. Мать обессилела от голода, младшие дети тоже. К этому времени старшие сестры Татьяна и Мария вышли замуж и уехали в Москву. Теперь старшим в семье оказался он, и ему надо было думать, как жить дальше. Тогда он решил пойти работать в тот же сельмаг, которым недавно заведовал отчим. Там получал плату хлебом. Каждый день нес домой буханку, бережно прижав к груди, как что-то самое драгоценное в жизни. Запах хлеба дразнил его, голодного, и очень хотелось отщипнуть (вспоминал он), но гордость не позволяла, ему хотелось принести домой целую буханку. Работа в ма-

газине дала возможность сохранить жизнь всей семье, и чувство ответственности за каждого в семье сохранилось у него на долгие годы, а каждый из них уверовал, что это его обязанность.

Опустело, притихло родное село в 1933 году. Вымирали целыми семьями. Посылки из Москвы не разрешались. За распространение слухов о голоде сажали в тюрьму. За стрижку первых колосьев пшеницы и ржи тоже сажали, за шепот или ропот — тоже. Вырубили сады, так как налог за каждую яблоню был непосилен, оскудели дворы, вывелась своя скотина у крестьян, захирели огороды. Новые порядки набирали силу, власть на местах привлекала к себе тех, кто способен бездумно выполнять абсурдные инструкции для укрепления колхозного ига. И ничто не прошло мимо его зоркого глаза. Разорение сельской церквушки, надругательство над священником, раскулачивание не только богатых, но и бедняков, разграбление их имущества, скота и бессмысленное уничтожение того, что годами люди создавали своим трудом, наводили на четырнадцатилетнего мальчика ужас, вызывали неприятие этого разбоя и изумление человеческой покорностью и способностью участвовать в этом разоре.

Окончив сельскую школу, поступил в сельхозтехникум в Мичуринске. Тогда исправил себе в справке год рождения, вместо 1919 года вписал 1917 год. Много лет спустя, 20 сентября 1961 года, в письме режиссеру Белорусской киностудии Ричарду Николаевичу Викторову писал: «Однажды (с сомнительным успехом) я пробовал выучиться на какого-то «эндокринника». Было это в голодный год, и я, спасаясь от лиха, подделал себе в справке лета и махнул в Мичуринск, где и был этот техникум».

Вернувшись в село, окончил курсы киномеханика и 6 месяцев разъезжал по деревням с кинопередвижкой, что ему очень нравилось.

В 1935 году стал писать стихи и небольшие корреспонденции о сельской жизни как селькор в районную газету, а с августа этого же года стал работать в Медвенской районной газете литературным инструктором. Но окончилась эта деятельность скоро и трагично. В то время он увлекался историей, преклонялся перед русскими полководцами 1812 года и гордился своим приобретением прекрасно иллюстрированной книги «Отечест-

венная война 1812 года». Идеал русского офицера времен Отечественной войны покорял его воображение. Это было соприкосновение с тем миром, который помогал сохранять в себе чувство чести, достоинства, совести, ненавидеть то, что происходило в их деревне. Он думал, что в Москве об этом не знают, вот он напишет Сталину, и сразу все изменится. Письмо написал и по наивности верил, что дойдет до Кремля. Но жизнь говорила о том, что происходящее не случайность, а злодеяние власть имущих. В 1935 году умер Куйбышев. На смерть Куйбышева он написал стихотворение:

Не вынесло и твое сердце,
Глядя на бедствия людей,
И ты скатился в бездну мрака
В период сталинских страстей.
Социализма не построя,
Ты в ад душою угодил.
Ты не увидишь больше гноя
От ран, ты кои наносил
Народу бедному. Судьбою
Тебе написан этот рок,
Ты не один, в аду с тобою
И Сталин будет в краткий срок.

Стихотворение показал одному сотруднику (Еремееву), а тот сообщил об этом редактору. Тут же пришли к нему и потребовали показать стихотворение. К счастью, девушка-секретарь успела предупредить об этом, и стихотворение он уничтожил, но на столе лежала книга «Отечественная война 1812 года». «Преклонение перед царской армией» и стало поводом для изгнания, немедленного, из редакции. Уволил его сам редактор Косьянкин. И побрел из Медвенки в свое родное село пешком, сняв по дороге ботинки, шел босиком. Его нагнала бричка, в ней сидел Косьянкин. Казалось ему тогда, что жизнь его разрушена и сам проваливается в тартарары, а виновник — Косьянкин, вальяжно развалясь в бричке, с гиком промчавшийся мимо него, босого, униженного. Ему на всю жизнь запомнился тот день непоправимой беды, день, который решил всю дальнейшую его судьбу. Потом в повести «Почем в Ракитном радости» главный герой Останков Кузьма вспомнит свое поражение, и первое унижение в жизни, и дорогу домой босиком, и Косьянкина.

Тогда и пришло решение немедленно покинуть род-

ное село и навсегда уехать. Денег не было. Пришлось украсть петуха, продать его, и на вырученные деньги можно было купить билет до Москвы. Там его приютила сестра Татьяна, очень добрая женщина. Муж Татьяны погиб на финской войне, и она, не пережив этой потери, — в 1943 году умерла от гипертонической болезни. Остался сын Геннадий сиротой, вырастила его бабушка Марина Ивановна.

В Москве удалось устроиться на работу в редакцию фабричной газеты им. Свердлова ответственным секретарем, а вечерами заканчивал вечернюю среднюю школу. Денег получал мало, старался подрабатывать грузчиком на железной дороге или в магазине. Надвигался 1937 год. Атмосфера страха и недоверия сковала жизнь москвичей, вокруг предательство, доносы. Никто ему не верил, что в Курской области голод унес тысячи жизней, советовали молчать, не распространять «слухи». От сильного нервного напряжения у него начались головные боли и обмороки.

Никто вокруг не понимал, что происходит и что обещает будущее, все затаились, скованные страхом. В этот период своей беспокойной жизни он встретил женщину, старше его, которая, казалось ему, может понять его. Вскоре родился у них сын Владимир, но совместной жизни не получилось.

В октябре 1938 года был призван в ряды Красной Армии и проходил службу в освобожденной части Западной Белоруссии, в 58-м стрелковом полку в 3-й батарее. Расположилась она близ города Рутка, в поместье бывшего графа Потоцкого. Об этом поместье не раз рассказывал, возмущаясь тем, во что был превращен великолепный розарий во время их пребывания там. В 1939 году его направили в 13-ю стрелковую дивизию Белорусского военного округа в городе Замбров, там работал в редакции воинской газеты «Призыв».

После возвращения из армии в декабре 1940 года пошел работать литературным редактором газеты Академии Красной Армии им. Фрунзе, откуда получил направление на учебу в Кремлевское Краснознаменное пехотное училище. В октябре 1941 года в составе роты кремлевских курсантов был отправлен на фронт, а в декабре под Клином попал в плен. Рота была почти полностью уничтожена.

О московском периоде жизни рассказывал неохотно,

скупо. Это было время (говорил он) черных дней в моей юности, когда отчаяние доходило до болезненного состояния. Меня бросили, как щенка, в омут, и я должен был выплыть.

О своей жизни говорил он по-особенному ярко, образно, так, как потом писал в своих книгах. Я оцепенело молчала от сострадания и чувств, которыми была полна от его слов, робела перед его исключительностью и казалась сама себе жалкой со своими переживаниями, чувствовала внутреннюю зажатость и неспособность выразить свои чувства, когда слова кажутся бессмысленными и хочется кричать, но мои гимназические комплексы превращали меня в окаменелое чудище. Он со всей пылкостью своего характера понял меня по-своему, думая, что я безразлична к нему, и был сильно огорчен. И тогда я заплакала, горько, по-детски некрасиво. Он забыл свою обиду, вытирал мне слезы, утешая и успокаивая тем, что скоро уедем в Россию и все будет по-другому. Позже он прочитал стихотворение, которое было написано под впечатлением этого вечера. В записной книжке он записал: «Посвящаю одной маленькой русской». Маленькой я не была, но мне тогда только что исполнилось 17 лет. После этого дня началось быстрое мое взросление.

В конце октября пришел Алекс. Он за это время прочно освоился со своим положением. Без свидания с ним нельзя было Борису уходить в лес, так что его приход был как бы сигналом к действию. На нем была одежда литовского зажиточного крестьянина из серого домотканого сукна, скрывался он в квартире одной русской семьи, в городе ориентировался свободно. Он отличался безрассудной смелостью и дерзостью, был полон оптимизма и романтики. Свобода вызвала в нем необузданные силы и энергию. Прекрасно образованный (студент мединститута), красивый, интеллигентный, Алекс, будучи еврейской национальности, убедил немцев, что он украинец с немецкой кровью, и стал переводчиком, чтобы наладить связь с населением и бежать. Он вынашивал дерзкий план — побег евреев из гетто. Желание помочь соотечественникам рождало в нем веру в победу и удачу в задуманном деле. Наконец пришло время все делать по своему желанию, стать человеком. Тогда мне трудно было увидеть в этом на вид, казалось, беспеч-

ном человеке, ту затаенную боль и страдание, которые в нем таились в период переводческой работы. И вот теперь искали немедленного выхода. И бросился он на помощь тем, кто обреченно ждал смерти в гетто, безоглядно и мужественно.

* * *

По лесам бродили беглые пленные, объединялись в группы. Немцы пленных из лагерей в 1942 — 1943 годы охотно продавали литовским крестьянам за сало и деньги. Это был лучший вариант плена — попасть в батраки. Их литовцы откармливали и получали бесплатного работника. Так, у крестьянки Эвальдене, с которой мы поддерживали связь, находился пленный Василий, а через него шла связь с лесными, бывшими пленными. Таких, как Василий, в деревнях было немало, но они практически не могли бежать: приближалась зима, и без их помощи все «лесные» погибли бы. Они снабжали их продуктами, обеспечивали ночлег, помогали организовываться, искали связь с литовскими партизанами. Притом в случае их побега немцы уничтожали всю крестьянскую семью, а дом сжигали дотла. Так случилось с теми, у кого работала мать Эдика. Поэтому побегов было очень мало. Василий наладил в лесу самогонварение, снабжал своих «горючим» зимой, устанавливал широкие контакты, что давало возможность менять «стоянку» и избежать предательства. В городе тоже, в основном местные русские, пытались помогать тем, кому удалось вырваться из лагерей, тюрем, гетто. Многие скрывали их у себя дома, в сараях, подвалах. Другие снабжали одеждой, лекарствами, деньгами, доставали взрывчатку. Мне запомнилась фамилия Романова. Алекс дал его адрес, и я лично к нему приходила за деньгами. Это был какой-то высокого ранга чиновник, видимо хозяйственник. Большая богатая квартира, разряженная жена, которая с презрением и ненавистью смотрела на меня. Он, симпатичной внешности, молча решительным жестом подал мне конверт с деньгами, я тоже молча решительно взяла конверт и быстро вышла. На эти деньги купили пистолет. После войны Романова в городе не оказалось, видимо, все же ушел с немцами, не решился остаться, хотя его в подполье знали как сочувствующего партизанам. Запомнился еще один рабочий по прозвищу Пролетар. Выглядел он человеком пью-

щим, но свою комнату предоставлял для скрывающихся от литовских властей и немцев. Сопротивление немцам в 1943 — 1944 годах охватило широкие слои в городе и деревне, отдельные партизанские бродячие группы объединялись или вливались в литовские партизанские отряды. Литовское партизанское движение тоже прошло путь от бродячих групп, скрывающихся у крестьян, до отрядов, сформированных с помощью десантников из Москвы и литовского центра. Были в этой борьбе и самопожертвование, и героизм, и корысть, и предательство. Все было значительно сложнее и трагичнее, чем об этом написано в советской литературе, в ней тот же ряженный героизм, что и в книгах о войне. Опасность предательства, как и опасность со стороны немцев и полицейских, подстерегала и грозила на каждом шагу.

* * *

Алекс пробыл у нас три дня. После его ухода мы отправились в деревню Лепоряй, к Василию. Вышли из дому до темноты. Моя литовская речь помогла избежать подозрения со стороны прохожих. Я умышленно говорила громко, рассказывая глупость и вздор. Мы благополучно прошли тот путь, который я проделала тогда в мае — через весь город мимо лагеря, только в обратном направлении, и скоро оказались за городом. Идти надо было 12 километров. Мы свернули с шоссе на дорожку и пошли проселочными дорожками, дорога мне была хорошо известна. Нас уже ждал Василий, и они с Борисом ушли в лес, а я утром вернулась в город. Теперь нужно было ждать следующего сигнала от Ивана Ивановича. Было страшно, тревожно и тоскливо. Я в этот период работала еще в карточном бюро. Там была пишущая машинка, на которой можно было печатать листовки. Я приходила раньше всех, чтобы успеть напечатать. Иногда я делала это почти открыто, говоря, что пишу письмо. По законам вежливости никто не осмелился заглядывать и любопытствовать, и надо сказать, что мы тогда еще не были заражены той всеобщей подозрительностью и бдительностью. Люди в своей основе, в массе, были наивны и доверчивы даже в условиях фашистской оккупации. Конечно, могли быть и случайности. Но нам все же везло. В самых невероятных случаях беда проходила мимо. Еще в октябре Борис с Алексом в немецкой форме в доме офицеров охотились

три дня за пистолетами в гардеробной. Я ходила недалеко от здания, а они пытались незаметно снять оружие: немцы вместе с шинелью снимали с себя ремень с пистолетом и вешали на вешалку. Затея была безумной, и на третий день безрезультатных попыток решили отказаться от нее. В гардеробе все время было многолюдно, а трехдневное посещение в одно и то же время привлекло внимание гардеробщика, и пришлось спешно исчезнуть. Спасло отличное знание Алексом немецкого языка. Много лет спустя в записной книжке Константина Дмитриевича появится краткая запись о планах на будущее «О самом страшном. 1. Полковник Иванов. 2. Выл в болоте. 3. С Алексом в доме немецких офицеров». Предполагал об этом написать рассказ, но замысел так и не удалось осуществить.

В ноябре Борис приходил в город на несколько дней, оружие вселяло уверенность в силе и безопасности, и эта обманчивая защищенность вдохновляла на отчаянный риск. Недалеко от нашего дома был парк. Мы уходили туда, он читал Блока, Есенина, подолгу сидели молча на скамейке, вслушиваясь в ночную темноту. О «лесе» рассказывать не любил, отговаривался очень сдержанно. Я поняла, что все очень сложно, опасность предательства страшнее немцев. Близилась зима, и станет трудно «бродяжничать» по лесу, постоянно менять место нахождения, особенно после диверсий.

Город замирал, никто не осмеливался ходить по городу, можно было встретить только жандармский патруль. Но цоканье их подков обычно слышалось издали, и избежать вовремя опасности было нетрудно. Потом мы выходили на улицу Аушрос аллея (аллея восхода) и там расклеивали листовки. От парка до нашего дома нужно было перебежать улицу, а там дворами можно было добраться, крадучись, к дому 6 на улице Глуосню. Потом зимой пришлось выходить на «охоту» за харчами. Помогал Алекс. На карточный паек прожить было трудно. Особенно запомнился мне один наш поход вдвоем. Я стояла с пистолетом на стреме, а он сбивал замок, забирал несколько уток или гусей, оглушал их, чтобы не кричали. В этот раз сарай стоял почти у самой улицы недалеко от домика хозяев. Мы прошли мимо тускло освещенного светом радиоприемника, занавешенного белой занавесочкой окошка, и началась «работа». Я заглянула в окошко. На диване лежал муж-

чина и слушал радио. Тихо струилась мелодия немецкого популярного шлягера. Повеяло мирным прочным уютом, спокойной жизнью. Мучительная тоска сжала сердце, не страх, а тоска и ощущение бездомности, неизвестности и безвыходности. В сарае слышался шум какой-то возни и кряканье гусей. И сквозь этот шум я вдруг уловила звук цокающих железных подков, отбивающих мерный шаг. Я выглянула из-за угла дома — там приближались три жандарма. У них на груди сверкали железные бляхи, они шли, громко разговаривая и смеясь, видимо, тоже, как мы тогда с Зиной, для храбрости. Я в ужасе кинулась к сараю, чтобы предупредить об опасности, так как в сарае стоял жуткий гам потревоженной живности и утихомирить это мгновенно уже было невозможно. Мы замерли, немцы приближались, поравнялись с домом и в десяти шагах прошли мимо, не обратив внимание на подозрительный шум в ночной тишине. Наверно, цокот их «копыт» и громкий смех стали нашими спасителями. Когда все утихло, мы с добычей благополучно вернулись на свою «базу». К счастью, наш вход в дом был изолирован, но надо было бесшумно миновать окно комнаты, в которой жил немец-старик, видимо интендант. По вечерам он любил играть на губной гармошке русскую песню «Волга, Волга, мать родная...» — подпевая «Вольга, Вольга», а дальше не получалось. В другой половине дома жили хозяева. Случилось так, что в 1943 году в марте хозяйку увезли в больницу на операцию печени. Ночью некому было после операции около нее дежурить, и я согласилась помочь. Она была нам сердечно благодарна. Но не только это определило хорошее отношение к нам. Еще тогда, когда немцы выселили нас из благоустроенной квартиры в их домик, зная, что мы русские, она относилась к нам сочувственно. А после войны она призналась, что догадывалась о чем-то нелегальном в нашей жизни, слыша осторожные шаги по лестнице, и боялась, чтобы их не услышал муж, она ему, видимо, не доверяла.

* * *

В декабре 1943 года и январе 1944 года группе пришлось уйти в подполье, рассеяться по сараям и подвалам. Пять человек из их группы, которые остались на ночь в бане, были окружены немцами и заживо сожжены.

Борис пришел в город и ровно 30 дней, не отрываясь от стола, писал повесть о плене. Боялся очень, что погибнет и не расскажет о тех ужасах и муках, которые испытали пленные в немецких лагерях для военнопленных. Об этом должны знать люди! Положение очень осложнилось: немцы стали забирать у крестьян пленных, часто делать налеты на хутора. В январе пришел Алекс и сказал, что ему надо три дня отсидеться у нас. Уходя, он пообещал 14 февраля снова быть у нас и все рассказать о делах в гетто. В общем, все готово к восстанию. Но ни 14-го, ни на второй день он не пришел. Стало тревожно, и мы решили идти на квартиру, где решались дела о восстании гетто. Дом был на расстоянии двух небольших параллельных улочек. В 11 часов вечера дворами мы направились туда. И тут произошло невероятное. В первом же переулке мы провалились в яму, заснеженную сверху, и оказались по пояс мокрыми. Пришлось вернуться домой. Оказалось, что это возвращение спасло нас, там, как стало известно потом, были в это время немцы. Нам действительно везло. Наутро мы заметили, что по улице Дваро патрулируют жандармы. Глянули в противоположную сторону — по улице Тилькес — тоже. Жители ходили мирно, немцы никаких акций не предпринимали, и я решила пойти послушать, что люди говорят. Никто ничего не знал. Один мужчина сказал, что немцы кого-то ждут. Мы подготовили вход в чердак и три дня дежурили беспрерывно. На третий день немцы исчезли и больше не показывались. Выяснилось, что Алекса взяли по дороге к нам, недалеко от нашей улицы. Его опознали и выследили, но поторопились взять, не выследив до конца. Он мужественно вынес все допросы, не указав ни единого адреса, и за месяц до освобождения города был расстрелян. О пребывании его в тюрьме мне рассказал тюремный ксендз. Алекс держался мужественно, достойно, а в последние месяцы перед расстрелом часто в камере пел какую-то песню о соловушке. Я поняла, что он пел песню на слова Есенина «Есть одна заветная песня у соловушки, песня панихидная по моей головушке...». Эту песню они вместе с Борисом спели после побега, когда были в деревне у Зины. Она стала нашей песней на всю жизнь, всегда в праздники, когда мы собирались у нас или у друзей, пели ее в память о тех днях.

Арест Алекса, изнурительная работа над повестью вызвали нервное потрясение. Борис заболел, покрылся струпьями и красными пятнами, болела грудь. Нужен был врач. Я вспомнила, что в городе есть врач, с сыном которого учился в гимназии мой старший брат. Он еврей, а жена его немка, поэтому ему разрешили жить в своем доме, но должен был ходить с желтой звездой и только по бульжнику, по тротуару не разрешалось. И я решилась попросить у него помощи, думая, что предательство исключалось. Он согласился, зная, к кому идет. Фамилию я его не забыла — Конторович. Худой, сильно постаревший, нервный, с глазами мученика — ничего от прежнего, спокойного, уверенного в себе, врача. Но осталось прежнее выражение благородства и достоинства. Мне запомнились почему-то мелочи: как он резким движением разматывал и заматывал на худойшее узкий темно-синий шарф. И я подумала тогда: какая сила протеста против существующего кошмара таится в этом человеке. Он все проделал молча, выписал рецепт и сказал: «В легких ничего нет. Это от нервного потрясения. Все пройдет». И быстро вышел. Деньги не взял. Действительно, лекарства помогли. С выздоровлением вернулись прежняя уверенность и воля к борьбе. Нужно было уходить и снова собирать рассеянные силы. Перед уходом мы решили пожениться. Мама купила нам на рынке медные кольца, обвенчала нас, поцеловала по русскому обычаю и заплакала. Для нее Борис был и зятем, и сыном, она понимала, как мало возможности у нас дождаться благополучного конца войны.

Написанную повесть о плене, которую он тогда называл «Дорога в отчий дом», мы зарыли в железной банке в землю около дома.

* * *

Наша армия стремительно шла вперед на запад, приближалась к Прибалтике. Ходили слухи, что после войны в Советском Союзе многое изменится — будет другая советская власть, распустят колхозы, перестанут расстреливать невинных людей. Вот уже открыли церкви, вернули офицерские погоны, все будет по-другому, только бы скорее разгромить немцев. В городе среди литовцев царило необыкновенное смятение: надо было делать выбор. Те, кто сотрудничали с немцами, собирались

на Запад и все еще надеялись на чудо — разгром Советской Армии. Многие не сотрудничали, но работали где-то, были знакомы с немцами (они тоже были разные), зажиточные крестьяне еще не забыли вывозы, гадали, будут ли Советы опять вывозить? Никто ничего не знал. Рушились судьбы, корежились жизни. В начале войны одни, а сейчас другие прощались с родными местами.

После первого налета на город нашей авиации в начале августа началось паническое бегство виновных и невиновных. В это время вернулся из Германии мой брат Виктор — бежал. После налета я рано утром поспешила к Эвальдене, чтобы она помогла вывезти из города маму, Эдика и семью Веры¹. За неделю до налета директор заведения, в котором я работала, разделил между сотрудниками оставшиеся карточки и разрешил отоварить. Мы получили по 10 килограммов масла, мармеладу, сахара и мелкую мануфактуру. Все равно все погибнет (говорил он), пусть лучше достанется людям. Для нашего «лагеря» это оказалось настоящим подарком — серьезное подспорье в дни пребывания в деревне.

У Эвальдене я встретила Бориса, он уже собирался ехать за нами. В черной шинели казался очень высоким и худым, лицо, перекошенное от волнения, он уже держал в руках вожжи, стоя в повозке, и ясно было, что в эту минуту уже никто не сможет его остановить. И мы помчались на Глуосню. В городе началась страшная суматоха — убегали потеряв голову многие — боялись репрессий, ведь все где-то работали, надо же было кормить семьи. На нас никто не обращал внимания, доехали благополучно, побросали нужные вещи, продукты, что-то закопали в землю, что-то оставили в сарае (там все сгорело). Вера с семьей уже была у нас, детей забросили в повозку, а сами пошли пешком. Борис с детства научился обращаться с лошадью, поэтому все обошлось благополучно. Мы вовремя успели добраться до деревни, скоро начался налет. Наши бомбили массивно. Помню, как в оцепенении смотрели на висящие в небе фонари и вспышки пожаров. Казалось это ненастоящим, далеким, как в кино. И наверно, знание того, что это разрушение несет вместе с тем освобождение, настраивало нас на какое-то странное возбуждение, рождающее чувство восхищения. Я тогда отметила в се-

¹ Жена командира, находившаяся в оккупации.

бе это состояние и устыдилась своей «храбрости». Я вспомнила прошедшую ночь, когда неожиданно пронзительно завывла сирена и холодный ужас охватил все тело. У мамы онемели ноги от страха. Я схватила Эдика, брат — маму, и потащили в землянку. Там уже были люди, сидели, тесно прижавшись к земле и затаив дыхание. Над городом повисли ракеты, стало светло, как днем, и страшный грохот и вой бреющих самолетов оглушили и смяли нас. Литовцы молились. Мы обнялись с мамой, прижали к себе Эдика, закрыли глаза и застыли в ужасе. С каждым нарастающим воем самолета в мозгах стучало: «Все, теперь все». Виктор не пошел в землянку, он уже ориентировался в законах бомбежки. В эту ночь в нашем районе не упала ни одна бомба. Бомбили привокзальный район.

Три ночи продолжались налеты, был разрушен центр, близлежащая к улице Глуосню улица Дваро и весь привокзальный район. Затем наступило затишье. Лишь пассажирские самолеты низким бреющим полетом, нагруженные беглецами, спешно покидали Шяуляйский аэродром. Немцы явно отступали, и начальство удирало первым. На четвертый день по шоссеной дороге потянулась немецкая моторизованная пехота, а к вечеру засветились, оглушая город, «катюши». Дом Эвальдене, где мы находились, стоял недалеко от шоссеной дороги, ведущей в Ригу, поэтому к нам во двор заезжали и забегали немцы, просили пить, есть, еще что-то требовали непонятное, быстро убегали и мчались, ошалелые, дальше. Остаться у дороги было опасно, и мы с Эвальдене быстро запрягли лошадь, покидали теплые вещи, продукты, детей даже некуда было посадить, каждый спасал и свои личные вещи, привязали к повозке корову. Нас было десять вместе с детьми, и все потянули к лесу. Детей несли на руках. В сильном возбуждении четко работала мысль, я не чувствовала ни тяжести Эдика, ни веса своего тела, ни боли до крови расцарапанных ног, ни усталости, прошагав так 7 — 8 километров. В лесу мы расположились на земле, тесно прижавшись друг к другу, и так просидели всю ночь. И всю ночь не умолкала в лесу стрельба. Стреляли со всех сторон, но не понятно было, кто приближается: наши или немцы. Я молилась, просила Бога пощадить Бориса и всех наших. К утру наступила тишина. Три дня мы прожили в лесу в тишине и неизвестности, не зная, как быть дальше. И вдруг на четвертый день, рано

утром, услышала русский окрик: «Эй, кто там есть, выходите, прочесывать будем!» Мы побежали к опушке леса, а там на коне командовал русский солдат, уже молодой. Запомнилась мне почему-то добела выцветшая гимнастерка, и видно было, что это смертельно уставший человек, который еле-еле держится в седле. Это все почему-то особенно бросилось в глаза, видимо, я ожидала совсем другого освободителя-героя. И тут я увидела красную звездочку на пилотке и заплакала. Зарыдали все в голос и кинулись к нему. Он усталым раздраженным голосом отмахивался от нас: «Куда вы прете на коня, рехнулись, что ли. Выходите все и можете возвращаться домой, немцев прогнали. В лесу опасно, бродят недобитые немцы, мы будем прочесывать...» И он мгновенно ускакал.

Мы шумно и радостно собрались и потащились в деревню. Наш «колхоз» ликовал — никак не ожидали, что так просто все произойдет. Немцы почти не сопротивлялись в городе. Два дня били по нему «катюши», конечно, всех выкурили. Когда вернулись в деревню, там уже у самого дома, рядом с нашей землянкой, окопались красноармейцы. В основном это были молодые ребята. Смотрели на нас очень настороженно, в разговор не вступали. Когда мы сказали, что здесь почти все русские, они с усмешкой ответили: «Это еще надо посмотреть, какие вы русские». Странно, но я не испытала чувства обиды, наоборот, было ощущение вины, хотя сама не знала, за что. Наша суета, выспрашивание у них чего-то ненужного, желая убедиться в том, что нам ничто уже не грозит, казались мне постыдными, и я злилась на маму за ее особенную активность. Я думала тогда, что вот ребята остались живы, но неизвестно, что с ними будет завтра, а мы печемся о своей безопасности. И конечно, ребятам мы не нравились. Особое подозрение вызывал у них мой брат. Молодой, высокий блондин, похожий на латыша (пошел в дедушку), а значит, на немца, один среди женщин. То, что нам казалось нормальным, так как мы знали обстоятельства, почему он здесь, им это казалось подозрительным.

* * *

Прошло несколько дней. Что с нашим отрядом? Кто в городе? Мы ничего не знали. Вокруг тихо. И вот на

третий день к вечеру мы сидели в сарае на верхотуре и пели русские песни, вдруг вдали замелькал человек с винтовкой. Это был Иван Иванович Т. Один. Угрюмый, неразговорчивый. «Боже мой, неужели он один остался», — страшная мысль обожгла сердце. Мы бросились с вопросами к нему, а он в сердцах махнул рукой и возмущенно сказал: «Э-э, погубит Борис себя и других, лезет безрассудно на немца, их в лесу множество бродит».

Ночью вернулись все, невредимые, но хмурые и молчаливые, ушли в сарай ночевать. Мы с Борисом вышли погулять в поле, и он мне стал рассказывать. Немцы отступали разрозненными группами, поэтому было много стычек, надо было действовать решительно. Иван Иванович считал, что надо избегать стычек. Между ними произошел конфликт, и это могло отразиться на настроении отряда. И вот тогда он решил Ивану Ивановичу дать специальное задание, чтобы избавиться от его присутствия и дать ему возможность не подвергать себя опасности (он был самым «старым», уже за тридцать), послал на помощь нам. Так инцидент был исчерпан. Но не это ввергло в уныние «братву», как называли себя в отряде. Они встретились с частями наших войск, и многие из офицеров говорили, что тех, кто был в плену у немцев, сразу же расстреливают. Этому все поверили. Рано утром они построились молча, у каждого в руках был клочок бумаги, на нем написан адрес родных. Я стояла тоже молча с фуражкой в руках, и каждый, проходя мимо, бросал туда бумажку. Проводили мы их молча как смертников. И только Борис сказал: «Если через три дня никто не вернется, значит... все».

Мы ждали три дня. Но никто не вернулся. И все же мое сердце не предвещало беды, не верило. Меня предчувствие никогда не обманывало. Тогда Вера, Зося (подруга «боцмана» Валентина М., тоже после бомбежки пришла к нам) и я решили идти в город. Пошли мы полем напрямую. Полпути прошли благополучно, но недалеко от города слышались окрики и выстрелы. Кто стрелял, не было видно. Возвращаться казалось бессмысленным, и мы, припадая к земле, бегом продолжали свой путь. Нам не верилось, чтобы в девушек стреляли. И действительно, стрельба прекратилась, мы благополучно добрались до города.

Город был пустой, из развалин еще струился запах

гари, металась по улицам спутанные провода, очень много белой бумаги и какого-то мусора, валялись обгоревшие машины, лежали черные вздутые трупы. И странно, я не испытывала ни страха, ни отвращения, ни жалости. Скорее, чувства свои я могла назвать изумлением и любопытством, что такое может происходить с человеком. В центре города мы встретили патрулирующего, и он нам сказал, что в здании НКВД работает какая-то партизанская группа русских. Мы помчались туда и встретили у входа «боцмана», узнали, что отряд охраняет главные объекты города, поэтому никто не мог отлучиться в деревню. Настроение у них было бодрое. В здании уже были наши и Борис тоже. В своей черной шинели казался еще худее и выше прежнего, энергичным, возбужденным и строгим. «Братва» выполняла его распоряжения немедленно.

* * *

Мы с Борисом отправились на улицу Глуосню. «Наш» дом сильно обгорел, но то, что мы зарыли в сундуке в землю, сохранилось, рукопись повести тоже. Недалеко от дома Борис показал мне спрятанную пишущую машинку «Идеал», подобранную в главпочтамте.

В доме №142 на улице Дваро на первых порах обрзовался как бы штаб. Сюда приходили и уходили ребята, получившие уже права советского гражданина. Здесь они отдыхали, процеживали каким-то хитрым способом принесенный с кожзавода спирт, собирались по вечерам, гадали, что ждет их в будущем. Двоих из тех, кто «батрачил» у крестьян, арестовали, один из них Василий. И они исчезли.

Но жизнь в городе начинала налаживаться, стали возвращаться жители в свои дома, появились первые организации советской власти. В горисполкоме в торговом отделе выдавали какие-то талоны на промтовары, но по каким-то справкам, по каким-то особым случаям, то, что теперь мы просто называем «по блату». Руководители литовского отряда «Кястутис» составляли наградные списки, оформляли партизанские документы. Из нашей партизанской группы многие, получив документы, уехали на родину. Уехал и Иван Иванович в Ленинград. На базе партизанской группы был организован штаб МПВО, и начальником штаба назначили Константина

Дмитриевича Воробьева, а меня пригласили на работу переводчиком. И вот пришло время проститься с именем Борис, привыкать к Константину. Это давалось с большими трудностями — как будто появился совсем другой человек, и я долго обходила «новое» имя, прибегая к «заменителям», тем более что он тоже редко звал меня по имени, у него было пристрастие нарекать меня разными смешными и ласковыми «кличками». Я старалась тоже заимствовать этот способ.

* * *

Штаб МПВО вначале помещался в здании бывшей школы № 4, которую я окончила до войны, находилась она на улице Даряус и Гиренко, а затем переехала на улицу Варпо. Ряды нашего отряда стали таять — уехал Захар Алиев в родные места. Много лет спустя К. Д. напишет о нем очерк «Исправление ошибки». Был в отряде Иван А. Он женился на литовской девушке, дочери обедневшего помещика, и остался навсегда в Литве. В штабе работал шофером, позже стал механизатором в совхозе «Гинкунай». Вырастил пять дочерей, получил многие награды и почести. Остался в Литве и Валентин М. («боцман»), женился на Зосе, работал механиком в Вильнюсском аэропорте, выстроил добротный дом, завел хозяйство. Нашлись и родственники Эдика, забрали его в Казань к бабушке. Уже взрослый, отец семейства, он приезжал к нам в Вильнюс в 1973 году.

Постепенно ребята из отряда обжились в городе. Наша семья осталась в доме № 142-а, заняв весь нижний этаж — четырехкомнатную квартиру, с большой верандой и огромной кухней. С одной стороны дома — великолепный сад, с другой — цветник и старая яблоня, плодоносящая яблоками белый налив. У дома простиралась зеленая лужайка, за ней баня, сарай. Посередине двора — колодец. Верхний этаж занимала семья Любимовых — русские эмигранты. Она — помещица, он бывший белый офицер, работал бухгалтером на фабрике «Рута». Это были интеллигентные люди, помогали подполью материально. Мы купили уцененную трофейную мебель: письменный стол, кресло, которое сохранилось, диван, обитые синим плюшем, и рояль, так как я надеялась продолжать начатые занятия музыкой. У нас было просторно, уютно. У Константина Дмитриевича был

большой кабинет. Возможность обрести человеческие условия жизни, надежда на будущее окрылили нас. Это было словно второе рождение, хотя еще война и не кончилась. Немецкая группировка в Латвии сопротивлялась ожесточенно, и наш город подвергался часто минометному обстрелу, стали учащаться воздушные тревоги и налеты немецких самолетов.

* * *

В конце октября немцы предприняли попытку прорвать кольцо в Латвии, недалеко от границы Литвы, городу грозила серьезная опасность. Было решено НКВД, МПВО и другие организации эвакуировать в Радвилишкис, в 15 километрах от Шяуляй. Константин Дмитриевич раздобыл телегу, лошадь и поручил своему вольнонаемному в штабе нашу и любимовскую семью эвакуировать вблизи Паневежиса, чтобы в случае наступления немцев не оказаться опять в оккупации. Поселились мы, «беженцы», недалеко от Паневежиса у мельника, который за плату согласился принять такую ораву (пять человек вместе с Эдиком), а я с Зосей проводили их и вернулись в Радвилишкис, где и находились все более месяца, пока не была ликвидирована группировка немцев в Латвии. Женам разрешили быть вместе с военнослужащими. Расселились все на одной улице в маленьких домиках.

По ночам часто бывали воздушные тревоги. Чтобы не заставляли нас отправляться в бомбоубежище, мы вдвоем уходили за город в поле и там находили себе ночлег. В сентябре в эту осень ночи еще хранили тепло, можно было ночевать под открытым небом. Мне запомнились на всю жизнь во всех подробностях эти тревожные ночи. Опять нависла опасность смерти. Но страха не было, появилось щемящее чувство грусти и обреченности, может быть, даже смирения перед неизбежностью. Днем возвращались бодрость и надежда, что все обойдется и смерть минует нас. Стояли тихие, какие-то благостные, солнечные дни, они так были кстати, помогали забывать опасность. И в этих условиях, казалось, жизнь дарила радость и восторг. Мы в свободные часы уходили в поле, собирали цветы, плели венки и как беззаботные дети строили планы на будущее. И начинался наш разговор всегда словами: «Вот когда напеча-

тают мою книгу (имелось в виду о плене), тогда...» И много грезилось необыкновенных «тогда». В эти дни он часто вспоминал о детстве и вновь о плене, о том, что рассказывал мне еще в наши первые встречи. Потом я поняла, что эти воспоминания уже тогда были началом замысла романа «Серебряная дорога».

В эти дни я жила с чувством постоянного восхищения, несмотря на опасность. Присутствие Константина Дмитриевича, где бы он ни появлялся, было чем-то необъяснимо большим и значительным. Сразу создавалась как бы необыкновенная атмосфера вокруг него, вынуждающая человека считаться с законами чести, достоинства, благородства. Он обладал способностью подчинять этим законам всех, кто находился с ним, безоговорочно. В форме офицера выглядел всегда подтянутым, стройным, вдохновенным. Когда он шел, стройно вышагивая, по улице, вдоль которой были рассыпаны строения эвакуированных, все остальные штабисты в сравнении с ним смотрелись неуклюжими мужланами, неопрятными мужиками. И я замечала, как неприязненно смотрели на него энкавэдешники и с восхищением — молодые ребята и женщины. В скученном и неустроенном нашем житье, в состоянии ни мира, ни войны люди становились склочными и мелкие страсти разъедали отношения, и Константину Дмитриевичу приходилось разбираться в этих сварах, усмирять враждующих, укрощать их, увещивать и, наконец, приказывать, чтобы вырвать их из этого болота и самому не увязнуть в нем. Контакты с энкавэдешниками тоже не сулили ничего хорошего. Смелость и независимое поведение Константина Дмитриевича раздражали их, уязвляли их самолюбие, они явно проигрывали по всем отсчетам в сравнении. И началось «подпольное» шипение «а кто он, собственно, такой, что так себя ведет? Это еще надо проверить». Здесь, в Радвилишкисе, и произошел у него откровенный разговор с полковником Ивановым, смершевцем. Тот попросил раздобыть по-партизански спирту или самогона. В штабе был исключительно расторопный завхоз Штыхно, который мог все. Самогон был доставлен. И вот Иванов приказал Константину Дмитриевичу первым выпить стакан, т. е. снять пробу, пригоден ли он к употреблению. Ожидал он 10 минут, затем и сам опрокинул стакан безбоязненно. В этот вечер у них состоялся «откровенный» разговор. Иванов тогда сказал ему, криво усмеха-

ясь, что таких надо убивать, что классовое чутье ему это подсказывает (не обманывает). Он не сомневается, что К. Д. отпрыск белогвардейской сволочи. Много лет спустя Константин Дмитриевич вспомнит об этом, и в записной книжке окажется одним из пунктов плана «О самом страшном», названным двумя словами: «Полковник Иванов». В другой записной книжке встречается запись-план на будущее, выраженная одним-единственным словом «самогон», так, видимо, думалось назвать рассказ об этом случае. Но осуществить этот замысел не удалось, можно думать, что не успел, а может быть, что-то еще мешало об этом писать.

Вернулся Константин Дмитриевич после разговора с Ивановым удрученным и измученным — на протяжении разговора полковник играл с ним как кошка с мышкой, т. е. вел себя как с арестованным, хотя об этом ничего не было сказано. Уже под утро он его отпустил с издевательским пожеланием «до скорой встречи». Изощренное издевательство власть имущего над бесправным напомнило ему былые сталинские времена, и он с возмущением сказал: «Сегодня я совершенно отчетливо понял, что все будет так, как было, ничто не изменилось с тех пор, это брех о лучших временах после победы над немцами, и мы должны быть с тобой ко всему готовы». Мне исполнилось в 1944 году восемнадцать, и я считала, что ко всему готова.

* * *

Ночью началась воздушная тревога, мы не пошли в убежище, а отправились за город, на «наше» поле. Мы лежали молча, вытянув руки по швам (обычно он властно обнимал меня, и я оказывалась у него под мышкой), мне тогда казалось — торжественно. Я слышала громкий стук его сердца (я всегда удивлялась, что так громко слышится биение его сердца), и мне было обидно, я даже ощущала какую-то смутную вину за то, что мое сердце бьется тихо. Небо казалось необыкновенно высоким, а звезды ослепительно яркими, я никогда потом не видела таких светящихся волшебным огнем звезд. Я готова была в этом восторженном состоянии умереть, и не страшили меня ни вой самолетов, ни светлые скрещенные лучи прожекторов. И мы, затаив дыхание, молчали. Тогда я поклялась перед этими звез-

дами, что, если мы останемся живы, я всегда буду рядом, что бы ни случилось в нашей жизни, если только это ему будет нужно. Теперь я сожалею, что так никогда за всю нашу жизнь я не призналась ему в этом, мне казалось, что клятвенные слова могут потерять свой сокровенный смысл, могут даже превратиться в шутку.

Началась бомбежка, и нам сразу стало ясно — бомбы упали в районе КПЗ штаба. Совершив три круга и сбросив свой груз, самолеты с торжественным ревом растаяли в небе. Мы вернулись в городок, повреждения оказались незначительными от налета, так как немцы бросали маленькие бомбы, видимо, это был разведывательный налет. В последующие дни воздушные тревоги прекратились, стало известно, что наши войска пошли в наступление, и мы вскоре вернулись в Шяуляй.

* * *

Дома нас ждал оригинальный сюрприз: в квартире кто-то учинил разгром. В подвале у нас хранились радиоприемники — наш, любимовский, «боцмана» (он жил рядом с нами), и все исчезли. Гардеробное зеркало торчало острым осколком вперед, на синем плюшевом диване вмятины от сапог и «сувенир». Мы долго хохотали, понимая, что это наши солдатики так пошутили, думая, что здесь живут литовские буржуи. Этот их почерк уже был известен в городе. К счастью, не тронули пишущую машинку, что нас очень обрадовало. На солдат мы не роптали, понимая, что им все простительно и грех обижаться.

По ночам еще часто сверкали лучи прожекторов, гремели вдали зенитки, но воздушную тревогу уже не объявляли, и раздирающий душу вой сирены стал понемногу забываться. Жизнь в городе набирала темпы, как говорится, забила ключом. Возвращались хозяева брошенных во время налетов домов и многие из тех, кто отступил с немцами, но в дороге перерешил свою судьбу. Бойко заработал торговый отдел при горисполкоме, выдавали населению карточки на продукты, на мануфактуру, ожили частные предприниматели: портные, сапожники, торговцы мелкими товарами, продуктами, рынки. Мгновенно стал острым квартирный вопрос. Многие кварталы были разрушены, люди селились в зем-

лянках рядом со сгоревшим домом, наспех строили сарайчики — началась борьба за жизненное пространство.

В нашей семье наступило материальное благополучие. Офицерский паек был поразительно богатым: американская тушенка, индюки, топленое масло, сахар, мука, различные консервы, печенье, рыба. Мама охотно занялась хозяйством: выращивала цыплят, утят и гусят, сажала помидоры, огурцы, выкармливала поросят, рядом были щедрые плоды бесхозного сада. В общем, жили как помещики. Власти одаряли партизан американскими подарками, собранными от населения вещами для потерпевших в войне русских. Один раз мы тоже ходили на эту дележку. Комната оказалась завалена разными вещами, слегка поношенными, но добротными: платья, свитера, пальто, обувь. Но все это было совсем старомодного вида. Рядовые партизаны говорили, что начальство все лучшее отобрало себе, для нас остался лишь хлам.

Работы в штабе МПВО было много, Константину Дмитриевичу приходилось выполнять различные поручения военкомата и горисполкома, заниматься бытовыми вопросами сотрудников штаба. Появились у нас знакомые и среди литовцев, и русских военнослужащих. Хотелось забыть все страшное и ощутить мирную жизнь. По ночам Константин Дмитриевич часто с криком в ужасе просыпался от кошмарных снов, преследовали воспоминания о лагере. И все-таки были радости и счастье. Ходили в гости к литовцам на Пасху, которую они справляли еще по всем правилам. Мама тоже по русскому обычаю пекла куличи, делала творожную пасху, расписанную буквально ХВ — Христос Воскрес, красила луковой скорлупой пасхальные яйца. Для Константина Дмитриевича пасха была самым любимым праздником. Куличи мы носили святить в церковь.

Радостно было слушать ранним утром на заре стук вылупляющихся из яиц цыплят, утят и гусят, палить заколотого поросенка, приглашать друзей отведать мясных изделий собственного изготовления. Мама умела делать по литовским обычаям и рецептам кровяную колбасу, зельц, домашнюю колбасу, специально откормленных индюков подавали с брусникой и многое другое, что чудом вдруг появилось в эти дни накануне Победы. Общались тогда люди душевно, много говорили о жизни, о войне, о будущем, о сокровенной мечте жить по-

другому, без насилия. Засиживались до утра и не чувствовали усталости. Где-то еще лилась кровь, приходили похоронки, но оставшиеся в живых уже думали о жизни: жадно приобретали вещи, строились, занимались хозяйством, шили новые платья, костюмы, и эти повседневные хлопоты рождали необыкновенную энергию.

Мы общались с начальником военкомата Николаем Л. и его женой Женей. Л. после контузии получил инвалидность — страдал приступами гнева. Константин Дмитриевич действовал на него исцеляюще и умел эти приступы в нем «гасить». Невольно создавалось впечатление, что Н. Л. злоупотреблял справкой, выданной ему врачебной комиссией, что он не отвечает за свои действия в состоянии гнева. Этим легко было Женю держать в узде — она его боялась. Жили они вдвоем в благоустроенном особняке, обставленном прекрасной мебелью. Особняк этот находился рядом с тем домом, где жил Романов (о нем уже упоминалось) и который занимали военкоматские военнослужащие. Мы часто бывали у Л. Однажды между мужчинами возник разговор о войне, о плене на высоких тонах. Л. горячо доказывал, что он никогда не стал бы жить в плену, убил бы себя, потому только, что у него в нагрудном кармане партийный билет и его нельзя осквернять пленом. Обсуждать с ним этот вопрос было бесполезно и обижаться на него бессмысленно, поэтому разговор постепенно был «погашен» Константином Дмитриевичем. Но не прошло и года, как ему пришлось сделать выбор между партийным билетом и Женей, так как явилась в Шяуляй его первая жена с детьми. Он выбрал Женю, легко положил на стол партийный билет и уехал на Кольму. Больше мы его не видели. Не исключен, конечно, вариант работы в лагерях, там его неистовость могла быть кстати и он легко мог заработать партийный билет. Мы иногда его вспоминали, Константин Дмитриевич говорил: «Я часто замечал, что так называемые фанатики, преданные партии, оказывались лицемерами и жуликами, когда затрагивались их личные интересы, и их идейность быстро улетучивалась».

По вечерам жильцы дома собирались у нашего крыльца и велись бесконечные беседы. У дома благоухал сад, недалеко в поле (его почему-то звали «полем Шапиро», видимо по фамилии бывшего хозяина) паслись частные коровы. На противоположной улице шел

ряд стандартных кирпичных домиков, национализированных, жители их звали колхозом. В них жил небогатый люд, и каждый старался держать корову и поросят. Мирное мычание коров, тихие сумерки вселяли в сердце покой.

В тот (1945) год по вечерам мы часто вдвоем уединялись в самую отдаленную комнату, пели любимые песни: «Есть одна заветная песня у соловушки...» и другие или сидели, не зажигая свет, молча, прислушиваясь к тишине. Огромная яблоня под окном заслоняла свет ветками, отяжеленными густым яблоневым цветом. Веяло умиротворением и надеждой. Все было реально и вместе с тем казалось призрачным, и в глубине души уже зарождалось чувство непрочности. Угрожающе возникал вопрос «а что дальше?». Желание основательно сесть за письменный стол тревожило Константина Дмитриевича, и начинало появляться у него чувство неудовлетворенности собой. Он говорил: «Надо писать, скорей надо писать. Я знаю, что могу и есть, что сказать».

* * *

С приближением Дня Победы в городе чувствовалась невидимая рука НКВД. Поговаривали, что скоро начнется проверка, кто что делал при немцах и почему остался жив. И вот наступил День Победы, теплый, солнечный, радостный день. Узнав об окончании войны, мы пошли в город (наш дом стоял на окраине). В городе не чувствовалось праздничное настроение. Жители уже привыкли к мирной жизни, войны по-настоящему не видели, поэтому уличных ликований не было слышно. Встречались небольшие группы наших солдат, они пели песни. Когда мы проходили недалеко от большого каменного дома напротив почты, в котором квартировало высокое начальство, из-за угла показался пьяный, весь в орденах, сержант. Он лихо пел и шел прямо к дому. Стоящий патруль окрикнул сержанта: «Стой! Стрелять буду!» Но тот шел на него, не обращая внимания на окрик, и продолжал петь. Автоматная очередь оглушила улицу, и мы увидели, как упал сержант, успев крикнуть: «За что, браток?!» Поднялся шум, возмущались люди. Мы быстро ушли, невыносимо было это видеть. Прошел войну — и так нелепо отдать жизнь! Прошли мимо костела, свернули налево, миновали мрачное мол-

чаливое здание бывшей тюрьмы и вышли к озеру. Праздничное настроение ушло, исчезло, мы шли молча, мрачно сосредоточенные. «Да, — сказал Константин Дмитриевич, — узнаю матушку-Русь. Ничего не меняется, ничего!» Сказал он эти слова как-то по-особенному чеканно, с болью и тревогой. Я тогда поняла, вернее ощутила, что эта автоматная очередь, став убийцей безмятежно улыбающегося паренька, опьяненного счастьем Победы, сознанием того, что он остался жив, для нас оказалась зловещим знаменьем непредсказуемости будущего, непрочности существующего. Пережитый страх, страдания и сегодняшние надежды на счастье, временное успокоение — отодвинулись, исчезли, на смену шло что-то совсем другое, беспощадно зачеркивающее то, наше, ушедшее. Все это вдруг я ощутила всем существом и знала, что это мне передалось внушением его состояния, постижением сути того, что недавно произошло и казалось на первый взгляд недоразумением. А он в этом мгновенно разглядел, озаренный тем чувством предвидения, которое было развито в нем в высшей степени, на грани сверхъестественности, грядущее, стиль послевоенной жизни и, конечно, отношение к тем, кто обречен и должен быть выброшен за ненужностью на свалку истории: инвалиды, бывшие фронтовики, пленные и, по меркам сталинистов, «неблагонадежные».

В таком настроении прогулка наша стала ненужной, и мы скоро вернулись домой.

* * *

Не помню, в каком месяце в 1945 году Константин Дмитриевич написал письмо в родную деревню матери. Пришел радостный ответ: все живы-здоровы и брат Василий тоже, он скоро должен демобилизоваться и приехать домой. Константин Дмитриевич стал собираться в дорогу (это было в сентябре), я уже не могла ехать вместе с ним: остался месяц до родов. В дни его отсутствия перепечатала повесть о плене и с тревогой ждала его возвращения.

Вернулся он очень усталый и опечаленный тем, что увидел в деревне. Есть нечего, разор полный хозяйства, надо срочно налаживать отправку посылок, сестры Анна и Александра хотят переехать жить к нам. Брат Василий тоже планирует после демобилизации поселиться в Шяуляй, у нас.

В ноябре ждали рождения сына, а родилась дочь. Назвали ее Наташей. Она родилась очень красивой, белокожей, совсем не похожей на новорожденных, и женщины в больнице пугали меня несуразными предсказаниями о судьбе белолицых детей. Но росла она очень здоровой, красивой — была похожа во всем на своего папу. Совсем еще маленькая, только научилась ходить, вышагивала очень прямо и не по-детски стройно, совсем как отец.

Сразу же после рождения Наташи грянула беда. Началась проверка, допросы. Напряженное ожидание, мое нервное состояние передавалось с молоком Наташе, и она часами заливалась горьким плачем, и ничем не удавалось ее успокоить. Часто вызывали Константина Дмитриевича в органы безопасности и держали до утра. Грозили, оскорбляли, выказывая недоверие. Но был среди допрашивающих молодой офицер, который старался подбросить такие вопросы, чтобы соответствующие ответы дали возможность по законам следственной логики закрыть дело и избежать ареста. Конечно, только силой своей логики и воли Константин Дмитриевич смог выйти победителем в этом поединке. Оставили его на воле.

В городе он уже пользовался большим авторитетом. О нем знали как о человеке, всегда готовом прийти другому на помощь. К нему приходили люди с разными просьбами. У него установились прочные контакты с советскими организациями и военными частями, военкоматом, поэтому удавалось многое сделать, особенно старался помочь бывшим пленным не из его отряда. Они выжили, будучи по найму у литовских крестьян, а теперь надо было оправдать свое выживание. Он отстоял жизнь и будущее для всех, кто был в его отряде и кто обращался потом после прихода наших войск. К нему обращались и литовцы с просьбой отстоять свое имущество — дом, частное ремесло. Многих ремесленников он зачислил вольнонаемными штаба МПВО, и их никто не преследовал. Нужно было пережить период неразберихи и безответственных решений со стороны местных властей. Никто не знал вразумительно, какими путями следует истреблять частника, поэтому жизнь человека могла зависеть от субъективного решения какого-нибудь шибко принципиального Л., а таких было немало среди власть имущих. Константин Дмитриевич обладал способностью убеждения беспощадной логикой, смелостью и

особой нравственной силой, перед которой многие пасовали и соглашались с ним.

В 1946 году теплым июльским вечером мы сидели у дома на крыльце, и вдруг к нам подошел старый человек в залатанной телогрейке и назвался моим отцом. Я подумала, что кто-то ошибся. Мой отец эвакуировался в начале войны, и ему тогда было 42 года, а передо мной стоял беззубый старик, лет семидесяти. Но мама узнала его. Было невыносимо тяжело видеть его таким и поверить, что тот в 1941 году и этот — один и тот же человек, мой отец. Трудно ему пришлось в эвакуации в Омске, выходящу из Прибалтики. Голод его состарил на 30 лет. Ему не доверяли, на работу не брали, промышлял в поиске хлеба как мог, жил на лагерном пайке, а иногда и хуже — только мороженые капустные листья и все. Но через месяц он пришел в себя: поправился, помолодел, сбросил с себя лохмотья — обрел вид человека. Оказалось, что он долго писал в разные инстанции, чтобы его вернули в Литву. Ответа не было, тогда решил написать Кагановичу, и пришло распоряжение использовать его по целевому назначению — на должность начальника станции Кретинги. Скоро он туда и уехал.

Еще до возвращения моего отца в феврале к нам приехал брат Константина Дмитриевича Василий. Надо было устроить его на работу, одеть. Василий стал работать инспектором финотдела при горисполкоме. В его обязанности входила организация частного сектора, т. е. налогообложение, контроль за этой деятельностью. И вот в это время совершенно неожиданно вернулась хозяйка дома, в котором мы жили и который был уже национализированным. Она оборудовала себе комнату в бане и стала хлопотать о возвращении дома, так как оказалось, что она была домработницей у домовладельца и незадолго до смерти он женился на ней. Получалось так: она не была эксплуататором, а, наоборот, ее труд эксплуатировали. По такому статусу она и отвоевала себе дом. Ситуация создалась очень сложная: хозяйка живет в конуре, а мы в доме, а уйти некуда. Усложнилось все до крайности и в связи с поведением Василия. Он оказался фанатичным партийцем сталинского образ-

ца. Живя в доме хозяйки, решил проявить высшую принципиальность и назначил ей самый высокий налог. И никому не удалось уговорить его отменить такое решение: ни Константину Дмитриевичу, ни маме. Она принимала особое участие в этом конфликте, так как ей было стыдно перед хозяйкой, они были знакомы еще до войны, да и все соседи осуждали поведение Василия. Он считал себя убежденным марксистом и врагом частной собственности. Константин Дмитриевич расстался с ним в 1935 году и практически с тех пор не общался и, конечно, не мог предположить в нем такое. Ждал его с радостью, а обернулось злом. К счастью, Василий вскоре женился и ушел к жене, к девушке-литовке, она местная, у нее своя квартира. Это был для нас всех выход из создавшегося положения.

* * *

В январе 1947 года приехала к нам сестра Константина Дмитриевича Александра, звали мы ее Сашей. Во время войны она работала в военном госпитале, была в Германии. Я была рада познакомиться с ней, и у нас установились добрые отношения и сохранились на всю жизнь. Она была белолицая, синеглазая, красивая девушка. Обожала своего старшего брата и не испытывала потребности общаться с младшим, и, действительно, после замужества она прекратила с ним поддерживать какие-либо отношения. В марте приехала и вторая сестра Анна (они близнецы). Тоже очень красивая, настоящая русская красавица. В ее присутствии я чувствовала себя общипанным цыпленком со своими 53 килограммами веса и комплексами гимназистки. Приехала она к нам как хозяйка, с желанием навести порядок у заблудившегося брата, попавшего под влияние литовки (они считали меня литовкой по месту жительства). Так у меня с нею и не сложились добрые отношения. Наш прежний добрый быт был разрушен, материальные условия изменились — маме приходилось готовить на всю семью, я была занята Наташей, приходилось помогать родителям, посылать посылки. Дома обстановка воцарилась суетная, не наша, мы чувствовали себя квартирантами у родственников.

И тут грянула демобилизация тех, кто был в плену. Прошла она очень оперативно. Уже в апреле Констан-

тин Дмитриевич оказался без работы. Он в течение недели принимает решение уехать в Вильнюс, а семейный «колхоз» оставить здесь. В Вильнюсе устроился в Министерство промстройматериалов начальником УРСа, но жить было негде, приходилось спать на столе в своем кабинете. В это время в Шяуляй приехал муж сестры Марии. Начались какие-то обвинительные реплики в адрес моей мамы, что она на иждивении Константина Дмитриевича, уточнения, кто здесь хозяин, и т. д. Я не в состоянии была участвовать в этих баталиях, уединялась с Наташей в свою комнату и старалась не попадаться им на глаза. Жить стало невыносимо. В отчаянии 1 Мая я тайно покинула дом, договорившись об этом с мамой, и, оставив ей Наташу, уехала в Вильнюс. Я должна была найти дом, адрес которого был написан на конверте письма, полученного от Константина Дмитриевича.

Утром 2 мая шел густой снег. Крупные снежинки ложились на уже распустившиеся зеленые листья, и деревья казались сказочными. По рупору передавали траурный марш — скоропостижно умер литовский писатель Пятрас Цвирка. От вокзала я шла пешком по направлению к улице Тилто. Было ощущение свободы, как будто я вырвалась из тюрьмы, и понимала, что уже ни при каких условиях не вернусь назад в Шяуляй. Так это и получилось. Мой приезд был роковым — опоздала бы я на один день, и неизвестно, как бы сложилась жизнь. Когда я наконец нашла дом 29 по ул. Тилто, где жил сотрудник московского МПВО Саватеев с семьей и где часто ночевал Константин Дмитриевич, оказалось, что они дома, и я рассказала, как я «сбежала» из Шяуляй. Вскоре пришел Константин Дмитриевич, и мы стали думать, как быть нам дальше. А вечером жена Саватеева Галя узнала во дворе, что из их дома сегодня уезжает одна семья — сотрудники МПВО (дом ведомственный) и освобождается двухкомнатная квартира. Надо срочно заплатить хозяйке 500 рублей отступного, получить от нее ключ и занять квартиру, поставить хотя бы два стула. Мы так и сделали, а на следующий день начальник АХО НКВД Третьяков оформил без промедления нам ордер на квартиру, и мы, счастливые, поехали в Шяуляй за вещами. Нам понадобилась неделя, чтобы переселиться и управиться со всеми делами в Шяуляй. Мама с Наташей временно оста-

лись там в двух небольших комнатках. Саша с Анной заняли две большие комнаты, пригласили к себе на совместное житье двух подруг и стали хозяйками квартиры.

* * *

Так началась наша новая жизнь. Мы были счастливы, что у нас есть свое жилье, что снова вдвоем. Мы перевезли письменный стол, кресло, диван, кровать, платяной шкаф, старинный громоздкий буфет с резными дверцами и рояль. Получилось уютно, в первой комнате устроили кабинет, во второй, маленькой, спальню.

Уезжая из Шяуляй, мы продали все, что можно было продать: новые велосипеды, одежду, чтобы купить корову по просьбе мамы. Она говорила, что Наташу будет поить парным молоком, чтобы росла здоровая, а излишки продаст, и это даст возможность иметь свои средства на существование. Так что мы в Вильнюсе начали свою жизнь опять с нуля, да еще надо было помогать и его и моим родителям, а жили на карточки. Нередко приходилось обходиться картошкой или макаронами, варили из них суп. Константин Дмитриевич называл его баландой. После шяуляйской «помещичьей» жизни теперь мы казались себе нищими, пришибленными и приниженными. Как-то нам пришлось зайти к Третьякову домой за справкой. Дома была его жена и угостила нас чаем с мандаринами. После макаронного рациона он показался нам необыкновенно вкусным и пахучим. Мы даже оробели от роскоши, окружавшей хозяйку дома, чувствуя себя попрошайками. Появился комплекс бедняка: поиск работы, жилья, материальные трудности, неуверенность в будущем. Позже этот чай мы не раз вспоминали и то, с каким щедрым размахом, облаченная в какой-то необыкновенный шелковый халат (видимо, немецкий), угощала нас хозяйка. Совершенно простая деревенская женщина, рыжая, веснушчатая, она с достоинством и уважением к себе чинно ходила по просторным комнатам (дом на ул. Коммунару), обставленный богатой немецкой мебелью, и видно было, что она счастлива и никогда раньше столько добра не имела. Казалась она нам доброй и хорошей женщиной. И искренне сочувствовали ей и скорбили, когда узнали, что Третьякова за растрату арестовали и осудили на 10

лет. Он умер в тюрьме от инфаркта, семью тут же безжалостно выселили, конфисковав имущество, а она с детьми уехала в деревню к родителям.

В Министерстве промстройматериалов Константин Дмитриевич, работая начальником управления рабочего снабжения, ведал, так сказать, распределением благ. Его подчиненные быстро сориентировались в этом мире ордеров на товары и жили безбедно. Константин панически боялся всяких махинаций и отказался участвовать в них, например в получении лишних ордеров.

* * *

Разрыв между торговой «братвой» и Константином Дмитриевичем приближался. В недрах министерства уже существовали сложившиеся мафии. Было много расторопных деятелей, особенно много нерусской национальности, тогда это бросалось в глаза. Это были трезво думающие люди, лишённые фанатизма, циничные и не лишённые чувства юмора. По коридорам министерства чинно и томно расхаживали разряженные, обвешанные драгоценностями дамы, презрительно оглядывая таких, как я. Пока «простачки» воевали, в тылу созрели «буржуи», разбогатевшие с помощью махинаций, хищений и спекуляции. В этот период мне довелось познакомиться в необычных условиях со ставшей потом знаменитой литовской певицей Еленой Чудаковой. Она работала в хлебном магазине продавщицей. Как-то однажды, когда я пришла отоварить карточки на хлеб, она посетовала на свою судьбу: до войны училась в музыкальной школе, а теперь приходится хлебом торговать. Но скоро она ушла из магазина, и многие годы спустя я увидела на сцене литовского оперного театра шумный успех певицы Елены Чудаковой. Позже она оказалась у нас в гостях и долго изумлялась, увидев первую книгу Константина Дмитриевича, которую он ей подарил.

В Вильнюсе бурно кипела послевоенная жизнь, каждый по-своему зализывал свои военные раны. Мне приходилось нередко на черном рынке продавать полученную норму мануфактуры или обуви. Все подступы к базару были облеплены инвалидами. Они сидели, безногие, безрукие, слепые, на земле, рядом лежала фуражка, в которую прохожие изредка бросали копейки, а кто-то и рубль. «Браток, не проходи мимо, ради Бога и

Христа», — говорили одни. Другие, нетрезвые, пели «На позиции девушка провожала бойца...» под аккомпанемент задыхающейся старой гармонии. Однажды я продавала на толкучке резиновые ботики, на плече, обняв меня за шею, спала Наташа (мама поехала в Ленинград к брату, которого не видела 25 лет, а Наташа осталась у нас), вокруг шел торг старых рубашек, ботинок, разного тряпья, иголок, мыла и др. Слепой инвалид, литовец, монотонно, настойчиво повторял слова «есть гума для трусов». Долго звучали эти слова слепого человека в моем сознании. Я об этом рассказала Константину Дмитриевичу, и мы часто в трудные «баландные» дни вспоминали их, чтобы разрядить страдальческое настроение (не надо гневить Бога!).

По улице Гедимино (пр. Ленина), там, где сейчас гостиница «Неринга», находился «зеленый ресторан». Это деревянный домик, огороженный зеленым забором. Он нам казался уютным и экзотичным, там можно было пообедать, посидеть вечером, но обходилось это дорого. Поэтому в нем всегда было немногочисленно, просторно и хорошо. Иногда мы вдвоем ходили туда развеять тоску. Константин Дмитриевич любил наблюдать людей и часто на салфетке записывал свои наблюдения. Умилил нас один случай. За соседним столиком сидела пара. Молодая красивая девушка-литовка и кавалер, русский, в гражданском, но по бравым манерам можно было догадаться, что из недавно демобилизованных. Он подчеркнуто манерно ухаживал за ней, заказывал дорогое вино, говорил витиеватыми фразами, цитируя беспрестанно поэтов. Небрежным взмахом руки он остановил оркестр и с интонацией знатока музыки заказал «Ля полему». Мы его тут же окрестили «лаполомой», смеясь над его старанием очаровать девушку. Поздно вечером мы и они ушли почти последними. И вот несколько дней спустя я пошла на базар продать ситец, полученный на ордер. Долго стояла, никто не покупал. И вдруг я увидела «лаполому», стоящего в ряду продающих. Он держал, вытянув за плечи, неопределенного цвета рубашку, мужскую, и тоже нетерпеливо ждал покупателя. Вечером мы смеялись над ним и собой: вот пошиковали в ресторане — и пришлось возмещать убытки торговлей на толкучке. В то время в ресторанах веселились шумно, с послевоенным размахом: заказывали у оркестра свои любимые песни, сосед с соседом в порыве симпа-

тии сдвигали столики и затягивали фронтовые песни. Курили без ограничения, еле-еле узнавая сквозь дым друг друга, танцевали кто как хотел. К закрытию ресторана оставались самые выносливые, платили без сдачи официанту за добытую бутылку вина, плясали вприсядку и нехотя покидали ресторан только после того, как гасили люстры.

В те дни нас окружали люди из торгового мира. Константина Дмитриевича интересовало все, и он охотно выслушивал их философию, вызывая умело на откровенный разговор. Ему импонировала способность этих людей называть вещи своими именами, не юродствовать морально, не лицемерить, не лгать. Были у нас знакомые, пережившие блокаду в Ленинграде. Один в припадке откровенности рассказал, как бесперебойно работала машина чистки врагов народа. Расстреливали в таком количестве, что не хватало исполнителей, их стали вербовать за буханку хлеба, и охотников нашлось немало. Он подробно рассказывал все тонкости технологии расстрела по стандартам ГПУ, т. е. такое попадание пули, когда, цокая, череп распадался на куски. Конечно, мы невольно подумали о том, не с помощью ли такого заработка он выжил во время блокады в Ленинграде. Цинизм и неверие ни в какие идеалы помогли ему разбогатеть и делать бизнес. Ему везло, как оказалось, до самой старости, ни разу не попался и накопил на судный день изрядный капитал.

Была знакома еще одна женщина из блокадного Ленинграда. Полная, с большим плотоядным ртом и шамкающей манерой говорить: изо рта часто у нее выпадал зубной протез. Она обладала способностью красноречиво произносить застольные речи, высокоидейные, на грани издевательства (понимай, как хочешь). Будучи профессиональным комсомольским работником, во время блокады пошла в завмаги хлебного магазина. И вот она любила ударяться в воспоминания: «Никогда я так не жила, как во время блокады. У меня были крепдешиновые платья, пальто на фидешиновой подкладке. Мы задавали такие пиры, которые никогда не забуду. Бывала у нас на пирах партийная знать, потом катались на машине по Ленинграду. Великолепно!» Значительно позже, когда смотрели фильм «Летят журавли», вспомнилась она, значит, говорила правду, а мы сомневались в реальности ее рассказов. Константин Дмитриевич хотел

знать правду, все так, как это было на самом деле, без прикрас, поэтому не побрезговал с ними общаться — они были искренними, не лицемерили. И все же недолго он продержался в этом окружении. Притом кто-то из высшего начальства сказал ему в глаза, что он постно работает. Тогда он вспылал и подал заявление об уходе.

После УРСа работал в Главукоопе старшим ревизором, потом в Сельхозснабе Лит. ССР зам. директора, а с 1952 года — даже завмагом промтоварного магазина. Когда был ревизором, перед ним открывались черные тайны мошенничества не только продавцов, директоров, но и высоких чиновников, юристов, призванных вершить законность. Трудно сейчас сказать, почему об этом он не написал, все откладывал на потом. Конечно, об этом рассказал бы в своей предполагаемой главной книге. И не случайно он говорил, что она будет написана иначе, «простым языком, протокольно точно и правдиво до жути, как показание свидетеля».

* * *

В этот период он жил своей напряженной внутренней жизнью, далекой от того, что приходилось делать и говорить. Еще будучи в Шяуляй, послал свою повесть о плене в журнал «Новый мир». Ездил в Москву, встречался с А. Дроздовым, который, казалось, проявил к ней интерес, но ответ пришел неутешительный. А. Дроздов писал, что «как человеческий документ повесть интересна... но нужно идею (сопротивление советского человека плену) довести до читателя художественными средствами», предлагалось написать вторую часть о партизанской борьбе, вот тогда редакция сможет решить вопрос о ее печатании в журнале. Писать вторую часть Константин Дмитриевич не хотел, знал заранее, что, если напишет так, как было, никто не поверит и не будет печатать, а выдумывать ложную героиню, о которой уже много написано, бессмысленно и преступно. Поэтому отказ он принял как окончательное решение: правда не нужна и посылать в другие журналы — дело безнадежное.

1948 год был очень трудным в нашей жизни. Мы стали худыми, изможденными, напряженными. У меня обнаружили очаг в легких, поставили на учет в тубдиспансер, а лечиться не на что было. И я решила больше

не ходить к врачам, а преодолеть недуг самовнушением. И случилось невероятное, очаг за год зарубцевался без медицинской помощи, оставив лишь незначительный след, который позже рентгенолог на снимке помечал крестиком и спрашивал: «Что это было у вас?»

В этот же год из Шяуляй два раза к нам приезжал Василий на экзаменационную сессию, так как он заочно учился в университете на юридическом факультете. С его приездом наступали изнурительные дни. Целый месяц Константин Дмитриевич не способен был писать. И шли бесконечные споры о сталинизме. Спор этот продолжался долгие годы и, возможно, окончился бы трагично, Василий кричал, что таких, как К. Д., надо ставить к стенке. Но постоянная материальная поддержка (Константин Дмитриевич отдавал ему часто последние, одолженные у друзей гроши) остужала его пыл. Значительно позже, вспоминая эти споры, К. Д. говорил: «Какой же я был дурак, что принимал всерьез эти споры, не марксизм у него в голове, а сундук». И это была правда. Однажды в разгар спора Константин Дмитриевич спросил его: «Что бы ты сделал, если бы я как белый офицер попал к тебе, красному, в руки?» — «Я, я... я бы тебя расстрелял», — вышалил он, спотыкаясь на каждом слове от злобы. «А вот я бы, — сказал спокойно, с достоинством Константин Дмитриевич, — отпустил бы тебя, дурака, потому что ты мой брат. Вот в этом и есть коренное отличие между нами. Подумай над этим». Потом они мирились, он давал ему денег на дорогу, тот уезжал, а Константин Дмитриевич с облегчением вздыхал. «Вот если бы написать мне о своем брате, можно показать всю подлую суть современного холуя, одурманенного так называемым марксизмом-ленинизмом. Ведь ничего, кроме злобы, не усвоил, — говорил он. — Об этом я обязательно напишу». Он сделал наброски к пьесе в 1947 году под впечатлением споров, но пьеса им была определена как «не то» и замысел отодвинут на будущее. В архиве наброски сохранились в рукописи.

ПЬЕСА

Игорь, Сергей, Борис,
Виктор Иванович, Вера.
Борис рассказывает о виденном.

С е р г е й (*вскакивает*). Ты говоришь языком... Каким? Ты... Ты знаешь?!

Б о р и с. Да, знаю. К черту ложь. Мне надоела гнущь эта...

С е р г е й. Молчать! Ты... (*почти шепотом*) отщепенец... Негодяй! Сукин сын!

И г о р ь (*вскакивая*). Вы не смеее так... Слышите? Болван! (*Оглядывает гимнастерку Сергея.*) Зеленый болван!

С е р г е й (*делает резкий шаг вперед и поднимает руку на Игоря, но Борис схватывает и силой держит ее. Оттолкнув Сергея, бледный, говорит прерывисто*). Негодяй... В моем доме... Стыдись!.. Слепой щенок!

Празднично накрытый стол. Семь часов вечера. Вера нарядная, но по-прежнему строгая, расставляет рюмки. Виктор Иванович, пыхтя, входит с продуктовой корзинкой. Бережно, предварительно разглядев на свет каждую бутылку, ставит их на стол, торжествен. Борис сидит за столом спиной к зрителям. Виктор Иванович, критически оглядев свой костюм, уходит. Вера прекращает накрывать стол, выпрямляется и застывает с лицом, обращенным в зрительный зал. Она морщит лоб, покусывает губы и вдруг прорывается рыданием. Борис резко оборачивается, встает, подходит к жене, обнимает за вздрагивающие плечи.

Б о р и с (*удивленно*). Ты что? О чем ты? Ну? Что случилось? Перестань! Перестань, сказка моя! Ну успокойся же... (*Целует ее в лоб.*)

В е р а. Это я так... Взяла и вспомнила... Это я так...

Б о р и с (*нежно, проникновенно*). Что вспомнила, а? Пичуга ты моя северная, а?

В е р а (*стараясь удержать рыдания*). Да вот... помнишь... Пять лет тому назад... Тебе было двадцать пять лет... И мне тоже было мало.

Б о р и с. А тебе шел двадцатый. И хорошо. И пусть! Ну и что же?

В е р а. Мы мечтали... ты хотел, чтобы к твоему тридцатилетию я подарила тебе книгу... твою книгу... «Бессмертие». С моей надписью... И сеет... (*Плачет.*)

В и к т о р И в а н о в и ч (*входит с продуктовой корзинкой. Выкладывает на стол кульки, взвешивая их на руках. Он не замечает Сергея, сидящего в кресле с книгой*). Подумать только, а? Удивительно! Один человек — и такое натворил для всей России. Разбойник! Бродяга!.. Удивительно! Очереди, в магазинах ничего нет...

С е р г е й (*вкрадчиво*). Это кто же такой... Человек этот?

Виктор Иванович (застывает с кульком в руке. Он втягивает голову в плечи, затем опасливо оборачивается на голос. И вдруг осеняется какой-то мыслью и сразу преображается, обретает себя). Человек этот кто? А Гитлер. Он, проклятуший, он изверг! (И неожиданно, перегнувшись к Сергею, пыгливо и заговорщически.) А вы думали кто? А?

Сергей (смутившись). Болтаешь ты, старик.

Виктор Иванович. Это почему же болтаю? Я стар для болтовни, Сергей Андреевич, да! (Заливается довольным, дробным смехом, подмигивая Сергею. Тот явно раздражен.)

* * *

И еще один мучитель в эти годы не оставлял нас в покое. В нашем доме жил кэгэбист, типичный гэбист, большой, громоздкий, с медленными хамскими жестами. Маленькие злые глаза шурились всегда в какой-то гнусной усмешке, вызывавшей у меня панический страх и отвращение. За этой усмешкой таилось обещание поиздеваться и, может, попытать. Лицо грубое, тупое, говорил на редкость косноязычно, не предложениями, а огрызками фраз. Фамилии его не запомнила. Он бывал в гостях у соседа, и случайно мы оказались с ним за одним столом. После этого стал непрошеным гостем заходить к нам. При каждой встрече он говорил один и тот же анекдот, дико хохотал, когда все, слушавшие его, замирали: «Одного бродягу следователь спрашивает, кто его отец, мать. Тот отвечает: «Мать — проститутка, отец — пьяница». — «А где работает брат?» — «Братуха в банке». — «Кем? Бухгалтером?» — «Братуха-то? В банке заспиртованный. Ха-ха-ха». От его смеха становилось жутко. У него была жена Лида, милая молодая женщина. Он издевался над нею, бил, приговаривая: «Уйдешь — из-под земли достану и убью». Она приходила к нам, советовалась, как убежать от него. И вот решила поехать к родителям в деревню. Купила себе на рынке резиновые полуботики. Он избил ее за это, крича: «А-а-а! б... блеснуть захотела!» Когда она уходила на работу, он зазывал к себе бродячих женщин и за «услуги» давал им крупу, сахар. Его в доме все боялись, и он, пользуясь этим, всех терроризировал.

В начале 1948 года возник у Константина Дмитриевича замысел рассказа о человеке, который был в плену; вернувшись из немецких лагерей, он оказывается на берегах Камы, где должен отбыть срок по законам сталинского правосудия за тот же плен. Был написан фрагмент рассказа, в виде письма, но вскоре решил, что об этом нельзя писать, не пройдя лично путь «своих» лагерей. После этой попытки им был написан романтический этюд «Путник».

Иногда к нам приезжал из провинции знакомый, Анатолий Т., работавший где-то в сфере услуги. Он был привязан к Константину Дмитриевичу, можно сказать, преклонялся перед ним. Писал стихи, плохие, но чувствовалась в нем одаренная натура. Отсутствие образования и образ послевоенной жизни лишили его возможности осуществить свои способности. Водились у него часто шальные деньги, и он их тратил щедро. Его появление вносило в нашу постную жизнь разрядку: приглашал нас в ресторан, дарил цветы, дорогие конфеты. К нам присоединялся еще Юра О., тоже пишущий, студент университета. В поиске смысла жизни он уезжал на целину, тогда она манила идеалистов романтикой, но неожиданно скоро вернулся разочарованный, притихший, не желая признаваться в своем поражении на поприще романтики, ничего не рассказывал. Мы часто собирались у нас и до утра говорили о литературе, пили вино, спорили о Маяковском (Константин Дмитриевич не был поклонником его таланта), читали стихи Блока, Есенина.

Во время наших «пирушек» особенно любил Константин Дмитриевич читать поэму про смерть Паши Али. У нас была книга «Чтец-декламатор», и в ней прочитали поэму. Начиналась она словами: «Как-то хоронили знатного пашу...» Пока перечислялись заслуги паши во время похорон, хоронившие его вспоминали совершенные им злодеяния. А оканчивалась поэма так: «И познавшие кулак Али тут особенно заплакали».

В этом 1948 году мы прочитали притчу Леонида Андреева «Великан». Она тогда произвела на нас потрясающее впечатление своей созвучностью нашим настроениям. «Вот пришел великан, такой большой, большой великан...» Эти слова отчаяния, которые говорила мать

над умирающим ребенком, казались наполненными особым смыслом, и мы их часто повторяли, как бы защищаясь от падения.

В будние дни жизнь казалась беспросветной, в городе проходили аресты литовских студентов, исчезали люди ни за что, что-то зловещее чувствовалось в жизни города, ждали крупных репрессий. В это время я оканчивала вечернюю среднюю школу, в нашем классе двое молодых ребят тоже исчезли после ночного ареста.

В этой безнадежной ситуации Константин Дмитриевич работал над повестью о Литве. После того как повесть о плене была отвергнута, наступила творческая депрессия. Он отчетливо понимал, что ничего правдивого о войне опубликовать невозможно, и чувство безнадежности ввергло его в отчаяние. Тогда возникла мысль обратиться к литовской теме и, в общем-то, не случайно. В его подчинении как начальника МПВО были литовцы из крестьян, и они невольно стали помощниками в постижении того, что происходило в послевоенной литовской деревне. Да и партизанские годы обогатили память о деревенском быте и литовских нравах. Все это побудило рассказать об этом в надежде, что повесть может стать актуальной. В ней многие фамилии реальны, факты, рассказанные вольнонаемными МПВО, тоже, но к личной биографии никакого отношения не имеет. В Вильнюсе уже действовала русская секция Союза писателей, и Константин Дмитриевич был знаком с некоторыми из писателей. К нему с симпатией относился Сергей Михайлович Думанский, он руководил секцией, был значительно старше, опекал его. В 1948 году повесть была окончена и названа «Одним дыханием». Некоторые члены секции читали ее, и ему стало известно, что кто-то из литовских писателей отозвался крайне отрицательно. Он метался, приступы депрессии и состояние безнадежности еще более обострились.

Проработав два года машинисткой в Центросоюзе сельхозкооперации Лит. ССР после окончания вечерней школы, я поступила в пединститут на факультет русского языка и литературы, чтобы серьезно овладеть русским языком и получить специальность. Нас заставляли до умопомрачения конспектировать труды Ленина и Сталина. Константин Дмитриевич сочувствовал мне, вместе с тем возмущался, глядя на мои усилия, называя их бессмысленными.

Участились и материальные трудности, претензии родственников, обвинения в том, что он не выполняет своего сыновьего долга к родителям и отцовского по отношению к сыну Володе. После недолгой благополучной жизни в Шяуляй никто нам не верил, что мы живем впроголодь, стараясь до предела экономить ради родителей и детей — им надо было помогать. Осложнял это положение Василий. Он искаженно информировал отца и мать, настраивал Володю против отца, и поэтому тот не хотел переезжать к нам. Жил и учился он в деревне у бабушки. Да и его мать не соглашалась с тем, чтобы Володя жил у нас.

Однажды в отчаянии, получив ругательное письмо от учительницы из школы Нижнего Реутца по поводу поведения Володи, считая свое положение безвыходным, К. Д. пытался покончить жизнь самоубийством. В таком настроении неприятия всего сущего и самобичевания он написал рассказ-исповедь, назвав ее «Во гробе сущий».

* * *

В 1950 году повесть «Одним дыханием» обсудили на русской секции и рекомендовали ее в альманахах на русском языке, выходящий в Вильнюсе, но не напечатали, оказалось, что не позволяет объем альманаха. Тогда Константин Дмитриевич решил написать повесть об американском летчике, вернувшемся после войны домой, где, оказывается, он никому не нужен. Назвал повесть «Чарли Барклей», но вскоре бросил, определив, что это не то, и начал писать рассказы. Повесть «Одним дыханием» послал М. Шолохову, желая узнать его мнение. Шолохов ответил на письмо, обещал помочь в напечатании ее и предложил над повестью еще поработать. Но дорабатывать повесть Константин Дмитриевич считал бесполезным, так как она написана по канонам соцреализма. Он был уверен, что ее можно печатать в таком варианте, в каком она написана, а если нет — то нет. И повесть надолго осталась лежать в столе.

В 1954 году Константин Дмитриевич встречался с Шолоховым, в его московской квартире, и тогда Шолохов подарил ему двухтомник своих произведений с надписью: «т. Воробьеву К. Д. Смелее дерзаты! Упорнее работать! М. Шолохов. 4.12.54 г.»

Первый рассказ «Ленька» был написан, можно сказать, шутя, для милицейской газеты, там он в 1951 году и был напечатан. В 1952 году к нам приехала мама с Наташей, пришлось из ванной комнаты делать кабинет, но вскоре удалось нашу двухкомнатную квартиру сменить на трехкомнатную, но коммунальную, на ул. Басанавичус, дом № 20. Одна комната была просторная, с высоким лепным потолком и большой кафельной печкой. Мы покрасили комнату в ярко-желтый цвет, и казалось, что все время светит в наше окно солнце. Константин Дмитриевич любил желтый цвет и неравнодушен был к зеленому, поэтому его кабинет покрасили в приглушенно-зеленый с серебряным накатом. Комната была длинная, узкая, у одной стены поместился его большой письменный стол, кресло и маленький, мой, письменный стол. Мягкую мебель покрыли белыми полотняными чехлами, сколотили самодельные стеллажи для книг, и мы чувствовали себя обладателями своего изолированного угла. В третьей комнате, совсем небольшой, поселилась мама, а через год отец вышел на пенсию и тоже приехал к нам. В этом году были написаны рассказы «Гуси-лебеди», «Подснежник», «Хи Вон». Они были напечатаны в газете «Советская Литва». У Константина Дмитриевича завязались контакты с сотрудниками газеты, с друзьями по перу. Романтические первые рассказы принесли удачу и уверенность в свои силы. Стремление к большому, благородному, исключительному было сутью его натуры. Умение видеть в людях лучшие стороны души или создавать идеальное силой своего воображения жило в нем всегда, несмотря на способность без прикрас смотреть на жизнь и видеть то, что разрушало идеальное и исключало самую возможность возвышенного в нашей действительности. Поэтому на протяжении всего творческого пути романтическое в его душе с такой же силой искало выход, как и горькая правда.

Потом, в 1970 году, в письме Юрию Владимировичу Томашевскому он напишет о ранних рассказах такие слова: «Эти мои рассказы отвратили от меня К., когда он, привлеченный «Убитыми», писал (или хотел писать) обо мне какую-то реляцию. Старик не понял, когда, почему и как написал я эти рассказы. Разумеется, в них нет ни пресмыкательства, ни подлости. Они просто наивно сентиментальны и даже милы своей простодуш-

ностью, что дорого мне как юность и... немного глупость, только и всего».

Щедрость его души проявлялась ярко во всем. Способность чувствовать, понять не только человека, но и все живое была неиссякаемой. Как-то вечером (еще в Шяуляй) после работы вернулся домой вместе со стариком. Правильнее его назвать старцем: длинные белые волосы и такая же борода, большие голубые глаза, а через плечо повешена объемная холщовая торба. Он побирался. В торбе оказалось много кусков хлеба. Константин Дмитриевич принес несколько буханок хлеба, купленных в военторге, и они всю ночь на кухне сушили нарезанные ломти и собранные куски, горячо беседовали о жизни. С простыми людьми он умел говорить на языке их бед, поэтому люди доверяли ему самые сокровенные тайны.

С особым чувством святости относился к природе. Когда мама в Шяуляй разводила цыплят и утят, он любовно принимал участие в этих хлопотах. С нетерпением ждал день появления их на свет, часто ночью вставал, чтобы не упустить время их рождения. Иногда помогал им пробиваться в жизнь, слегка обозначив трещинку на месте, казалось, обессиленного стука. В Вильнюсе в наши «баландные» годы однажды у дверей на лестнице приютилась кошка, а ночью с диким воем почти не по-кошачьи стала властно царапать двери. Мы впустили ее на кухню. Она тут же подбежала к Константину Дмитриевичу и, мяукая, начала ластиться к его ногам. Оказалось, что она беременна. Кошка так жалобно по-человечьи кричала, что он всю ночь не отходил от нее, гладил, пока она не окотилась.

Чувство соучастия к страданию всего живого в мире, к человеческой беде выражал всегда всей душой, стремительно и безоглядно. Рассказывая о голодных годах в родном селе, не мог удержаться от неистового возмущения теми, кто творил эти бесчинства, и не раз я видела слезы на его глазах, слезы горя, гнева. Сострадания к несчастному народу. Эти чувства всегда были в нем. Как-то в 1949 году поздно ночью мы провожали друзей на вокзал. И на перроне увидели что-то совершенно невообразимое: пожилая женщина в ватнике, сгорбленная и изможденная, тащила на спине безногого, видимо мужа. Он одной рукой крепко держал ее за шею, а другой колотил по голове, приговаривая: «Давай быст-

рее, б... давай!» Они спешили на посадку, метались в поиске вагона. Константин Дмитриевич остолбенел, остановился и в ужасе смотрел на бедную женщину, потом страдальчески сказал: «Вот так и моя Русь! Господи, почему мы такие?» Когда вернулись домой, еще долго не мог успокоиться, вспоминая виденное: «Это же невероятно, как же она могла его нести! А он еще колотит по голове! Ведь никто не поверит, что такое может быть!»

* * *

Рассказы писал увлеченно, в газете его хвалили, подбадривали, печатали без исправлений и, можно сказать, вне очереди. Это было начало творческого подъема. Ощущение дружеской поддержки вселяло надежду и веру в свои силы. Константин Дмитриевич хотел написать о большой, чистой любви, и это выразил в рассказе «Гуси-лебеди», вначале названном «Бессмертие». Рассказ представляет полностью художественный вымысел, в нем не были использованы какие-либо аналогии из реальных событий, кроме тетради со стихотворениями.

В рассказе есть стихотворение:

Отшумит тревога грозной были.
Будет день — и я его дождусь.
Не смахнув с ресниц дорожной пыли,
У твоих дверей я постучусь.
Я возьму твои худые руки,
Так же, как теперь я их беру.
Расскажу, что в эти дни разлуки...

Зачеркнутую строчку Таня прочесть не смогла.
Дальше шло:

Что я помню час рожденья грезы
О далеком счастье новых дней,
И минуты радости, и слезы,
И дымчатый шелк твоих кудрей.
Все, что я любил в тебе без меры,
Торопясь, волнуясь и горя...

Это стихотворение было навеяно тем, которое он написал в 1943 году, в дни наших встреч:

Синей ночью маясь, одинокий,
Я уйду рассыпать в поле грусть,
Может быть, тогда, мой друг далекий,
В мыслях скорбных я к тебе вернусь.

Я возьму твои худые руки
Так же вот, как их теперь беру,
Расскажу, что в эти дни разлуки
Все твой образ в сердце берегу.

Что я помню умершие грезы,
Юность их в тревоге прошлых дней,
И минуты радости, и слезы,
И дымчатый шелк твоих кудрей.

Что с тех пор, как я зарей считаю
Улетающих в Литву на осень птиц;
Я с печалью в сердце вспоминаю
Торопливый лет твоих ресниц...

И что ты не делишь одиноко
Радость дня и жуткой ночи страх,
За тобой, мой милый друг далекий,
Тихой тенью я брожу в мечтах.

Замысел рассказа «Подснежник» возник под влиянием прочитанного произведения «Один среди волков», чувства протеста против людской жестокости и веры в возможность других, человеческих отношений. По рассказу был написан позже сценарий для киностудии «Беларусьфильм». Режиссер Ричард Николаевич Викторов заинтересовался сценарием, но так и не удалось «пробить» на худсовете.

Рассказ «Хи Вон» был навеян газетной статьей о войне в Корее, о том, какие тяготы приходится переносить детям. Это полностью художественный вымысел. Но часто его спрашивали прочитавшие этот рассказ, как долго и когда он был в Корее, и даже воспринимали его как очерк. Константин Дмитриевич по этому поводу иногда говорил: «Значит, хорошо написано, черт побери, если читатель принимает за правду».

Рассказ «Ничей сын» написан на основе биографического факта, о котором ему рассказала мать. Отчим вернулся из плена, когда маленькому Костику было два года. Мать в испуге заслонила его собой, боясь гнева мужа. Но тут Костик выбежал вперед и спросил: «Дядя, ты где родился? А я родился здесь». Но в целом рассказ не автобиографичен, и в поведении героя нет ничего общего с реальностью. Но этот рассказ сильно взволновал отчима, так как он все в рассказе принял на свой счет. Так получилось, что брат Василий показал ему, уже смертельно больному, этот рассказ, убедив в том, что это про него. Константин Дмитриевич так и не успел его утешить, разубедить — отчим вскоре

умер. Об обиде узнал лишь после его смерти от матери. В последующие издания Константин Дмитриевич старался рассказ не включать.

Все названные рассказы вошли в первый сборник «Подснежник», изданный в Вильнюсе в 1956 году. Вошел в него и рассказ «Тени прошлого», по существу являясь отрывком из повести «Одним дыханием». Повесть, конечно, ничего общего с биографией Константина Дмитриевича не имеет, хотя некоторые настойчиво придерживались мнения, что Константин Дмитриевич участвовал в борьбе с «зелеными братьями» в послевоенный период. Единственно реальный биографический факт — это заключение графолога о характере ксендза. В вечерней школе в 1948 году со мной учился один молодой человек, не по возрасту серьезный, он увлекался графологией. Я ему дала образец почерка Константина Дмитриевича. С небольшими изменениями его заключение и было использовано для характеристики Каролиса Мармы.

* * *

Наступил исторический 1953 год. Умер Сталин. Все должны были носить траурные ленты на рукавах. Константин Дмитриевич ее не носил, возмущался всеобщим кликушеством. Тогда вспомнились слова «и познавшие кулак Али, тут особенно заплакали», они оказались вещими. В пединституте одна студентка падала в обмороки и возмущалась тем, что я не плачу. А после разоблачения культа Сталина при встрече со мной вдруг стала обниматься, уверяя, что она тоже все знала, многое пережила, так как ее брат был в плену и за это отбывал срок в лагере.

В день смерти Сталина в нашей коммуналке за стеной три дня гремела гитара и слышались бравые песни. Там жили курсанты школы МВД, таким образом они прощались с вождем. Им, конечно, было виднее, как прощаться — с рыданиями или с песнями.

После смерти Сталина казалось, будто рухнуло что-то свинцовое, придавившее наши души, хотя еще и не проходил XX съезд партии. Все, даже рыдавшие на похоронах, ждали перемен, надеялись на лучшее. Вначале непривычная для нас смена правительств казалась невероятной, но обнадеживающей. Наконец с приходом к

власти Н. С. Хрущева положение стабилизировалось. Прошел XX съезд партии, поистине начались грандиозные дела, люди стали верить, что прошлое уже никогда не вернется. Это было время душевного подъема, надежд. Необыкновенно быстро все менялось: и стиль общения и выступлений партийных деятелей, язык прессы, отношение властей к нуждам народа. В партийной школе, где я работала, отменили нудные торжественные доклады о наших достижениях и превосходстве над Западом, со сцены содрали бордовый плюшевый занавес, заменив его светлой легкой тканью. Стали приглашать писателей для беседы со слушателями за «круглым столом». Отчеты о проделанной работе за год сократили наполовину, выступления, речи — тоже. Потрясали реабилитации миллионов живых и мертвых, невинно осужденных при Сталине, обнажение преступной деятельности властей сверху донизу.

1955 год для Константина Дмитриевича был творчески напряженным. В этот год закончил рассказ «Ермак», начатый в 1954 году, и написал «Синель». В июне этого года родился наш сын Сергей. В июле появилась возможность по путевке Константину Дмитриевичу поехать на Рижское взморье, и это было кстати. Крик ребенка для него становился непреодолимым страданием. Обостренное чувство сострадания ввергало его в полуобморочное состояние, и он ничего не мог с собой поделать. Так было после рождения Наташи, так случилось и сейчас. Испытав круги ада немецких лагерей, в мирной жизни не способен был участвовать в похоронах близкого человека, быть свидетелем его тяжелой болезни. И трудно было ему в этом оправдаться, объяснить это противоречие своего характера.

Выход сборника рассказов в 1956 году вселил надежды, работа в магазине стала невыносимой, мешала писать, и он решил оставить ее, надеясь на творческие успехи. И вот летом мы сняли дачу в Неменчине, недалеко от Вильнюса, у хозяев польской национальности. Детям было здесь хорошо, и были условия для творчества. Дом стоял в лесу, а рядом река. Вечером на берегу реки часто жгли костер, приходил Леня Малкин с женой Ритой, они жили в Неменчине. Леня работал в местной газете, писал рассказы, мечтал о писательской судьбе.

В это лето здесь был написан рассказ «Первое пись-

мо». В лесу часто раздавались страдальческие голоса мамаш, они умоляли своих откормленных детей пожалеть маму и еще что-нибудь съесть, и мамы гонялись по лесу за ними с тарелками и мисками, искренне считая себя несчастными. Константина Дмитриевича раздражала эта страдальческая кормежка толстых детей. Тогда особенно было «модно» откармливать их в семьях торговцев, которые, как правило, выезжали на дачи. Эта обстановка и послужила толчком к написанию «Первого письма». Но ничего подобного в это лето не произошло. И мальчика не было. Сочувствие ребятам скромным, неизбалованным, из которых выйдет толк, невольно подсказало противопоставление. На это он обращал внимание всегда. Как-то в 1952 году мы были на Рижском взморье в Майори, и однажды на пляже рядом с нами расположился мальчик лет четырнадцати. Худенький, светлоглазый, аккуратный в движениях и бедно одетый, он понравился Константину Дмитриевичу: и то, что его с заплатками брюки были выглажены, и как он их бережно положил не на песок, а на подстилку, и его взрослый грустный взгляд говорил, что живется ему нелегко. Мальчик запомнился, и не раз потом мы вспоминали его. Наверное, настроение к герою рассказа в какой-то мере было навеяно воспоминанием о синеглазом латышском мальчике.

Рассказ сразу же напечатали в местной газете, что обернулось для нас большой неприятностью. Подробное и достоверное описание дома, в котором мы жили, название деревни — все это дало право читателю принимать за достоверность и все остальное. Люди в деревне дивились, что хозяин нелегально занимался (по рассказу) сапожным ремеслом. Конечно, на следующий год нас уже туда больше не приглашали.

Будучи на даче, он и получил из журнала «Нева» радостное сообщение о «Ермаке», хвалебный отзыв С. Воронина. Константин Дмитриевич потом ездил в Ленинград, встречался с Сергеем Ворониным, и между ними возникла искренняя дружба на протяжении долгих лет. Воронин относился к Константину Дмитриевичу с каким-то особенным чувством влюбленности не только как к писателю, но и человеку. Восхищался при встрече его красотой, белозубой улыбкой, его ростом и стройностью. В эти годы Воронин оказался для нас добрым гением. Приезжал с женой Марией в Вильнюс.

Останавливался в уютной гостинице «Вильнюс». Мы ходили к ним в гости, они были у нас дома.

Так получилось, что путевку в литературную жизнь Константину Дмитриевичу дал Воронин, и он в душе всегда был благодарен ему, несмотря на дальнейшее охлаждение в их отношениях, по причинам, во многом определенным подлым временем. Константин Дмитриевич не мог принять позиции С. Воронина по отношению к «Новому миру».

* * *

Лед тронулся. В 1958 году вышел в Литве второй сборник рассказов «Седой тополь», в «Неве» — рассказ «Ермак» и повесть «Одним дыханием» под названием «Последние хутора». Второй сборник был дополнен рассказами «Ермак», «Синель», «Первое письмо», «Настя», «Волчьи зубы», «Живая душа», написанные в 1954 — 1957 годы, и рассказом «Седой тополь», по существу являющимся отрывком из повести о плене.

Рассказ «Настя» во многом был создан из разговоров с сыном Сергеем. В 1957 году летом мы с семьей выехали на дачу снова в деревню, в семи километрах от Вильнюса. Константин Дмитриевич часто ходил с сыном в лес, на речку и потом умилялся изобретательности в словах и наблюдательности Сергея. Позже нашу внучку Мариночку он почему-то называл колочесиком. Это слово потом встретится в повести «Вот пришел великан...»

В основу рассказа «Живая душа» легли впечатления о поездке в родную деревню в 1945 году. Вначале было так, как в рассказе, написано с очерковой достоверностью. Только вместо живой души шофер оказался рвачом, за большую сумму согласился отвезти его из Медвенки в Нижний Реутец. Измученный за ночь в гостинице клопами, он был готов на все. По тому, как рассказывал о своей поездке на родину задолго до написания рассказа, я восприняла идеализацию шофера не как уступку цензуре, а как необходимость, возникшую в силу художественного замысла. Увидев страдания своего народа, Константин Дмитриевич был глубоко потрясен, и чувство сострадания к нему не совмещалось с тем, чтобы шофер оказался рвачом. Это уже должен был быть другой рассказ, написанный в другой интонации, с другим сюжетом.

К 1959 году обнаружилась печальная действительность, что на гонорары жить трудно и тревожно — бухгалтерии не спешат их перечислять, и эта неопределенность тягостна, поэтому пришлось идти служить (выражение К. Д.). Ему предложили заведовать отделом литературы и искусства в редакции газеты «Советская Литва». Первый год журналистская деятельность (он не был в этом новичком) увлекла его. Он был хорошим организатором, пытался оживить обстановку в отделе. Но скоро круг деяний замкнулся, когда понял, что никому ничто не нужно, кроме безликих строк и хвалебных слов о партии.

Но самым трудным оказалось то, что, изнуренный редакционной суетой, не мог писать. После плодотворных творческих лет «простаивание» для него казалось трагедией. Он говорил, что писательский и газетный труд — вещи несовместимые, что если придется долго оставаться в редакции, то он потеряет способность писать, поэтому всей душой рвался на творческую работу.

* * *

Так случилось, что Литва стала для него второй родиной. Здесь совершилось его второе рождение 24 сентября 1942 года, когда бежал из саласпилсского лагеря. Ему нравились литовские нравы, обычаи и культура литовского народа, их трудолюбие, чистые озера и дремучие леса, которые оказывались надежной защитой от всего, что мешало ему писать. И все же с литовскими писателями близких отношений не сложилось. И потому, что литовский темперамент был далеким ему, и потому что претило конъюнктурное творчество многих, да и потому, что безденежье ограничивало возможности общения с той мерой щедрости, которая была свойственна ему, да и из-за нехватки времени, он был одержим мыслью «надо писать», а ему все что-нибудь или кто-то мешает. И все же, может быть, по-другому сложились бы отношения с литовскими писателями, если бы не конфликт с Э. Межелайтисом. Вначале знакомства у них установились дружеские контакты. Казалось, что Межелайтис по-доброму относится к Константину Дмитриевичу и с сочувствием к тому, в каких условиях ему приходится жить и писать (в коммуналке). Да к этому времени врачи определили у моего отца туберкулез. В конце пятидесятых годов был построен жилой дом для

писателей на улице Антакальнё. Константин Дмитриевич уже был членом Союза писателей, и в этом доме ему обещали квартиру. Но когда состоялось распределение, оказалось, что его кто-то оклеветал, и квартиру передали другому. Константин Дмитриевич, узнав о таком заочном решении только лишь на основе сплетни, был взбешен и возмущен. Он написал письмо Э. Межелайтису, так как от просьбы принять его для выяснения положения Межелайтис уклонился.

Отношения между ними оказались безнадежно испорченными, они перестали даже здороваться при встрече. Такая ситуация осложнила положение Константина Дмитриевича в писательской организации; он старался не появляться ни на собраниях, ни на мероприятиях, отказывался от общественных поручений. Конечно, игнорирование общественной работы происходило не только из-за создавшихся условий, это становилось с годами жизненной позицией: не быть причастным к той лжи, которую вольно или невольно творили писатели. Наиболее близкие отношения сложились у него с К. Борутой, В. Сириос-Гирой, Ю. Мацявичусом. Те литовские писатели, что симпатизировали Константину Дмитриевичу, возможно, испытывали «неудобство» в общении с ним из-за резких и смелых его суждений и оценок современной литературы. По городу в разных вариантах комментировались «речи» Воробьева, обрастая сплетнями. Стремление называть вещи своими именами не нравилось никому, даже близким друзьям, мешало спокойной, привычной жизни.

* * *

В декабре 1959 года мы наконец получили ордер на отдельную трехкомнатную квартиру от редакции «Советская Литва». Наступал Новый год, мы ждали переселения, сидели на узлах. Помню, что Константин Дмитриевич чувствовал себя усталым, опустошенным от редакционной суеты, не хотел никого ни видеть, ни слышать. Мы не отвечали никому на звонки, «забаррикадировались» в своей комнате и встретили Новый год тихо. В январе переселились.

Отдельная квартира после коммуналки была великим счастьем. Кабинет был просторным, высокие потолки. С нашей трофейной мебелью мы не расстались; у окна стоял большой письменный стол, напротив него огром-

ный фикус, ветви его свисали над диваном. Самодельные книжные стеллажи уже не вмещали трофейные книги, так как пополнились новыми. Константин Дмитриевич охотно давал друзьям книги, и многие из них не возвращали, и, конечно, наиболее ценные, как «Маска и душа» Ф. Шаляпина берлинского издания, произведения Мережковского, Наживина, П. Романова, Пильняка, Зайцева, дневник Айседоры Дункан и многие другие. Когда в 1948 году в Вильнюсе прошла волна арестов, мы тогда решили отказаться от хранения некоторых «крамольных» книг, таких, как «От двухглавого орла к красному знамени» Краснова, записки о революции Мартова и др., о чем потом жалели.

В этой квартире и были написаны почти все повести и лучшие рассказы. В 1961 году появилась возможность уйти на творческую работу, так как вышла повесть «Последние хутора». В 1962 году эта повесть была переведена на финский язык. Узнав об ее издании в Финляндии, Константин Дмитриевич был озадачен такой неожиданностью и сказал: «Вот уж это мне совсем ни к чему!»

* * *

Теперь все то, чем жил Константин Дмитриевич и как, определялось теми произведениями, над которыми он работал. Он жил настроениями своих героев, удачами и неудачами написанных страниц. Еще в 1958 году начал писать роман «Серебряная дорога». Светлые воспоминания о детстве и боль о пережитом в годы разорения деревни не забывались, тревожили память, и не рассказать об этом было нельзя.

Роман был задуман как повествование о трагедии деревни, о перерождении людей, о неотвратимо наступающей темной силе, кем-то направленной на истребление в человеке человеческого, всего того, что, казалось, раньше было естественным и нужным; о грядущих разорах и безутешном одиночестве тех, кто в страданиях и испытаниях хранил в себе надежду на лучшую жизнь и готов был за нее бороться. Не раз я видела в его глазах слезы беспомощности, гнева и вины неосуществленных клятв. И не только боль, гнев и возмущение свое хотелось выплеснуть на бумаге, чтобы об этом знали люди. Еще более нужным считал разобраться, исследовать, не кривя душой, не поддаваясь чувству ненависти,

понять: что случилось с людьми, откуда пришло затмение в человеческом разуме и почему окаменело человеческое сердце. Кто или что предрекли нашу судьбу и определили наш образ жизни. Все увиденное и пережитое надо было тщательно разобрать, высветить на солнечном свете и собрать в единый узел человеческих судеб в деревне, в городе, на войне, после войны, затянутых накрепко одним жгутом и на долгие годы привязанных к одному невообразимых размеров столбу позора. С этого отсчета начинался поиск событий, судеб, людей, оказавшихся в них именинниками или посторонними; чувств, порывов, страданий и радостей, выпавших на их долю в водовороте исторических событий и перемен.

В критических статьях, как правило, подчеркивается момент автобиографичности в творчестве К. Воробьева. Конечно, все писателем передумано, многое лично пережито, выстрадано, но не всегда в тех обстоятельствах, в которых оказывается герой повести. Константин Дмитриевич был писателем с ярко выраженной способностью творить, создавать силой своего воображения. Копия действительности, чьей-либо судьбы была не свойственна его творческой манере. Только полная свобода по велению замысла определяла сложный отбор материала и сюжет произведения. И этот сложный начальный импульс — замысел долго вынашивался и, обретя определенную структуру в социальном и психологическом осмыслении, начинал воплощаться в реальных событиях и судьбах людей. И тут многое привлекалось: и свое, и чужое, увиденное и услышанное. Поэтому в процессе письма он никогда заранее не знал, что станет с его героями, как они поступят в том или ином случае, какие нравственные качества и душевные движения проявятся в них. Никакой преднамеренной схемы не придерживался. Но был четкий внутренний стержень в отношении предмета исследования в конкретных социальных и исторических условиях. И, уже сюжетно выстраивая свой замысел, безусловно, использовал автобиографические детали и в описании внешности главного героя (не всегда) и одежды, поведения, предметов быта, чувств, переживаний. Ему было присуще поразительной силы воображение. С одинаковой силой и глубиной постигал душу ребенка, старика, женщины, человека одаренного и лишенного этого, злого и доброго, птиц, животных и всего живого. Способность мгновенно постигать

суть происходящего в душе человека создавала иногда трудности в общении. Мог вспылить совсем неожиданно для собеседника, казалось без причины. Друзья вряд ли догадывались об этой способности, потому что проявляли желание опекать его как человека, не умеющего разбираться в людях и обстоятельствах. То, что он видел в людях и окружающей действительности, другие не замечали; то, что понимал, они об этом не догадывались; то, чем мучился, для них казалось ненужным. Не понимая этого, легко было обвинить его и в неискренности, и в непостоянстве, и в суровости, и в легкомыслии, и в других грехах, которые приписывались ему, отчего рождались легенды и даже злобная клевета. И не случайно в записной книжке появилась запись под названием: «Этапы писателя».

Видение мира у Константина Дмитриевича было свое, особенное, как будто освещенное ослепительным солнечным светом, таким он его любил, таким хотел его видеть. И беды, и горе, и страдания все равно не были лишены этого солнечного освещения. И в творчестве, и в письмах, и в общении тяготел к образности, к гиперболизации. Поэтому прямолинейное понимание его слов, не зная его стиля речи, манеры говорить, многих вводило в заблуждение, и в частности в письмах. При чтении многих его произведений создается иллюзия сокровенной исповеди, биографической достоверности. Сам он подшучивал над читательской доверчивостью, говоря при этом, что, если писатель способен убедить в том, что это все происходит с ним, значит, он талантлив. Сестра Милаида как-то в письме возмущалась «враньем» Константина Дмитриевича в повестях о деревне, где все, кажется, о ней, но «ничего этого не было, — писала она, — перестань врать». Действительно, имена и фамилии, названия местности, отдельные факты, известные в деревне, использованы и в повести «Сказание о моем ровеснике», и «Друг мой Момич», и «Почем в Ракитном радости», а также факты из собственной биографии. Как будто речь идет о людях родной деревни, но вместе с тем совершенно не о них. И это возмущало сестру Милаиду, и она серьезно была опечалена «враньем» брата, грозила даже сообщить об этом в Союз писателей. Трудно было ей разъяснить, что можно объединять факты, относящиеся к разным моментам, придавать иной смысл некоторым фактам, созда-

вать иные связи между событиями и в иной последовательности, менять характеристики и психологические мотивировки, исходя из своих идейных и литературных задач.

Повесть «Сказание о моем ровеснике» написана по этим творческим законам, как и остальные его произведения. Она как бы впитала в себя пережитое им в детстве чувство одиночества, сиротства и желание покинуть деревню навсегда. И все эти переживания присущи Алешке, а все остальное — творческий вымысел.

Повесть должна была стать первой частью романа. Но от этого замысла впоследствии он отказался. Писалась она светло и охотно. Был молод, еще не висел груз наказания за повесть «Убиты под Москвой», и все было впереди — выход в писатели уже состоялся. Но настроение было неровное: то нравилось написанное, то казнил себя за «бездарность», был мрачен, раздражителен. После такого «самоистязательного» периода обычно приходила удача, и тогда он говорил: «Давай, мать, послушай, что тут у меня получилось». Читал всегда взволнованно, вслух, сам, как перед аудиторией, по всем правилам выразительности, как правило, вечером, когда дети уже спали. Повесть писалась без серьезных срывов. Самым трудным оказался святоша, но, когда о нем все уже было написано в окончательном варианте, остался доволен собой и считал этот «кусочек» удачей. Мне особенно запомнилось чтение страницы о том, как Матвея Егоровича и матроса вели на расстрел. Когда хриплым от волнения голосом стал читать строки: «Не отрывая глаз, он торкнулся на голос ребенка, схватил его и приподнял навстречу конвоирам, как икону: «Люди!.. Люди!..» Ему хотелось сказать конвоирам о какой-то великой и единственной правде на земле...» — я заплакала и увидела, что он тоже старается скрыть от меня слезы.

Когда повесть была окончена, послал ее в «Неву» и был огорчен, даже озадачен, что она не понравилась Воронину. Зная его как эмоционального человека, не мог смириться с тем, что не увлекла его повесть. Требовательность к писательскому труду всегда тревожила его — боялся самообмана, потери самоконтроля. Однажды в издательство пришло письмо какого-то чудака с обвинениями Воробьева в отклонении от норм русского языка. Его это сильно задело. Я успокаивала, говоря,

что не стоит обращать внимание на бред безграмотного человека. И тогда он серьезно сказал: «Э-э нет, нельзя проходить мимо замечаний, даже когда они кажутся абсурдными. Так быстро можно стать самодовольным болваном». И тщательно изучил все нарекания. Забегая вперед, могу сказать, что к упрекам идейно-политического характера критиков, конечно, он относился совершенно иначе, просто презирал их, понимая причины их ретивости.

После того как «Нева» отвергла, он послал повесть в журнал «Молодая гвардия», и она была там напечатана в одиннадцатом номере 1963 года под названием «Алексей, сын Алексея». Критика ее почти не заметила. Но обратили внимание писатели. В. Астафьев восхищался ею и даже после выхода других повестей считал ее самой удачной. Сам Константин Дмитриевич не считал ее лучшей среди других своих повестей. Она вышла в издательстве «Советская Россия» и не раз переиздавалась при его жизни.

К написанию повести о войне Константин Дмитриевич чувствовал себя творчески готовым еще в 50-е годы. Если бы повесть о плене тогда напечатали бы, то, конечно, путь к «Крику» и «Убитым под Москвой» был бы короче. Трагедия 1941 года, то, чему свидетелем довелось быть ему самому, жгло его сознание, хотелось кричать об этом во весь голос.

Как ни странно (говорил он), но в нашей литературе правдивых произведений о войне единицы, и то, как правило, с определенной долей полуправды. Основной поток литературы о войне — это иллюстрация в художественной форме официальных установок, как следует оценивать события 1941 — 1945 годов с точки зрения партийных позиций. О войне ему не раз приходилось говорить с бывшими фронтовиками. Его беспощадные оценки смущали их и некоторых даже возмущали. «Удивительно, — говорил он не раз, — ведь даже фронтовики, все видевшие своими глазами, перестали верить своей памяти и смирились с официальной версией изображения народной трагедии». Он настойчиво отстаивал свою точку зрения о том, что почти в каждом произведении о войне открыто или завуалированно авторы не забывают проявить верность известным установкам:

Вероломный враг напал внезапно, поэтому неудачи 41 года естественны и неизбежны.

Победа завоевана благодаря мудрому руководству Ставки и лично Сталина.

Победа была возможной лишь потому, что моральное единство наших воинов под руководством коммунистов рождало небывалый героизм.

Преданность делу социализма.

Талантливое руководство наших командующих обеспечило победу над превосходящим в силе врагом.

Он приходил в ярость от мысли, что по этой схеме уже создана летопись войны и будущие поколения могут никогда не узнать страшной правды о войне, что нет возможности официально возражать, поэтому тенденция поэтизировать, идеализировать, наконец, фальсифицировать события стала главенствующей, страница истории стала легендой; что Сталин, бросив безоружных людей под немецкие танки в первые дни войны, назвал их предателями и оставшихся в живых после плена истребил в своих лагерях; что солдаты были поставлены в нечеловеческие условия: голодные, впереди фашисты, сзади заградотряды, выполняющие приказ Сталина «Ни шагу назад». И за это никто не был привлечен к ответственности. С непоколебимой убежденностью он утверждал, что историю войны придется писать заново, а многие произведения о войне будут представлять ценность лишь как иллюстрация способности писателей соревноваться в изошренной лжи.

Повесть «Крик» первоначально была задумана как первая часть романа, включающая в себя события войны, плен и послевоенное время до 1953 года. Но в процессе работы решил «Крик» сделать маленькой повестью. Позже был дописан другой вариант окончания: разведка боем оказывается для главного героя пленом.

Название повести выражает смысл народной боли, но вместе с тем оно навеяно и реальным событием. Еще в 1943 году Константин Дмитриевич рассказал мне о том, что их рота стояла в какой-то деревне под Москвой. Они получили приказ спешно покинуть ее. В это время начался минометный обстрел. И вот, когда они уходили, вдруг услышали душу раздирающий крик. По селу бежала девушка с распущенными волосами, обезумевшая от страха. И в это время мина разорвалась рядом с нею, девушка упала. О ее судьбе они так и не узнали,

покинув деревню, но этот крик ему запомнился на всю жизнь. Он говорил, что, несмотря на ужасы войны и плена, которые ему пришлось увидеть и пережить, самое угнетающее впечатление оставили два события: этот крик и страшная картина на шоссейной дороге, когда они отступали. Два черно-красных пятна, одно большое, другое маленькое. Это было все, что осталось от раздавленной женщины и ребенка, по которым прошли танки и пехота. Об этом думал обязательно написать.

Упоминал и фамилии Калача и Мишенина, как два противоположных типа. Калач — злобный, ретивый, способный на самые абсурдные распоряжения, чтобы казаться значительным и принципиальным. Мишенин — думающий, понимающий абсурдность решений Калача, но не способный противостоять ему. Рассказывал и о стукачах в роте, эта деятельность сильно поощрялась. Чистка на фронте тоже работала. Стукачи пользовались доверием начальства и могли любого оклеветать и уничтожить. Говорил о своей антипатии к Калачу, который это чувствовал и платил ему тем же. В армии царил подозрительность, недоверие, доносы, и это было тоже одной из причин хаотических действий в 1941 году в период панического отступления и эвакуации населения, по существу предоставленного себе.

Будучи свидетелем именно первых трагических дней войны, Константин Дмитриевич мог об этом писать только правду. И беспощадную правду о первых днях войны он сказал в своей повести «Убиты под Москвой». Она была написана раньше «Крика», в 1961 году, но в печати появилась позже, так как прошла долгий путь по редакциям: журнал «Нева» отказался ее печатать, и лишь в 1963 году повесть вышла во втором номере журнала «Новый мир». А многие заготовки к ней были использованы в повести «Крик», которая была написана вслед за «Убитыми», так что, по существу, обе повести создавались в какой-то степени параллельно.

Константин Дмитриевич считал «Убитых» продолжением повести «Сказание о моем ровеснике», и в первоначальном замысле романа «Серебряная дорога» предполагался такой ход событий, поэтому повести объединены одним главным героем. Эпизоды военных действий, кроме подбитого танка в конце повести и некоторых деталей, усиливающих значение победной атаки деревни,

реальны, хотя в иной последовательности, чем в повести. В Рюмине я вижу сходство с капитаном, о котором Константин Дмитриевич рассказывал не раз. Он преподавал курсантам в училище и был их кумиром. Сообщая ему черты характера и достоинства, присущие, в его представлении, русскому офицеру, отдал дань памяти той части офицерства, не добитого Сталиным, но в войне с немцами обреченного на самоуничтожение, на невозможность что-либо изменить в трагической гибели почти безоружной армии.

Первый минометный обстрел немцами траншей, и ужас смерти, и гибель Анисимова со всеми подробностями, встреча с заградотрядом в скирдах, генерал без петлиц, сцена с немцем во время атаки деревни, стоящий сапог с оголенной костью ноги, массированные налеты немецких самолетов, атака немецких танков, истребление роты — обо всем этом Константин Дмитриевич рассказал еще в 1943 году и позже не раз вспоминал многие подробности.

О повести «Убиты под Москвой» он без ложной скромности говорил как о своей творческой удаче и гордился ее появлением в «Новом мире» по рекомендации самого А. Т. Твардовского. Помню, с каким трепетом мы ждали февраля 1963 года, думая, что после разъяренных нападок Н. С. Хрущева на «Новый мир» журнал не выйдет. Но февральский номер все же вышел полностью.

Критика приняла повесть как клевету на Советскую Армию, как искажение правды о войне. Разгневанные генералы не могли простить слов Рюмина: «За это нас нельзя простить. Никогда!..» — и изображения немцев, которые давили нашу армию почти играючи, с засученными по локоть рукавами и автоматами на груди, и панического страха перед немцами, победно прошагавшими через всю Россию до Москвы, и беспомощного генерала без петлиц, удирающего с горсткой солдат, и заградотряда в скирдах, прекрасно экипированного и вооруженного немецкими автоматами, предназначенными для расстрела отступающих своих солдат.

И все же повесть была напечатана в издательстве «Советская Россия», благодаря стараниям Инги Николаевны Фоминой — редактора книг К. Воробьева. Не помню, кто предложил изменить конец повести, сделать его оптимистичным. Константин Дмитриевич в данном

случае пошел на исправление, считая, что с точки зрения исторической правды оба варианта правомерны и правдивы, но все же первый более типичен и выражает трагедию первых дней войны. В архиве сохранился первый вариант:

«Прошло, может быть, несколько часов, а может, всего несколько минут, и Алексей услышал над собой гортанный окрик на чужом языке:

— Герр лейтенант, да ист айн руссишер оффицир!

Из обвалившейся могилы тащили его резко, дружно и сильно, и он очутился сидящим у ног немцев. Один из них был в желтых сапогах с широкими раструбами голенищ. Алексей долго и тупо глядел только на эти сапоги — он где-то видел их давным-давно, и, подчиняясь чему-то тайному и властному, что, помимо скомканной воли, судорожно искало пути к спасению жизни, он почти с надеждой взглянул в лицо обладателя этих знакомых сапог. Немец засмеялся и несильно толкнул его ногой в бок.

— Эс ист аус мит дир, Рус. Капут.

Алексей понял и стал подниматься. Спине и тому месту на теле, куда пнул немец сапогом, было уже давно тепло и отрадно, и, опершись на руки, он оглянулся и увидел полыхающие скирды...»

Критика упрекала «за настроение безысходности, бессмысленности жертв». В девятом номере 1963 года журнала «Урал» писали: «Да, из неглубокого колодца черпали материал для своих повестей К. Воробьев и Б. Окуджава. И дно этого колодца покрывал отнюдь не чистый песок. Вот и всплыла у них на поверхность всякого рода слизь да липкая грязь, а все чистое, мужественное, святое, что характеризовало нашего человека на войне, оказалось погребено под густым слоем этого ила».

Над повестью «Убиты под Москвой» вершили самосуд долго и с удовольствием. Даже в 1984 году в газете «Красная звезда» на фильм «Экзамен на бессмертие» (по повести «Крик» и «Убиты под Москвой», режиссер А. Салтыков) с демагогическим пылом и затаенной угрозой авторы рецензии предостерегали зрителя: «В часы и дни смертельной опасности для Москвы и всей страны наш младший лейтенант выглядит этаким пылким, озорным юношей, и его поспешная романтическая история (она доходит чуть не до свадьбы) явно теснит куда-то

на второй план обязанности, связанные с выполнением воинского долга, приглушает чувство командирской ответственности. Затем в резком контрасте с почти идиллической интонацией в этой части картины на экране предстанут кровавые будни войны, и авторы, что называется, во всю ширь развернут перед нами мехи трагедийности... сумятица и неразбериха в батальонах, эпизоды ленты «Экзамен на бессмертие» заставляют подумать о другом — профессиональном, военном экзамене, который киногерои, строго говоря, не выдержали. Авторы стремились воспеть подвиг, а он стал на экране скорее неким актом отчаяния, чем осознанным действием. И принять такую концепцию, согласиться с ней трудно...»

* * *

Убиение повести «Убиты под Москвой» было первым ударом ножом в спину. Хула Г. Бровмана оказалась роковой: имя К. Воробьева было занесено в список тех, кого не велено упоминать в прессе, кому суждено пережить погребение своего имени при жизни. Это было тяжело, но это рождало и силу сопротивления, обостренное чувство неприятия подлого времени, подлых средств игры и жгучее желание не сдаваться.

О назначении писателя и литературы он говорил часто, как бы еще и еще раз убеждая себя в правоте своих суждений, так как практически был лишен официальной трибуны или какой-либо возможности дискутировать по правилам свободных прений. Поэтому приходилось выверять свои мысли перед собственной совестью. И почти не было дня, чтобы об этом он не говорил. Многие его рассуждения запомнились мне почти дословно. Он говорил, что для писателя существует один судья — это его совесть, с нею ему жить, у нее искать ответ, к ней апеллировать. Если писатель лукавит перед своей совестью, выполняя директивы сверху, то он не писатель, а просто журналист, зарабатывающий свой кусок хлеба, по существу лишь иллюстрирующий газетные статьи душещипательными историями, придуманными за письменным столом и ничего общего не имеющими с жизнью. Мы так привыкли к этим суррогатам, к искажению действительности, что уже не способны отличать ложь от правды. Но я верю, придет время, когда мы с

ужасом пойдем это и содрогнемся от содеянного. И никому не простит будущее поколение за то, что ради благ и наград писатели продали свою совесть и честь. Если писатель не способен видеть свое время таким, каким оно есть в действительности, он не нужен для общества и даже вреден ему, так как дезориентирует его в постижении морального и аморального. Ну а если писатель умышленно искажает лицо времени, подсовывая обществу в виде панацеи ложь и лицемерие, вина его неисчислима и заслуживает он моральной казни. Сейчас модно подлость оправдывать сложностями действительности и относительностью суждений о ней. При близком рассмотрении прежде всего высвечивается подлость и приспособленчество, они и порождают сложности, так как надо делать выбор, и лгут те, что делают вид, будто не разобрались, ошиблись, так как свято верили в светлое будущее и ради него готовы были на жертвы. Все это притворство, нужное для оправдания выбора, — так легче, прославляя султанов, ханов и вождей, мнить себя пророками и получать за это мзду. Смогли же разобраться в своем времени И. Бунин, М. Булгаков, А. Платонов, А. Ахматова, М. Зощенко, С. Есенин, Б. Пастернак, А. Солженицын. Во время кровавого шабаша сталинских времен и простому человеку было ясно, что это такое, а писателю нет?! Великое лукавство и бесчестье — вот это что!

Во все времена литература выполняла благородную функцию — формирование самосознания нации, нравственного идеала. Литература в советский период лишилась своей благородной сути и назначения: охранять нравственные ценности общества, содействовать совершенствованию личности гражданина, врачевать пороки, бороться с бездуховностью и безнравственностью. Она стала защищать интересы власти, внедрять в сознание людей директивы партии, оправдывать все безобразия, творимые КГБ во всех облициях, ранних и сегодняшних. Литература стала слугой грязного газетного дела. Не случайно по своей сути произведения социалистического реализма являются иллюстрацией, более или менее приближенной к художественному произведению, газетных статей, способом пропагандирования партийных установок, гласных и негласных, помогающих более прочно вдалбливать в сознание людей то, что нужно на данном этапе власть имущим, оправдывать все злодеяния и про-

махи «мудрых» устроителей новой жизни. Например, нужно было уничтожить так называемого классового врага — пожалуйста, сочинители советской литературы развернули травлю интеллигенции, кулака, тех, кто сопротивлялся воцарявшемуся хаосу, разору деревни и культуры наций. Назвали их врагами народа. Это магическое слово позволило одурманить огромные массы, вызвать в них звериные инстинкты и жажду мести, крови. Они же сочиняли песни о самой счастливой и непобедимой стране, где так вольно дышится человеку после того, как миллионы мыслящей части народа были уничтожены с легкой руки Сталина в лагерях.

Нужно было замести следы своих неудач, которые оказались следствием абсурдных решений партии в области экономики, переложить вину на плечи невинных — так называемых вредителей. И тут же на помощь в этом подлом деле пришли советские писатели. Ни одно произведение не могло обойтись без вредителя, который мешает строить новую жизнь. Во время войны надо было оправдать миллионные напрасные жертвы, погубленные бездарным руководством, бесхозяйственностью, безответственностью Сталина — по принципу: чем больше гибнет, тем больше геройства, убедить безропотный народ в том, что враг коварен и что у нас должны гибнуть легко и без раздумий, только тогда возможна победа. И в этом преступлении советские писатели оказались в первых рядах. А дальше последовали задания ошельмовать тех, кто был в плену, оправдать репрессии, опозитизировать насильственные меры государства в деле истребления частнособственнических инстинктов, дабы не помышляли о нормальном человеческом быте и не роптали в «деле» преодолений трудностей.

В быстром темпе появлялись производственные, деревенские романы, в которых авторы усердствовали на все лады в разъяснении правительственной экономической политики.

Со времен Хрущева появилась возможность украшать свое писание различного рода смелостями: возмущаться бюрократами, незадачливыми партийными работниками, разоблачать растратчиков, выводить на чистую воду лицемеров, но в итоге мудрое слово свыше всегда вовремя исправляет положение и доброй рукой указывает путь из всех затруднений. Однако доступ смелостей в литературе породил новое поколение писателей — способных

иллюстрировать директивы на высоком уровне, умело вплетая сложные психологические и нравственные стрессы героев в основную заданную схему политического заказа. Но ведь «сверхзадача» такого писателя несложна — воздействовать на чувства доверчивого человека и подвести к нужному выводу: все наши сложности неизбежны, оправданы, все неудачи — это наши, родные, дескать, окропленные кровью, усеянные жертвами. Ошибки мы успешно исправляем и победно идем вперед. И этот вывод умело вплетен во все произведения советской литературы (за небольшим исключением), как бы они ни отличались содержанием, психологической сложностью героев, стилем, художественным мастерством. В них заложено сознательное оправдание безответственного действия власть имущего и призыв к покорности и подчинению воле людей, определивших нашу судьбу на все века. Такое подчинение фатализму лишает литературу ее общечеловеческой значимости, так как она не содействует нравственному совершенствованию общества, наоборот, развращала и развращает его сознание, разрушает моральные ценности, уводит от честных решений, оценок, мыслей, стараясь парализовать волю читателя внушением лжи, запугать его робкое сознание установочными оценками и шельмованием сокровенных человеческих чувств, желаний, стремлений.

Советские писатели являются косвенными, многие и прямыми соучастниками в выполнении программы КГБ. Человечество такое явление встречает впервые, когда писатель превращается в свою противоположность — губит просветительные тенденции общества.

Для советской литературы существовала и существует одна закономерность — выполнить директивную установку. Достаточно выстроить по годам эти директивы, чтобы определить точную схему периодизации нашей литературы и отсюда вытекающие закономерности ее развития. Армия деятелей в области литературы и искусства в целом в необычайно быстром темпе обрушивает на головы обывателей огромное количество всяческих решений каждого директивного указания, с заветным выводом: нравственно то, что служит делу социализма. И круг замыкается. В нашей стране множество людей бешено стремятся к так называемому творческому труду, знают, что стоит умело выполнить социальный заказ — и тебе обеспечено признание и зарубеж-

ные поездки. Искусство стало орудием убиения человеческой совести, нравственности, честности, орудием подавления свободы мысли и слова. И талантливые писатели, честно пытающиеся сказать правдивое слово, вынуждены идти на компромиссы в решении сложных вопросов и этим зачеркнуть нравственную ценность своего творения. Великие русские писатели никогда не лгали перед своей совестью и никогда не были исполнителями воли охранки.

Трагедия советского писателя в том, что ежечасно и неотступно подавляют его личность, способность в полную меру проявить себя так, как бы он хотел. Его направляют, опекают, воспитывают, редактируют по указке цензуры. Многие этого натиска не выдерживают: одни гибнут, другие идут на компромиссы и за это получают вознаграждение, за которое следует отблагодарить. Признание, премии, деньги меняют психологию — теперь уже надо узаконить сделку с совестью, оправдать свой выбор, доказать себе и другим, что он сделан по убеждению. Начинается оправдание дьявола, распадение личности, все большая легкость приобщения к лжи, лицемерию и ханжеству. Проникновенные страницы перемешиваются с откровенной политической агитацией, описание глубоких чувств с пошлостью, правда с ложью.

Трагедия советского писателя еще и в том, что он сам не авторитетен для читателя, так как люди понимают, что писатель вынужден лгать и лицемерить в своих книгах, в статьях и в выступлениях, что он духовно не возвышается над своим современником.

Трагедия советской литературы неизмерима: она воспитала в читателях мещанские инстинкты, жестокость, бездуховность, деформируя нормальную реакцию людей на ценности. В многосерийных экранизациях современных произведений, созданных лауреатами, настойчиво пропагандируется предательство, изощренный обман так называемого классового врага, разоблачение родителей их же детьми. Способность убивать стала показателем доблести, принципиальности, непримиримости к внутреннему врагу. Предательство, т. е. любыми средствами уметь разоблачить врага, — нравственно. Можно ли найти в мировой литературе подобное смешение нравственных ценностей? Официальное признание такой литературы есть разрешение совершать преступление безна-

казанно. Такая литература, да еще экранизированная, способна воспитывать человека-подлеца, человека-зверя, человека-хама.

Наконец, трагедия советской литературы в том, что она ориентирована на вкус и запросы, как правило, отсталых слоев общества. Не случайно возрастает интерес к классической русской литературе, нравственно чистой, благородной, глубоко народной и правдивой. Люди потянулись к подлинным духовным ценностям, и этот процесс, к счастью, уже остановить никто не в силах. Это означает, между прочим, нравственную несостоятельность советской литературы. Каждое общественное явление имеет свою психологическую (сущностную) основу, т. е. определенное нравственное лицо, которое рано или поздно вырисовывается на фоне всего общества в целом, и нет такой силы, которая могла бы изменить этот рисунок. Так, например, литература XIX века в России содействовала развитию мысли, гуманистических идей, настоящих духовных ценностей. Советская литература, будучи помощником государства в пропаганде политических замыслов (мелких и глобальных), содействует развитию бездуховности, террористических инстинктов в своем обществе и за рубежом.

* * *

Его пламенные речи по многим вопросам современности известны друзьям-писателям, отдельные высказывания сохранились в письмах и в записных книжках.

Не имея возможности говорить открыто, он пытался хоть в какой-то мере высказаться в письмах. В 1956 году пишет письмо редактору «Литературной газеты» Кочетову, выражая возмущение по поводу письма пенсионера Гиндина, который обвинял Шолохова в антипартийной позиции за критику Союза писателей и самого А. Фадеева. Константин Дмитриевич был возмущен системой травли писателя «по воле народа». В архиве сохранилась квитанция отправки письма и копия текста.

Отношение к Шолохову у Константина Дмитриевича сложилось неоднозначное. Он не мог принять гражданскую позицию М. Шолохова, высказанную на XXII съезде КПСС. Не принимал и его повести «Поднятая целина», считая ее лживой и вредной.

С искренним уважением и чувством преклонения относился Константин Дмитриевич к А. Т. Твардовскому,

и поэтому в дни травли «Нового мира» он не мог молчать, но единственная возможность не молчать — это могло быть обращение лично к Александру Трифоновичу. И в августе 1963 года Константин Дмитриевич пишет ему письмо.

* * *

Жизнелюбие, светлое восприятие мира, несмотря на все испытания, посланные ему судьбой, помогали переносить трудную писательскую судьбу. Природой ему была отпущена великая сила, физическая и духовная, рассчитанная на долгие годы жизни. Дед его славился необыкновенной выносливостью и дожил до 96 лет. Умер соревнуясь в поднятии большого, уже непосильного для него груза.

Природа одарила его и исключительной красотой. Его рост, белозубая улыбка, высокий лоб даже в плену привлекали внимание немцев. Встречались конвоиры, которые не раз проявляли к нему сочувствие: давали сигареты, хлеб, при избиении спасали от смертельных побоев. Часто немцы спрашивали, какой он национальности. Сам он считал, что во многих смертельно опасных ситуациях спасали его высокий рост и высокий лоб.

Сам же, испытав в плену жестокость фашистов, не держал зла на немецких пленным и относился к ним сочувственно. Однажды, в 1946 году, он пришел на обед из штаба возбужденным и сказал, что полученный офицерский паек хлеба раздал немецким пленным, которые ему встретились на улице Дваро. «И когда наш конвоир разрешил мне, офицеру с синими погонами, передать хлеб, то немец, которому я его передал, спросил: «Вифиль меньш?» Вот это немецкая точность! Я даже не нашелся что сказать», — удивлялся он.

Ему была свойственна быстрая и резкая смена настроений. К людям относился тоже неровно. Обладая обостренным нравственным слухом, не выносил ханжества, ничто не могло утаиться от его внимательного глаза, но уличать в чем-либо человека, общаясь с ним в повседневности, считал хамством. В спорах же был беспощаден, его обвинительные речи звучали как приговор, доходил порою до исступления, и жертва оказывалась уничтоженной и посрамленной.

В сложных ситуациях в нем вскипала бескомпромис-

сная настойчивость и безудержная смелость. Как-то в 1948 году в Вильнюсе мы провожали на вокзале в Шяуляй маму с Наташей. В те годы почему-то ограничивали вход в вокзал, на перрон разрешали проходить только перед посадкой. Когда мы подошли к вокзалу, огромная толпа стояла около железной перегородки, охраняющей проход на перрон, и мы тоже стали в конце очереди. Неожиданно налетел ураган и сильный дождь. Люди порывались попасть под крышу, напирая на перегородку, а станционный служащий, стоящий за ней на страже, стал отталкивать людей, удерживая решетку от натиска. Стало темно, и вихрь ветра срывал с детей шапочки, сбивал их с ног. Люди завывали, закричали, как во время страшного бедствия, поднялась паника. И вот тогда с маленькой Наташей на руках вдруг он вырвался вперед и сильным ударом ноги сбил решетку и скомандовал: «Назад, сволочь! Пусти людей, убью как собаку!» Решетка была сметена, железнодорожник скрылся в здании вокзала, закрыв за собой дверь на засов. Константин Дмитриевич рвал дверь, хотел выяснить, кто дает такое распоряжение — не пускать детей на перрон под навес. Но Наташа испугалась, закричала, и пришлось отступить.

Не раз вступал в конфликт с милицией, одергивал зарвавшегося хама в транспорте, к счастью, все кончалось благополучно. Его непримиримость к произволу в любом проявлении была неистовой, он не способен был оставаться равнодушным, если кому-то требовалась помощь. Зная эту черту характера, я жила в постоянной тревоге, в ожидании неожиданного.

В Вильнюсе новую квартиру мы получили недалеко от Калварийского рынка. Рядом с ним находится небольшая действующая церквушка. Она стоит на пути по дороге к рынку, у самого тротуара среди каштанов. И часто, когда мы шли на рынок, он заходил в церквушку, снимал шапку и несколько минут стоял молча. Моллился ли он, не знаю. Об этом никогда не говорили. В день отправления в журнал или издательство рукописи, как правило, у него было особое настроение и не раз заходил в церковь, ставил свечу, раздавал милостыню сидящим там старушкам. Я ждала на паперти. Голос попа, кроткий огонь лампад и мерцание свечей у меня вызывали щемящее воспоминание о детстве, когда я беззаветно верила Богу, выстаивала на коленях перед

образами часами, прося Бога пожалеть нас, и особенно маму. Я избегала встречи с прошлым, таким далеким и не похожим на сегодняшнюю жизнь ни в чем.

Иногда всей семьей мы ходили на Пасху к крестному ходу в Духов монастырь или в «свою» церквушку, включались в крестный ход. Но в 60-е годы сильно изменился облик церкви — набиралось туда много хулиганов, каких-то разгульных девиц, они шумели, ругались матом. Это убивало торжественное настроение, и, не дождавшись крестного хода, мы уходили домой. Да и поп как-то суетно, поспешно готовился к церемонии крестного хода. Все было не то, все не так. Дома мы зажигали лампаду перед иконой, стоящую на книжном шкафу. В такие минуты он не раз вспоминал то необъяснимое, что произошло с ним в лагере. Во время тифозного бреда, когда открывал глаза и приходил в себя, перед ним отчетливо в углу возникал образ святой Девы Марии. И так три дня. Тогда он поверил, что выживет, и тиф стал отступать. Этот случай оставил в его душе глубокий след на всю жизнь и особое отношение ко всему, что связано с религией, ощущение прикосновения к чему-то такому, в присутствии чего человек обязан уйти от всего суетного и недостойного. Первый раз об этом он рассказал еще в 1943 году. Если бы мне пришлось ответить на категорический вопрос: верил ли он в Бога, я бы ответила — да.

Все, что он делал, обретало красоту и законченность. Друзья его знали, с какой страстью он собирал грибы и как любовно и осторожно подрезал под корешок, не нарушая их живой связи с землей. Собирался в лес всегда без суеты, любил надевать белую рубашку и был уверен, что это гарантирует успех. Сборы на рыбалку начинались за несколько дней до выезда на озеро, и, чтобы рыбалка состоялась, вынашивалось нужное ему настроение, готовилась приманка, надевалась «везучая» рубашка — на леща клев был удачным, как правило, в оранжевой или белой, а еще верил в удачу своего дешевого нитяного свитера, вытканного пестро. По этому поводу любил шутить, что рыба не любит занудливого, унылого рыбака.

В хозяйских делах был ловок, и если что-либо делал, то с любовью и основательно, не наспех: тщательно чистил и промывал грибы — любил сам их мариновать, как-то красиво-ловко чистил рыбу, и никто лучше

его не был способен зажарить ее или сварить уху. Большое удовольствие испытывал, когда мог засолить на зиму сало. Сам выбирал его на рынке и засаливал по своему рецепту, а когда подрос сын, делали это вместе, но каждый свой кусок, соревнуясь, кто лучше. На свой день рождения к 24 сентября каждый год надевал белую рубашку и уходил в лес один за белыми грибами. И сколько мне запомнилось, как правило, выдавался солнечный день и возвращался с полной корзиной. У него был свой рецепт «фирменного» грибного супа, которым он угощал друзей на свой день рождения.

Многие хозяйственные дела мы выполняли собственными усилиями: красили полы, окна, двери. Делать это он любил тщательно, вспоминая при этом немецкую аккуратность, которой, говорил, следует учиться. «Как человек красит окно, так он проявит себя и во всех других делах», — убежденно говорил он. И при этом непременно вспоминал случай с шофером, который работал в Шяуляй при штабе МПВО. Он однажды, ремонтируя машину, высыпал инструменты и детали прямо на песок. Неподалеку работал немец-пленный (1946 г.), он подбежал к Ивану и, размахивая руками, закричал на него «шайзе». Так возмутила безалаберность Ивана его аккуратную суть, что даже забыл, что он пленный. «Я отдал ему всю пачку сигарет и сказал «гут» — так заканчивал свой рассказ Константин Дмитриевич.

Разрушение красоты, гармонии причиняло ему боль, выбивало из колеи, он всем существом противился всему тому, что губит цельное. Все мог понять и простить, даже преступление, но, прощая других, сам не способен был принять и жить с тем, что противно его сути. Абсолютный внутренний нравственный слух и чувство беспощадности ко всему, что противостоит жизни, губит прекрасное, нравственное, с годами обрели ту степень чуткости, когда человек становится ясновидящим, способным предвидеть и предсказать то, о чем обычный человек не догадается.

* * *

Творческий режим Константина Дмитриевича был стабильным. Вставал в 5 утра и до 14 — 15 часов работал непрерывно. Вечерами не писал, в периоды интенсивного творчества ложился спать рано — в 9 — 10

часов. Манера письма была изнурительной: пока не отработывал окончательно фразу, абзац, дальше работа не шла. В письме Юрию Гончарову он об этом пишет 17 декабря 1970 года: «Напишите мне, пожалуйста, как Вы пишете: легко или трудно? У меня это сплошное мучительство. Ненавижу стол, стул, белый лист бумаги. По три дня над страницей! А вот Бондарев мне говорил, что пишет от десяти до двенадцати страниц в день. Надо же!» Способ написать произведение целиком, а потом исправлять для него был чужд. Написанное за несколько дней обычно печатал на машинке. Иногда во время работы, накрыв голову курткой или пиджаком, ложился на диван минут на 15 — 20, после чего продолжал писать. Это называл он «творческим сном». Писал без продолжительных перерывов и даже летом позволить себе длительный отпуск был не способен. В те периоды, когда над повестью работа тормозилась, как правило, начинал писать рассказ. Такие прорывы возникали, когда не удавалось найти приемлемый вариант, выражающий задуманное, но таким образом, чтобы все же мог бы «выжить». Возможно, что если бы писать правду можно было открыто, то и творческая манера у Константина Дмитриевича сложилась бы иная. Постоянная узда, невидимо укрощающая его творческий темперамент, во многом определила и стиль, и режим работы. «Второй год пишу повесть. Задумана она была чисто и смело, но внутренний стражник все время придерживает мысль и вырывает карандаш. Тогда наступают недели тоски и бессилия, бессонница и терзания», — говорит он в письме Ю. Гончарову 3 декабря 1970 года. Трудно было ему объяснить, даже друзьям-писателям, которые за три месяца способны написать книгу, какой изнурительный труд вложен в каждую повесть, так как при чтении произведений его у читателей создается впечатление, что написано за один присест. И чем легче читалось читателю, тем труднее она была написана. Например, «Вот пришел великан...» читается как исповедь, написанная одним дыханием, а писалась она медленнее и мучительнее всех других им написанных произведений, с длительными перерывами и даже попыткой вообще бросить и не завершать до конца.

Организованный заранее отдых по путевке был для него противопоказан, только лечение в санатории принимал как необходимость и часто порывался оттуда

уехать раньше времени, так оно и случилось в 1971 году. Он не способен был подчиняться режиму курортников. Масса загоревших жирных человеческих тел вызывала у него отвращение, и преодолеть это чувство не мог. Толпы жаждущих удовольствий ассоциировались с неминуемой угрозой, спроецированной по стабильным невидимым проектам, наступающей со страшной силой на все духовное, вызывали у него стихийный протест, с годами сложившийся в определенную позицию: с этим надо бороться всеми силами души. Да и вообще продолжительный отдых изнурял его, письменный стол не давал покоя, его начинало преследовать ощущение потери даром времени. Все попытки работать в доме творчества оказались напрасными. Удручали его графоманы, которых там, как правило, немало, чванство правоверных заслуженных писателей, составляющих основной «контингент». От всего этого мутило, и черная тоска без времени гнала домой к своему столу.

Скептически относился к созданию еще при жизни личного архива писателя, поэтому ко многим документам личного характера и письмам относился равнодушно в смысле хранения, т. е. специально ничего никогда не определял, вот это, дескать, для архива. Он говорил, что современные писатели при жизни готовят себе оценочный памятник по собственному проекту, тщательно записывая все так, чтобы смотреться в веках потом, но что ни в коей мере не отражает реальности. Истинное лицо писателя (говорил он) отражено в его произведениях, и тут ошибки исключены. Рано или поздно никуда ему не уйти от подлинной оценки.

В кратком предисловии к книге «Тетка Егориха», изданной в Вильнюсе в 1967 году, он писал:

«В недалеком прошлом по причинам, которые не хочется здесь приводить, писатель — плохой или дельный — все равно, считал за правило и даже обязанность препровождать свою толстую или тонкую книжку личным и лестным для нее напутственным словом, а также собственной фотографией, сработанной в лукавой суетности пококетничать перед читателем: он снимался непременно за письменным столом, на пышном фоне книжных полок, и взгляд его был устремлен в века...

Сейчас мы делаем это неохотно, — не то время, не та мода, не тот читатель, — сейчас он сам, прочтя книгу, воссоздает по ней портрет автора — физический

и духовный, — и ошибки тут исключены полностью и совершенно».

Не одобрял и повышенное любопытство обывателя к личной жизни писателя. «Современный читатель охотнее копается в грязном белье писателя, чем в смысле его произведений. Любопытство обывателя стало социальным бедствием. Он все хочет пощупать своими руками, совать нос туда, куда ему не следует, поучать, наставлять писателя, как он должен писать, а то и грозить расправой. Огромные толпы прут во все музеи, священные места очагов русской культуры, а результата никакого. Хам размножается и здравствует, и никакие шедевры искусства на него не оказывают воздействия. Он продолжает хаметь и звереть», — говорил он с возмущением. Под влиянием такого настроения мы уничтожили нашу переписку, решили ее сжечь. Остались лишь случайно уцелевшие записки и несколько писем.

Совершенно был лишен способности выступать на собраниях. Он изумлялся искренне умению многих писателей вести лживые, лишенные порядочности беседы с читателем на так называемых творческих вечерах. Это умение имитировать искренность и преданность политике власть имущих, суесловить о заслугах советской литературы в сфере нравственности, делать глубокомысленный вид, разъясняя примитивные истины, приводили его в негодование. Он решительно отказывался от выступлений на телевидении, от встреч с читателями, так как правду говорить не позволят. Он глубоко был убежден в порочности той суеты, которая называется общественной деятельностью и воспитывает бездумность и всеядность души.

В архиве находится им выписанная цитата из Толстого: «Для того, чтобы положение людей стало лучшим, надо, чтобы сами люди стали лучше. Это такой же трюизм, как то, что для того, чтобы нагрелся сосуд воды, надо, чтобы все капли ее нагрелись. Для того же, чтобы люди становились лучше, надо, чтобы они все больше и больше обращали внимание на себя, на свою внутреннюю жизнь. Внешняя же, общественная деятельность, в особенности общественная борьба, всегда отвлекает внимание людей от внутренней жизни и потому всегда, неизбежно развращая людей, понижает уровень общественной нравственности. Понижение же уровня общественной нравственности делает то, что самые безнравствен-

ные части общества все больше и больше выступают наверх, и устанавливается безнравственное общественное мнение, развращающее и даже одобряющее преступления. И устанавливается порочный круг: вызванные общественной борьбой худшие части общества с жаром отдаются соответствующей их низкому нравственному уровню общественной деятельности, деятельность же эта привлекает к себе еще худшие элементы общества...»

Он открыто высказывал суждения о нашей действительности, о чем тогда никто громко не осмеливался заикаться даже в присутствии друзей, поэтому нельзя было быть уверенным, что вдруг не раздастся звонок и не уведут его. По этой причине и дневников Константин Дмитриевич не вел: опасался обыска. Но имеются отдельные записи 1944 — 46 — 71 и 74 годов. Так, 17 октября 1971 года, он писал: «Нет, дневник вести невозможно, если все время помнить, что его каждую секунду могут найти и забрать. А записывать здесь разный вздор, а не то, от чего волосы встали бы дыбом, не стоит»¹.

Читал много: и художественную, и философскую литературу. Наташа работала в библиотеке Академии наук Лит. ССР, поэтому был широкий доступ к редким изданиям и к литературе вообще. Преклонялся перед Э. Хемингуэем, называя его самым честным и искренним писателем нашего времени. Восхищался гениальностью Ф. Достоевского, его романом «Бесы» в особенности. Любил перечитывать постоянно Толстого, Чехова, Тургенева, Блока, Есенина. На журнальном столике перемененно лежал томик этих писателей, и в зависимости от настроения души возвращался к ним, может быть, для подтверждения правильности своих воззрений, обруганных окружающими, как бы ища у них защиты. Советских писателей только просматривал: прочитав несколько страниц, мог безошибочно определить, по какой схеме будет построено повествование. Серьезно относился к В. Астафьеву, Е. Носову, Ю. Трифонову, Ю. Казакову, В. Семину, В. Войновичу, В. Максиму, В. Некрасову, В. Быкову, Ю. Гончарову.

В 1962 году познакомился с Виктором Платоновичем Некрасовым. Он приезжал со своей матерью (он ласково

¹ Во 2-м томе данного собрания сочинений, на стр. 464, изречение: «Чтобы идти в этом мире верным путем...» и т. д.— включено по ошибке.

ее называл мамочкой) в Вильнюс и был у нас вместе с литовским писателем К. Борутой. Тогда Виктор Платонович после избиения Н. Хрущевым и улюлюкающей критикой за преклонение перед Западом чувствовал себя подавленным. Мне запомнилась его приятная манера общения, способность очаровывать собеседников и особый талант находить общий язык с молодежью. За один вечер он покорила и Сергея, которому было 7 лет, и семнадцатилетнюю Наташу. Константин Дмитриевич провел с ним вместе несколько дней, шли бурные разговоры, изливалось возмущение о начавшейся травле писателей, о хамском поведении Н. С. Хрущева, видимо кем-то настроенного на боевой лад: учинить разгром интеллигенции. Ясно было: грядут тяжелые времена и во что это выльется, пока трудно было сказать, но совершенно было ясно, что так называемой демократии пришел конец. Расстались мы тогда с Виктором Платоновичем друзьями, и, оказалось, навсегда.

Имя И. Бунина для Константина Дмитриевича было свято. Его творчество имело особое значение в его жизни. Он был близок ему и мироощущением, и творческой манерой. Томик Бунина всегда лежал под рукой, и перечитывать его произведения мог по нескольку раз. И в самые трудные дни жизни в чтении Бунина находил успокоение. Все чаще и чаще слышал он упреки в том, что отстал от жизни, что надо жить современными чувствами и мыслями, под которыми подразумевались приспособленчество и приятие нравственного убожества. Даже друзья пытались приобщить его к пресловутой современности, примирить с тем, что не принимала вся его суть. «Бунин — это символ чести, совести и настоящего мужества, у него надо учиться быть писателем», — говорил он, и если кто-либо признавался, что не любит Бунина, то к этому человеку Константин Дмитриевич терял интерес и, видимо, уважение.

«Если писатель лжет перед своей совестью и не желает видеть горе и беды народа, трагедию его называет исторической неизбежностью — он ничто, какими бы наградами ни ублажало бы его правительство. Придет время, и для всех это станет очевидным и понятным. Тогда, кроме позора, такого писателя ничего не ждет. Я не знаю, будут ли меня читать потом, но я знаю, что на мою могилу никто не плюнет», — не раз говорил он и мне, и друзьям.

Много читал зарубежной литературы, восхищался ее правдивостью и тем, что в ней отсутствует ханжество. Он был убежден, что нам надо этому учиться, чтобы выдавить из себя до последней капли подлого раба, который в каждом из нас сидит и еще долго будет сидеть, пока не произойдут перемены. И конечно, в ряду писателей мирового значения, перед кем склонял голову, были М. Булгаков, Б. Пастернак, А. Платонов. В архиве находятся наброски, видимо, к задуманной рецензии, свидетельствующие о глубоком душевном потрясении писательским талантом и духовной мощью.

* * *

Окончив повесть «Крик», начал новую — «Почем в Ракитном радости». Была написана первая фраза: «Он ударил его в подскуля, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой и, обессиленный гневом, брезгливостью и обидой, сказал упоенно, тихо, почти нежно: «Вставай и защищайся, гад! Бить буду!»

Начало это ему нравилось, но дальше повесть не писалась. В этой фразе выплеснулась давняя обида, торжество долгожданного мига очной ставки с прошлым, с поражением и унижением в неравном бою с редактором газеты Косьянкиным, в лице которого воплощалась сила карающего перста: нраву моему не препятствуй. А говоря прямо — сила власть имущих. Переключился было на рассказ «У кого поселяются аисты», а повесть уже не давала покоя. Перечитывая начало вслух, говорил, что это хорошо, но вот дальше не идет, не найдена нужная интонация.

В 1962 году Константин Дмитриевич решил на лето взять машину напрокат, чтобы съездить всей семьей в родные места. Машину он получил, но в такой далекий путь ехать все же не решался, так как слишком большой был перерыв в шоферском опыте, более 15 лет. Мы ездили на озеро, за грибами, и мечта о собственной машине стала еще заманчивей.

В конце августа Константин Дмитриевич поехал в Москву и оттуда с московскими друзьями решили на машине отправиться в Курск. Побывали в его родном селе. Посещение села после долгих лет произвело сильное впечатление. С тех пор как оттуда уехали родители в 50-е годы, он там не бывал, поэтому искренне радовался тому, что жизнь в селе изменилась к лучшему:

сельчане строят новые хаты, сажают сады, у них есть хлеб, свой скот, и появилась надежда на лучшую жизнь. «Наконец, — говорил он, приехав, — Хрущев накормил народ, голодных нет». Эта поездка во многом настроила его на нужную интонацию, и замысел стал выстраиваться.

Книга «Почем в Ракитном радости» писалась легко в том смысле, что впечатления детских лет память хранила ярко и полно, село запомнилось со всеми звуками, красками и ощущениями прожитых там детских лет. Но книга писалась и трудно в том смысле, что нужно было находить способ сказать задуманное. Сам он называл свой способ письма «ходить по кромке лезвия».

Проблему коллективизации в начальном варианте думалось осветить значительно шире, но получилось иначе. О коллективизации созревала идея новой книги, которая и была написана вслед за этой и названа «Друг мой Момич».

Все произведения Константина Дмитриевича таят в себе особый духовный заряд, противостоящий тому образу мыслей, чувств и действий, которые несовместимы с общечеловеческой моралью. Конфликт дяди Мирона с племянником стал тем реальным фактом, призванным высветить нравственный перекося советских людей, проектируемый новой моралью. Это как бы ответ на «подвиг» Павлика Морозова, рекламируемого официально как пример высокой морали.

В повести много автобиографических деталей: плен, побег, написание первой повести, переезд в Вильнюс, поездка в родное село, краденый петух, Косьянкин (редактор газеты). Многие имена, фамилии реальны, но судьбы героев вымышлены, и в целом это — художественное произведение. Поскольку повесть написана от первого лица, то вера читателей в исповедальность оказалась устойчивой. И не случайно она породила легенду о том, что Воробьев был в «своем» лагере после войны. Для него тема лагеря мыслилась не как биографический факт героя, а как способ выражения трагедии времени. Помнится спор Константина Дмитриевича в 1947 году с одним «чином», который был убежден в необходимости репрессий как метода воспитания народа, говоря, что надо проучить тех, кто не способен быть принципиальным к врагам народа. Тогда Константин Дмитриевич сказал ему: «Вы как слепые щенята в темном мешке

грызете друг друга и не понимаете, что чья-то железная рука держит мешок в кулаке, и вы, толкая друг друга, вылезти из мешка не можете». «Чин» ушел разъяренный, но последствий все же не было.

Основной конфликт — судьба дяди Мирона и Кузьмы — художественный вымысел. Приезд в Медвенку с целью расплатиться за украденного петуха — вымысел. Хвиль — лицо реальное, имя тоже.

Вначале повесть была предложена журналу «Нева», который снова отверг, хотя С. Воронин написал в письме откровенно: «Почем в Ракитном радости» нам не доставила радости, а почему, ты должен знать сам. Не сможем мы ее напечатать. Никак не сможем... А написано очень хорошо, очень (25 мая 1963 г.)». Она так и не была напечатана ни в одном из журналов, но в 1964 году вошла в сборник «У кого поселяются аисты», вышедший в издательстве «Советская Россия».

Критикой повесть была не замечена. Сам Константин Дмитриевич считал повесть своей удачей, ему казалось, что удалось проследить зарождение лжи и лицемерия, нравственного разложения в народе и их психологические истоки. Как уже отмечалось, предполагалось шире показать коллективизацию, но замысел изменился, и заготовки некоторые к повести остались неиспользованными. Так, диалог Кузьмы с Гавриком позже в измененном виде вошел в рассказ «Чертов палец»:

«— По-твоему, что ли, раскулачивать не нужно было, да?

— Не о том речь. С толком надо было.

— С толком и делали. Всех экспроприаторы и смели к такой матери!

— А постройки же, а сады, а все другое тоже с толком смели? Вы же как чужие тогда действовали. Будто не дома были.

— Тогда линия такая была. Камня на камень чтоб не оставить!

— Зачем? — спросил Кузьма.

— Затем, что надо было. Больше мне ничего не известно. Один я, что ли, разорял? Ты тоже раскулачивал.

— Я был несовершеннолетний, — сказал Кузьма.

— Теперь мы все умные, — сказал Гаврик».

* * *

Уже в 1963 году стало ясно, что оттепель кончилась и грядут времена, несущие неуверенность, тревогу

и, возможно, новые репрессии. Стали снова звучать те же лицемерные речи деятелей всех мастей, притворные призывы к совершенствованию общества, к развитию личностных качеств, но в жизни все шло в обратном направлении. Константин Дмитриевич говорил о духовной деградации, о том, что когда убийца говорит о доброте и морали, то это более аморально, чем то, что он убивает. Он говорил, что трудно поверить, чтобы сейчас большинство не понимало того, что случилось с нами, но никто не желает что-либо менять.

О том, что произошло с народом, он не мог не говорить, каждый раз приводя все новые рассуждения.

В дни революции (говорил он) многие полагали наивно, что стоит уничтожить буржуев, как мгновенно жизнь в России расцветет и воцарится справедливость. И, веруя в это, неистово уничтожали офицеров, профессоров, учителей, инженеров, врачей, художников, писателей — всех, кто походил на буржуа в их представлении. Были уничтожены и помещики, и зажиточные крестьяне, различные предприниматели и владельцы собственности, так сказать, настоящие буржуи.

Гнев угнетенных справедливо вырвался наружу и, подстегнутый агитацией большевиков, обрушился на головы и виновных, и невиновных. Были пролиты реки крови, разгромлены поместья, заводы, магазины, уютные жилища, вытоптаны хлеба, сады и огороды; уничтожена старая культура, традиции, искусство, религия. Революция победила, началось строительство нового государства, новой жизни. Новая политика, новая экономика, новая культура, новая мораль. Органы власти стали создавать свой аппарат, народ же — применяться к новым порядкам. Мечта о свободе и равенстве вызвала к жизни колоссальные творческие силы и безграничную разноречивость. Но кто прав? Кто ошибается? И тут железная рука Сталина начертила единственный путь для всех. Для этого нужно было ликвидировать врагов народа, классового врага, интеллигенцию, очистить ряды партии от чуждого элемента. Машина чистки работала исправно, кровь лилась бесперебойно, смывая все грехи и промахи власть имущих, оправдывая все их перегибы, этим же отвлекая внимание граждан от произвола и страданий. Бесперывно повторялось в печати, по радио, в школах, клубах и на различных общественных собраниях о том, что самая счастливая богатая жизнь на земле — у нас.

В капиталистических странах — невыносимый гнет и голод, буржуи истязают ежедневно рабочих, женщин и детей, убедило советского человека в собственном превосходстве, в том, что надо защищать социалистические завоевания и проявлять везде и всегда бдительность. И мы проявляли ее: предавали собственных отцов, друзей, соседей, коллег, отрекаясь от детей, матерей, мужей и жен. Казалось, построено новое общество, идеальное, морально превосходящее всех до нас живших и ныне существующих людей. В таком благодушном настроении и розовом видении всего происходящего встретили мы 1941 год. И дорого за это заплатили.

Началась война. Великое страдание потрясло страну до оснований. Все обнажилось и выступило в своем натуральном обличье. За годы войны началось прозрение наших людей, медленное, тягостное, но необратимое. Люди увидели трусость и корыстолюбие партийцев, бессмысленную жестокость своих командиров и полководцев, бессовестность разных мастей грабителей, занимающих высокие посты. Увидели и людей т о г о мира и их жилища, красивые, уютные. Все это не прошло мимо сознания. Наступало отрезвление. Послевоенные репрессии снова сковали страхом страну, но отрезвление продолжалось. Все, что люди видели, о чем догадывались и тайно наедине размышляли, Н. С. Хрущев на XX съезде партии подтвердил, не пожалев доказательств. Вспыхнула у людей надежда на демократизацию страны, но теперь уже ясно, что игра окончена, началось закручивание гаек.

Нас учили, что единственный путь для человечества, предназначенный историей, — построение социализма, а далее коммунизма. Долг каждого гражданина — внести свою лепту в это строительство — уничтожить по мере своих сил врага: вредителя, кулака, гнилого интеллигента или того, кто не принимает активного участия в этой борьбе, значит, контра. Выполняя этот долг, рядовой человек прочно усвоил: чтобы выжить, надо предать другого.

Нас учили: нравственно то, что содействует строительству социализма, что делаю я, строитель нового общества. Все, что не-я, подлежит уничтожению. По такой теории безотказно начинает действовать закон организованной ненависти ко всему тому, что делают другие, не строители социализма. У фашистов это не-я называлось «низшая раса», а у сталинцев — «классовый

враг». Если посчитать количество уничтоженных людей у тех и других, то победителями, наверно, окажутся сталинисты. Но ничто не существует изолированно. Теория классово́й борьбы породила на практике принцип «все дозволено, если это служит строительству коммунизма». А что служит — никто из теоретиков вразумительно определить все же не может. Но на практике это решается просто: сведение личных счетов, месть, слепое выполнение нелепых инструкций и распоряжений, расправа с непокорными, думающими. Стоит определить, что кто-то не способствует построению социализма, и, пожалуйста, легко предать его анафеме или смести с лица земли.

Нам внушали, что индивидуализм — злейший враг общества и каждого его члена в частности. Любое проявление личностных качеств у нас не одобряется, ибо человек противопоставляет себя коллективу, ставит себя выше коллектива. В наши дни газеты стараются призывать учителей и родителей воспитывать у молодежи самостоятельное мышление, личностные качества. Любопытно, как же можно развивать самостоятельное мышление, если думать самостоятельно не позволено? Любое размышление, не соответствующее стандартам партийной логики, называется клеветой и предательством социализма. Значит, нужна ложь. Какое тут уж становление личности!

Такова государственная педагогическая система, навязанная насильно обществу. Она в нашей стране охватывает всех граждан, начиная с детских садов и кончая пенсионерами. Она в конечном счете и сконструировала определенную модель спроса в обществе: гражданина — слепого исполнителя воли партии, способного в себе убить все человеческое, личное и приспособить себя к выполнению потребностей государственной машины беспрекословно, бездумно. Часть общества, которая соответствует данным стандартам, является надежной опорой и проводником всех директив и инструкций любой ценой, при любых обстоятельствах. Из их рядов выдвигаются руководители, плотными рядами выстроенные на всех ключевых позициях. Для них открыты все двери, и к их услугам все блага жизни. Те, что стараются сохранить человеческое достоинство, редко пробиваются в руководители, только силой большого таланта в какой-либо деятельности, когда, как говорится, никуда не денешься, без них не обойтись и приходится считаться с ними.

В итоге же ложь, лицемерие, предательство, жестокость, бездушие и психология «после меня хоть потоп» имеют большой спрос в нашем обществе сталинского образца, искусно прикрываемые громкими словами, лозунгами, клятвами и бурными аплодисментами одобрения всех действий небольшой группы людей, объявивших себя непогрешимыми на все века. Страшно!

* * *

В 1964 году начал писать повесть «Друг мой Момич». В письме Виктору Васильевичу Петелину свое новое произведение «Друг мой Момич» называет романом, думая, что он будет состоять из трех частей. Позже этот замысел предназначался книге «в стол», но первая часть романа стала самостоятельной повестью.

Писал без длительных перерывов. Летом иногда уезжал в деревню. Приезжал отрешенный от окружающей действительности, небритый, измученный, иногда мрачный, злой сам на себя. Рукопись всегда возил с собой, не решаясь оставлять в деревне, опасаясь случайностей. Но основное было написано дома. В окончательном варианте отпечатанные на машинке куски читал мне и, заметив, какое сильное впечатление производят они, говорил с упоением, как бы подбадривая сам себя, и верил, что это будет его самая значительная повесть после «Убитых». Он любил ее, жил ею, всеми жизнями своих героев и в глубине души очень надеялся на ее успех, думая, что показ народной трагедии в период коллективизации без прикрас и щукарских трюков в лженародном стиле должен пробудить у читателя интерес, вызвать чувство соучастия к страданиям народным. Повесть эта в самой сильной степени была выстрадана, пережита от первого до последнего дня событий, превращаясь во вторую его судьбу, хотя в ней автобиографического, личного почти нет, за исключением некоторых деталей, например, он участвовал в детстве в разорении церкви, детали школьной жизни. В целом повесть — художественное произведение в такой же мере, как и «Почем в Ракитном радости». Но соткана она из реальных наблюдений, детских впечатлений, осмысленных в социальном значении.

В какой-то степени Момич реален. В селе раскулачили зажиточного крестьянина, после чего он ушел в

лес, выкопал землянку и там какое-то время скрывался. Его, конечно, выследили (землянку окружила милиция) и забрали. Но у него было ружье, и он долго отстреливался, сопротивлялся. Были в деревне и другие зажиточные крестьяне, быт которых привлекал в детстве внимание Константина Дмитриевича, и многое, казавшееся необычным для бедного крестьянского мальчика, запомнилось ярко, с подробностями. Видел не раз в детстве и жестокую расправу над конокрадами. Был и свой Зюзя, и не один, да и своя Дунечка в деревне. О своей деревне рассказывал часто и подробно, любил вспоминать о ней и с братом Василием.

Явление придуривания в народе как средство самозащиты от сильных, зорко подмеченное в детстве, интересовало Константина Дмитриевича в психологическом аспекте. Он замечал, что это явление встречается в жизни и во взаимоотношениях между сельчанами и власть имущими, превращаясь в определенные черты характера слабых, угнетенных. Ему казалось, что характер Царя в этом смысле удался.

Внешний облик и многие черты характера Егорихи списаны с матери Марины Ивановны. Существовала недалеко от их села в Саломыковке и коммуна, но Константин Дмитриевич в ней никогда не был и не видел ее. Его коммуна задумана как схема маленькой клетки того большого организма, функционирующего по законам новой жизни, вопреки естественным человеческим чувствам и потребностям. И не случайно в отречении председателя Лесняка проскальзывает что-то притворно-лицемерное, это чувствует и Егориха, и Санька, да и Кулебяка, но для других этот образ действия на многие годы станет признанной необходимостью. Внешний вид председателя и фамилия были взяты у военкома Николая Лесняка, о котором я уже упоминала.

Повесть «Друг мой Момич» — это не воспоминания о детстве, а художественное воплощение мироощущения, миропонимания, принципиальной его позиции к социальным потрясениям в деревне, ломке экономических и нравственных основ ее во время коллективизации. Она написана полемически по отношению к «Поднятой целине» и тем писателям и журналистам, которые вдохновенно убеждали народ, что разорение деревни и уничтожение наиболее трудоспособной ее части есть благо для народа, так сказать, единственно правильный его исто-

рический путь. Правомерность расстановки социальных типов в повести была тщательно продумана, выверена опытом жизни, долголетними размышлениями и наблюдениями над превращениями их судеб. В ней расставлены точки пересечения народа с властью, бездельника, облеченного полномочиями власти, с тружеником, мало-мощного с одаренным и сильным, нравственно обедненного с высоконравственным. Борьба проходит в селе не на жизнь, а на смерть. И в этом смысле гибель тетки Егорихи символична.

Окончив повесть в 1965 году, послал ее в «Новый мир», надеясь, что она получилась новомировской, как было принято оценивать правдивые произведения. Начало оказалось ободряющим — был заключен договор, о чем он написал В. П. Астафьеву в письме 7 ноября 65 года: «Читал объяву на твою повесть в «Новом мире». Я тоже отдал первую часть романа. Вроде бы взяли, т. е. заключили договор и прислали аванс, но сказали, что штука трудная и надо еще «делать». А я и так «делал» ее два года!»

В этом же году на гонорар, полученный за сборник «У кого поселяются аисты», купили машину «Москвич», в надежде на публикацию «Момича» одолжили недостающие деньги и были счастливы. Теперь Константин Дмитриевич мог по собственной воле, на собственной машине ездить на рыбалку, в лес; город его угнетал, давил, мешали телефонные звонки. В лесу, у озера чувствовал себя более защищенным, независимым внутренне, и это помогало писать.

Весной 1966 года он получил вызов на редколлегию журнала «Новый мир». Как проходило обсуждение отвергнутой повести, Константин Дмитриевич говорит в своем очерке о встречах с А. Т. Твардовским «Вызывает Твардовский» в сборнике «Воспоминания об А. Т. Твардовском» (с. 270 — 274). Отвержение повести нанесло страшный удар Константину Дмитриевичу не столько тем, что она не будет напечатана, сколько той позицией, по которой она была оценена. Как неотвратимый приговор его писательской судьбе в будущем воспринял он заключение на повесть сотрудника журнала И. Герасимова: «Повесть написана талантливым автором, и в ней есть хорошая основа... Но, к сожалению, повесть претендует на значительно большее — на новое слово о коллективизации, и эта претензия оказывается несостоятельной. Вся вторая половина повести (после бегства из

коммуны) переводит ее с реалистического плана в план некоего сказания о пришествии Антихриста, которого в данном случае олицетворяет вооруженный до зубов конный милиционер Голуб и его подручные из бывших конокрадов. Если Егориха и Момич, представляющие в повести доколхозную деревню, нарисованы автором с большой любовью и во всей их человеческой сложности, то Голуб и все иже с ним коллективизаторы только лубочные злодеи со знаком Антихриста на челе...» И конечно, странными показались ему советы сотрудника журнала «Новый мир» А. Кондратовича: «...беда в некотором смешении правды и ограниченности взгляда на те годы. Тут-то и надо что-то делать: очевидно, надо снять конец с убийством Голуба, ввести фигуру, противостоящую сибилькам и зюзям. Эта фигура — учитель — уже есть в повести, но она брошена на полпути. Надо полнее и шире показать коллективизацию... Повесть, повторяю, интересна, местами очень хорошо написана...» После того как «Новый мир» не пожелал печатать повесть, Константин Дмитриевич предложил ее издательству «Советская Россия». Вначале продвижение повести по инстанциям вплоть до типографии шло благополучно, и все же на последнем этапе сборник был рассыпан, а редактор его, Инга Николаевна Фомина, получила строгий выговор за включение повести «Друг мой Момич» в сборник. И лишь в 1988 году в издательстве «Современник» по инициативе директора Леонида Анатольевича Фролова вышел сборник «Друг мой Момич», куда повесть была включена без сокращений и изменений. Л. Фролов лично знал Константина Дмитриевича еще по журналу «Наш современник», принимал участие в напечатании в этом журнале в 1975 году неоконченной повести «...И всему роду твоему».

Для Константина Дмитриевича повесть «Друг мой Момич» была особенно дорога: считал выполнением своего гражданского долга, изобразив правду о гибели русской деревни в то время, когда коллективизации пелись гимны всеми средствами массовой информации, искусства и литературы.

* * *

1966 год стал годом начала трагедии Константина Дмитриевича. В письме И. Н. Фоминой 28 августа 1967

года после того, как рассыпали сборник, он писал: «Пожалуйста, напишите мне подробно, что произошло с книгой... Я хотел бы знать, кто именно запретил книгу. Что это значит, кроме всего, что я знаю. Дело в том, что я не могу представить себе дальнейшую свою судьбу как писателя. Я похож на человека, бегущего под уклон с ножом в спине».

И хотя, казалось, он мужественно выдержал этот двойной удар, упорно продолжал писать новую книгу, но ощущение себя, бегущего под уклон с ножом в спине, стало неотступным, гнетущим, глубоко затаенным. В августе этого года пришлось снова идти, по словам Константина Дмитриевича, служить в редакцию «Советская Литва».

«Новая повесть, — говорил он, — должна быть небольшой в виде записок таксиста, и назову ее «Куда вам надо?». Ему хотелось написать бессюжетную повесть, в которой промелькнут судьбы пассажиров, их тревоги, нужды, добрые и злые помыслы современного обывателя. Но в процессе работы над ней многое передумал по-другому. Прошлое не давало покоя: проблема одиночества в мире приспособленчества, загубленного детства, юношества, неприятия настоящего в разных аспектах волновала его и в новой повести получила выход.

В повести был использован материал о детдоме по рассказам и записной книжке одного детдомовца — Игоря Цыганкова. Константин Дмитриевич проявлял интерес к людям с тяжелой судьбой, поэтому охотно слушал его рассказы, как в детдоме во время войны над ним издевалась воспитательница: бросала в карцер, где нападали на него крысы, не давала есть, била. Однажды в отчаянии он бросился на нее с ножом. За это был отправлен в исправительный лагерь. Оттуда бежал, бродяжничал, потом снова детдом. Эти рассказы послужили основой для включения второй сюжетной линии — о мечте поехать в город детдомовского детства. Повесть не включает в себя автобиографических реальностей. Можно лишь отметить подробное, со всеми мелочами, описание двора, где мы жили по ул. Веркю, № 1. Описаны улицы Вильнюса, костел, больница-роддом.

Между прочим, после этой повести утвердилась ранее ходившая легенда о том, что Воробьев работал шофером, но это не соответствует действительности. В пе-

риод работы начальником штаба МПВО в Шяуляй ему приходилось часто водить штабную грузовую машину, и только.

В 1967 году, к счастью, в литовском издательстве «Вага» вышла книга «Тетка Егориха», — сокращенный вариант повести «Друг мой Момич», и у него появилась возможность уйти вновь на творческую работу, без чего он уже не мыслил своей жизни.

Повесть писалась легко, по сравнению с другими, этому способствовала удачно найденная интонация, взвинченность настроения главных героев и надежда напечатать ее в «Нашем современнике». И окончил ее как-то неожиданно, когда совсем не предполагал этого сам, считая, что еще не менее полугода необходимо для ее завершения. Помню, как однажды я услышала радостные слова, доносящиеся на кухню из его комнаты: «Все. Конец. Я окончил повесть!» Я подумала, что это шутка, но он прочитал вслух последнюю страницу и сказал: «Больше ничего не надо» — и был очень доволен находкой такого конца. Назвал ее «Генка, брат мой». Судьба ее была удачной, но критикой она не была замечена ни тогда, ни после. Повесть была напечатана в журнале «Наш современник».

* * *

Замысел новой повести «Чем пахнет чебрец» вынашивался уже с 1967 года. Как никогда раньше, он часто говорил о новой повести. Он говорил, что ему хочется написать о том, что в нашем обществе все достойное, благородное, честное, искреннее — будь то дружба, любовь, собственное мнение о жизни, индивидуальное поведение по законам чести и совести — обречено на неминуемую гибель. Что между людьми отношения строятся так, что все помогают немедленно избавиться от «инородного тела», от тех чувств, мыслей, поступков человека, которые не сочетаются с «нашей» моралью.

Повесть писал трудно, настроение часто менялось. Как и на каком материале осуществить ее — долго не было окончательного выбора. Но когда ему передали слова одной литературной дамы о том, что Воробьев исписался, он может только писать о войне, его это задело, и тогда пришло решение написать историю одной любви, историю треугольника. Это был вызов се-

бе — столько уже этих треугольников в литературе — рискованный.

Писал повесть долго, с длительными перерывами, нервничал, часто ему казалось, что пишет не о том, и не раз порывался бросить и начать писать другую.

При чтении повести трудно поверить, что она писалась так мучительно, со множеством вариантов каждой ситуации. Оценивал написанное противоречиво: то грозился ее сжечь, обругивая себя, то уверял, что написано хорошо и что ему жаль расставаться со своими героями, которые стали для него реально существующими, живыми, и не хочется думать, что их нет. В основном повесть была написана в 1969 — 1970 годах. Мы тогда жили втроем, не было нужды скитаться в поисках комнаты на лето в деревне. Наташа вышла замуж, родилась внучка Мариночка, и они переехали в кооперативную квартиру, недалеко от нас. Мама временно переехала к сыну Виктору, чтобы была возможность ей получить отдельную квартиру, и она ее получила. Наконец мы обрели свободное жилье в трехкомнатной квартире на троих.

В повести много деталей из реального окружения. Разговор Кержуна с Вениамином Григорьевичем возник из разговора в 1948 году с одним бывшим лагерником. Живя в доме по ул. Тилто, нам часто приходилось пилить дрова для топки печки. У нас во дворе был сарай, и там у Константина Дмитриевича завязался разговор с соседом по сараю. И вот рассказ о расстреле офицера ожил в повести.

Реальные озера, где он снимал комнату в доме бабки. Но имя Звукариха пришло из родного села и встречается в записных книжках значительно раньше. Описаны предметы собственной комнаты, лодка, которая пересохла, машина, гараж железный. Только его бульдозером не разорвали, но предупреждение об этом было. Редакционная комната, где работала Ирена, письменный стол, коридоры пришли в повесть из издательства «Советская Россия», а набережная, дом, в котором жила Ирена, находятся в Вильнюсе. Об украденном блине, который Ирена в детстве спрятала на голове, рассказала Александра Петровна, жена друга Константина Дмитриевича Геннадия Ивановича Некрасова. И когда этот эпизод был уже включен в повесть, Константин Дмитриевич, часто будучи у них в гостях, шутил, что Александ-

ре Петровне положен гонорар. Образ хирурга, внешность, манера поведения навеяны его другом врачом Борисом Израилевичем Эфросом, но заменил отчество его отчеством другого своего друга — Михаила Рафаиловича Зака, врача военного госпиталя. На вопрос друзей, с кого списан внешний образ Ирены и Верьваны, он смеялся и спрашивал: «А на кого они похожи?» Похожих оказалось много в Вильнюсе и в Москве, но он все варианты отверг. Зная, как часто в его произведениях появлялись герои, ни на кого в жизни не похожие, я таких вопросов никогда не задавала. И знала, как его раздражают поиски читателей буквального сходства героев со знакомыми и автобиографическими фактами.

Повесть была напечатана в 1971 году в 10-м номере журнала «Наш современник» с сокращениями и в том же году в Вильнюсе вышла отдельной книгой без сокращений. Приходило много писем от читателей, особенно женщин, которые, поверив в исповедальность героев, выражали возмущение поведением Ирены, приглашали автора приехать в их город, где легко можно устроиться на хорошую работу. Одна девица уверяла, что она лучше Ирены и что у нее вообще «все в ажуре». И уже в 1986 году, живя в Москве, я получила письмо на имя Константина Дмитриевича, в котором выражалось пожелание счастья, так как наконец он нашел себе жену, которая является составителем его книг.

Критика приняла повесть враждебно, особенно измывалась над нею А. Киреева в статье «Великан в короткой курточке». Константин Дмитриевич статьи не читал, ему пересказали претензии автора к великану, и стало ясно, что критикесса не знает слов причитания матери над умирающим ребенком из рассказа Л. Андреева «Великан» и поэтому исходные позиции ее нападок ложны, несостоятельны и читать неинтересно. Но были и хвалебные рецензии, в которых основным предметом обсуждения стал все же треугольник любви.

* * *

За время написания повестей «Генка, брат мой» и «Вот пришел великан...» были написаны его лучшие рассказы: «Немец в валенках» (1966), «Чертов палец» (1967) и «Уха без соли» (1968), а в более ранние годы: «Большой лещ» (1965), «Два Гордея», «Трое в челне»

(1966) и «Картины души» (1967) — о реальных встречах.

В основу рассказа «Немец в валенках» положен факт из лагерной жизни. Действительно, был такой немец Вилли Броде, который проникся к Константину Дмитриевичу сочувствием и подарил ему сигареты. Но в целом рассказ подчинен замыслу. Проблема сложных взаимоотношений между пленными так и не получила широкого освещения в его творчестве. Он предполагал об этом написать в своей главной книге, написанной полным голосом, без усечений правды.

«В реальности же, — говорил он о плене, — было все страшнее, чем то, о чем я написал, и это страшное творили не только немцы, но и мы сами: предательство за похлебку, безумие, людоедство, юродство бывших политруков, пресмыкание перед немцами, и в этом кошмаре случаи мужества и героизма. Рассказ «Немец в валенках» — попытка, хотя и в ограниченных возможностях, говорить о плене с этих позиций. О реальности этих слов свидетельствует и запись, сделанная в 60-е годы: «Пленный над умершим плачет горькими безутешными слезами, причитая по-бабьи: «Братишечка мой милый, дорогой...»

Он обращается к пленным и даже к полицейским с просьбой помочь ему похоронить «по-людски» братика, и все отходят, и, оставшись один, плакальщик догола раздел покойника, а вечером уже «торговал» его обмундированием. Славянская подлость!

Тот не был ему, конечно, братом. Уловка, рабская, уничижающая мерзость...»

Повесть о плене, написанная в 1943 году, — это главным образом повесть о себе и зверствах фашистов, о муках, которые приняли миллионы обреченных не по своей воле в плен людей. Об этом нужно было написать обязательно, сказать слово в защиту этих мучеников. Но Константина Дмитриевича всегда тревожила полная правда, осмысление по совести. И не случайно повесть о плене не пытался предлагать ни в 50-е, ни в 60-е, ни в 70-е годы в журналы или издательства, считая правду в этой книге неполной, надеясь ее сказать в главной книге.

Рассказ этот сам он относил к своим лучшим рассказам, но в редакциях и издательствах были противоположного мнения.

Рассказ «Чертов палец» близок и по тематике и позиции к оценке прошлого в повести «Почем в Ракитном радости». В него вошли зарисовки и мысли, практически предназначенные для повести, но которые «не поместились» в нее по разным причинам: и творческого характера, и цензурного. В нем присутствуют реальные факты из жизни деревни в период коллективизации. В сюжетном плане рассказ полностью — творческий вымысел. Использованы автобиографические детали: катание в детстве на лопате со снежной горы, проданная хата родителей, в которой жили совсем чужие, незнакомые люди. Образ Кочетка навеян реальным человеком — председателем сельсовета 30-х годов в родном селе.

Проблема преступления и меры ответственности за него исследуется во многих произведениях Константина Дмитриевича. Но в отличие от решения этого вопроса, как правило в обличительном тоне, в рассказе «Уха без соли» проблема дана в ином осмыслении: нравственно ли всепрощение? Но вправе ли казнить тех, если никто не ответил за свои (отечественные) преступления?

Тимоха — личность реальная, в лагере военнопленных свирепствовал своей жестокостью, пользуясь правом полицейского. Имя, внешность — достоверны. О его дальнейшей судьбе ничего не известно.

Сюжет рассказа «Картины души» определился полностью на основе того, что произошло во время одной поездки в Ленинград. Все в вагоне происходило так, как написано в рассказе. Был «чижик», и в таких же подробностях, как в рассказе, общение с ним. Но в действительности поездка окончилась иначе, печально. Кто-то вытащил у него из кармана пиджака бумажник с деньгами и документами. Все говорило о том, что это мог сделать «чижик», так как утром он со странной поспешностью выскочил из вагона. Но Константину Дмитриевичу не хотелось в это верить, и он включил встречу с «чижигом» в ряд тех картин души, которые помогают жить и надеяться на светлое. Воспоминания о допросе относятся к 1946 году в НКВД в городе Шяуляй, о чем я уже упоминала.

Произведение, которое он писал, обычно захватывало его полностью, он жил жизнью своих героев, и это часто определяло его настроение и душевное состояние. В течение дня его настроение могло резко меняться. Каза-

лось, два непохожих друг на друга человека борются в нем в смертельной схватке, не уступая друг другу, лишь попеременно торжествуя в победе. Но жизнелюбие и светлая любовь к миру все же постоянно возвращались к нему вместе с юношеской статью, обаянием, и слова «мы еще повоюем», с задором и уверенностью вторяемые в эти минуты, убеждали его самого и других в том, что так будет всегда и что он полон надежд и уверенности в свои силы. Но трудной и изнурительной была для него победа того, другого, о котором он говорил «как ты мне надоел», когда жизнь казалась невыносимой и борьба с нею бессмысленной.

Удручали постоянная угроза непечатания, те усилия, которые нужно было проявлять, чтобы не остаться без средств к существованию. Бесконечные претензии цензуры и рецензентов надоели своим тупым однообразием размышлений, бездушием и наплевательским отношением к человеческому слову. За всем этим чувствовалась у них одна забота — попасть в своих суждениях в точку конъюнктурных требований, умело подать свою «политическую зрелость» и непримиримость к потерявшим все это авторам. Это бесило, отвращало и вызывало бессилие от невозможности сразиться с ними словом.

* * *

Желание перебраться в Россию тревожило его, обостряло чувство одиночества. Душа кричала: «Хочу в Русь!» Но была и привязанность к литовской земле, защитившей его во время войны, да и после войны. Вряд ли проверка НКВД вдали от мест действия партизанского отряда окончилась бы благополучно. Не было и определенности, куда уезжать. Интересовался, какие возможности в Курске, ему сказали, что местное начальство терпеть не может писателей, да и связь с родными местами была утеряна после переезда родителей в 50-е годы в Москву. Многие попытки оканчивались переговорами, действий не было. Побывав в Пскове на семинаре молодых писателей, сделал выбор — переехать в Псков.

В Пскове Константин Дмитриевич познакомился с писателем Ю. Курановым. У них сложились искренние, доверительные отношения, и это подстегивало к решению переехать в Псков, где будет рядом близкий по духу друг.

С. Воронин тоже принял сердечное участие в переговорах с местным начальством по поводу нашего переезда. Летом 1968 года мы на своей машине поехали в Псков, чтобы вместе с С. Ворониным зайти в обком на счет переезда. Воронин в то лето жил с семьей в маленькой крестьянской хибарке у Чудского озера. Гостили у них несколько дней. В первый день приезда «чинно» отправились в обком. Все шло хорошо, было обещание трехкомнатной квартиры. Погода все дни стояла рыбалочная, и мужчины на день уезжали на рыбалку, а вечерами жгли костер, варили уху, говорили о литературных делах, сложностях жизни, о трагедии «Нового мира». В последний вечер перед отъездом пекли в костре картошку (это хорошо делал Константин Дмитриевич). Тихий вечер, звезды, плеск воды о берег, дружеские разговоры и милые стихотворения шестилетней внучки нас умиляли до слез. В душе была надежда на переезд, верилось в лучшие дни и удачу. Но, охмелев, мужчины стали выяснять отношения: кто правый, кто левый, почему «Нева» не печатает его произведения, вспомнили о «Новом мире», и обиды выплеснулись неожиданно резко, непримиримо, потом обнимались, мирились. Утром чувствовали себя неловко, особенно Константин Дмитриевич, так как нападающим был он (а ведь в гостях). Но мы с Марией подтрунивали над их «петушиным боем», и обстановка разрядилась. Расстались дружески. Мы сели в машину, поехали, а они долго махали прощально рукой вслед. Это была наша последняя встреча.

По дороге домой нас застигла сильная гроза. Бесперывно сверкала молния, хлестал, затемняя машинное окно, дождь. Константин Дмитриевич гнал машину на предельной скорости без остановок, напряженный и сосредоточенный — хотел до ночи вернуться домой, чтобы на другой день поехать навестить в пионерлагерь Сергея. «Как он там, наш мальчик, — беспокоился он, — ведь соскучился, наверно». Вернулись домой поздно ночью, усталые. «И все-таки Серега (Воронин) сильно полевел, — сказал он, — даже не стал меня упрекать, как это делал раньше, что я сильно облитовился».

Затем С. Воронин сообщил, что квартира скоро будет, и мы решили, что вначале Константин Дмитриевич поедет один, а я с Сергеем немного позже, так как заканчивала работу над диссертацией. Но из обкома по-

звонили нам по домашнему телефону и сказали, чтобы мы не беспокоились, как только я закончу диссертацию, квартира будет предоставлена, добавив любезно, что нас в Пскове ждут.

И вдруг в этом году многое изменилось. Квартирный вопрос у нас решился неожиданно таким образом, что мы остались втроем в трехкомнатной квартире. Из Пскова стали приходить тревожные вести о том, что кто-то уже сообщил в КГБ о предполагаемом приезде политически незрелого писателя Воробьева, бывшего в плену. Это заставило задуматься над тем, чем может обернуться в его судьбе такой переезд, и стремление скорей переехать в Псков как-то невзначай уменьшилось, хотя мы об этом почти не говорили и строили планы на переезд. Было все же желание уехать.

К 70-м годам обострилось социальное одиночество, все уже смыкался круг общения. Ранние дружеские контакты с сотрудниками редакции постепенно изживали себя. Константин Дмитриевич все глубже уходил в неприятие действительности, лживое газетное слово отвращало его, и невольно это переносилось и на авторов этого слова. Происходило как бы лицемерие: при встречах прежние дружеские объятия, дома — возмущение и недовольство своим поведением.

* * *

В мае 1971 года умерла мать Константина Дмитриевича. Пережил смерть матери очень тяжело. Всю жизнь мечтал и стремился к тому, чтобы избавить ее от жизненных невзгод, предлагал переехать к нам, но ее пугал незнакомый и чуждый ей край, она не хотела расставаться в старости с Новодевичьим монастырем, в который ходила каждый день, так как на склоне лет Марина Ивановна стала очень религиозной, а жила неподалеку от него. В Москве житье ее было неустроенным, и хотя трое дочерей жили в основном в Москве, так уж получилось, что им не удалось что-либо изменить в лучшую сторону в жизни своей матери. Последнее прощание с матерью оказалось трагичным. То, как проходили похороны и с какими нечеловеческими усилиями пришлось проводить ее в последний путь, потрясло его до глубины души. Об этом он написал в дневнике.

Вернулся из Москвы в крайне тяжелом состоянии.

Его неотступно стали преследовать мысли о смерти. Это состояние обострилось еще и тем, что в этом же году на лице у него появилась незаживающая ранка. Врачи предложили облучить ранку, сказав, что это рак кожи. Константин Дмитриевич был необыкновенно мнительным, и говорить ему этого, конечно, не следовало. Ранка зажила почти бесследно, но в сознании уже никогда не угасала мысль о смерти.

Удручали и бесконечные беды родных. У Володи в Москве участились неприятности на работе. Это очень тревожило Константина Дмитриевича, приходилось улаживать его дела, советовал ему менять работу, образ жизни. Володя бывал у нас, и Наташа, и Сергей привязались к нему искренне.

Так получилось, что, обрекая себя добровольно на тернистый жизненный путь, детям своим желал благополучной и спокойной жизни. В последние годы это чувство тревоги за их судьбу обострилось: его пугала унаследованная ими неспособность принимать действительность, ту реальность, которую он сам отвергал и ненавидел, и он понимал, что рассчитывать им на благополучие нет никаких возможностей.

* * *

В 1971 году в Вильнюсском пединституте в результате интриг «зарезали» мою диссертацию. Я умолчала о своем поражении, не желая расстраивать Константина Дмитриевича, и решила попытаться счастья в Москве. Решение оказалось правильным. В 1971 году в НИИ ПРЯНШ мою диссертацию, между прочим без замечаний, рекомендовали к защите, и в январе 1973 года я защитилась. Теперь материальная стабильность давала возможность быть независимым Константину Дмитриевичу от решений редакций, и надежда писать «в стол» стала реальностью. Такая перспектива помогала сохранить равновесие настроения. И все чаще и чаще появлялась мысль переехать в Москву, а не в Псков. Иногда возникали опасения, что, может быть, уже поздно покидать город, который стал родным, но и тоска по родине у Константина Дмитриевича с годами становилась все сильнее. Он метался.

Иногда говорил, что чувство тревоги не дает ему покоя, что утром ему хочется скорее уехать на озеро,

но там начинает его терзать беспокойство о доме, рыбалка становится в тягость, и он возвращается домой. Дома снова кажется, что напрасно рано покинул озеро. Смена настроений становилась все изнурительней. Часто выходил из своей комнаты растроганный, читал написанное, говорил, что его пугает какое-то странное состояние неспособности написать ни единого предложения. Тогда с сыном Сергеем уезжал на несколько дней на рыбалку. Приезжал в хорошем настроении, и писалось хорошо.

Я все более убеждалась, что обретение в себе себя прежнего возможно только в интенсивном писании и нет других средств и возможностей сохранить волю к жизни. Я верила, что, как только станет писать «в стол», вернется прежнее упорство. Внутренне он тоже знал это и часто в минуты растроганности говорил: «Я все знаю, только ты ничего не говори, я все понимаю...» Это действительно было так. И все же чувствовалось, что та огромная сила духа, способная к сопротивлению, которая, казалось, никогда в нем не иссякнет, стала увядать, съеживаться от сознания, что никому это не нужно, лишь нарушает равновесие в отношениях с людьми, даже с друзьями и родственниками. В дни мрачного настроения все подвергалось сомнению: стоило ли жизнь посвятить бескомпромиссному отстаиванию собственной сути, своего я, когда все вокруг с легкостью и радостно отказываются от этого груза и прекрасно себя чувствуют. В такие дни раздражительность доходила до крайности и могла произойти трагическая стычка в любом месте и с самыми близкими и дорогими ему людьми, в такие минуты бывал чудовищно несправедлив. Только сила воли и беспощадная самоконтрольная логика останавливали его от непоправимых поступков. Особенно непримиримо реагировал на проявление хамства, разнузданности и наглости. Часто страдальчески он признавался: «Боюсь, что однажды я убью хама и не смогу объяснить, почему я это сделал». «Мне все труднее и труднее становится заходить в редакции журналов и издательств в роли как бы просителя, — также часто говорил он, — не хочу, не могу, противно... А ведь надо». Сетовал и на то, что ему мешают работать друзья, стараясь рассеять тяжелое настроение, что ему надо спешить писать, просил не отвечать на звонки, говорить, что его нет дома. И когда удавалось

продолжительное время плодотворно поработать, он молодел душой, возвращалась уверенность в нужность того, о чем он пишет.

И беспрерывно терзало его желание во весь голос высказать свою боль и то, что страшило своей безысходностью на каждом шагу, в чем бы ни столкнулся в нашей действительности, о чем бы ни размышлял. Часто он повторял: «Самое большое счастье для человека — быть самим собой». И тут же возмущался тем, что сталинисты присвоили себе право определять истинность суждений людей, устанавливать им меру чувств и долю совести, распоряжаться их поступками и порывами; придумывать законы для того, чтобы обесчестить и заключить в тюрьму тех, кто смеет иметь собственное мнение. Почему только сталинисты одарены способностью всегда судить правильно и перевоспитывать других по собственному образу и подобию?

Все наши поступки определены страхом. Он формирует наше сознание. Мы с детства напуганы тем, что видеть недостатки нашей слепой деятельности — это значит замахиваться на святую святых, на народные достижения, на честь родины. Мы внушили всему миру, что критические замечания в наш адрес — это вмешательство во внутренние дела, при этом оставляя право за собой не только критиковать другие правительства, но призывать народы к борьбе с ними.

Но не только наше сознание формирует страх. Страх правит и нашим государством. Страх перед словом правды заставляет наше правительство прибегать к терроризму: расправляться с писателями, учеными, со всеми, кто осмеливается называть вещи своими именами. Для сталинистов слово правды страшнее бомбы, значит, знают цену своим преступным делам!

Свои мысли Константин Дмитриевич еще в 50 — 60-е годы высказывал яростно и открыто, но тогда друзья принимали его как человека неуравновешенного, обиженного судьбой, уличали в отсутствии любви к родине, в отрыве от русской почвы (жил в Литве). Может быть, когда-нибудь те из писателей, кому довелось слышать «речи» Воробьева, напишут воспоминания и доскажут мною не досказанное. Он почти с юношеским пылом мог долго говорить о необходимости истинного просвещения для народа и сокрушался при мысли о том, как далеки мы от демократических традиций, необходи-

мых нам во спасение. Он почти на крике объяснял, что для всех должно стать очевидным: в мире столкнулись два непримиримых образа мыслей — демократический и террористический. Демократический образ мыслей — это:

— уважение мнения других и способность понять чужую точку зрения, даже не исповедуя ее;

— способность вести диалог на всех уровнях и во всех областях человеческой деятельности при помощи серьезной аргументации;

— способность признать себя неправым, если аргументы противника убедительны;

— признание права на вариативность существующих на земле форм и видов человеческой деятельности: культуры, искусства, религии, правопорядка;

— уважение личностных качеств человека и всемерное стимулирование развития инициативы, творчества, независимого мышления;

— гласность.

Мы безнадежно отстали в развитии демократических традиций. С годами сформировался террористический образ мыслей и принцип: действие через насилие — стал основным. Террористический образ мыслей стал направляющей силой и в отношениях начальник — подчиненный, сотрудник — сотрудник, даже среди друзей и в семье. Теперь явственно обозначилась тенденция, регулирующая наши отношения «кто кого любыми средствами». И в наши дни не так опасна ядерная война, как миллионы террористически настроенных людей, которые могут уничтожить демократический мир.

Но иначе и не могло быть, так как мы долгое время совершали безумные действия:

Истребляли мыслящую часть общества, уничтожали разумные тенденции в деятельности людей. Истребление шло планомерно, осознанно, чтобы не оставить в стране ни единой возможности противопоставления чего-либо разумного безумству руководителей, больших и малых. Чтобы всегда и везде иметь возможность убеждать в своей правоте и непогрешимости. Хаос, который царит во всех наших делах, — это следствие первоначальной причины: отсечение головы от общественного пуза, а результаты этих усилий назвали прогрессом, которому должно следовать человечество.

Привлекали к созданию культурных ценностей ду-

ховно бедных, авантюристического склада ума деятелей. Вместе с тем партийные деятели привлекали к осуществлению партийных директив безропотных исполнителей и фанатиков, напоминающих опричников. Они и определили стиль работы низовых партийных и советских организаций.

Насильственно внедряли в сознание людей лицемерие. Существующие в мире духовные ценности переименовали по собственному почину, совершенно не заботясь о том, соответствует ли наименование сущности явления. Предательство обрядили в тогу высокой нравственности, справедливости, убийство — в доблесть и подвиг, жестокость — в принципиальность; ограниченность и бездарность назвали народной мудростью, подлость — умением мыслить диалектически, наглость — социалистическим оптимизмом.

Вовлекали широкие массы, особенно молодежь и детей, в грязное политическое дело, что повседневно провоцирует двоедушие в виде лицемерных одобрений политики партии и восторгов от безмерно счастливой жизни.

Подавляли личное мнение и индивидуальные качества людей при помощи рычагов государства: первичных парторганизаций, профкомов, активистов и т. п.

Обесценивали культуру, искусство, литературу, музыку, подчиняли их политическим целям. В связи с этим расцвела бездарность, способная выполнять любые социально-политические заказы средствами искусства.

Развращали сознание трудовых людей различными авантюристическими трюками в труде: фиктивными соцсоревнованиями, досрочными выполнениями плана с помощью организационных трюков, искусственным героизмом труда, организованным парторганизациями.

Дезинформировали с помощью агитации и пропаганды. Поскольку делами доказать преимущества социализма трудно, приходится убеждать в этом, используя гигантскую машину пропаганды, на что тратятся миллионы, необходимые школам, больницам и строительству жилья.

Планомерно спаивали народ с целью получения колоссальных барышей, одурманивания сознания рабочей силы.

И, несмотря на абсурдность нашего бытия, организованного по этим законам, в целом образуется огромная наступательная сила, направленная на обезволивание и подчинение людей воле партии, что именуется строительством коммунизма.

В таком тяжелом душевном состоянии и смятении была начата новая повесть «...И всему роду твоему». Это произведение должно было стать последним, написанным для печати, и как бы итоговым в ряду уже изданных. Ему хотелось скорее его окончить и начать свою главную книгу.

Повесть была задумана как отчет о прошлом и настоящем и раздумья о будущем. Главный герой Сыромуков в повести наиболее близко, чем в других повестях, кроме «Это мы, Господи!», правомерно может быть отождествлен с автором: и внешность, и манера общения, и состояние здоровья, и мироощущение, и пройденный жизненный путь. Воспоминания о партизанском отряде автобиографичны лишь в смысле рассуждений о самостоятельности партизанского отряда, собранного из пленных. Но фактическое описание сильно отдалено от реальности и включает только отдельные детали из жизни группы, которой он руководил, например «промысел» золотых коронок, уничтожение на дорогах немецких машин, мотоциклов. Описание похода Сыромукова в город Энск навеян нашей встречей в 1943 году, но совсем в других обстоятельствах, о которых я уже писала.

В записной книжке слова, предназначенные Сыромукову, выражали настроение Константина Дмитриевича в 1971 году:

«Он стал просыпаться рано, а иногда среди ночи и, как ни старался, не мог заснуть до утра. Старость.

И вот однажды он проснулся от какого-то необъяснимого страха. Лежа в темноте, он чувствовал, что этот страх не проходил. И он вник в него и понял, что это страх за прожитое, — как прожил он свою жизнь. Нервность жизни. Случай легкомыслия. Но именно это выдвинуло его над всеми.

Что было бы, если бы он поступил, как все? Была бы обеспеченность. Сытость. Покой. Свинский хлев.

И когда он это понял, он успокоился. Страх прошел. Может быть, потому, что в окно пробивался осенний рассвет?»

Реальные наблюдения в Кисловодске санаторной жизни, встреча с девушкой, страдающей от своего маленького роста. Образ Яночкина — это творческий пор-

трет, выражающий типичные черты им подмеченного в жизни социального типа — сталиниста. Фамилия Елены Владимировны имеет отношение к реальному человеку. Это была русская эмигрантка в Шяуляй, знакомая моей мамы — Ракевич Галина. Из этой фамилии и родилась фамилия Ревич. Видел ее Константин Дмитриевич мимолетно один раз.

В начале 1974 года он считал, что близок к завершению повести и говорил, что осталось немного: у Сыромукова осложняются отношения с Яночкиным после выяснения жизненных позиций по «трудным» вопросам, двусмысленные отношения складываются с Ларой, они начинают его тяготить своей ненужностью, и он решает раньше срока уехать домой, к сыну. Нужно было включить еще несколько эпизодов и об обитателях санатория: о их жадности и привередливости к еде, исполнении глупых процедур по незнанию в стремлении к продлению своей жизни. Был уже написан и конец: «При возвращении, когда его встречал Денис (он увидел его из окна вагона, на перроне, с хохлом на макушке, в самом деле подросткового, как показалось Сыромукову, острого, напряженно вытянувшегося в струнку, — выглядывал в толпе отца и не находил), подумал, что им можно будет обняться и, возможно, даже расцеловаться, как всем взрослым после разлуки. Уже на перроне, поспешая к сыну, Сыромуков летуче и коротко помолится в душе Денисовой судьбе, чтобы она была милосердна к нему и все сделала так, как его собственная, сыромуковская, судьба сделала для него самого... Чтобы Денис никогда, ни на один день, ни на час и ни на миг, не стал довольным». Часть повести, напечатанная посмертно, — это та часть, которая была представлена Константином Дмитриевичем в издательство «Вага» с обещанием в ближайшее время написать окончание.

Неоконченная повесть «...И всему роду твоему» с приложением была опубликована в 1975 году в журнале «Наш современник».

* * *

1972 год был напряженным и хлопотным. Константин Дмитриевич решил продать свою машину «Москвич» и купить «Жигули», так как после восьмилетнего пользования «Москвич» требовал постоянных усилий для

поддержания «формы», вопрос сервиса все более и более становился сложным, а любая услуга требовала много времени и терпения. «Жигули» ему обещали выделить вне очереди, потому он решился на этот шаг.

Соблазнились в этом году и возможностью построить гараж около дома. Такое редко бывает, а тут вдруг получили разрешение, поэтому, несмотря на планы переезда, от гаража отказываться не было духу, тем более что старый, железный, подлежал сносу. Были и сомнения в затеянном. «Ну, теперь жалко будет бросать гараж, достроенный своими руками», — говорил он. Трудно было что-либо к этому прибавить. В таком случае оставалось одно успокоение — принять правило жизни «как получится».

12 апреля в «Литературной газете» появилась статья «По какой России плачет Солженицын?». Константин Дмитриевич преклонялся перед мужеством и литературным талантом Александра Солженицына, не скрывая своего мнения о том, что «на Руси есть один настоящий писатель — Александр Исаевич Солженицын. Все остальные перед ним пигмеи». Возмущенный этой травлей, он написал письмо в «Литературную газету». Конечно, наивно было рассчитывать на то, что «Литературная газета» как-то прореагирует на него, да и вообще письмо могло не дойти до адресата, но чувство возмущения искало выхода, нужно было выразить свое презрение редакции «Литературной газеты».

* * *

В 1973 году мы окончательно решили переехать в Москву, получить разрешение на обмен квартиры, купить в Подмосковье недорогую хибару и начать новый, последний этап жизни. Перспектива устроиться мне на работу была стабильной, вариант обмена тоже казался надежным. «Все здесь изжито, — сказал он, — надо уезжать». Окончательное решение о переезде в Москву избавило от неопределенности и сомнений последних лет (что же делать? куда податься?), и будущее вдруг стало казаться еще в чем-то надежным. У Наташи была хорошая семья. Росла милая внучка Мариночка, которую Константин Дмитриевич очень любил, его радовали ее светлый, добрый и веселый нрав, ее чуткость к деду с бабой, какая-то особенная способность быть умелой и

несущей радость во всем и похожей понемножку на всех: на маму и папу, на бабушку и дедушку. Она была нашей радостью.

Наступил новый, 1974 год. Мы его встречали дома своей семьей. Он надел белую рубашку, был в хорошем настроении. В 12 часов мы подняли бокалы с шампанским, и вдруг невыносимо острая тоска и чувство панического страха охватили меня, и казалось, как будто я заглянула с обрыва в пропасть. Я отмахнулась от этого наваждения, но помимо воли промелькнула страшная мысль: неужели что-то случится с мамой? Она с нами встречала Новый год, как всегда, была бойкой и разговорчивой, чувствовала себя хорошо.

С этого дня по ночам меня стало преследовать чувство страха, появилась бессонница, беспокойство. Предчувствие беды стало неотступным, но не было и мысли о том, что может что-то случиться с Константином Дмитриевичем, именно сейчас, когда решил уехать в Русь и впереди надежда на что-то новое и, кажется, прочное.

В конце апреля Наташа с семьей и Сергей уехали в Ялту. Мы остались вдвоем. Этот месяц был для нас отпускным по-настоящему, освобожденным от семейных забот. Дни стояли солнечные, теплые, мы часто ездили на озеро Электренай.

Однажды после долгой удачной работы над повестью он вышел из своего кабинета в хорошем настроении и сказал: «Давай, мать, оденемся по-праздничному и пойдем пообедаем где-нибудь». Мы пошли по улице Горького, там зашли в небольшое уютное кафе. Народу оказалось немного, легко нашли свободный столик, заказали обед, бутылку вина и признались друг другу, что хорошо побыть иногда без детей, жалея себя, что это нечасто бывало. Был он возбужденным, казался молодым и, как раньше, задорным. «Мы еще с тобой повоюем, — сказал он, — мы еще молодые». Потом мы чинно под руку прошли по улице Горького до кафедральной площади с ощущением легкости, хорошего настроения и молодости. Вернулись домой и на своей новой машине «Жигули» темно-бордового цвета поехали к маме в Жирмунай. Когда вернулись, он пожаловался, что с машиной происходит что-то странное — уже второй раз при въезде в гараж задевает двери. Водил машину он отлично и в гараж въезжал точно, поэтому подумал,

что еще не привык к новой машине. Потом мы решили, что на следующей неделе он обязательно поедет в Москву и будет добиваться разрешения на обмен квартиры. Это была суббота, а на воскресенье выпала поздняя в том году Пасха, ему захотелось поехать на рыбалку. Весь день рыбачил под палящим солнцем. Приехал вечером, навеселе, и долго на кухне с мамой (она пришла на Пасху) философствовали. Мама очень любила рассуждать и вспоминать, что было раньше не так, как сейчас, и всегда подстерегала момент словоохотливого настроения у Константина Дмитриевича.

В понедельник утром у него из носа хлынула кровь и заболела голова. Решили, что это от солнца. Я сделала холодный с уксусной водой компресс, и, казалось, стало легче, боль прошла. А через неделю снова все повторилось. Это и было начало страшной болезни, о которой еще не могли мы тогда и подумать.

* * *

Вызвали врача, он предложил лечь в больницу. Две недели ничего определенного врачи не могли сказать, болеутоляющими лекарствами заглушили боль, и нам казалось, что наступает выздоровление. Вернулись из Ялты сын и дочь. Константин Дмитриевич бодрился, шутил, надеялся скоро выписаться. Но к концу мая он пожаловался мне, что снова стала болеть голова, а левая нога становится непослушной. Он лежал удрученный, а на голове у него был холодный компресс. Я спросила врача, установлен ли уже диагноз. Он ответил, что исследование продолжается. Неделю спустя, по тому, как настороженно смотрели на меня сестра и санитарки, я поняла, что они знают о Константине Дмитриевиче что-то недоброе. Он же сказал мне, что его, видимо, отправят в Каунас и поэтому надо принести одежду. И когда я уходила, меня попросили зайти к старшей сестре. Она сообщила мне о подозрении врачей на рак мозга у Константина Дмитриевича, поэтому решено отправить больного в нейрохирургическое отделение Каунасской больницы. Удар был настолько неожиданным, уничтожающим, что я не смогла выговорить ни единого слова. Не хотелось верить, казалось, что это невысказанно, несправедливо, чудовищно, не может с ним такое случиться.

Оглушенная страшным сообщением, я побрела домой пешком, всю дорогу стараясь мысленно отыскать хоть какую-то надежду в словах старшей сестры, что это только предположение, что еще может все оказаться неправдой, но неумолимо возникали глаза сестер и нянь, да, они там все знают. И в словах старшей сестры трудно было обнаружить что-либо обнадеживающее. Я долго бродила по улицам, меня страшила завтрашняя встреча, что я скажу, он не должен видеть мое состояние, тревогу, надо собраться с силами, убедить, что необходимо исследование в лучшей клинике республики и скоро вернется опять в Вильнюс.

На другой день утром, когда я вошла в палату, увидела совсем другого человека. За одну ночь болезнь сильно обострилась, он заметно хромал и уже не мог самостоятельно одеться и дойти до машины.

День был солнечный, яркий, мы ехали по Каунасской дороге, по которой недавно еще ездили в Электронной к озеру. Он лежал на носилках сосредоточенный и молчаливый, смотрел в окно на небо. Я была в том состоянии, которое не раз испытывала в минуты опасности: тело становилось невесомым, способным переносить боль, холод, тяжесть, а мозг почти патологически фиксировал все до мелочей, по-особому четко, ясно и беспощадно реально. Ослепительные солнечные лучи, весенняя зелень природы, знакомая дорога усиливали боль прощания, последней встречи, чувство непоправимой беды и страх ожидания катастрофы.

В клинике в приемном покое были выполнены все формальности приема, потом, переодев его в больничное одеяние, увезли в палату. Я долго ждала, а когда спросила, когда можно будет пройти к больному, мне сказали, что сегодня посещение не положено, только завтра. Я безуспешно пометалась от одной сестры к другой, но ответ был один: завтра. На другой день я приехала рано утром, и мне сообщили, что он находится в реанимационной палате, поэтому посещать нельзя. В ужасе я кинулась к старшей сестре с просьбой пропустить меня. И только знание литовского языка помогло мне, удалось убедить, чтобы меня пропустили.

Пришлось пройти длинный подвальный коридор. На стенах его зловеще зияли черные трубы, с потолка во многих местах капала ржавая вода. Было невыносимо страшно, хотелось исчезнуть, чтобы не видеть всего это-

го, не зная того, что ожидает впереди. Миновав подвал, я наконец нашла палату. Прошла мимо маленькой комнаты, в которой стояло какое-то странное сооружение, на нем лежал человек, покрытый простыней. К нему был подключен аппарат искусственного дыхания, издающий кошмарный хрипящий стук умирающего сердца. Во второй комнате находился Константин Дмитриевич, он был в шоковом состоянии. Оказалось, что это страшное сооружение всю ночь стояло в его палате, где он оказался с этим один на один. Он, казалось, в помешанном состоянии стал рассказывать, как отгонял всю ночь палкой (он последние дни ходил с палкой) от себя смерть, которая коварно будто старалась к нему приблизиться, а потом прилетела огромная черная птица и что-то с шумом клевала длинным черным клювом. Я подумала, что у него бред, и, очумевшая, побежала к врачу. Тот спокойным ледяным голосом сказал, что болезнь тяжелая и всякое в таких случаях бывает. Я стала просить перевести его в другую палату, говорила, что ему нельзя находиться рядом с умирающим. Только сейчас врач внимательно посмотрел на меня и, помолчав, обещал перевести. Я побежала в реанимационную палату, чтобы скорее успокоить, сообщив о решении врача. Тогда он спокойно сказал, что это очень несправедливо было поместить его одного сюда, ему пришлось пережить страшную ночь. Я поняла, что бреда нет, вполне в здравом уме, но еще во власти пережитого и возмущен бредовым решением врачей или сестер, бог их знает, кто придумал такое. Я сказала, что буду с ним всю ночь и никто не сможет меня отсюда выгнать. Его положили на раскладушку в палату, где находились предоперационные тяжелобольные. В палате было восемь человек на раскладушках и кроватях. Я приютилась так, чтобы загородить страшную картину противоположного ряда больных, рассказывая непрерывно что-то бессвязное. Я осталась в палате, и почему-то никто мне не предлагал покинуть ее. Это была страшная ночь. Он страдальчески тихо стонал от боли и от сознания непоправимости случившегося и беспомощности. Я успокаивала его, что завтра же свяжусь с Москвой и увезу его в институт им. Бурденко, это посоветовали мне вчера знакомые врачи в Вильнюсе. Угнетало его и незнание литовского языка, на котором к нему обращались. Положение казалось катастрофическим. Беспрерыв-

ное повторение слов о том, что завтра же уедем, что в институте им. Бурденко вылечат, немного успокаивало, убаюкивало, и он заснул. И вдруг больной, лежащий напротив раскладушки, громко стал кричать: «Сестра, сестра!» — по-литовски. На зов никто не подходил, и я выбежала в коридор, там никого не было. Я вернулась в палату и спросила, что он хочет. Больной со страхом в голосе ответил, что у него шесть дней не было стула, ему сделали клизму и вот сейчас с ним произойдет конфуз. Я снова побежала искать сестру. Когда ее привела, было уже поздно. Больной бедняга сидел на кровати, буквально утонув в огромном количестве кала (я никогда бы не поверила, что такое количество может находиться в человеческом организме, если бы не видела своими глазами), стараясь отстраниться от этой беды и все более и более пачкаясь в кале. В конфузе, с извиняющимся страдальческим видом, худой, костлявый, в белой, измазанной калом рубашке, он истерически оправдывался: «Ведь шесть дней, шесть дней, я не виноват, я звал». Все равно сестра раздраженно ругалась, ведь теперь нужно все менять и отмывать его. Пришла няня и занялась им. В какой-то миг мне показалось, что я схожу с ума или это дурной сон. И только одно возвращало меня к реальности: надо, чтобы Константин Дмитриевич не увидел, не понял, что произошло, загородить, укрыть, отвлечь... Как только стало рассветать, в сознании застучало «скорей, скорей выбраться отсюда», меня лихорадило. Я простилась, успокаивая его тем, что сегодня все оформлю, получу направление, куплю билет и приеду сюда с вещами, чтобы завтра уехать в Москву. Я попросила врача, чтобы разрешили сопровождать до Москвы нас сестре, все расходы будут за мой счет. Врач разрешил, и одна сестра согласилась ехать с условием, что с нею поедет и ее подруга. Мы обо всем договорились, и я помчалась в Вильнюс. Позвонила в Москву старому другу Константина Дмитриевича А. С. Бодрову, он связался с институтом им. Бурденко, получил согласие, только надо заручиться из Вильнюса направлением, из больницы четвертого управления, откуда его перевезли в Каунас. Тут оказалось, что нужно добыть столько справок, подписей в министерстве и в больнице, что, казалось, нависла угроза провала. Я останавливала попутные машины и за пятикратную плату умоляла подбросить меня в министер-

ство и обратно. О как страшна наша бюрократическая машина в беде! И только буквально за пять минут до окончания рабочего дня я все же «выбила» направление, билеты помог получить Борис Эфрос, нужно было четыре билета — отдельное купе. Я собрала необходимое в дорогу, Сергей с Юрой (зятем) должен был приехать в Каунас к отъезду, и вернулась в Каунас. Надо было там продержаться ночь и еще день — поезд уходил в 17 часов с минутами. У меня состоялась обстоятельная беседа в клинике с лечащим врачом. Он объяснил, что нужна операция, а не лечение, диагноз — рак мозга, после операции живут не более 6 месяцев. Но не хотелось верить таким беспощадным словам, и я не верила, наверно, подсознательно боялась лишиться надежды.

Все к отъезду было готово, но машина «Скорой помощи» опаздывала. Все нервничали. Наконец она появилась, Сергей и Юра уже были здесь, и все поехали на вокзал. Поезд стоял на втором пути, подъезда туда на машине не было. Решили нести на носилках. И тут произошло совершенно неожиданное. На первом пути появился товарный поезд и стал приближаться к вокзалу. Если загородит нам путь, придется идти в обход, а до отправления поезда оставалось 10 минут. Поезд стал тормозить и остановился. Я подбежала к машинисту, умоляя дать возможность пройти нам с носилками. Но состав дернулся и двинулся вперед, казалось, бесконечно долго мелькали вагоны. Когда освободился нам переход, мы почти бегом с носилками побежали к вагону и едва успели. Бедные сестры были тоже в шоке.

В Вильнюсе к нам в купе пришли друзья Константина Дмитриевича — Борис Израильевич Эфрос и Геннадий Иванович, они подбадривали, успокаивали его, простились по-мужски, сдержанно. Было ощущение, что вырвались из чего-то страшного, теперь все будет по-другому. Так получилось, что Каунасская клиника, славящаяся прекрасными специалистами, оказалась для Константина Дмитриевича страшным местом, первым этапом по пути нечеловеческих страданий.

Всю ночь он не спал, по несколько раз я повторяла подробно, как я звонила в Москву, что мне сказали об институте им. Бурденко, какие там замечательные специалисты и что не будет той напряженной неловкости, когда не способен ответить на том языке, на котором

тебя спрашивают, что будут к нему приходить и сестры, и Володя, и многое будет по-другому. Провожающие сестрички, молодые милые девушки, были очень внимательными, добрыми, измеряли давление, делали уколы. Их забота тоже вселяла уверенность, что все будет по-другому.

На Белорусском вокзале нас должен был встретить Володя с машиной «Скорой помощи». Но машины не оказалось, и никто не встречал. Пришлось обратиться за помощью в вокзальный медпункт. Дул сильный ветер, срывал с носилок одеяло, как назло, испортилась погода. В напряженной суматохе, накрывая краем одеяла его голову, понесли в медпункт, там дежурный долго ругался, потом разрешил поставить носилки в прихожей комнате у дверей. А машины все не было, ожидание становилось кошмарным, минуты казались часами. Наконец приехал Володя с машиной «Скорой помощи»: оказалось, что случилась какая-то неувязка с транспортом, но какая, я так и не смогла в волнении понять, да и не имело уже это значения.

Встретили нас в приемной института приветливо. Зарегистрировали, разрешили мне помочь ему переодеться в больничное одеяние, пожилая женщина — няня, порусски словоохотливая, принесла завтрак, заставила его поесть, приговаривая: «Ешь, касатик, ешь, родной». И увезли его в палату. После всех мытарств такой душевный прием дал облегчение и надежду, что, может, здесь еще спасут. Но вскоре благодушное состояние исчезло, когда сообщили мне, что в палате посещение больных не положено, так как это не больница, а институт. Но можно в определенные часы и дни передавать передачи, которые принимают и разносят санитары. Меня охватил панический ужас и растерянность. И снова начались нечеловеческие муки и страшные испытания, которые никогда никто не сможет представить себе, не испытав их. Мы с Володей вышли из института и увидели у огромных железных ворот толпу. Это оказались родные и близкие лежащих в институте больных, они с утра до вечера дежурят здесь в надежде передать внеочередную записочку или передачу, узнать что-либо о состоянии здоровья родного человека. Официальную консультацию о больном можно, оказалось, получать только по записи раз в неделю. Для родственников невыносимо целую неделю быть в неведении о близком человеке.

Поэтому в таких случаях люди ищут выход и находят. Нам рассказали, что можно овладеть мастерством проникать в палату по особым правилам. Во-первых, за деньги у гардеробщика можно было получить белый халат и попытаться, улучив подходящий момент, прорываться в палату. Если по дороге возникали преграды со стороны нянь, то надо было ловко сунуть в карман трешку и быстро, благодаря ее за доброту, устремляться вперед. Труднее было пройти пост дежурной сестры. Если врачей близко не было, то договориться тоже удавалось. Во-вторых, можно было приобрести собственный халат и таким же путем прорываться сквозь «заставу» дежурного. В-третьих, некоторые устраивались на работу уборщицей и имели возможность проникать в удобный момент в палату.

Такая информация в какой-то мере успокаивала, значит, все-таки можно перехитрить «умные» законы. Мы поехали на квартиру к Володе. На другой день рано утром я была в институте, нужно было выполнить ряд формальностей и сдать кровь. Пришли сестры Константина Дмитриевича — Анна, Александра, Милаида и Мария. Они были очень встревожены, громко плакали и причитали. Они любили своего неродного брата и, может, поэтому ничего не прощали, что не соответствовало их понятиям и образу жизни. Сейчас это не имело значения, горе потрясло их, они искренне готовы были сделать для него все, чтобы помочь в несчастье. Все вместе мы пошли на пункт сдачи крови. Я не могла сдать кровь, так как болела боткинской болезнью, Анна плохо себя чувствовала и не решилась, сдала Милаида. В институте существовало такое правило: кто-то из родственников больного должен был сдать кровь для медицинских нужд. С этого дня Милаида стала моим помощником в трудные дооперационные и послеоперационные дни. Она согласилась оформиться уборщицей, чтобы чаще можно было бывать у Константина Дмитриевича в палате, меня без прописки не брали. В тот день после переезда из Каунаса не пройти к нему — было бы чудовищно, и я пошла на прорыв, и с первой же попытки получилось удачно.

Но то, что я увидела в палате, трудно было поверить, что это не галлюцинация. Мрачная большая палата заполнена парализованными тяжелобольными. Во всем видна была крайняя бедность, заношенность, неоп-

рятность. У окна лежал больной уже в состоянии ма-разма, его кровать была загорожена веревочной сеткой, сквозь которую он порывался пробиться на волю. Кровать Константина Дмитриевича находилась первой с правой стороны у двери, и, к счастью, не надо было проходить мимо извивающихся в муках больных. Был среди них и один ходячий, молодой парень-студент, звали его Игорем, который во многом помог Константину Дмитриевичу перенести долгое ожидание операции. Здесь все исследования нужно было пройти заново, что потребовало много времени. Информацию получить о больном можно было только на консультации по записи, везде очереди, неразбериха, мечешься вслепую, пока начинаешь понимать, какими путями можно решить тот или другой вопрос. Казалось, что ты попал в царство каких-то невиданных злых духов, и вот они тебя, издеваясь, футболоят по своим дьявольским законам, серьезно веря, что делают великое снисхождение и благо. Здесь я поняла по-настоящему значение слов «тихий ужас». Единственным утешением было то, что Константин Дмитриевич здесь, в среде русской речи, чувствовал себя значительно спокойнее, держался мужественно, внутренне уже был готов, видимо, ко всему.

Посещение разными способами все же освоили, часто приходил Володя, приносил ему купленные на рынке фрукты, овощи. Я плохо знала Москву, и мне трудно было ориентироваться: где что можно купить, в этом помогал Володя. Константин Дмитриевич с каждым днем все хуже себя чувствовал, левая рука стала безжизненной, без помощи ничего не мог: ни повернуться на бок, ни встать, ни сесть, надо было кормить, и почти уже не ходил. Самой большой трагедией в этих условиях оказалась его неспособность принимать помощь от обслуживающего персонала, не мог, и все. И персоналу пришлось разрешить появляться мне в нужное для помощи время. Я каждый день с утра до позднего вечера (и не я одна) выстаивала у ворот в ожидании возможности прорваться в палату, иногда через черный ход, так как «наша» палата была рядом с лестничной площадкой черного хода. И нельзя было не удивляться бедности института, не говоря о запущенности здания. Градусников не хватало, пользовались даже треснувшими и перевязанными тряпочкой. Не хватало и басонов, удобных для пользования парализованным больным. Не-

возможность быть в своей кровати опрятным для Константина Дмитриевича была невыносимой, могла произойти совершенно непредсказуемая трагедия, так как обычно няни — эти приветливые на вид женщины — безбожно ругались оскорбительными словами на беспомощных больных. Поэтому, уходя, я прятала басон под матрац в удобном для него месте, чтобы ночью мог бы не пользоваться услугами персонала. Днем во многом ему помогал Игорь, который привязался к Константину Дмитриевичу, читал ему студенческие стихи, беседовал, бедный мальчик не знал, что все страшное для него было впереди.

Кончалась вторая неделя пребывания в институте, а день операции еще не был известен. Володя где-то с кем-то вел переговоры (это он взял на себя), чтобы операцию делал ведущий хирург. Требовались большие усилия, подробности мне остались неизвестными. В Вильнюсе Сергей с Наташей срочно продали машину «Жигули» за покупную цену — еще мало наезжена, так что деньги у нас были. И тут я поняла, как невыносимо тяжело оказаться без денег в беде. Можно сойти с ума. И там, у железных ворот, я встречала женщин, которые были на грани помешательства, оказавшись в Москве без приюта и денег у постели тяжело больного родного человека. Одна женщина, нанявшаяся уборщицей, чтобы быть ближе к больной дочери, мне сказала: «Увидев все это здесь, жить дальше так, как раньше я жила, невозможно, все потеряло смысл в этой жизни». Здесь, у ворот, все друг другу сочувствовали и помогали чем могли, записывали советы народной медицины, узнавали, где можно купить боржоми, делились опытом, что надо не упустить при уходе за больным в послеоперационный период. Здесь верили в народную медицину, носили больному после операции разные настойки трав, мумие, прополис, соки, боролись за его жизнь, как могли. На консультациях трудно было что-либо вразумительно спросить, узнать, потому что времени было мало, людей много, а в смятении человек терялся и забывал, что он хотел спросить, поэтому основные консультации вершились у ворот: опытные просвещали новичков. Но потом я поняла, что врачу нечего было сказать, зная, что его пациент обречен и никто не может ему помочь. И все же, все же как тяжело для человека в беде бездушное слово.

Наконец назначили операцию на 17 июня. Непостижимы законы нашей медицинской логики: при таком диагнозе так хладнокровно затягивать и с легкостью переносить срок операции с одной недели на другую. Конечно, возможно, что у них не было для этого условий, так как в одной части здания шел ремонт, и это не могло не сказаться на оперативности, но больным от этого не легче. А может быть, обреченность больных давала право на любое решение.

Накануне операции в отделении дежурила милая на вид девушка, но строгая, как милиционер. Я обратилась (с помощью подарка) к ней с просьбой разрешить мне быть с больным ночь перед операцией. Не сказав ничего определенного, она не стала меня выпроваживать в течение нескольких часов, а вечером очень решительно выдворила из палаты. Я решила не уходить с территории института и приютилась на первом этаже в актовом зале. И вдруг ночью появилась полоумного вида уборщица с метлой и стала, размахивая ею, выгонять меня из зала. Я побежала через зал, она за мной, но, когда я выбежала во двор, она отстала. Ночь была звездная, прохладная, деваться было некуда. Тогда я решила попросить дежурного у ворот разрешить мне пересидеть до утра в его будке. Старый хромым старик сжалился надо мной.

Рано утром я проникла через черный ход в палату, чтобы он знал, что я здесь, потом вышла на лестничную площадку, решила дождаться врача и попросить разрешения проводить на операцию. Врач разрешил и сделал замечание Наташе за ее ретивость. Константин Дмитриевич был сосредоточенно спокойным, лицо его стало таким, каким оно бывало в минуты высшего духовного напряжения. В последние дни перед операцией у него появилось какое-то незнакомое, совсем чужое выражение, от которого становилось тревожно, больно и страшно. Мы простились, и он четко произнес часто им повторяемые слова: «Главное, чтобы всегда и везде вести себя достойно». Просветленно-торжественное выражение его лица и эти слова говорили о том, что нечеловеческим усилием воли он победил в этот миг в себе разрушительные силы болезни, был собой, тем прежним, и я поверила в эту минуту, что операцию он выдержит.

В день операции принято было в институте приходить с цветами и бутылкой коньяка. Эти хлопоты взял на себя Володя, для меня это было невыполнимо, даже невыносимо. Тем, у кого близких оперировали, разрешили в комнате ожидания дожидаться результатов. Периодически выходила сестра и сообщала результаты: рак — не рак. Слышалось радостное ликование или душу раздирающие крики, рыдания. Комната пустела. Нас оставалось трое, когда мне сообщили то, что сказали в Каунасе. Володя отвез меня домой. Я ничего не слышала, не видела, не понимала.

* * *

10 дней реанимации — и никаких посещений. Но к этому дню Милаида оформилась уборщицей, получила пропуск, и рано утром была возможность проникнуть в палату. В это время я исполняла ее обязанности — мыла в вестибюле лестницу и коридор (это ее участок) и с нетерпением ждала ее. После операции Константин Дмитриевич пришел в сознание, узнал Милаиду. В палате было двое больных: Константин Дмитриевич и профессор (физик) из Новосибирска (фамилию забыла) тоже после операции пришел в сознание, но оба в полной неподвижности. Этот период у него в сознании остался как какое-то кошмарное испытание непрерывных упреков, оскорблений и перебранок со стороны обслуживающего персонала. Долго он об этом вспоминал, потрясенный способностью женщин обругать больных, находящихся в беспомощном состоянии. И не мог забыть страдания профессора, так как к нему в палату никто из близких не приходил, Миля старалась по возможности уделить и ему внимание, но время у нее было ограничено. Константин Дмитриевич быстро обретал силу, и его перевели в общую палату, а профессор вскоре скончался.

В общей палате мне разрешили посещение. Ходить он еще не мог, но разрешалось возить его в коляске — там был длинный просторный коридор. Выздоровление шло очень быстро, верилось в чудо, но врач на консультации сказал, что чем быстрее больной при этом диагнозе поднимается, тем быстрее он потом гибнет. И все-таки я верила в чудо, в преодоление болезни силой воли, жизни. Надо было эту веру внушить ему, убедить

в возможности выздоровления, так как диагноза он не знал. И убедить его можно было, потому что лечиться он никогда не любил, на вызовы поликлиники не откликался, кроме зубного, и в тех подробностях болезней, по которым больные часто сами догадываются о своих диагнозах, он был не сведущ, хотя самому казалось, что всегда сам догадается о правде. На 7-й или 8-й день после реанимационного периода он встретил меня возбужденный, по-детски радостный. «Сейчас я тебе покажу что-то, — сказал он озорным таинственным голосом. — Смотри». Он поднялся с кровати и медленно, осторожно балансируя руками, дошел до окна и обратно до кровати, сел на нее и победно-радостно посмотрел на меня. Вся палата участвовала в этой радостной победе Константина Дмитриевича, и они наперебой стали рассказывать, как всю неделю он мужественно тренировался, чтобы совершить этот «поход», сколько было неудач. И вот победа!

В этот день я впервые вместе с Володи и его женой Раей была способна пообедать. До этого дня я не в состоянии была глотать пищу, кроме сливок и молока. С этого дня и моя вера в его выздоровление стала надеждой. Почти полностью восстановилось движение руки и ноги, швы заживали нормально, казалось даже невероятным, что возможно такое возрождение. Наступил день выписки из больницы. Приехали в Москву Сергей с Юрой, пришел Володя, и мы были в этот день счастливы.

Поселились мы вдвоем в комнате Володи (в коммунальной квартире), на улице Генерала Ермолова, а Володя жил в квартире жены. Здесь стали нас навещать друзья. Часто приходил и помогал Константину Дмитриевичу сочувствием в этот трудный период возвращения к жизни Ю. В. Томашевский. Константин Дмитриевич был нежно к нему привязан, любил за искренность, чувствовал себя в его присутствии защищенно и надежно, мог быть самим собой. Иногда ласково звал его Гаршиным, считал, что у них есть сходство. Я первый раз встретила с Юрием Владимировичем, когда он пришел в институт еще до операции. Я никогда не забуду то почти физическое ощущение доброты, как будто от него исходила какая-то необыкновенная светлая сила. Я тогда была в крайнем напряжении и по-особенному способна воспринимать доброе и недоброе в рядом стоящем человеке.

Теперь они подолгу беседовали о литературе, Юрий Владимирович сообщал новости в литературном мире. Его прихода Константин Дмитриевич ждал с нетерпением, звонил ему по телефону домой.

Навещала несколько раз Константина Дмитриевича Инга Николаевна Фомина, редактор его книг. У нее была способность настраивать на бодрое настроение, в ее присутствии забывалась наша беда, шутили, говорили о будущем, о переезде нашем в Москву. В этот период я с Володей и Милаидой искали под Москвой недорогой домик (за деньги, полученные за машину), чтобы там поселиться, а потом уже заняться обменом квартиры. Домик такой мы нашли в Барыбино на улице Чехова, дом № 6, я оставила у хозяина задаток 300 рублей и стала добиваться разрешения на покупку его. Домик был чудесный. Константин Дмитриевич видел его, нас однажды отвез туда на своей машине Михаил Макарович Колосов. У них в 70-е годы завязалась переписка. Константину Дмитриевичу понравилась его повесть «Карповы эпопеи», считал ее правдивой книгой о деревне. «Вот ведь штука какая, — говорил он тогда, — правдивая и чистая книга, оказывается, не нужна ни критику, ни читателю». Михаил Макарович с женой Ниной в одно солнечное воскресенье повез нас в подмосковный лес, и Константин Дмитриевич совсем как в прежние времена ходил по лесу, насвистывая негромко собственного сочинения мелодии, с корзиной в руках в поисках белых грибов. Мы тогда набрали много опять, отдохнули в лесу, настроение было хорошее, но вечером дома сильно разболелась голова, и на следующий день пришлось вызывать врача. Навещали его сестры, друзья юности, здесь они встретились и с Андреем Сергеевичем Бодровым, с которым в 1938 году вместе служили в армии в Западной Белоруссии. Потом связи потерялись, и вот уже в 1973 году, прочитав книгу К. Воробьева, он решил написать автору письмо, чтобы убедиться, тот ли Воробьев. И теперь после долгих лет увиделись в печальных обстоятельствах. Андрей Сергеевич очень много помог мне во всех хлопотах и по «выбиванию» разрешения на покупку дома, и в получении разрешения на обмен квартиры для переезда из Вильнюса в Москву.

В этот год август и сентябрь были ласково-солнечными, без дождей. Теплые светлые дни помогали бороться с тоской и страхом, которые в глубине души не

утихали, лишь временно притаились. Мы часто ходили на Поклонную гору, гуляли там в березовой рощице. Утром обычно ходили по улице Ермолова, потом выходили к Триумфальной арке, он долго молча стоял и смотрел на чудо творения человеческих рук, несколько раз побывали и в «Панораме», присоединившись к экскурсионной группе. Особенно любил в эти дни ходить и на Дорогомиловский рынок, красочный, в те дни еще богатый овощами и фруктами, шумный и суетливый. Здесь жизнь была ключом, и это в нашу жизнь тоже, казалось, внесло прочность и ту обыденность, когда верится, что так будет всегда. И мечта о покупке домика помогала заполнять дни жизненно прочными ощущениями и разговорами. Возвращаться в Вильнюс в эти дни желания не было. Он как-то отдалился, стал чужим, отдалились все, кто там остался, даже дети. Мы напряженно жили своими бедами и победами дня в зависимости от того, как чувствовал себя Константин Дмитриевич. В дни, когда у него болела голова, он падал духом и терял надежду. 19 августа он записал в дневнике: «Сегодня исполнилось 32 дня со дня операции. Но я себя начинаю чувствовать все хуже и хуже. Боль в правой части затылка все усиливается, я теряю присутствие духа, боюсь сойти с ума. И не верю, что выживу, — стал не верить. Я все чаще и чаще думаю, что могу запоздать, когда уже не буду в состоянии позаботиться о достойном уходе из жизни. Наверно, пора кончать. Все. Выхода нет. Книга — главная осталась ненаписанной!»

В конце августа нужно было показаться врачу-хирургу, и Константин Дмитриевич думал, что он узнает у врача диагноз без обмана. 25 августа он записывает свои сомнения: «Завтра или послезавтра профессор-онколог скажет, рак у меня или нет. Собственно, он, конечно, не скажет правду. Но меня-то ведь не обманет, и я все увижу. Тогда мне нужно будет месяцев за 8, пока не начнутся дикие боли, написать свою последнюю книгу — то, что я видел, что знаю. А после уйти. Удивительно. Вот в эти пять трудных дней я находил поддержку в том, что читал малыми дозами «Праздник, который всегда со мной». Сейчас читаю Ремарка «Три товарища». Это тоже помогает жить. Не пускает к веревке».

И все же убедить удалось, он поверил в то, что ра-

ка нет. 31 августа в дневнике записано лишь одно предложение: «Рака, говорят, у меня нет». Великая сила заложена в вере. Она придавала силы и избавила от тяжелых терзаний неверия в благополучный исход.

Мечта о покупке домика под Москвой тоже помогала жить. Но оказалось, что по закону невозможно купить домик в сельской местности, разрешается только продажа дачных домов, но они стоили очень дорого, не менее 10 тысяч. Мне посоветовали попытаться получить разрешение на покупку дома по так называемому правилу «в виде исключения». Меня снабдили ходатайствами Союза писателей СССР, РСФСР, Московской писательской организации и Литвы. Я заручилась всевозможными справками, которые мне предложили представить в Моссовет, и обещали вопрос этот рассмотреть. Обращалась я и в Верховный Совет РСФСР, в обком лично к В. Попутину, который меня принял приветливо и обещал обязательно помочь. Но через неделю после моего разговора он перешел, сказали мне, работать в другую организацию. Обращалась я и в Совет Министров РСФСР. И никто не отказывал, обещали рассмотреть вопрос и по возможности помочь. Я тогда еще верила обещаниям, и в дни ожидания ответа хотелось думать, что решение будет положительным. Константин Дмитриевич все же часто говорил скептически: «Никто ничего не разрешит, наши законы так устроены, что все против человека. Вот если бы негр попросил, то в течение трех дней получил бы такое разрешение. А мне, русскому, да еще писателю... Нет, ничего не будет». И все-таки хотелось надеяться, это придавало силы. Он сильно похудел после операции, казался таким, как на фотографии 1945 года в военной форме. Я тоже приблизилась в весе к норме юных лет. По вечерам я читала вслух книги, которые приносил Юрий Владимирович, или, как в 1943 году, вспоминали детство и юность, военные годы. Так прошли август и сентябрь, наступил октябрь. Осень стояла в этот год поистине золотая, и октябрь не угнетал дождливыми и ветреными днями, наоборот, погода нас щадила, и можно было не менять режима дня — много ходить по улицам. Мы даже несколько раз заглянули в магазины, купили добротный чемодан, свитер Сергею. Я в душе радовалась, что его не отвращают бытовые заботы, значит, жизнь побеждает. Но к концу октября стали падать листья, де-

ревья обнажились, вечером в окно тянуло прохладой. По ночам со стороны товарной станции — она находилась недалеко — раскатисто доносился мат и команды, их яростно выкрикивала каждый раз женщина, и эхо этих перебранок гулко докатывалось до нашего окна. Стали чаще просыпаться по ночам, становилось тревожнее. Посещали нас реже и реже, и лишь Юрий Владимирович не оставлял без внимания Константина Дмитриевича. Стало очевидным, что ждать ответа о разрешении покупки домика бессмысленно. За это время удалось получить разрешение на обмен квартиры, но в этих условиях быстро найти вариант обмена было невозможно, и мы решили вернуться в Вильнюс. Володя с женой уехали в отпуск на юг, проводить нас на вокзал обещали Юрий Владимирович и Миля.

3 ноября мы собрались в дорогу, приехал Юрий Владимирович, и на такси мы отправились на Белорусский вокзал. У нас был первый вагон СВ, поэтому пришлось проделать по перрону долгий путь. Юрий Владимирович, навьюченный чемоданом и узлом, спешил впереди нас (времени оказалось впритык), мы за ним. Константин Дмитриевич, не зная, что надо спешить, шел размеренным шагом, и путь мне показался невероятно долгим и длинным — прощальным. Но сели в вагон благополучно, простились с Юрием Владимировичем, и поезд нас помчал в Вильнюс.

Купе на двоих, принесенный на заказ ужин, вежливая проводница вселяли в нас чувство благополучия, успокоения, было хорошо. «Вот так надо всегда ездить, — сказал он растроганный, — а мы с тобой дураки... не баловали себя». И только здесь мы почувствовали, что соскучились о детях, о доме, было странно, что там, в Москве, все это казалось далеким и почти нереальным, как будто мы там были совсем в другой жизни, в той, нашей, но кем-то изуродованной.

* * *

Дом есть дом, все в нем свое, и хорошо оказаться дома после долгого отсутствия в чем. Ждали нас всей семьей, и жили это время все вместе: и мама, и Сергей, и Наташа с семьей. Константин Дмитриевич соскучился по своему письменному столу. Он сразу же стал осматривать придирчиво, все ли здесь на прежнем мес-

те. Я скрыла от всех дома страшный диагноз, опасаясь, что мама может выдать себя, она искренне любила Константина Дмитриевича, пережитые вместе трудности военных лет искренним чувством привязали ее к нему на всю жизнь серьезно и глубоко, хотя это не мешало ей высказывать нередко свои обиды на то, что раньше ее любили и он, и я больше, что стали к ней невнимательны. И наверно, была права, потому что она продолжала жить по законам прежней жизни, и в чувствах она странным образом не старела, и в требованиях к людям оставалась такой же, как в молодости. А жизнь давно стала другой, и люди тоже, и все стало другим, жестким, беспощадным, но она не хотела с этим мириться и по-своему была права. Болезнь Константина Дмитриевича потрясла ее, выздоровление (кажущееся) обрадовало, и отнимать этого нельзя было. Жизнь потекла своим чередом. Ноябрь был самым благополучным для Константина Дмитриевича месяцем после операции. Со стороны совсем нельзя было сказать, что он перенес тяжелую операцию, только зрение его тревожило, и с этим как-то удавалось ему мириться, даже иронизировать над собой. Он самостоятельно ездил в транспорте в больницу к Борису Израилевичу, в книжный магазин. Писал письма Астафьеву, Томашевскому, Бондареву, Носову, Колосову.

К нему приходили друзья-рыбаки, даже устроили застолье. Друзья старались создать настроение «слава Богу, все окончилось благополучно, мы, партизаны, не сдаемся». И все же это застолье его очень утомило, от табачного дыма заболела голова, и несколько дней настроение было тяжелым. По утрам делал зарядку, потом шел гулять, вернувшись, просматривал газеты, подолгу сидел у письменного стола, пытался писать. Много читал и после каждой прочитанной книги возвращался к Бунину. Иногда подолгу слушал Вертинского, русские романсы, тщательно скрывая слезы. Как-то вечером я пыталась наладить в приемнике прием Лондона, и вдруг он попросил остановить шкалу. Тоненькими женскими голосами кто-то пел по-русски, и что-то необычное. «Кто же так чисто поет, без блядства в голосе?» — спросил сам себя. Оказалось, это была религиозная передача. Он часто говорил, что в лживо-оптимистической интонации наших дикторов всегда слышится рабское угодничество, неестественность. И вот эта чистота голо-

са его очень растрогала и удивила. Да, лицемерие и в голосе, и в писательском слове он улавливал безошибочно с чуткостью человека, обладающего абсолютным нравственным слухом.

В эти дни он с Сергеем сидел часами вдвоем, и из комнаты доносился раскатистый смех Константина Дмитриевича. В эти дни на столе появился чистый лист бумаги с написанным заголовком «Розовый конь» и эпиграфом к нему «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...». Это должна была быть книга «в стол», хотя до болезни он говорил, что назовет книгу «Это мы, Господи!». В архиве имеется запись: «Эпиграф к «Это мы, Господи!».

«В смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки. Я не про тех так называемых «передовых» говорю, которые всегда спешат прежде всех (главная забота) и хотя очень часто с глупейшею, но все же с определенной более или менее целью. Нет, я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собой изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки «передовых», которые действуют с определенной целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов...» Ф. Достоевский. Так бы, конечно, и было бы в тех условиях. Теперь же, после нечеловеческих мук собственная жизнь казалась невероятной, и это обостренное чувство нужно было выразить словами Есенина. Поэт был близок ему всегда, знал его поэзию и любил читать друзьям, считал Есенина по-настоящему еще не оцененным. «Ведь этот деревенский мальчик, — говорил он, — сердцем понял то, чего не смогло сделать скопище ученых, писателей и поэтов, и он восстал против грядущей дьявольщины и послал их всех к чертовой матери. Молодец!»

Написанное заглавие будущей книги и было последним, что своей рукой написал. С половины декабря он стал быстро уставать и все чаще и чаще ложился отдыхать. Потерял аппетит, стала кружиться голова. Еще пытался силой воли бороться с этим состоянием, но стало ясно, что болезнь снова наступает. Терялась и спо-

собность к общению, просил на звонки не отвечать, друзей к нему не приглашать.

По вечерам долго не зажигали свет, он по несколько раз вспоминал детские переживания и меня просил: «Расскажи что-нибудь интересное».

Иногда он просил меня купить себе что-нибудь красивое из одежды. Я обещала, пугалась своего обещания, потому что это делать не было ни сил, ни возможностей. И все же нужно было выполнять обещание — это нужно было ему, слишком укорно-обидной казалась в эти дни наша постоянная нужда.

В конце декабря однажды он долго смиренно молчал, потом тихо сказал: «Что же ты тут будешь делать одна? Ах да, — как бы спохватившись, добавил он, — ты нужна детям».

Я поняла призыв, об этом мы не раз говорили в минуты отчаяния, но тогда жаль было Сергея, еще мал, Наташа уже не пропадет, у нее хорошая семья. Сейчас я была готова ко всему, но откликнуться — значит признаться в безнадежности его положения, вселить страх смерти. Нет, нельзя! Надо до конца вселять надежду! И я сбивчиво стала рассказывать о Мариночке. Это успокаивало.

— Только ты ничего у них не проси, — добавил он спокойным голосом.

Приближался Новый год. Константин Дмитриевич любил, чтобы на Новый год была индюшка, купленная на рынке. Мы ее купили и все сделали так, как он любил, нарядили елку. Но вечером он не встал и ничего ему не хотелось. Свет просил не зажигать, так было спокойнее. Дети в соседней комнате смотрели телевизор, я ожидала, что, может быть, все же появится желание побыть всем вместе за столом, но он ко всему казался безразличным. Ночью он спал, и 1 января днем настроение казалось хорошим. Но в восемь часов вечера ему стало плохо, я вызвала «скорую помощь», и его увезли в больницу, положили в терапевтическое отделение; было подозрение на болезнь печени. В больнице четвертого управления условия были прекрасные, палата на двоих, можно было договориться о том, чтобы ночью дежурила около больного сестра. На другой день, когда я пришла, то увидела в глазах страдание и боль. Он тихо сказал: «За что мне такая мука, а?» Нельзя было об этом говорить, надо было как-то уйти от этого. Я ска-

зала, что сделают анализы, может быть, немного надо подлечить печень, и все будет хорошо. К счастью, голова у него не болела, и он поверил, немного успокоился. После обхода врачей принял лекарство, и состояние улучшилось. Несколько дней казалось — все прошло, но никто никаких анализов не проводил, внимания на него не обращали. Это тяготило его. Я спросила сестру почему, она сказала, что еще не успели.

На следующий день он был удручен тем, что уже второй раз назначают исследование, но сегодня опять не успели. И когда такая история на следующий день снова повторилась, он попросил меня принести одежду, так как больше здесь не намерен оставаться. Я спросила врача, почему такое происходит. И вот эта милая, красивая женщина-врач, с глазами непорочной девы, сказала мне спокойно: «Вы ведь грамотная женщина и должны понять, что нас, врачей, ваш муж как больной не интересует, понимаете, он безнадежный, и мы его ставим в последнюю очередь на анализы». Ее слова меня смяли своей неожиданной откровенностью. Я смогла лишь выдать из себя слова: «Да, да, я понимаю». Потом, опомнившись, добавила: «Но ведь так больному очень тяжело, неужели нельзя хотя бы создать иллюзию, что им интересуются?» Она пообещала это сделать. Но когда я вернулась в палату, Константин Дмитриевич, очень расстроенный, просил увезти его отсюда. И мы уехали домой.

У него была надежда лечь в больницу к Борису Израилевичу Эфросу или к Михаилу Рафаиловичу Заку в военный госпиталь. Но практически оказалось это неосуществимо. Дома его осмотрел Борис Израилевич и сказал мне, что печень увеличена, значит — это метастаз. Михаил Рафаилович тоже осмотрел (он специалист по болезням печени) Константина Дмитриевича и посоветовал связаться с одним московским врачом, который изобрел эффективное лекарство от рака, и многим оно помогает, хотя официально не признано. «Надо пробовать все, — сказал он мне, — теперь уж ничем повредить нельзя, а вдруг поможет». Лекарства привез Юрий Владимирович, они провели вместе вечер, и это оказалось их последней встречей. Лекарства Константин Дмитриевич согласился пить, но с каждым днем становилось все хуже, врач назначила морфий и сказала, что только в больничных условиях можно бороться с болью, а даль-

ше будет еще сложнее. Константин Дмитриевич сам решил, что надо лечь опять в больницу. Его определили в нейрохирургическое отделение, вызвали из Каунаса для консилиума врачей. Состояние головы оказалось удовлетворительным. Мне разрешили все время находиться в палате. Я принесла из дому надувной матрас, устроилась рядом и более месяца совсем не выходила из больницы. Палата была на одного, условия человеческие, врачи, сестры — все проявляли исключительное внимание и выполняли все его просьбы. Но он по-прежнему не мог пользоваться услугами обслуживающего персонала, поэтому и мне разрешалось быть днем и ночью рядом. Он почти ничего не ел, часто повторял одну и ту же фразу: «Как же это так, а? Главную книгу так и не написал». О том, что происходило в последний месяц его жизни, писать невозможно, и я никому не могу рассказать еще об этом и сегодня. Я тогда подумала, что гибель человека в авиационной катастрофе есть благо по сравнению с муками больного раком. Он никого не хотел видеть: ни друзей, ни близких — и просил затемнить окна.

28 февраля он проснулся каким-то просветленным и сказал, что ему лучше. От слабости он уже не ходил, и вдруг он встал, посидел немного в кресле, потом обошел вокруг своей кровати и, умиротворенный, лег в постель и сказал, что теперь каждый день будет стараться ходить, видимо, наступило улучшение. Первого марта попросил, чтобы пришел Сергей. К вечеру ему стало хуже, пригласили Бориса Израилевича. Константин Дмитриевич просил его остаться около него эту ночь, но Борис Израилевич не мог. Первого и второго марта было очень страшно, я плохо понимала, что происходит и что надо мне делать. В 7 часов 45 минут вечера Наташа позвонила и спросила: «Наверно, что-то случилось? Только что дома с сильным треском (как будто лопнула пружина) остановились на письменном столе часы». Я сказала «да», потому что минуту назад Константина Дмитриевича не стало.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Ничей сын	6
Штырь	20
Б. П. Г.	28
Гуси-лебеди	33
Подснежник	51
Хи Вон	65
Белая ветка	81
Ермак	102
Синель	123
Первое письмо	142
Настя	151
Волчьи зубы	156
Живая душа	162
Урок	167
Костяника	177
Солнечный блик	183
У кого поселяются аисты	190
Трое в челне	195
Картины души	201
Зимняя сказка	207
Из архива писателя	213
Письма	259
Приложение	
В. Воробьева. Розовый конь	362

Литературно-художественное издание

Воробьев Константин Дмитриевич

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ ТРЕТИЙ

**Рассказы, из архива писателя,
письма, приложение**

**Редактор Г. Н. Калашников
Художник В. С. Комаров
Художественный редактор А. Ю. Никулин
Технический редактор Н. В. Ганнина
Корректор И. И. Попова**

ИБ № 6010

**Сдано в набор 25.09.91. Подписано к печати 5.04.93. Формат 84х108/32.
Гарнитура Таймс. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 26.04. Усл.
кр.-отт. 26,04. Уч.-изд. л. 26,43. Тираж 99 161 экз. Заказ 509. С049.**

**Издательство «Современник» Министерства печати и информации
Российской Федерации и Союза писателей Российской Федерации
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62**

**Полиграфическое предприятие «Современник» Министерства печати и
информации Российской Федерации
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30**

